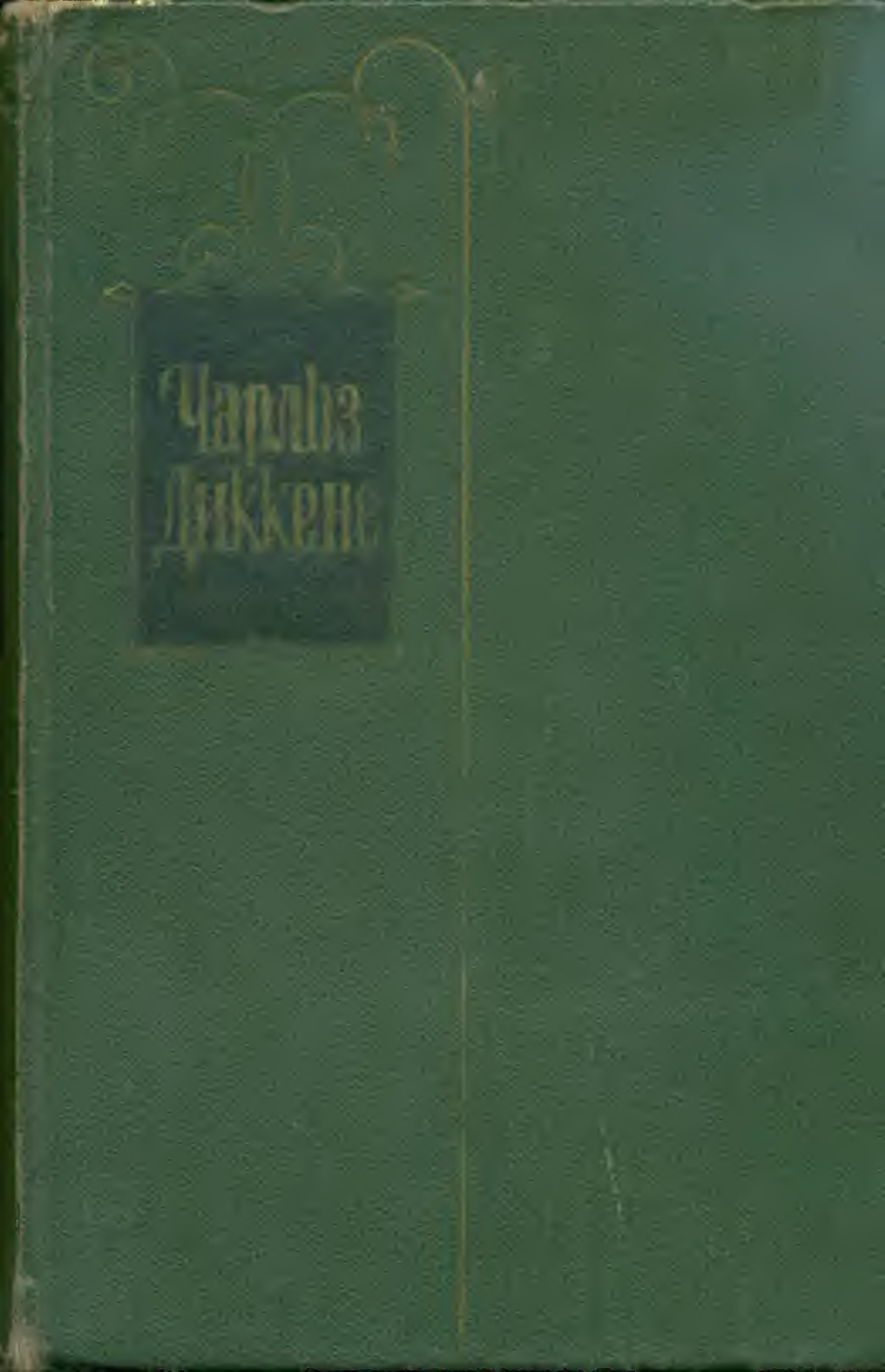

Чарлз
Диккенс

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

Под общей редакцией
А. А. АНИКСТА и В. В. ИВАШЕВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

КРОШКА ДОРРИТ

Роман

Книга вторая

Перевод с английского

Е. КАЛАШНИКОВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960

CHARLES DICKENS

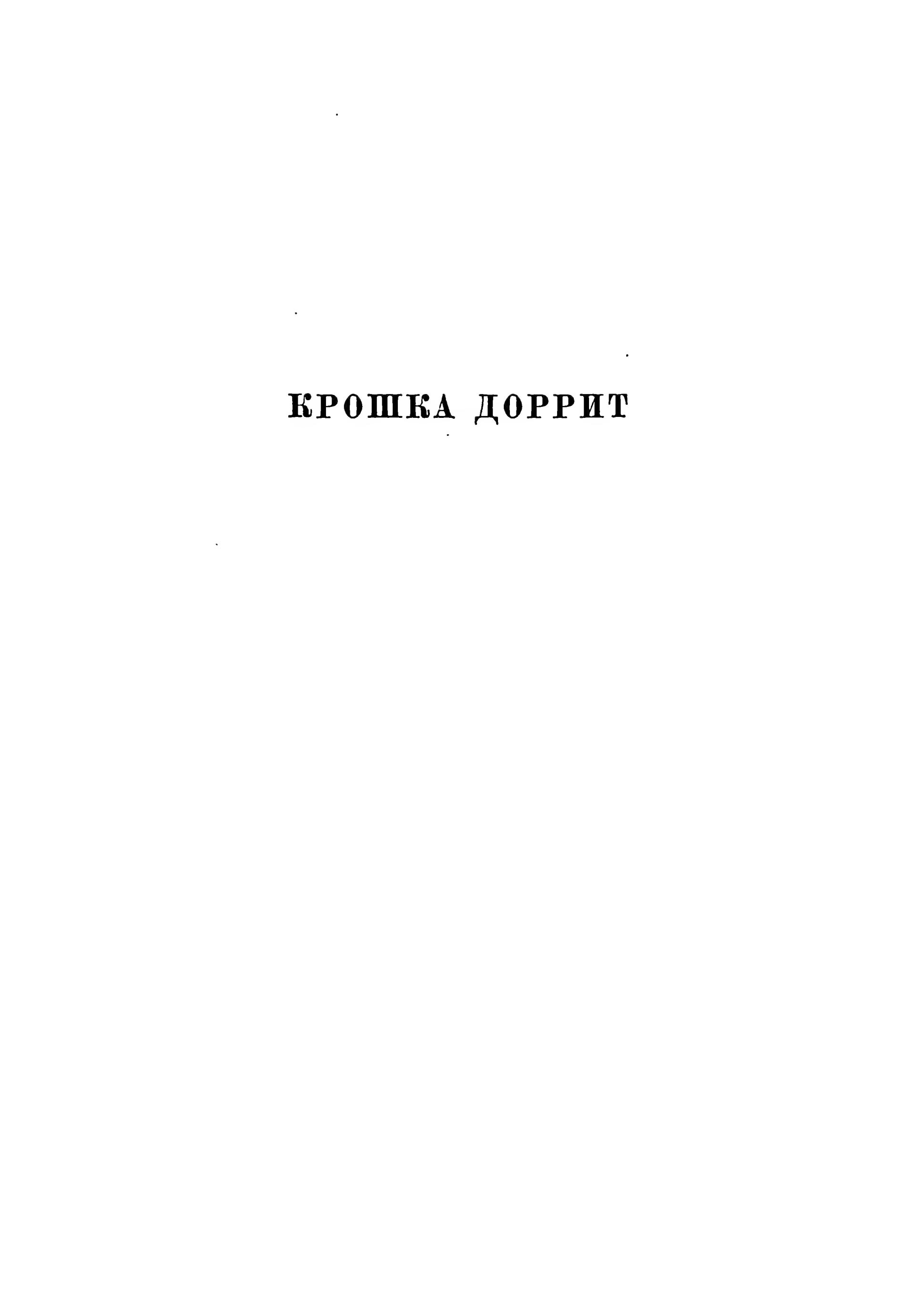
LITTLE DORRIT

1855—1857

Иллюстрации художника
«ФИЗА» (Х. Н. БРАУНА)

Редактор

Н. Волжина



КРОШКА ДОРРИТ

КНИГА ВТОРАЯ

Богатство

ГЛАВА I

Дорожные спутники

Был осенний вечер, и густая мгла подползала к самым высоким вершинам Альп.

По берегам Женевского озера и в долинах с швейцарской стороны Большого Сен-Бернарского перевала * шел сбор винограда. От срезанных виноградных гроздьев в воздухе разлито было благоухание. Корзины, ведра, бочки винограда стояли в полутемных сенцах деревенских домиков, загромождали крутые и узкие деревенские улицы, с утра до вечера двигались по дорогам и тропкам. Везде под ногами валялся раздавленный, растоптанный виноград. Ребенок за спиной у крестьянки, тяжело бредущей с поклажей домой, сосал виноград, который мать сунула ему, чтобы не плакал; деревенский дурачок, сидевший, подставив солнцу свой зоб, на ступеньках шале * у дороги, жевал виноград; дыхание коров и коз отдавало запахом виноградных листьев; в каждом маленьком кабачке ели виноград, пили виноградный сок, толковали о винограде. Как жаль, что ничего от этой роскоши изобилия не остается в терпком, кислом, водянистом вине, которое в конце концов получается из винограда!

Солнце ярко светило весь день, и воздух был прозрачный и теплый. Сверкали шпили и кровли далеких церквей, обычно неразличимые на таком расстоянии; а снежные шапки гор видны были так хорошо, что неопытный наблюдатель отказался бы верить в их отдаленность и высоту, сочтя, что до них всего несколько часов пути. Знаменитые горные пики, которые месяцами были скрыты от глаз обитателей долины, с утра четко и ясно рисовались на синеве

неба. А теперь, когда внизу уже было темно, они, точно призраки, готовые сгинуть, казалось, отступали назад, по мере того, как гас над ними алый отсвет заката, и долго еще одиноко белели над туманом и тьмой.

С этих уединенных высот, в том числе и с Сен-Бернарского перевала, казалось, будто ночь, идущая снизу, прибывает, точно вода. И когда, наконец, мгла подступила к самым стенам монастыря Сен-Бернара, эта каменная твердыня словно превратилась в новый ковчег и поплыла по волнам мрака.

Тьма обогнала посреди склона горы группу путешественников на мулах и раньше их добралась до крутых монастырских стен. Подобно тому как дневная жара, побуждавшая их с такой жадностью пить ледяную воду горных ручьев, сменилась к вечеру пронизывающим холодом разреженного горного воздуха, так вместо прелестных ландшафтов, тешивших взгляд в начале подъема, их теперь окружала суровая, безрадостная нагота. Мулы шли вереницей по узкой скалистой тропе, взбираясь с камня на камень, точно это были ступени гигантской разрушенной лестницы. Кругом ни деревца, ни травинки; только кой-где выбивался из расщелин камня бурый полузамерзший мох. Почернелые дощечки на столбах, будто костлявые руки скелетов, указывали путь к монастырю, и можно было подумать, что это духи путников, некогда занесенных здесь снегом, беспокойно скитаются в местах своей гибели. Пещеры, унизанные ледяными сосульками, и ниши, вырубленные, чтобы служить приютом путешественникам, застигнутым метелью, словно шептали об опасности; клочья тумана кружились и неслись, подгоняемые воющим ветром; и снег, главная угроза гор, заставляющая всегда быть настороже, валил не переставая.

Вереница мулов, изнуренных дневным переходом, медленно извиваясь, ползла по крутому склону: переднего вел под уздцы проводник в толстой куртке и широкополой шляпе, с альпенштоком на плече; за ним шагал другой проводник, и они негромко переговаривались между собой. Путешественники ехали молча. От холода, от усталости, от того, что у них непривычно захватывало дух, как бывает, когда выскочишь из очень холодной воды или когда рыдания подступают к горлу, им было не до разговоров.

Но вот на вершине скалистой лестницы сквозь снежную завесу блеснул огонек. Проводники прикрикнули на мулов, мулы вскинули понурые головы, у путешественников развязались языки, поднялся сразу шум, топот, треньканье колокольчиков, гомон голосов, и кавалькада прибыла к монастырским воротам.

Незадолго до того сюда пришел караван крестьянских вьючных мулов, и под их копытами снег у ворот превратился в жидкое месиво грязи. Седла и уздечки, вьюки и сбруя с колокольчиками, мулы и люди, фураж и продовольствие, фонари, факелы, мешки, бочки, круги сыру, кадки с медом и маслом, связки соломы и тюки самой разнообразной величины и формы — все это в беспорядке теснилось среди снежного болота и на ступенях лестницы. Здесь, в облаках, все виделось точно сквозь облачный туман и все растворялось в этом тумане. Облаком становилось дыхание мулов, облако заволакивало огни, облако мешало видеть говорившего соседа, хотя голос его, как и все прочие звуки, слышался на редкость отчетливо и ясно. Порой где-то в облачном тумане мул, привязанный наспех к кольцу в стене, кусал или лягал другого, и тотчас же поднималась суматоха: ныряли в облако человеческие фигуры, крики людей перемешивались с криками животных, и с двух шагов нельзя было разглядеть, что, собственно, случилось. А из монастырской конюшни, расположенной в первом этаже, у входа в которую все это происходило, тоже лез туман, подбавляя густоты в облачную завесу, и казалось, что там, за каменными стенами, ничего, кроме тумана, и нет, и когда весь он оттуда выйдет, стены рухнут и снег будет падать на оголенную вершину.

В нескольких шагах от площадки, на которой шумели и суетились живые путешественники, в домике за решеткой, окутанном теми же облаками, осыпаемом тем же снегом, безмолвно стояли мертвые путешественники, найденные в горах. Мать, застигнутая бураном много зим назад, до сих пор прижимала к груди свое дитя; мужчина, который замерз когда-то, зажав рукой рот от голода или от страха, до сих пор так и держал эту руку у своих окоченевших губ. Жуткое общество, по воле рока собравшееся здесь! Думала ли когда-нибудь эта мать, какая страшная участь ее ожидает: «В кругу сотоварищей, которых я ни-

когда не видела и никогда не увижу, неразлучная со своим ребенком, я буду вечно стоять на Большом Сен-Бернаре, и поколение за поколением будут дивиться на нас, не зная, ни кто мы, ни как мы жили до того дня, что стал нашим последним днем».

Живым путешественникам не было дела до мертвых. Поскорее спешиться у монастырских ворот и согреться у монастырского огня — вот что в этот час занимало их мысли. Выбравшись из сутолоки, которая, впрочем, уже уменьшалась, так как мулов, одного за другим, уводили в конюшню, они, дрожа от холода, поспешили подняться по лестнице и войти во внутренние помещения монастыря. Там стоял крепкий запах, проникавший снизу, из конюшни, и похожий на запах зверинца. Там галереи с массивными сводами, крутые лестницы, каменные подпоры, толстые стены, прорезанные глубокими узкими окошечками, готовы были отражать натиск горных буранов, точно натиск неприятельских войск. Там мрачноватые сводчатые кельи, где было холодно, но чисто, ожидали утомленных путников. И, наконец, там в общей комнате накрыт был для них стол к ужину и в камине ярко пылал огонь.

В этой комнате и собрались все вновь прибывшие после того, как два молодых монаха каждому указали его комнату. Путешественники делились на три группы: одна из них, самая многолюдная и внушительная, двигалась медленнее, и ее в дороге обогнала другая. Первая группа состояла из пожилой дамы, двух почтенных седовласых господ, двух молодых девушек и молодого человека, их брата. Их сопровождали (не считая двух проводников) курьер, два лакея и две горничные; всю эту громоздкую свиту пришлось разместить под той же крышей. Группа, оказавшаяся впереди, состояла всего из трех лиц: молодой дамы и двоих господ. Третья группа прибыла несколько раньше, с итальянской стороны перевала, и ее составляли четверо: краснощекий, голодный, неразговорчивый немец-гувернер в очках и трое молодых людей, путешествующие под его присмотром, тоже краснощекие, голодные и неразговорчивые, и тоже в очках.

Все три группы расположились вокруг огня, искоса поглядывая друг на друга в ожидании ужина. Только один путешественник из тех, что прибыли втроем, видимо, не



прочь был завязать общий разговор. Закидывая удочку в сторону предводителя большей партии, он заметил своим спутникам (но таким тоном, который позволял счесть это замечание обращенным ко всему обществу), что день был утомительным и что он сочувствует дамам. Ему показалось, что одна из молодых девиц, должно быть непривычная к путешествиям, с трудом перенесла последние два или три часа подъема в гору. Он обратил внимание, еще в дороге, что у нее крайне усталый вид. Он даже позволил себе потом, поотстав, справиться у проводника, как чувствует себя эта молодая особа. Он был очень рад услышать, что она оправилась и что это была лишь временная слабость. Он хотел бы выразить надежду (тут ему удалось поймать взгляд Предводителя, и он адресовался непосредственно к нему), что сейчас ее силы окончательно восстановились и она не жалеет о предпринятом путешествии.

— Благодарю за любезность, сэр,— отвечал Предводитель.— Моя дочь чувствует себя хорошо, и ей здесь очень нравится.

— Вероятно, ваша дочь впервые в горах? — осведомился общительный путешественник.

— Да — кха — впервые,— отвечал Предводитель.

— Но вы, сэр, разумеется, уже бывали здесь раньше,— продолжал общительный путешественник.

— Я — кхм — бывал. Но не в последние годы. Не в последние годы,— сказал Предводитель, делая неопределенный жест рукой.

Общительный путешественник ответил на этот жест легким поклоном и перенес свое внимание на вторую из двух молодых девиц, о которой он до сих пор не сказал ни слова, если не считать выражения сочувствия, относившегося ко всем присутствующим дамам.

Он выразил надежду, что она не слишком почувствовала неудобства пути.

— Конечно я их почувствовала,— ответила она.— Но я от них не устала.

Общительный путешественник пришел в восторг от столь тонкого ответа. Именно это он и хотел сказать. Какая же дама не почувствует неудобств путешествия на муле, животном, характер которого вошел в поговорку!

— Само собой разумеется,— сказала молодая девица,

державшаяся довольно высокомерно,— нам пришлось оставить экипажи и большую часть багажа в Мартиньи *. И это очень неприятно, когда надо обходиться без множества нужных вещей, отказывать себе в привычном комфорте, только потому, что едешь в такое место, куда ничего нельзя взять с собой.

— Да, место здесь дикое,— согласился общительный путешественник.

Тут в разговор вступила пожилая дама, туалет которой являл собой образец совершенства, а изяществу манер могла бы позавидовать заводная кукла.

— Но побывать здесь необходимо, несмотря на все неудобства,— заметила она мягким, ровным голосом.— Нельзя не побывать в местах, о которых так много говорят.

— А я, кажется, и не возражала против того, чтобы побывать здесь, миссис Дженерал,— небрежно бросила в ответ молодая девица.

— Вы, сударыня, как я понимаю, не первый раз на Сен-Бернаре? — спросил общительный путешественник.

— Да, не первый раз,— отвечала миссис Дженерал.— Дорогая моя,— обратилась она к молодой девице,— советую вам сесть подальше от огня; сильный жар сразу после холодного воздуха и снега вреден для кожи. Это и к вам относится, моя дорогая,— добавила она по адресу второй девицы, судя по виду, младшей. Та послушно отодвинула свой стул, тогда как ее сестра возразила:

— Благодарю вас, миссис Дженерал, но мне здесь хорошо и я пересаживаться не намерена.

Их брат, встав со своего места, подошел к стоявшему в углу фортепьяно, раскрыл его, свистнул в него и снова закрыл; после чего, вставив в глаз монокль, небрежной походкой вернулся к камину. На нем было дорожное платье с таким количеством карманов и приспособлений, что при взгляде на него являлась мысль — не слишком ли тесен наш мир для путешественника, обладающего столь совершенной экипировкой.

— Как долго, однако, они там копаются с ужином,— протянул он.— Любопытно, что нам подадут. Никто не знает?

— Надеюсь, не жареную человечину,— откликнулся спутник общительного господина.

— Разумеется, нет. Что это вам вздумалось?

— А то, что если мы не будем иметь удовольствие вами поужинать, так уж избавьте нас от удовольствия глядеть, как вы поджариваетесь.

Молодой человек, непринужденно оглядывавший все общество в монокль, стоя спиной к огню и подобрав фалды сюртука (что в самом деле придавало ему некоторое сходство с цыпленком, которому подвязали крылышки для жарения), растерялся от такого ответа и хотел было попросить дальнейших объяснений; но тут, благодаря тому, что все повернулись в сторону говорившего, обнаружилось, что красивая молодая дама, спутница последнего, лишилась чувств, уронив голову на его плечо.

— Ее нужно перенести в ее комнату,— сказал он, понизив голос, и, обращаясь к своему спутнику, прибавил: — Прошу вас, распорядитесь, чтобы кто-нибудь со свечой проводил меня. Я не уверен, что найду дорогу в этом лабиринте.

— Позвольте, я позову свою горничную,— воскликнула одна из двух сестер.

— Позвольте, я смочу ей губы водой,— сказала вторая, которая до сих пор все время молчала.

И так как каждая тут же привела сказанное в исполнение, на недостаток помощи жаловаться не приходилось. По правде говоря, когда явились обе горничные (прихватив и курьера, на случай, если бы по дороге кто-нибудь вдруг обратился к ним на чужом языке), помощников оказалось даже больше чем нужно. Муж дамы вполголоса заметил это той из сестер, что была меньше ростом и казалась моложе; потом он закинул руку жены себе на плечо, поднял ее и понес.

Его спутник, оставшись один среди прочих путешественников, не сел на прежнее место, а принялся шагать по комнате, пощипывая свои черные усы, словно это он был повинен в аффронте, только что нанесенном молодому человеку в дорожном костюме. В то время как последний кипел от обиды в дальнем углу, Предводитель с надменным видом обратился к спутнику обидчика.

— Ваш друг, сэр,— сказал он,— несколько — кха — запальчив; и в своей запальчивости, должно быть, упускает

из виду, с кем — кхм — впрочем, не будем углублять, не будем углублять. Ваш друг несколько запальчив, сэр.

— Весьма возможно, сэр,— был ответ.— Но поскольку я имел честь познакомиться с этим джентльменом в одном женевском отеле, где собралось весьма изысканное общество, а затем в совместном путешествии продолжить это приятное знакомство, я не нахожу для себя удобным выслушивать какие-либо нелестные отзывы об этом джентльмене — хотя бы даже из уст столь почтенной и значительной особы, как вы, сэр.

— На этот счет вам нечего беспокоиться, сэр. Я вовсе не имел в виду как-нибудь нелестно отозваться о вашем друге. Сделанное мной замечание относилось лишь к тому, что мой сын, как истинный — кха — джентльмен по рождению и — кхм — по воспитанию, разумеется, не стал бы возражать, если бы его в деликатной форме попросили не загораживать огонь остальному обществу. Тем более что я сам — кха — считаю, что у всех у нас — кхм — в данном случае равные права.

— Рад слышать,— отвечал его собеседник.— На том и покончим. Я весь к услугам вашего сына! Прошу вашего сына не сомневаться в моем совершенном уважении! А теперь, сэр, я готов признать, охотно готов признать, что мой друг подчас склонен к язвительности.

— Эта дама — жена вашего друга, сэр?

— Эта дама — жена моего друга, сэр.

— Она очень хороша собой.

— Бесподобно хороша, сэр. Они лишь недавно поженились. В сущности, это их свадебное путешествие, хотя в Италию их влечет и художественный интерес.

— Ваш друг художник, сэр?

Вместо ответа спрошенный поцеловал кончики своих пальцев и взмахом руки отправил поцелуй к небу, словно говоря: «Такие, как он, бессмертны, и вышние силы хранят их!»

— Однако же он из хорошей фамилии,— прибавил он.— У него есть нечто большее, чем талант художника,— знатное родство. Как человек гордый, запальчивый, язвительный (вы видите, я употребляю оба эти выражения) он, быть может, чуждается своих родственников; но они у него есть. Я в этом убедился по некоторым обмолвкам,

которые нет-нет да и мелькнут, словно искры, в его речах.

— Как бы то ни было,— сказал надменный джентльмен, с явным намерением окончить беседу,— надеюсь, недомогание его супруги не серьезно.

— Надеюсь, что так, сэр.

— Вероятно, ее просто утомило путешествие.

— Не только, сэр. Дело в том, что сегодня утром ее мул оступился, и она упала. Казалось, она не ушиблась — поднялась без всякой помощи, и сама смеялась над своей незадачей; но к вечеру у нее закололо в боку. Она несколько раз жаловалась на боль, когда мы следом за вами поднимались в гору.

Глава многолюдной экспедиции, снисходительный, но не склонный к излишней короткости, счел, видимо, что участия выказано им более чем достаточно. Он замолчал, и больше ничто не нарушало тишины, водворившейся в комнате, пока, четверть часа спустя, не появился на столе ужин.

Вместе с ужином появился еще один молодой монах (старых монахов в этом монастыре словно бы и не было) и занял место во главе стола. Ужин ничем не отличался от ужина в любом швейцарском отеле; не было недостатка и в вине — добром красном вине из монастырских угодий, расположенных ниже, там, где природа не так сурова. Когда стали садиться за стол, вошел художник и спокойно уселся вместе со всеми, как будто и думать забыл о своей недавней стычке с путешественником в образцовом снаряжении.

— Скажите, святой отец,— принимаясь за суп, обратился он к монаху, исполнявшему обязанности хозяина,— много ли у вас еще есть собак прославленной сенбернарской породы?

— Всего три, мсье.

— Я видел трех собак в нижней галерее. Верно, это те самые.

Хозяин, стройный, черноглазый, весьма обходительный молодой человек, который, несмотря на черную рясу с белыми шнурами, перекрещивавшимися наподобие помочей, не больше походил на типичного сенбернарского монаха, чем на типичного сенбернарского пса, сказал, что да, верно это были те самые.

— Одна из них,— продолжал художник,— мне показалась на вид знакомой.

Ничего нет мудреного. Эту собаку хорошо знают в здешних краях. Мсье мог повстречать ее в долине или где-нибудь на озере с одним из братьев, собирающих на нужды монастыря.

— Это как будто делают в определенное время года?

Мсье совершенно прав.

— И всегда берут с собой собаку. Собака помогает делу.

И в этом мсье прав. Собака помогает делу. Она привлекает внимание и интерес, что вполне понятно. Ведь собаки этой породы славятся повсюду. Вот и мадемуазель, вероятно, подтвердит.

Мадемуазель несколько замешкалась с ответом, как будто была еще не слишком сильна во французском языке. Но за нее подтвердила миссис Дженерал.

— Спросите, много она народу спасла, эта собака? — сказал по-английски молодой человек, недавно потерпевший афронт.

Но переводить вопрос не понадобилось. Хозяин тотчас же отвечал по-французски:

— Нет. Никого.

— А почему? — спросил тот же молодой человек.

— Простите,— степенно ответил хозяин.— Будь у нее случай, она, без сомнения, не отстала бы от других. Вот, например,— продолжал он с улыбкой, разрезая телятину,— если бы вы, мсье, предоставили ей такой случай, я уверен, она с большим усердием бросилась бы исполнять свой долг.

Художник расхохотался. Общительный путешественник (весьма рьяно заботившийся о том, как бы не упустить чего-нибудь из своей доли ужина) вытер кусочком хлеба усы, на которых повисли капельки вина, и примкнул к разговору.

— У вас сейчас, верно, все меньше проезжающих, святой отец,— сказал он.— Сезон ведь уже кончается, не так ли?

— Да, сезон кончается. Еще каких-нибудь две-три недели, и мы останемся одни со снежными метелями.

— Вот тогда-то,— продолжал общительный путешест-

венник,— собакам будет работа, выгребать из-под снега замерзших младенцев, как на картинках.

— Простите,— переспросил хозяин, не поняв сказанного.— Почему — собакам будет работа выгребать из-под снега замерзших младенцев, как на картинках?

Но прежде чем он успел получить ответ, в разговор снова вмешался художник.

— Вам разве неизвестно,— хладнокровно спросил он своего спутника, сидевшего напротив,— что в зимнее время сюда никто не заходит, кроме контрабандистов?

— Черт возьми! Я этого не знал!

— Да вот, представьте себе. Для путников подобного рода этот монастырь — неоценимое пристанище, но так как они отлично разбираются в предвестьях непогоды, то собакам с ними делать нечего — недаром порода сенбернаров почти вывелась. А детишек своих, я слыхал, контрабандисты все больше оставляют дома. Но сама идея великолепна! — вскричал художник, неожиданно воодушевляясь.— Прекрасная, возвышенная идея! Клянусь Юпитером, нельзя удержаться от слез, размышляя об этом! — И он преспокойно занялся своей телятиной.

Насмешливое противоречие, заключенное в этой тираде, могло бы кой-кому показаться обидным, но произнесена она была таким естественным и непринужденным тоном, а жало насмешки запрятано так искусно, что человеку, недостаточно владеющему английским языком, очень трудно было уловить истинный смысл, а даже и уловив, обидеться на этого джентльмена со столь приятными манерами и привлекательной наружностью. Покончив с телятиной среди общего молчания, джентльмен снова обратился к своему визави.

— Взгляните,— сказал он все таким же тоном,— взгляните на нашего любезного хозяина, который еще не достиг даже расцвета лет. Как изысканно вежливо, с каким благородством и с какой скромностью он возглавляет нашу трапезу! Манеры, достойные короля! Отобедайте у лондонского лорд-мэра (если вас туда пригласят), и вы сразу почувствуете разницу. И вот этот очаровательный юноша с точеными чертами лица — редко удается встретить такой безукоризненный профиль! — бросает мирскую жизнь с ее трудами и заботами и забирается сюда, в заоблачную высь,

единственно ради того (если не считать удовольствия, которое, я надеюсь, ему доставляет отличная монастырская пища), чтобы предоставлять здесь приют жалким бездельникам вроде нас с вами, полагаясь на нашу совесть в отношении платы! Разве не достойна восхищения такая жертва? Неужели мы так черствы, что не почувствуем себя растроганными? И если за восемь или девять месяцев из двенадцати ни один обессиленный путник не ухватится за мохнатую шею умнейшей собаки на свете, склонившейся над ним с деревянной фляжкой на ошейнике,— следует ли отсюда, что мы должны унижать это заведение злословием? Нет! Да хранит его бог! Это прекрасное заведение, замечательное заведение!

Седовласый джентльмен, возглавлявший многолюдную экспедицию, весь надулся, словно в знак протеста против того, что и его причислили к жалким бездельникам. Не успел художник кончить свою речь, как он заговорил, с величественным апломбом человека, привыкшего руководить, и лишь на время уклонившегося от этой почетной обязанности.

Обращаясь к монаху, он выразил мнение, что жизнь здесь, на вершине горы, зимой очень уныла и тягостна.

Монах согласился с мсье, что эта жизнь не отличается разнообразием. В течение долгих зимних месяцев трудно дышать. Холода очень суровые. Нужно быть молодым и здоровым, чтобы переносить все это. Но когда ты молод и здоров, то с благословения божьего...

— Да, да, все это понятно. Но жить взаперти все-таки тяжело,— заметил седовласый джентльмен.

Так ведь и в самую ненастную пору выдаются дни, когда можно выйти погулять. Монахи обычно протаптывают дорожки в снегу и ходят по ним для моциона.

— А пространство,— не унимался седовласый джентльмен.— Такое тесное. Такое — кха — замкнутое.

Мсье упускает из виду, что приходится еще наведываться в убежища, и туда тоже проложены в снегу тропки.

Но мсье стоял на своем: все-таки пространство уж очень — кха-кхм — ограниченно. И потом — всегда видишь перед собой одно и то же, одно и то же.

Монах слегка пожал плечами, с тонкой улыбкой. Это, конечно, справедливо, но он хотел бы заметить, что очень

многое тут зависит от точки зрения. Мсье и он смотрят на скучную здешнюю жизнь с разных точек зрения. Мсье никогда не приходилось жить взаперти.

— Мне — кха — да, само собой разумеется,— отвечал седовласый джентльмен. Он был, казалось, сражен силой этого довода.

Мсье, как английский турист, располагает всем, что может сделать путешествие приятным; у него есть деньги, экипажи, прислуга...

Да, да, без сомнения. Именно так,— подтвердил джентльмен.

Мсье, разумеется, трудно войти в положение человека, который не властен сказать себе: завтра я пойду туда, а послезавтра — сюда, эта преграда мне мешает, так я обойду ее, мне здесь тесно, так я выйду туда, где просторнее. И мсье, вероятно, не представляет себе, что ко всему можно приспособиться, если необходимость заставит.

— Вы правы,— сказал мсье.— Но — кха — довольно об этом. То, что вы сказали, совершенно — кхм — верно; я в этом не сомневаюсь. И вопрос исчерпан.

Так как ужин пришел к концу, он с этими словами поднялся и передвинул свой стул на прежнее место у камина. Другие гости тоже поспешили выйти из-за стола, где было очень холодно, и рассесться поближе к огню, чтобы их хорошенько припекло перед сном. Монах, исполнявший обязанности хозяина, отвесил поклон, пожелал всем покойной ночи и удалился. Но общительный путешественник успел шепнуть ему, что недурно бы получить подогретого вина, что тут же и было обещано. Вскоре вино принесли, и виновник затеи, усевшись в центре кружка, перед самым камином, принялся наполнять стаканы.

Младшая из двух молодых девиц сидела молча в своем темном уголке (лампа коптила и почти не давала света, так что освещено было только небольшое пространство перед камином) и внимательно прислушивалась к тому, что говорилось о занемогшей путешественнице. Когда все занялись вином, она встала и потихоньку выскользнула из комнаты. Прикрыв за собой дверь, она помедлила в замешательстве, не зная, в какую сторону идти; но после недолгих блужданий по гулким коридорам набрела на помеще-

ние в конце главной галереи, где ужинали слуги. Здесь ей дали лампу и рассказали, как найти комнату больной.

Нужно было подняться по главной лестнице в верхний этаж. Голые, беленые стены кой-где были прорезаны окнами, забранными железной решеткой, и от этого монастырь казался ей похожим на тюрьму. Стрельчатая дверь комнаты или кельи, где поместили больную, была притворена неплотно. Она постучала раз, другой, третий, но, не дождавшись ответа, осторожно толкнула дверь и заглянула в комнату.

Дама лежала с закрытыми глазами на постели, под целой грудой одеял и пледов, которыми ее укутали, когда она очнулась от обморока. В углу подоконника стояла лампочка, но ее слабый, мерцающий огонек не мог разогнать тьму, сгустившуюся под сводами. Девушка нерешительно приблизилась к постели и спросила шепотом:

— Вам лучше?

Больная дремала, и этот тихий шепот не разбудил ее. Девушка постояла у постели, внимательно вглядываясь в спящую.

— Как хороша,— прошептала она еле слышно.— Я никогда не видела такого красивого лица. И как не похожа на меня!

Последнее замечание могло показаться странным, но, видно, в нем был какой-то странный смысл, потому что на глазах у девушки выступили слезы.

— Я знаю, что угадала. Это о ней он говорил в тот вечер. Я могла бы ошибиться в чем угодно, только не в этом, только не в этом.

Она нежно и бережно отвела прядь волос, упавшую на лицо спящей, потом дотронулась до ее руки, которая лежала поверх одеял.

— Мне приятно смотреть на нее,— сказала она про себя.— Приятно видеть то, что так пленило его.

Она хотела убрать руку, но в эту минуту спящая открыла глаза и вздрогнула от неожиданности.

— Ради бога, не пугайтесь. Я одна из путешественниц, прибывших вместе с вами. Я пришла узнать, как вы себя чувствуете и не могу ли я чем-нибудь помочь вам.

— Вы, кажется, уже были так любезны, что прислали мне свою горничную.

— Нет, это моя сестра, а не я. Но скажите, вам лучше?

— Гораздо лучше. Я ушиблась при падении, но не сильно, и сейчас, когда я полежала и согрелась, все уже почти прошло. Просто когда мы там ждали ужина, у меня вдруг закружилась голова и я потеряла сознание. Боль была и раньше, но тут она как-то сразу меня одолела.

— Можно, я посижу с вами, пока кто-нибудь не придет? Вам это не помешает?

— Напротив, буду очень рада, одной так тоскливо. Но я боюсь, как бы вы не озябли, здесь очень холодно.

— Я не боюсь холода. Я не такая хрупкая, как может показаться на вид.— Она проворно пододвинула к постели грубо сколоченный табурет (два таких табурета стояло в комнате) и села. Больная не менее проворно стянула с себя один из теплых дорожных пледов, накинула его на гостью и, чтобы он не свалился у той с плеч, обняла ее одной рукой.

— Вы так похожи на добрую, заботливую сиделку,— улыбаясь, сказала дама,— что мне кажется, будто вас ко мне прислали из дому.

— Я очень рада, если так.

— Я задремала, и мне снился дом. Старый мой дом, где я жила, когда еще не была замужем.

— И когда не уезжали так далеко.

— Мне случалось уезжать и дальше; но тогда то, что мне всего дороже в этом доме, было со мной, и тосковать было не о чем. А сейчас, оставшись одна в этой комнате, я немножко затосковала, вот мне и привиделся такой сон.

Грустная нежность и что-то похожее на сожаление слышались в ее голосе, и гостья, чувствуя это, старалась смотреть в сторону.

— Странно, что случай в конце концов свел нас вместе, и так даже близко, под одной шалью,— после некоторого молчания сказала девушка.— Я ведь, думается мне, давно уже ищу встречи с вами.

— Вы ищете встречи со мной?

— У меня есть записка, которую я должна была передать вам, если мы повстречаемся. Вот она. Или я очень ошиблась, или она адресована вам. Да?

Дама взяла записку, сказала «да!» и стала читать.

Гостья не сводила с нее глаз, пока она не дочитала до конца. В записке стояло всего несколько строчек. Дочитав, дама слегка покраснела, поцеловала гостью и крепко сжала ей руку.

— Он пишет, что милая, добрая девушка, которую он рекомендует мне этим письмом, может когда-нибудь стать для меня поддержкой и утешением. Что ж, так оно и случилось — при первом же знакомстве.

— Я не знаю,— нерешительно сказала гостья,— я не знаю, известна ли вам моя история? Он вам никогда ее не рассказывал?

— Нет.

— Я так и думала. Но сама я не вправе рассказать ее вам сейчас, потому что меня очень просили не делать этого. В ней нет ничего особенного, просто вы бы тогда поняли, почему я должна просить вас не упоминать здесь об этой записке. Вы видели моих родных? Кое-кто из них — я в этом признаюсь только вам — не чужд некоторой гордости, некоторых предрассудков.

— Знаете что,— сказала дама,— вы лучше возьмите письмо назад, чтобы оно не попалось на глаза моему мужу. А то, если он о нем узнает, то может как-нибудь невзначай проговориться. Спрячьте его снова у себя на груди, так будет вернее.

Гостья с величайшей осторожностью спрятала письмо. Ее маленькая, тонкая ручка еще держала его за уголок, когда в коридоре послышались чьи-то шаги.

— Я обещала,— сказала гостья, вставая,— написать ему после того, как мы с вами встретимся (ведь мы должны были встретиться, рано или поздно), и рассказать, здоровы ли вы, счастливы ли. Я, пожалуй, напишу, что вы здоровы и счастливы.

— Да, да, да! Напишите, что я вполне здорова и вполне счастлива. И что я от всего сердца благодарна ему и никогда его не забуду.

— Ну, мы еще увидимся утром. И наверно не в последний раз. Доброй ночи!

— Доброй ночи! Благодарю вас, благодарю за все. Доброй ночи, дорогая моя!

Прощанье вышло торопливым и взволнованным, и так же торопливо и взволнованно гостья покинула комнату.

Она ожидала встретить за дверью мужа своей новой приятельницы, но по темному коридору шел не он, а его спутник, тот, что хлебной корочкой вытирал с усов капли вина. Он уже прошел мимо и удалялся, но, заслышав за собой шаги, круто обернулся назад.

По своей чрезвычайной галантности этот джентльмен никак не мог допустить, чтобы молодая барышня одна спускалась с лестницы, да еще сама освещала себе путь. Взяв у нее из рук лампу и подняв так, чтобы как можно больше света ложилось на каменные ступени, он пожелал проводить ее до места. Она шла за ним, с трудом скрывая неприятное чувство, которое всем своим обликом вызывал в ней этот человек. Еще до ужина, глядя на него из своего темного уголка, она мысленно представляла его себе среди знакомых ей лиц и обстановки, и мало-помалу ею овладевало отвращение, граничившее с ужасом.

Он галантно довел ее до общей комнаты, и сам, войдя следом, уселся на свое прежнее место — самое удобное место перед камином. Озаренный неверными отсветами догорающего пламени, он спокойно допивал вино, протянув к камину ноги, а чудовищная тень, колыхавшаяся на стене и потолке, передразнивала все его движения.

Все уже разошлись по своим комнатам, чувствуя усталость, и только отец молодой девушки дремал на стуле у огня. Общительный путешественник не поленился сходить наверх, чтобы принести свою дорожную фляжку с бренди. Так по крайней мере он объяснил седовласому джентльмену и его дочери, вылив содержимое фляжки в оставшееся вино, и с наслаждением потягивая эту смесь.

— Позвольте полюбопытствовать, сэр, вы в Италию держите путь?

Седовласый джентльмен, стряхнув с себя дремоту, собирался уходить. Он ответил утвердительно.

— И я также,— сказал путешественник.— Надеюсь, я буду иметь удовольствие засвидетельствовать вам свое почтение в более мягком климате и среди более веселых картин природы, чем здесь, на этой мрачной горе.

Седовласый джентльмен поклонился, довольно, впрочем, холодно, и сказал, что весьма польщен.

— Мы, люди благородные, но бедные, сэр,— продолжал путешественник, вытирая рукой усы, которые он обмочил в своей смеси вина с бренди,— мы, люди благородные, но бедные, лишены возможности путешествовать с княжеской роскошью, но это не мешает нам ценить все, что украшает жизнь. Ваше здоровье, сэр!

— Благодарю за любезность, сэр.

— Здоровье вашего уважаемого семейства — ваших прелестных дочерей!

— Еще раз благодарю за любезность, сэр. Позвольте пожелать вам спокойной ночи. Дитя мое, что, наши — кха — люди здесь?

— Они нас ждут, отец.

— С вашего разрешения! — воскликнул путешественник, услужливо распахнув двери перед седовласым джентльменом, который, опираясь на руку дочери, шел к выходу.— Желаю хорошо отдохнуть! До новой приятной встречи! Да завтрашнего утра!

При этих словах, сопровожденных изящнейшим жестом приветствия и любезнейшей улыбкой, молодая девушка вся сжалась, словно боялась ненароком коснуться его, проходя мимо.

— Черт возьми! — оставшись один, пробормотал общительный путешественник, уже без сладости в голосе и без улыбки на лице.— Все пошли спать, придется и мне идти. И куда они так торопятся! Здесь, в этой глуши, в этом ледяном безмолвии, ночь покажется достаточно долгой, даже если лечь на два часа позже.

Он запрокинул голову, допивая свой стакан, и тут его взгляд упал на книгу записи проезжающих, лежавшую на фортепьяно. Она была раскрыта, а перья и чернила, стоявшие рядом, указывали на то, что вновь прибывшие расписались в ней совсем недавно — должно быть, во время его отлучки. Он придвинул книгу к себе и прочел:

Уильям Доррит, эсквайр Фредерик Доррит, эсквайр Эдвард Доррит, эсквайр Мисс Доррит Мисс Эми Доррит Миссис Дженерал.	с сопровождающими из Франции в Италию.

Мистер и миссис Генри Гоуэн. Из Франции в Италию.

Взяв перо, он вывел внизу мелкими затейливыми буквами с длинным росчерком, который, точно лассо, обвился вокруг остальных имен:

Бландуа. Париж. Из Франции в Италию.

Потом, с какой-то странной усмешкой, от которой усы его вздернулись кверху, а нос загнулся книзу, он захлопнул книгу и отправился спать.

ГЛАВА II
Миссис Дженерал

Необходимо теперь представить читателю сверхдостойную даму, занимавшую при семействе Доррит столь видное положение, что ей была уделена отдельная строка в книге для записи проезжающих.

Миссис Дженерал была дочерью духовного лица и жила в небольшом провинциальном городке, где она задавала тон, покуда не приблизилась к сорокапятилетнему возрасту настолько, насколько это позволительно для незамужней особы. Об эту пору некий интендантский чиновник, лет шестидесяти, сухарь и педант, пленился той уверенностью, с какой она правила упряжкой светских приличий, указывая путь всему местному обществу, и пожелал удостоиться чести воссесть с нею рядом на подушках кабриолета, который названная упряжка везла по дороге хорошего тона. Предложение было принято, чиновник с большой помпой взгромоздился на сиденье, а миссис Дженерал продолжала править и правила до самой его смерти. За это время под колесами супружеского экипажа успело погибнуть несколько неосторожных, пытавшихся перебежать Приличиям дорогу; но их переехали с соблюдением всех правил и без вульгарной суетливости.

Предав интендантские останки земле с подобающей случаю торжественностью (катафалк везла вся четверня Приличий с траурными султанами и в черных бархатных попонах, украшенных гербами покойного), миссис Дженерал заинтересовалась количеством праха и пепла, остав-

шихся в банковских подвалах. И тут обнаружилось, что интендантский чиновник попросту обманул в свое время доверие невинной девы, скрыв от нее то обстоятельство, что весь его достаток заключался в пожизненной ренте, приобретенной за несколько лет до свадьбы, и представив дело так, будто он живет на проценты с капитала. Вследствие этого средства миссис Дженерал оказались настолько несоответствующими ее расчетам, что лишь отлично дисциплинированный разум помешал ей подвергнуть сомнению то место в заупокойной службе, согласно которому интендантский чиновник ничего не мог унести с собой в могилу.

Создавшееся положение навело миссис Дженерал на мысль, что она могла бы заняться «шлифованием ума» и усовершенствованием манер какой-нибудь юной девицы благородного происхождения. Или же впрячь свою четверню в карету богатой наследницы, либо вдовы, с тем, чтобы твердой рукой вести этот экипаж по лабиринту общественной жизни. Мысль эта встретила столь бурное сочувствие у родственников миссис Дженерал, как по клерикальной, так и по интендантской линии, что не обладай названная дама такими незаурядными достоинствами, можно было бы заподозрить их в желании от нее отделаться. Со всех сторон хлынули волной рекомендательные письма, за весьма внушительными подписями, изображавшие миссис Дженерал чудом благочестия, премудрости, добродетели и благородства манер; один почтенный архидиакон даже прослезился, составляя перечень ее совершенств (со слов лиц, на которых можно положиться), хоть ни разу в жизни в глаза ее не видел.

Почувствовав за собой, таким образом, поддержку Церкви и Государства, миссис Дженерал решила не сдавать привычных позиций и сразу же назначила на себя отменно высокую цену. Довольно долго никакого спроса на миссис Дженерал не было. Наконец некий вдовый помещик, имевший четырнадцатилетнюю дочь, вступил в переговоры с почтенной дамой; но поскольку из природной гордости — а может быть, из тактических соображений — миссис Дженерал держала себя так, как будто не она ищет, а ее ищут, вдовцу пришлось потратить немало усилий, чтобы склонить миссис Дженерал заняться шлифованием ума и манер его дочери.

На выполнение этой задачи у миссис Дженерал ушло около семи лет, в течение которых она объездила Европу и повидала весь пестрый ассортимент вещей и явлений, на который положено посмотреть каждому светски образованному человеку, причем не собственными глазами, а чужими. Когда ум и манеры ее воспитанницы почти достигли совершенства, помещик собрался не только выдать замуж дочь, но и жениться сам. Сочтя, ввиду таких обстоятельств, дальнейшее присутствие миссис Дженерал в доме и неудобным и накладным, он вдруг проникся сознанием ее редких достоинств и не хуже архидиакона принялся превозносить упомянутые достоинства всюду, где только мог усмотреть малейший шанс сбыть это неоценимое сокровище с рук — отчего слава миссис Дженерал еще возросла и укрепилась.

Как раз в ту пору, когда этот феникс * стал вновь доступен для тех, у кого дотянулась бы рука до его высокой жердочки, мистер Доррит, лишь недавно вступивший во владение доставшимся ему наследством, уведомил своих банкиров, что желал бы найти пожилую даму, хорошего происхождения и хорошего воспитания, привыкшую вращаться в хорошем обществе, которая могла бы взять на себя завершение образования его дочерей, и сопровождать их при выездах в свет. Банкиры мистера Доррит (они также были банкирами вдового помещика) в один голос сказали: «Миссис Дженерал!»

Ухватившись за путеводную нить, которую дал ему счастливый случай, и ознакомившись с уже известным нам панегириком, составленным дружными усилиями друзей и родственников миссис Дженерал, мистер Доррит тут же отправился в усадьбу вдовца, дабы лично увидеть прославленную матрону. Действительность превзошла все его ожидания.

— Осмелюсь спросить,— сказал мистер Доррит,— каковы будут — кхм — усло...

— Дорогой сэр,— прервала его миссис Дженерал,— я бы предпочла не входить в обсуждение этого предмета. С моими здешними друзьями я его никогда не касалась; и мне весьма трудно преодолеть отвращение, которое внушают мне столь низменные материи. Надеюсь, вы не принимаете меня за какую-нибудь гувернантку...

— Что вы, что вы! — воскликнул мистер Доррит.— Как вы могли допустить такое предположение, сударыня! — Его даже в краску бросило при мысли, что он мог быть заподозрен в чем-либо подобном.

Миссис Дженерал величественно кивнула головой.

— Я не могу расценивать на деньги то, что для меня составляет истинное удовольствие, когда я отдаюсь этому непосредственно, по зову души, и чего никогда не стала бы делать лишь из меркантильного расчета. Кроме того, я сомневаюсь, найдется ли еще где-нибудь подобный пример. Мой случай — исключение.

Бесспорно. Но как же все-таки (не без оснований настаивал мистер Доррит) разрешить этот вопрос?

— Я не возражаю,— сказала миссис Дженерал,— если мистер Доррит (хотя даже и это мне неприятно) конфиденциально справится у моих здешних друзей, какую сумму они имели обыкновение каждые три месяца передавать моим банкирам.

Мистер Доррит поклонился в знак благодарности.

— Позвольте мне добавить,— сказала миссис Дженерал,— что больше я не считаю возможным возвращаться к этой теме. А также предупредить, что какое-либо второстепенное или подчиненное положение для меня неприемлемо. Если мне предстоит честь войти в дом мистера Доррита — у вас, кажется, две дочери?

— Две дочери.

— ...то я войду туда лишь на основах полного равенства — как ментор, спутница и друг.

Мистер Доррит, при всем сознании значительности своей персоны, почувствовал, что она оказывает ему большое одолжение, вообще соглашаясь туда войти. Он даже пробормотал что-то в этом роде.

— Если я не ошибаюсь,— повторила миссис Дженерал,— у вас две дочери?

Две дочери,— снова подтвердил мистер Доррит.

— В таком случае,— сказала миссис Дженерал,— сумма взноса, который мои друзья имели обыкновение делать каждые три месяца (какова бы она ни оказалась) должна быть на одну треть увеличена.

Мистер Доррит, не теряя времени, адресовался к вдовцу за выяснением этого деликатного обстоятельства и,

узнав, что последний имел обыкновение вносить на имя миссис Дженерал триста фунтов в год, вычислил без особого труда, что ему придется вносить четыреста. Но миссис Дженерал была сродни тем предметам с блестящей поверхностью, на которые взглянешь — и кажется, что они стоят любых денег, а потому мистер Доррит тут же формально просил ее позволения отныне считать ее членом своей семьи. Позволение было милостиво дано, и миссис Дженерал перекочевала на новое место.

Наружность миссис Дженерал, включая ее юбки, игравшие тут не последнюю роль, производила внушительное впечатление: всего было много, все шуршало, все казалось массивным и величественным. Держалась она всегда прямо, твердой рукой натягивая бразды Приличий. Она могла бы подняться на вершину Альп и спуститься в недра Геркуланума — что и делала не раз,— не измяв ни единой складочки платья, не переколов ни единой булавки. Если ее лицо и волосы казались присыпанными мукой, словно она жила на какой-то сверхаристократической мельнице, то дело было не в пудре и не в седине, а скорей в ее известковой природе. Если ее глаза смотрели без всякого выражения, то это потому, что, должно быть, им нечего было выражать. Если на лбу у нее почти не было морщин, то это потому что его никогда не бороздил отпечаток какой-либо мысли. Холодная, восковая, потухшая женщина — которая, впрочем, никогда не светила и не грела.

У миссис Дженерал не было собственных мнений. Ее метод шлифования ума заключался в том, чтобы уничтожать способность к собственным мнениям. В голове у нее было устроено нечто вроде замкнутой железнодорожной колеи, по которой кружили маленькие поезда чужих мнений, никогда не сталкиваясь и никогда друг друга не перегоняя. При всей своей приверженности к приличиям она не могла бы отрицать, что не все так уж прилично в этом мире; но у миссис Дженерал был свой способ отделываться от непорядков; она поворачивалась к ним спиной и делала вид, что их нет. Это входило в ее систему шлифования ума — все затруднительное затолкать подальше в ящик, запереть на ключ и сказать, что этого не существует. Самый легкий выход и безусловно самый удобный.

В разговоре с миссис Дженерал нужно было избегать всего, что могло ее шокировать. Несчастья, горести, преступления — все это были запретные темы. Страсть должна была замирать в присутствии миссис Дженерал, а кровь — превращаться в воду. А то, что за вычетом всего упомянутого еще оставалось в мире, миссис Дженерал почитала своей обязанностью покрывать густым слоем лака. Обмакнув самую маленькую кисточку в самую большую банку, она покрывала лаком поверхность каждого предмета, который предлагала вниманию своих воспитанниц. Чем больше трещин было на этом предмете, тем усерднее миссис Дженерал его лакировала.

Лак был в голосе миссис Дженерал, лак был в каждом ее прикосновении, лак источала, казалось, вся ее особа. Даже сны ей снились лакированные — если только она видела сны, покоясь в объятиях святого Бернара, под его гостеприимной кровлей, укрытой пушистым снегом.

ГЛАВА III

В пути

Яркое утреннее солнце слепило глаза, вьюга утихла, туман рассеялся, и в горном воздухе, теперь легком и чистом, дышалось так свободно, словно наступила совсем другая, новая жизнь. В довершение иллюзии твердая почва под ногами как будто растворилась, и гора, сверкающее нагромождение белых глыб и круч, казалось, парила между лазурным небом и землей, точно гигантское облако.

От ворот монастыря тоненькой ниточкой вилась вниз по склону тропка, то и дело обрываясь в снегу, и небольшие пятнышки, черневшие там и сям, словно узелки на нитке, указывали места, где трудились монахи, расчищавшие путь. Снег у входа уже снова подтаивал, истоптанный множеством ног. Из конюшни выводили мулов, привязывали к кольцам, ввинченным в стену, и снаряжали в дорогу: надевали сбрую с колокольчиками, прилаживали вьюки; звенели, разносясь далеко кругом, голоса погонщиков и верховых. Кое-кто, встав спозаранку, уже тронулся в путь; на плато за небольшим озером, синевшим у стен

монастыря, и вдоль склона, по которому накануне поднимались наши путешественники, двигались фигурки людей и животных, казавшиеся крохотными среди необъятного снежного простора, и мелодичная перекличка голосов и колокольчиков затихала вдали.

В комнате, где путешественники ужинали накануне, уже весело потрескивал огонь, разведенный поверх вчерашнего пепла, и его отблески озаряли скромный завтрак, состоявший из хлеба, масла и молока. Озаряли они и дорритовского курьера, который приготовлял для своих господ чай и закуску, пользуясь провизией, захваченной в дорогу вместе с припасами для пропитания громоздкой свиты. Мистер Гоуэн и Бландуа из Парижа уже позавтракали и прогуливались у озера, куря сигары.

— Ага, его фамилия Гоуэн,— проворчал Тип, он же Эдвард Доррит, эсквайр, листая книгу записи проезжающих, покуда все семейство рассаживалось за столом.— Ну, так этот Гоуэн — ничтожный фат, если угодно знать мое мнение! Я бы его проучил, да только руки пачкать не хочется. И счастье его, что мне этого не хочется. Как его жена, Эми? Ты ведь, наверно, знаешь. Без тебя в таких делах не обходится.

— Ей лучше, Эдвард. Но они не едут сегодня.

— Не едут сегодня? Ну, везет этому субъекту,— сказал Тип.— Он бы от меня так дешево не отделался.

— Решили, что ей сегодня не стоит трястись в седле и лучше, если она денек полежит в постели и отдохнет.

— Правильно решили. Но ты говоришь так, как будто ухаживала за ней. Уж не взялась ли ты (ничего, миссис Дженерал здесь нет) — уж не взялась ли ты за старое, Эми?

Задавая этот вопрос, он лукаво скосил глаза на отца и мисс Фанни.

— Я только заходила узнать, не могу ли я чем-нибудь помочь, Тип,— отвечала Крошка Доррит.

— Тебя ведь просили не называть меня Типом, Эми,— сказал молодой человек, недовольно нахмурясь,— никак ты не отстанешь от этой привычки.

— Я, право, не нарочно, Эдвард, милый. Я забыла. Ведь прежде мы всегда тебя так звали, вот это имя и сорвалось у меня с языка само собой.

— Да, да, конечно! — вмешалась мисс Фанни.— Прежде и всегда и само собой — опять старая песня! Все это вздор, сударыня! Я отлично знаю, отчего вы принимаете такое участие в этой миссис Гоуэн. Меня не обманешь.

— Я и не хочу обманывать тебя, Фанни. Не сердись.

— Легко сказать не сердись! — вскричала старшая сестра, передернув плечами.— Да у меня просто терпения не хватает! (Это вполне соответствовало истине.)

— Фанни, душа моя,— откликнулся мистер Доррит, округляя брови.— Что ты хочешь сказать? Объяснись, прошу тебя.

— Ничего особенного, папа,— отвечала мисс Фанни.— Можете не беспокоиться. Эми меня отлично понимает. Она знала эту миссис Гоуэн раньше, по крайней мере с чужих слов, и нечего ей скрывать это.

— Дитя мое,— сказал мистер Доррит, повернувшись к младшей дочери,— есть ли у твоей сестры — кха — основания для того, чтобы утверждать столь странные вещи?

— При всей нашей сердечной доброте,— продолжала Фанни, не дав сестре ответить,— мы не стали бы где-то в поднебесье пробираться в чью-то комнату и мерзнуть у чьей-то постели, если б этот кто-то был нам совершенно незнаком. Нетрудно догадаться, с кем состоит в дружбе миссис Гоуэн.

— С кем же? — спросил отец.

— Мне грустно говорить это, папа,— отвечала мисс Фанни, которой к этому времени уже удалось ценой немалых усилий почувствовать себя жертвой несправедливости и обиды,— но, по моему глубокому убеждению, она состоит в дружбе с тем весьма и весьма неприятным господином, который, вопреки нашим законным ожиданиям, намеренно и открыто оскорбил наши чувства в обстоятельствах, о которых мы условились не вспоминать более подробно.

— Эми, дитя мое,— сказал мистер Доррит ласково, но не без оттенка отеческой строгости,— это верно?

Крошка Доррит тихо отвечала, что это верно.

— Еще бы не верно! — воскликнула мисс Фанни.— Я в этом и не сомневалась! Так вот, папа, раз и навсегда заявляю вам (эта молодая особа имела обыкновение раз и навсегда заявлять одно и то же каждый день, а то и по нескольку раз в день) — что это стыд и срам. Раз навсегда

заявляю вам, что пора положить этому конец. Довольно, кажется, что нам пришлось испытать то, о чем знаем только мы одни; так нет, нам еще упорно и настойчиво тычут это в лицо, и кто же — та, кому особенно следовало бы щадить наши чувства! Неужели мы всю жизнь обречены терпеть эти противоестественные выходки? Неужели нам никогда не дадут забыть? Я сказала и повторяю, это просто возмутительно!

— В самом деле, Эми,— качая головой, вступил в разговор мистер Эдвард.— Ты знаешь, я почти всегда держу твою сторону, если только возможно. Но, черт возьми, должен сказать, это на мой взгляд довольно странное выражение сестринской любви — водиться с человеком, который самым недостойным образом поступил с твоим братом. И который вообще, судя по его поступкам,— темная личность,— добавил он убежденным тоном.

— А подумали вы, к чему все это может привести? — снова заговорила мисс Фанни.— Как после этого ожидать уважения от прислуги? Невозможно! У нас две горничных, камердинер для папы, лакей, курьер, не знаю кто еще — а зачем, спрашивается, мы их держим, если одна из нас сама бегает со стаканом воды, как простая служанка. Да постовой полисмен не бросится так к бродяге, с которым на улице сделался припадок, как эта самая Эми бросилась вчера в этой самой комнате к этой самой миссис Гоуэн,— с негодованием заключила мисс Фанни.

— Уж это бы куда ни шло, один раз, в виде исключения,— сказал мистер Эдвард,— но вот ваш Кленнэм, как ему угодно называть себя,— совсем особый вопрос.

— Нет, это все тот же вопрос,— возразила мисс Фанни.— Одно вытекает из другого. Начать с того, что он сам, без спросу, навязался к нам. Мы его не звали. Я по крайней мере всегда давала ему понять, что весьма охотно обошлась бы без его общества. Затем он грубейшим образом оскорбил наши чувства, единственно потому, что ему приятно было сделать из нас посмешище,— а теперь вот мы должны унижаться ради его друзей! Меня больше не удивляет и вчерашнее поведение мистера Гоуэна с тобой, Эдвард. Чего ж еще ждать от человека, который знает о наших прошлых несчастьях и наверно радуется им — быть может, даже в эту самую минуту!

— Нет, нет, отец, Эдвард, это не так! — воскликнула Крошка Доррит.— Ни мистер, ни миссис Гоуэн никогда не слышали нашего имени. Они ничего о нас не знали и не знают.

— Тем хуже! — отрезала Фанни, не желая признавать никаких смягчающих обстоятельств.— Тогда тебе и вовсе нет оправдания. Если б они что-нибудь знали, тебе могло вздуматься, что нужно как-то расположить их к себе. Это было бы нелепое и смешное заблуждение, но заблуждение еще можно извинить, а сознательного намерения унизить тех, кто нам должен быть всех ближе и дороже, извинить нельзя. Нет. Никак нельзя. Это можно только осудить.

— Я никогда тебя сознательно не огорчаю, Фанни,— сказала Крошка Доррит,— хотя ты очень сурова ко мне.

— В таком случае надо лучше следить за собой, Эми,— отвечала старшая сестра.— Раз у тебя помимо воли так получается, надо лучше за собой следить. Если бы я родилась и выросла в таком месте, где может притупиться чувство приличия, я, вероятно, на каждом шагу спрашивала бы себя: а не компрометирую ли я, по неведению, своих родных и близких. Вот как, вероятно, поступила бы я при подобных обстоятельствах.

Тут мистер Доррит счел за благо своим авторитетным и мудрым вмешательством прекратить этот тягостный разговор, но в то же время извлечь из него мораль.

— Дитя мое,— сказал он, обращаясь к младшей дочери,— прошу тебя — кха — не спорь больше. Твоя сестра Фанни выражается несколько резко, но по существу она права. От тебя теперь требуется — кхм — быть на высоте занимаемого положения. Тем более, что это не твое личное положение, но также и — кхм — мое, и — кха-кхм — наше. Наше. Когда люди занимают высокое положение, нужно, чтобы их уважали. Нужно, чтобы они умели заставить уважать себя, и для нашей семьи это особенно важно, по причинам, о которых — кхм — нет надобности распространяться. А добиться уважения от подчиненных можно только, если — кха — держать их на расстоянии, и — кхм — смотреть на них сверху вниз. Сверху вниз. Поэтому нельзя ни в коем случае давать прислуге повод к пересудам, показывая, что тебе случалось обходиться без ее помощи и самой что-то делать для себя.

— Ясно как божий день! — вскричала мисс Фанни.— В том-то все и дело.

— Фанни,— величественно произнес отец,— я просил бы не мешать, дитя мое. Итак, теперь о — кха — о мистере Кленнэме. Прежде всего хочу заметить тебе, Эми, что я не разделяю, верней — кхм — не вполне — да, не вполне разделяю чувства твоей сестры по отношению к этому господину. Я склонен рассматривать мистера Кленнэма как человека — кхм — в общем неплохого. Кхм. Именно неплохого. Не будем также разбирать сейчас, навязался он к нам или не навязался. Ему было известно, что многие — кхм — ищут моего общества, и он мог бы сослаться на то, что видел во мне лицо до некоторой степени официальное. Но есть обстоятельства, связанные с нашим довольно поверхностным знакомством (мы ведь, в сущности, были очень мало знакомы), в силу которых,— тут мистер Доррит принял важный и внушительный вид,— было бы весьма неделикатно со стороны мистера Кленнэма пытаться — кха — возобновить сношения со мной или с кем-либо из моих домашних в настоящее время. Если мистер Кленнэм достаточно деликатен, чтобы понять, насколько неуместны подобные попытки, я, как истинный джентльмен — кха — сочту своим долгом оценить его деликатность. Если он недостаточно деликатен и не понимает этого, я не вижу для себя возможности — кха — вступать в общение со столь грубой и нечуткой натурой. В любом случае совершенно очевидно, что мистер Кленнэм нам не компания, и ни у нас с ним, ни у него с нами нет и не может быть ничего общего. А! Вот и миссис Дженерал.

Водворение за столом почтенной дамы, чей приход возвестил мистер Доррит, положило конец спорам. А немного спустя курьер явился доложить, что лакей, камердинер, обе горничные, все четыре проводника и все четырнадцать мулов готовы тронуться в дорогу; и путешественники, встав из-за стола, поспешили вниз, чтобы примкнуть к кавалькаде, собиравшейся у монастырских ворот.

Мистера Гоуэна с его сигарой и с его карандашом не было видно, зато мсье Бландуа был тут как тут, явившись пожелать счастливого пути дамам. Когда он галантно снял свою мягкую шляпу перед Крошкой Доррит, его укутанная плащом фигура, темневшая среди снегов, показалась ей

еще более зловещей, чем вчера, в отсветах огня. Но, видя, как благосклонно принимают его приветствия отец и сестра, она остереглась выказать свою неприязнь из страха, как бы и в этом не усмотрели досадного изъяна, которым ее наделила тюрьма.

И все же, когда цепочка мулов вновь зазмеилась по неровному склону, она то и дело, пока был виден монастырь, оглядывалась назад — и всякий раз глаза ее встречали мсье Бландуа; он стоял на высокой круче, выделяясь на фоне дыма, в золотистом сиянии отвесно поднимавшегося вверх из монастырских труб, и пристально смотрел им вслед. Уже расстояние превратило его в маленький черный колышек на снегу, а ей все казалось, что она видит эту двусмысленную усмешку, этот нос с горбинкой, эти слишком близко посаженные глаза. И даже после того как монастырь скрылся из виду и легкие утренние облака заволокли перевал, поднятые руки деревянных скелетов у дороги словно указывали ей на него, на Бландуа из Парижа.

Но по мере того как они спускались к благодатным предгорьям, образ этого человека, более коварного, чем снег, с душой еще холоднее и притом неспособной таять, постепенно изгладился из ее памяти. Снова грело солнце, снова приятно освежала вода горных потоков, рожденных среди льдов и снегов, снова вокруг были сосны, журчащие по камням речки, зеленые холмы и долины, деревянные шале и зубчатые изгороди Швейцарии. Дорога теперь местами расширялась настолько, что Крошка Доррит могла ехать рядом с отцом. Она смотрела, как он сидит на своем муле, в дорогой шубе, крытой тонким сукном, свободный, богатый, окруженный многочисленной челядью, как взгляд его без помехи скользит по красотам природы, которых не омрачает никакая безобразная тень,— и счастье переполняло ее сердце.

Дядюшка Фредерик уже настолько освободился от зловещей тени, что носил заказанное для него платье, время от времени совершал омовения, как некий жертвенный обряд во славу семьи, и ехал туда, куда его везли, с выражением тихого, животного удовольствия, позволявшим заключить, что свежий воздух и перемена обстановки идут ему на пользу. Во всем остальном — за одним исключением — он лишь отражал свет, исходивший от его брата. Величие,

свобода, богатство последнего, пышность и блеск его существования — все это радовало Фредерика безотносительно к себе самому. Молчаливый и смиренный, он почти не раскрывал рта, предпочитая слушать речи брата, не требовал никаких услуг, довольствуясь тем, что брата ублажают со всех сторон. Единственная перемена, которую можно было заметить в его поведении, касалась младшей племянницы. Он относился к ней с день ото дня растущим уважением, с каким редко старики относятся к молодым, и в то же время словно подчеркивал, что иначе и быть не может. Во всех тех случаях, когда мисс Фанни считала нужным заявить раз и навсегда, он тут же находил повод обнажить свою седую голову перед младшей племянницей или подсаживал ее в карету, или помогал выйти из кареты, словно так или иначе спешил выказать ей внимание, причем самое почтительное. И никто бы не счел его поведение неуместным или вынужденным, настолько это делалось просто, непосредственно и от души. Даже по просьбе брата он никогда не согласился бы сесть или войти куда-нибудь раньше нее. Ревниво следил он за тем, чтобы и другие оказывали ей почтение, и при спуске с Большого Сен-Бернара так распалился гневом на лакея, который не подержал ей стремя, хотя был рядом, что, ко всеобщему несказанному изумлению, пустил своего мула на нерадивого слугу, загнал его в угол и пригрозил затоптать насмерть.

Они составляли весьма многочисленную партию, и хозяева гостиниц только что не молились на них. Первым прибывал на место курьер, чтобы велеть приготовить парадные комнаты, и все уже знали наперед, что едут важные гости. Курьер был герольдом семейного кортежа. За ним следовала большая дорожная карета, в которой ехали внутри: мистер Доррит, мисс Доррит, мисс Эми Доррит и миссис Дженерал; на запятках несколько слуг, а на козлах, рядом с кучером, Эдвард Доррит, эсквайр (в хорошую погоду). За каретой — тарантас с Фредериком Дорритом, эсквайром, и пустым местом для Эдварда Доррита, эсквайра (на случай дурной погоды). За тарантасом — фургон с остальной прислугой, громоздкой кладью и всей грязью и пылью из-под колес передних экипажей.

Сейчас все это украшало собой двор гостиницы в Мартиньи, куда семейство вернулось из своего путешествия в

горы. Стояли там и другие экипажи (проезжающих в эту пору было много), от потрепанной итальянской vettura — нечто вроде английских ярмарочных качелей, поставленных на деревянный лоток с колесами и прикрытых другим деревянным лотком без колес,— до щегольской английской коляски. Но ко всем этим украшениям прибавилось еще одно, на которое никак не рассчитывал мистер Доррит. Двое посторонних путешественников украсили собой одну из его комнат.

Хозяин гостиницы со шляпой в руке стоял посреди двора перед курьером и клял себя на чем свет стоит, твердя, что он в отчаянии, что он готов провалиться сквозь землю, что он жалкая, несчастная скотина, что у него чурбан на плечах вместо головы. Конечно же ему не следовало соглашаться, но благородная дама так просила, так умоляла пустить ее в эту комнату всего на полчасика, пообедать, что он не мог устоять. Полчасика уже прошло, дама и ее спутник допивают последний глоток кофе, доедают последний кусочек десерта, счет оплачен, лошади поданы, они сейчас же уедут; кабы не его злосчастная судьба, они бы уже и уехали, да вот, видно, небо решило наказать его за грехи.

Нельзя описать гнев мистера Доррита, когда эти извинения достигли его слуха. Он словно увидел руку убийцы, нанесшую удар достоинству семьи. Мистер Доррит отличался крайней чувствительностью в вопросах семейного достоинства. Малейшее посягновение подобного рода, совершенно незаметное со стороны, не могло от него укрыться. Его жизнь обратилась в сплошную пытку под множеством тончайших скальпелей, рассекавших его достоинство каждый час, каждое мгновенье.

— Я не ослышался, сэр? — спросил мистер Доррит, угрожающе побагровев.— Вы в самом деле — кха — осмелились предоставить одну из моих комнат в распоряжение посторонних лиц?

Тысяча извинений! Хозяин сам себе не может простить, что уступил настояниям благородной дамы. Он умоляет монсеньера не гневаться. Он просит монсеньера о снисхождении. Если монсеньер любезно соблаговолит ровно на пять минут расположиться в другом специально отведенном ему салоне, все уладится.

— Нет, сэр,— вскричал мистер Доррит.— Ни в каком салоне я располагаться не буду. Я тотчас же покину ваш дом, не стану ни есть, ни пить, не переступлю даже порога. Как вы могли позволить себе подобную дерзость? Кто я, по-вашему, что вы — кха — делаете разницу между мной и другими путешественниками?

Боже правый! Да хозяин весь мир готов призвать в свидетели, что монсеньер — самый знатный из всех путешественников, самый выдающийся, самый уважаемый, самый почтенный. Если он и делает какую-либо разницу между монсеньером и остальными, то лишь в том смысле, что монсеньер лучше всех, добрее всех, благородней всех, именитей всех!

— Пустые слова, сэр! — запальчиво возразил мистер Доррит.— Вы оскорбили меня! Вы мне выказали неуважение! Как вы смели? Извольте объяснить!

Увы, что тут объяснять, когда и без того все ясно! Хозяину лишь остается молить о прощении, полагаясь на всем известное великодушие монсеньера!

— Я вам повторяю, сэр,— настаивал мистер Доррит, задыхаясь от ярости,— вы делаете разницу между мною и другими людьми со средствами и с положением; вы поступили со мной так, как с джентльменами не поступают. Спрашивается, почему? Я желаю знать, по какому праву, на каком основании? Отвечайте, сэр. Объяснитесь. Назовите причину.

Хозяин смиренно просит позволения заметить господину курьеру, что монсеньер, всегда такой снисходительный, гневается понапрасну. Никакой причины нет. Господин курьер не откажется убедить монсеньера, что монсеньер ошибается, полагая, будто есть еще какие-то причины, кроме тех, которые его покорнейший слуга уже имел честь ему изложить. Благородная дама...

— Молчать! — крикнул мистер Доррит.— Ни слова больше. Знать не хочу никакой благородной дамы! И вас самого тоже знать не хочу! Вот перед вами семейство — мое семейство,— которое благородней всех ваших дам. Вы отнеслись к этому семейству без должного почтения. Вы оскорбили его. Я вас в порошок сотру! Эй! Пусть подают лошадей, выносят вещи! Ноги моей больше не будет в доме этого человека.



Никто не вмешивался в их спор: Эдвард Доррит, эсквайр, по недостаточному знанию французской разговорной речи, дамы из скромности. Но мисс Фанни под конец не утерпела и присоединила свой негодующий голос к голосу отца, объяснив на родном языке, что, без сомнения, за наглостью хозяина что-то кроется; и очень важно тем или иным способом заставить его сказать, по какому праву он позволил себе отнестись к их семейству не так, как к другим богатым семействам. Какие могли быть к тому причины, она понятия не имеет; но причины были, и необходимо допытаться, в чем тут дело.

На шум спора сбежались со всего двора проводники, погонщики мулов, просто зеваки, и вся эта толпа пришла в большое волнение, когда курьер приказал выкатывать экипажи мистера Доррита. Нашлось не меньше десятка помощников на каждое колесо, с участием которых это и было исполнено среди невообразимого гама; после чего, в ожидании лошадей с почтовой станции, принялись грузить вещи.

Меж тем хозяин, обнаружив, что английская коляска благородной дамы уже запряжена и подана к крыльцу, успел сбегать наверх и рассказать о своей беде. На дворе догадались об этом, увидя, что он спускается с лестницы вместе с дамой и молодым человеком, ее спутником, взволнованно указывая им на мистера Доррита, который стоял в позе оскорбленного величия.

— Прошу извинить,— сказал молодой человек, оставив руку дамы и выходя вперед.— Я не мастер на слова и всякие там объяснения — но вот этой даме очень желательно, чтобы без скандала. Эта дама — моя родительница, собственно говоря,— велела мне передать ее просьбу, чтобы без скандала.

Мистер Доррит, все еще задыхаясь под тяжестью нанесенного ему оскорбления, поклонился молодому человеку и даме с весьма холодным, решительным и непримиримым видом.

— Да нет, в самом деле — ну послушайте хоть вы, милейший! — Это относилось к Эдварду Дорриту, эсквайру, за которого молодой человек поспешил ухватиться, в надежде обрести в нем союзника.— Давайте, право, мы с вами вдвоем уладим это. Родительница очень хочет, чтобы без скандала.

Эдвард Доррит, эсквайр, будучи взят за пуговицу и отведен в сторонку, придал своему лицу дипломатическое выражение и отвечал:

— Но согласитесь, если вы заранее наняли комнаты и знаете, что они ваши, вовсе не так приятно застать в них посторонних людей.

— Правильно,— сказал молодой человек.— Не спорю. Согласен. А все-таки давайте уладим это между собой без скандала. Толстяк тут не виноват, это все моя родительница. Она женщина первый сорт, без всяких там фиглей-миглей — да еще и хорошего воспитания — куда ему против нее. Она его мигом обвела вокруг пальца.

— Ну, если так...— начал Эдвард Доррит, эсквайр.

— Да уж поверьте, именно так. А стало быть,— сказал молодой человек, возвращаясь на исходную позицию,— к чему скандал?

— Эдмунд,— окликнула его с порога дама.— Надеюсь, ты постарался или стараешься объяснить этому джентльмену, что наш милый хозяин не так уж виноват перед ним и его семейством.

— Да уж будьте покойны,— отвечал Эдмунд.— Просто в лепешку расшибаюсь.— Он с минуту испытующе смотрел на Эдварда Доррита, эсквайра, затем, доверительно подмигнув ему, спросил: — Так как же, милейший? Все в порядке?

— А впрочем, пожалуй, лучше,— сказала дама, грациозно делая два или три шага вперед,— пожалуй, лучше мне самой подтвердить, что я пообещала этому доброму человеку взять на себя всю ответственность за то, что в отсутствие хозяев заняла чужую комнату — правда, ненадолго, только чтобы пообедать. Я не ожидала, что законный владелец вернется так скоро, и мне не было известно, что он уже вернулся, иначе я поторопилась бы освободить комнату и принести свои извинения. Полагаю, что теперь...

Тут на глаза даме случайно попались обе мисс Доррит, и она вдруг умолкла, ошеломленная. В тот же миг мисс Фанни, занимавшая передний план в живописной семейной группе на фоне экипажей и прислуги, крепко прижала к себе локоть сестры, чтобы удержать ее на месте, и, раскрыв веер, принялась обмахиваться с самым светским видом, небрежно измеряя даму взглядом.

Дама, быстро овладев собой — ибо это была миссис Мердл, а миссис Мердл не так-то просто было привести в замешательство,— продолжала говорить: она полагает, что теперь, когда она извинилась за свою бесцеремонность, любезному хозяину вновь будет возвращено столь ценное для него расположение. Мистер Доррит, для которого эти слова были как фимиам, куримый на алтаре его достоинства, милостиво отвечал, что готов отменить свое приказание насчет лошадей и больше не вспоминать о том, что представлялось ему — кхм — оскорблением, но что он теперь рассматривает, как — кха — большую честь. Бюст слегка наклонился в ответ на это; а его обладательница, с поистине неподражаемым присутствием духа, подарила сестер обворожительной улыбкой, в знак того, что ей очень понравились эти две молодые девицы из высшего круга, которых она впервые имеет удовольствие видеть.

Иначе обстояло дело с мистером Спарклером. Этот молодой человек утратил дар речи одновременно со своей родительницей, но в отличие от последней никак не мог обрести его вновь, и только молча таращил глаза на всю картину с мисс Фанни в центре. Услышав обращение матери: «Эдмунд, мы можем идти; подай мне руку», он, судя по движению его губ, попытался ответить одной из тех формул, которыми привык выражать свои блестящие мысли, но ни один мускул в нем не дрогнул. Он настолько окаменел, что было бы, вероятно, нелегкой задачей согнуть его, чтобы вдвинуть в коляску, если бы спасительная материнская рука не втащила его изнутри. Как только он там очутился, шторка заднего окошечка в опущенном верхе коляски отодвинулась, и ее место занял глаз мистера Спарклера. Оттуда он и выглядывал с выражением ошарашенной трески, напоминая дрянную картинку в квадратной рамочке, пока коляска не скрылась в отдалении (а может быть, и дольше).

Эта встреча доставила мисс Фанни такое удовольствие и послужила предметом столь приятных размышлений впоследствии, что даже смягчила ее суровость. Когда на следующее утро кортеж снова тронулся в путь, она села на свое место, заметно повеселевшая, и щедро рассыпала блестки остроумия, чем немало озадачила миссис Дженерал.

Крошка Доррит радовалась, что ее ни в чем не упрекают и что Фанни так хорошо настроена; сама она не принимала участия в дорожных разговорах и ехала молча, занятая своими думами. Сидя напротив отца в дорожной карете, она вспоминала убогую комнатку в Маршалси, и ее нынешнее существование казалось ей сном. Все окружавшее ее было ново и прекрасно, но все это было словно не настоящее; казалось, чудесный ландшафт со снежными шапками гор вот-вот развеется, как дым, и карета, круто свернув за угол, остановится у тюремных ворот.

Странно было жить без работы, и еще более странно сидеть в сторонке, ни за кого не тревожиться, ни о чем не хлопотать и не беспокоиться, не сгибаться под тяжестью забот. Но самая большая странность заключалась в том, что она и ее отец были теперь отдалены друг от друга; чужие люди ухаживали за ним и заботились о нем, а она больше не была ему нужна. Поначалу ей очень трудно было к этому привыкнуть — труднее даже, чем к горному пейзажу кругом,— и она противилась, стараясь сохранить свое старое место подле него. Но он однажды поговорил с нею наедине и сказал, что людям — кха — стоящим на высоких ступенях общества, дитя мое, надлежит неукоснительно следить за тем, чтоб низшие относились к ним с уважением; а о каком уважении может быть речь, если станет известно, что она, его дочь, мисс Эми Доррит, один из последних отпрысков рода Дорритов из Дорсетшира, самолично — кха — исполняет обязанности — кха-кхм — лакея. Вот почему, дитя мое, он — кха — пользуясь своим родительским авторитетом, просит ее помнить о том, что она теперь барышня, и держать себя со всем — кха — достоинством, подобающим ее высокому положению, не допуская ничего такого, что могло бы вызвать нежелательные и непочтительные толки. Она повиновалась беспрекословно. Так была отнята у нее последняя опора, еще остававшаяся от той старой жизни, и теперь она сидела в уголке роскошной кареты, праздно сложив на коленях свои маленькие трудолюбивые руки.

Вот отсюда-то и казалось ненастоящим все то, что представлялось ее взгляду; чем волшебнее были разворачивавшиеся перед нею картины, тем больше походили они на те призрачные мечты, что по целым дням заполняли теперь

пустоту ее жизни. Ущелья Симплона *, бездонные пропасти и гремучие водопады, дивная красота дороги, опасные кручи, где довольно было скользнуть колесу или лошади сделать неверный шаг — и гибель была неминуема; спуск в Италию, незабываемый миг, когда расступились скалистые склоны и из темного зловещего плена выпустили их на простор этой прекрасной страны — все это был сон, только мрачная старая тюрьма существовала в действительности. Впрочем, нет, даже мрачная старая тюрьма начинала шататься перед ее мысленным взором, когда она пыталась представить себе Маршалси без ее отца. Трудно было поверить, что по-прежнему слоняются вдоль узкого двора арестанты, по-прежнему заселены все до одной убогие комнатки, по-прежнему стоит у ворот дежурный сторож, впуская и выпуская посетителей — и все идет так же, как шло при нем.

Воспоминание о тюремном прошлом отца не покидало Крошку Доррит, неотвязное, как обрывок грустной мелодии, застрявший в ушах. С ним она пробуждалась ото сна, возвращавшего ее туда, где она родилась, с ним переходила в другой сон, наяву, длившийся весь день. Этот новый сон начинался с комнаты, где она открывала глаза утром (часто это была обветшалая парадная зала пришедшего в запустенье дворца), с ее расписанных фресками стен, зеркальных окон в фестонах по-осеннему красных виноградных листьев, апельсинных деревьев на террасе с потрескавшейся мраморной балюстрадой, толп крестьян и монахов на улице внизу и открывающейся за окном перспективы, где на каждом клочке земли шла борьба нищеты и великолепия, с фатальной неизбежностью кончавшаяся одним и тем же: победой нищеты. Потом эту картину сменял лабиринт галерей и пустынных аркад вокруг квадратного внутреннего дворика, где уже суетились слуги, укладывая багаж и готовя экипажи к новому переезду. Потом следовал завтрак в другой зале с фресками, попорченными плесенью, удручающе огромной и пустой; и, наконец, отъезд, всегда нелегкое испытание для нее, в своей застенчивости опасавшейся оказаться не на высоте этой пышной церемонии. Это происходило так: сперва являлся курьер (в Маршалси он сам считался бы знатным иностранцем) и докладывал, что все готово; затем отцовский камердинер

торжественно облачал своего барина в дорожный плащ; затем приходили обе горничные, сестрина и ее (бедная Крошка Доррит — какой обузой была для ее души эта горничная! она даже плакала первое время, не зная, что с ней делать); затем с помощью своего слуги снаряжался в путь ее брат, после чего отец предлагал руку миссис Дженерал, а дядя — ей, и они шествовали вниз, сопровождаемые хозяином и слугами гостиницы. Целые толпы любопытных сбегались поглазеть, как они рассаживаются в экипажи; шум, гам, суматоха, прощальные возгласы, выкрики нищих, удары бича, цоканье копыт — и вот уже лошади мчали их по узким загаженным улицам, и скоро городские ворота оставались позади.

Еще были в этом сне наяву бесконечные дороги, обсаженные деревьями, вокруг которых вились и заплетались, рдея на солнце, виноградные лозы; оливковые рощи; белые деревушки и городки, прелестные издалека, но вблизи ужасавшие своей бедностью и грязью; кресты у обочин; синие-синие озера, и на них лодки с разноцветными тентами и стройными парусами, скользившие среди сказочных островков; развалины величественных зданий; висячие сады с пышно разросшимися сорняками, чьи крепкие корни, как клинья, вбитые меж камней, разрушали кладку стен и сводов; каменные террасы, где в расщелинах сновали проворные ящерицы; и всюду нищие — убогие, живописные, голодные, веселые,— нищие ребятишки и нищие старики. Пожалуй, только эти жалкие существа, облеплявшие кортеж на каждой почтовой станции и остановке, были для нее живыми и реальными; и нередко, раздав все приготовленные деньги, она задумчиво следила глазами за какой-нибудь маленькой девочкой, ведущей седого отца, как будто эта картина напоминала ей что-то из ее прошлой жизни.

В иных городах они останавливались на целую неделю, жили в роскошных покоях, каждый день пировали, прилежно осматривали всяческие диковины, вышагивали целые мили по анфиладам дворцовых комнат, подолгу простаивали в притворах старинных церквей, где в нишах между колонн мерцали золотые и серебряные лампады и коленопреклоненные фигуры маячили у исповедален на выложенном мозаикой полу; где пахло ладаном и в воздухе плавала сизая дымка; где фигуры святых и фантастиче-

ские изображения на стенах таинственно выступали в неверном свете, падавшем сквозь цветные витражи и тяжелые драпировки; где все было грандиозно — высота, пространство, пышность раззолоченных алтарей. Но неделя проходила, и снова семейные экипажи катились среди олив и виноградников, мимо убогих деревушек, где не нашлось бы ни одной лачуги без трещин в стенах, ни одного не заткнутого бумагой или тряпками окна, где, казалось, нечем было существовать, нечего есть, нечего взращивать, не на что надеяться, нечего ждать, кроме смерти.

В иных городах все дворцы были превращены в казармы, а законные обитатели изгнаны; солдаты сушили свое обмундирование вдоль мраморных карнизов, высовывались из стрельчатых окон, без дела толпились на балконах, словно полчища крыс, которые подгрызают опоры здания, дающего им приют, приближая (к счастью) тот час, когда оно обрушится вместе с ними и погребет под собой всех солдат, всех попов, всех шпионов,— всю нечисть, что теперь составляет население города.

В этой постоянной смене зрелищ и впечатлений семейный кортеж достиг, наконец, Венеции. И здесь он на время распался, так как в Венеции предполагалось провести несколько месяцев, для чего уже нанят был на Canale Grande [1] дворец (вшестеро больше, чем вся тюрьма Маршалси).

Из всех ее видений это было самое фантастическое: город с улицами, мощенными водой, день и ночь погруженный в мертвую тишину, нарушаемую лишь глухим звоном церковных колоколов, плеском волн да криками гондольеров на водяных перекрестках; и здесь Крошка Доррит все чаще отдавалась раздумьям, не зная, как заполнить томительный досуг. Семейство вело светскую жизнь, много выезжало, веселилось, превращая ночь в день; но она по своей природной застенчивости чуждалась этих развлечений и была рада, когда ее не заставляли принимать в них участие.

Иногда — если удавалось спастись от навязчивых услуг горничной, которая скорей была ее госпожой, и притом весьма деспотичной,— она садилась в гондолу, одну из тех,

[1] Большой канал *(итал.)*.

что всегда стояли наготове, привязанные к раскрашенным столбам у подъезда, и пускалась блуждать по этому странному городу. Люди в других гондолах, попадавшихся навстречу, спрашивали друг друга, кто эта маленькая девушка, что так одиноко сидит в своей лодке, сложив на коленях руки и задумчиво и удивленно смотрит по сторонам. Но Крошка Доррит, далекая от мысли, что кто-нибудь может заинтересоваться ею и ее делами, продолжала свой путь, тихая, боязливая и углубленная в себя.

Но больше всего она любила сидеть на балконе своей комнаты, верхнем из нескольких, украшавших фасад дворца. Эти балконы были причудой в восточном вкусе — не редкость в этом собрании причуд; и Крошка Доррит в самом деле казалась крошкой, когда смотрела на воды канала, наклоняясь над широкой массивной балюстрадой, сложенной из потемневших от времени каменных плит. Она так часто проводила здесь свои вечера, что ее маленькая фигурка сделалась уже чем-то привычным, и люди, проезжавшие мимо, искали ее глазами, а найдя, говорили: «Вон та маленькая англичанка, которая всегда одна».

Но никто из этих людей не существовал для маленькой англичанки; никого из них она не видела и не знала. Она смотрела, как разливается по небу зарево заката, алые и пурпурные полосы протягиваются над самым горизонтом, и дома так ярко пламенеют в последних лучах солнца, что кажется, будто их толстые стены стали легкими и прозрачными и они светятся изнутри. Потом, когда меркло все это великолепие красок, она провожала глазами черные силуэты гондол, развозивших гостей на музыку и танцы, и снова поднимала взор к небу, уже искрившемуся звездами. Не эти ли звезды когда-то сияли над нею, озаряя ее воображаемый бал? Тюремные ворота! Как странно вспоминать о них теперь!

Но она вспоминала и эти ворота и ночь, когда она сидела возле них, положив голову Мэгги к себе на колени; и еще многие места и картины, относившиеся к другим временам, другой жизни. Потом, перегнувшись через балюстраду, вглядывалась в воду канала, словно все это таилось в ее темной глубине. И долго-долго она сидела так, задумчиво следя за бегущими волнами, как будто ждала, что в конце концов вся вода убежит и на обнажившемся дне она

снова увидит тюрьму, и себя самое, и знакомую комнату, и ее жильцов и посетителей — все то, что навсегда осталось для нее действительностью. живой и неизменной.

ГЛАВА IV
Письмо Крошки Доррит

«Дорогой мистер Кленнэм!

Пишу Вам из своей комнаты в Венеции в надежде на то, что Вам приятно будет получить от меня весточку. Впрочем, едва ли это письмо доставит Вам столько радости, сколько оно доставляет мне самой; ведь Вы живете так, как привыкли жить, и не думаю, чтобы Вам чего-либо недоставало — разве что моего присутствия, да и то верно лишь изредка и ненадолго; — у меня же теперь жизнь такая странная, и мне так многого недостает!

В Швейцарии, где мы были несколько недель тому назад,— хотя мне кажется, что с тех пор прошли годы,— я во время поездки в горы встретилась с молодой миссис Гоуэн. Она вполне здорова и вполне счастлива; это она мне сама сказала, и еще просила передать, что всей душой благодарна Вам и никогда Вас не забудет. Она очень чистосердечно говорила со мной, и я полюбила ее чуть не с первого взгляда. И не мудрено: она так хороша и так обаятельна, что ее нельзя не полюбить. Ничего удивительного, если и другие ее любят. Так и должно быть.

Я не хотела бы встревожить Вас — помню, Вы говорили, что относитесь к миссис Гоуэн с глубоким дружеским интересом,— но не скрою, что мистер Гоуэн кажется мне не очень подходящим для нее мужем. Он как будто любит ее, а что она его любит, это и говорить нечего, но он какой-то несерьезный — не в отношениях к жене, а вообще. Меня не покидала мысль, что будь я миссис Гоуэн (какое нелепое предположение! и как мне нужно было бы измениться, чтобы стать на нее похожей!), я чувствовала бы себя сиротливой и неуверенной, не имея, в сущности, на кого опереться. Мне даже показалось, что у нее отчасти есть такое чувство, хоть она и не сознает этого. Но помните, Вы

не должны за нее тревожиться,- ведь она «вполне здорова и вполне счастлива». А к тому же еще чудо как хороша.

Я надеюсь вскоре опять увидеться с нею; по моим расчетам она со дня на день должна прибыть в Венецию. И я всеми силами постараюсь быть ей настоящим другом — ради Вас. Дорогой мистер Кленнэм, для Вас, верно, не имеет значения, что Вы были мне другом в ту пору, когда у меня не было других друзей (как нет и теперь, потому что новых я не завела), а для меня это очень, очень важно, и я об этом никогда не забываю.

Хотелось бы мне знать (но лучше, если я ни от кого не буду получать писем), как идут дела в заведении мистера и миссис Плорниш, которое им помог открыть мой дорогой отец; я так рада, что и старый мистер Нэнди опять с ними и, верно, целый день распевает свои песенки, нянча внуков. Не могу удержаться от слез, думая о моей бедной Мэгги; как там все ни добры к ней, а должно быть, первое время она тосковала без своей маменьки. Вы ей, пожалуйста, передайте, под строгим секретом, что я люблю ее по-прежнему, и не меньше, если не больше ее сожалею о нашей разлуке. И всем там передайте, что я о них думаю каждый день, и где бы я ни была, сердцем я всегда с ними. Ах, если б Вы могли заглянуть в мое сердце, Вы бы пожалели меня оттого, что судьба меня так далеко забросила — и так высоко подняла!

Вам, я уверена, приятно будет узнать, что мой дорогой отец чувствует себя как нельзя лучше; все эти перемены благотворно отозвались на нем, и он теперь совсем не тот, каким Вы его привыкли видеть. Дядя, по-моему, тоже изменился к лучшему; но как он не жаловался прежде, так не радуется теперь. Фанни очень мила, жива и остроумна. Она создана, чтоб быть богатой и знатной; привычка к новой жизни далась ей удивительно легко.

О себе я этого не могу сказать; боюсь, что мне никогда не привыкнуть. Ученье у меня подвигается плохо. Миссис Дженерал всегда при нас, мы говорим по-французски и по-итальянски, и она прилагает все усилия, чтобы усовершенствовать нас во многих отношениях. Когда я пишу: «Мы говорим по-французски и по-итальянски», это значит — говорят Фанни и миссис Дженерал. Что до меня, я настолько тупа, что не делаю никаких успехов. Стоит мне задуматься

о чем-нибудь, как мои мысли устремляются в привычном направлении, меня охватывает беспокойство об отце, о работе, о том, как свести концы с концами, но вдруг я вспоминаю, что ни о чем таком беспокоиться уже не нужно, и это так невероятно и удивительно, что мысли у меня снова убегают назад, в прошлое. Никому, кроме Вас, я бы в этом не решилась признаться.

То же самое происходит со всеми новыми для меня странами и картинами природы. Все это очень красиво и интересно, но я как-то недостаточно сосредоточенна — недостаточно разобралась в себе самой, если Вам понятно, что я хочу сказать,— чтобы спокойно наслаждаться своими впечатлениями. И то, что я вижу сейчас, странным образом переплетается для меня с тем, что я видела и знала раньше. К примеру, когда мы были в горах (стыдно рассказывать о таких глупостях даже Вам, дорогой мистер Кленнэм), мне часто представлялось: вон за той нависшей кручей скрывается Маршалси, а за этим снежным сугробом — комната Вашей матушки, где я так часто засиживалась за работой и где я впервые увидела Вас. А помните Вы тот вечер, когда мы с Мэгги были у Вас на Ковент-Гардене? * Сколько раз Ваша комната виделась мне в темноте за окном кареты и долгие-долгие мили словно ехала вместе с нами по незнакомым местам! Тогда, возвращаясь от Вас, мы опоздали домой, и нам пришлось до утра оставаться на улице. Я часто смотрю на звезды, вот хотя бы с этого балкона, и воображаю, будто снова сижу с Мэгги у тюремных ворот или брожу по ночным улицам.

И с людьми, которые остались в Англии, у меня происходит то же самое. Во время прогулок по каналу я часто ловлю себя на том, что заглядываю во встречные гондолы, точно думаю увидеть там своих старых знакомых. Я бы не помнила себя от радости, если бы это случилось, и даже не слишком удивилась бы в первую минуту. Когда я очень размечтаюсь, мне всюду мерещатся дорогие лица, и, кажется, вот-вот я в самом деле увижу их на каком-нибудь мосту или набережной.

Упомяну еще об одном обстоятельстве, которое, верно, покажется Вам странным. Так всякому показалось бы, кроме меня; а порой даже и мне так кажется. Дело в том, что мне иногда вдруг делается совсем по-старому жаль —

Вы знаете, кого. Как он ни переменился и как я ни счастлива и ни благодарна судьбе за эту перемену, а все-таки порой сердце у меня сжимается от мучительной жалости к нему, и эта жалость так сильна, что мне хочется обнять его, шепнуть ему на ухо, как я люблю его, и немножко поплакать у него на груди. Мне бы тогда сразу стало легче, и я снова гордилась бы и радовалась. Но я знаю, что так нельзя: он сам будет недоволен, Фанни рассердится, а миссис Дженерал придет в недоумение; и я сдерживаюсь. Но не могу пересилить в себе чувства, что я отдалилась от него и отдаляюсь все больше, а он, несмотря на всех своих лакеев и камердинеров, одинок и нуждается во мне.

Дорогой мистер Кленнэм, я и так написала о себе слишком много, но должна написать еще несколько строк, иначе выйдет, что я не сказала того, что для меня самое важное. Среди всех глупых мыслей, в которых я не постеснялась открыться Вам, зная, что никто лучше Вас меня не поймет и никто не отнесется ко мне снисходительнее Вас,— среди всех этих мыслей есть одна, которая никогда меня не покидает: это мысль, или, вернее, надежда, что и Вы когда-нибудь, на досуге, вспоминаете обо мне. Сознаюсь Вам, у меня есть одно опасение на этот счет; оно не дает мне покоя с тех пор, как мы уехали, и мне бы очень хотелось его рассеять. Я очень боюсь, что Вы теперь относитесь ко мне по-другому — не так, как прежде. Не надо, пожалуйста, не надо — Вы даже не представляете, как мне это было бы тяжело. Я просто не могу перенести мысли, что, может быть, стала для Вас более чужой, более далекой, чем в те дни, когда Вы были так добры ко мне. Прошу Вас, умоляю, никогда не думайте обо мне как о дочери богатого отца, никогда не рисуйте себе меня в лучшем платье, среди лучшей обстановки, чем когда Вы меня увидели первый раз. Пусть я навсегда останусь для Вас бедно одетой маленькой девочкой, к которой Вы отнеслись с таким ласковым участием, чье худое платьишко оберегали от дождя, чьи промокшие ноги согревали у своего камина. И если уж случится Вам вспомнить обо мне, знайте, что я все та же, глубоко преданная и за все благодарная Вам

Крошка Доррит.

P. S. Главное, помните, что Вам нет нужды тревожиться о миссис Гоуэн. Она вполне здорова и вполне счастлива — это ее подлинные слова. И чудо как хороша!»

ГЛАВА V

Где-то что-то неладно

На второй или третий месяц пребывания семейства в Венеции мистер Доррит почувствовал необходимость побеседовать с миссис Дженерал о некоторых предметах и заранее наметил для этого день и час, что было нелегко, так как общение с графами и маркизами почти не оставляло мистеру397 Дорриту досуга.

Когда предусмотренное время наступило, мистер Тинклер, камердинер, был послан в апартаменты миссис Дженерал (по занимаемому пространству равные доброй трети тюрьмы Маршалси) передать, что мистер Доррит ей кланяется и желал бы иметь честь переговорить с нею. Дело было утром, а утренний кофе каждый пил в своей комнате, задолго до того, как вся семья собиралась для завтрака в пустынной зале, где вместо былого великолепия давно уже царили сырость и тоска; поэтому посланный застал миссис Дженерал у себя. Под ногами у нее лежал квадратный коврик, казавшийся совсем крошечным по сравнению с размерами выложенного мрамором пола,— можно было подумать, что она постлала его, собираясь примерить новые туфли, или что ей достался в наследство ковер-самолет, купленный за сорок кошельков золота царевичем из «Тысяча и одной ночи», и она только что прилетела на нем в этот дворец, где он явно не к месту.

Миссис Дженерал отставила пустую чашку и выразила готовность тотчас же проследовать в апартаменты мистера Доррита, дабы избавить его от труда подниматься к ней, как это было им галантно предложено. Получив такой ответ, посланный распахнул двери перед миссис Дженерал и в качестве почетного эскорта повел ее на аудиенцию. Нужно было пройти немало таинственных лестниц и коридоров, чтобы попасть из апартаментов миссис Дженерал —

всегда темноватых, так как они выходили в узкий переулок, оканчивавшийся низко нависшим над водой черным мостом, а напротив высились глухие мрачные стены, испещренные множеством потеков и пятен, как будто там из каждого отверстия и из каждой щели веками текли в Адриатику ржавые слезы,— в апартаменты мистера Доррита, где было столько окон, что с избытком хватило бы на целый дом в Англии, а из них открывался чудесный вид на стройные фасады церквей, поднимавших в синее небо свои купола прямо из воды, в которой дрожали их отражения, и было слышно, как плещется канал внизу, у входа, где средь целого леса причальных свай сонно покачивались на воде готовые к услугам гондолы.

Мистер Доррит, в роскошном халате и ермолке (из куколки, так долго ждавшей своего часу среди пансионеров Маршалси, вывелась редкостная бабочка), поднялся навстречу миссис Дженерал.— Кресло для миссис Дженерал! Не стул, а кресло, сэр! Что вы делаете, о чем вы думаете, как вы исполняете свои обязанности? Ступайте!

— Миссис Дженерал,— сказал мистер Доррит.— Я побеспокоил вас...

— Ни в малой степени,— возразила миссис Дженерал.— Вы могли свободно располагать мною. Я уже выпила кофе.

— Я побеспокоил вас,— повторил мистер Доррит с великолепной невозмутимостью человека, который знает, что говорит,— для того, чтобы побеседовать с вами о моей — кхм — моей младшей дочери, которая внушает мне некоторую тревогу. Вы без сомнения заметили, сударыня, что у моих дочерей весьма различные характеры.

Миссис Дженерал скрестила обтянутые перчатками руки (она всегда была в перчатках, которые всегда сидели без единой морщинки или складочки) и изрекла:

— Да, весьма различные.

— Не угодно ли вам поделиться со мной вашими соображениями по этому поводу? — сказал мистер Доррит с почтительностью, которая не мешала ему сохранять величавое достоинство.

— У Фанни,— сказала миссис Дженерал,— есть воля и настойчивость. У Эми ни того, ни другого нет.

Нет? О миссис Дженерал, спросите камень и решетки Маршалси! О миссис Дженерал, спросите модистку, которая учила ее своему ремеслу, и учителя танцев, который давал уроки ее сестре! О миссис Дженерал, миссис Дженерал, спросите меня, ее отца, чем я обязан ей; и выслушайте мой правдивый рассказ о том, какова была жизнь этой скромной маленькой девушки с самых ранних лет!

Ни о чем подобном не взывал мистер Доррит. Он поглядел на миссис Дженерал, которая сидела на своем месте, прямая, как всегда, натягивая твердой рукой бразды Приличий,— и произнес глубокомысленно:

— Ваша правда, сударыня.

— Это не значит, прошу заметить,— продолжала миссис Дженерал,— что Фанни, на мой взгляд, не нуждается ни в каком направляющем воздействии. Но в ней по крайней мере есть материал — я бы даже сказала, слишком много материала.

— Сударыня, не соблаговолите ли вы несколько — кха — разъяснить свою мысль,— сказал мистер Доррит.— Мне не совсем понятно, как это в моей старшей дочери — кхм — слишком много материала? Какого материала?

— Фанни,— отвечала миссис Дженерал,— склонна иметь свое мнение о многих предметах. Благовоспитанные люди не позволяют себе иметь свои мнения, и во всяком случае не высказывают их вслух.

Опасаясь показаться недостаточно благовоспитанным, мистер Доррит поторопился заметить:

— Вы созершенно правы, сударыня.

На что миссис Дженерал ответила своим бесстрастным, лишенным всякого выражения тоном:

По всей вероятности.

— Но ведь вам известно, сударыня,— сказал мистер Доррит,— что мои дочери имели несчастье лишиться матери в самом нежном возрасте; и что поскольку мои права наследника большого состояния были признаны лишь недавно, я, как человек небогатый, хоть и сохранявший всегда свою гордость джентльмена, вел довольно — кха-кхм — уединенную жизнь, которую и они со мной разделяли.

— Я это знаю,— сказала миссис Дженерал,— и не упускаю из виду это обстоятельство.

— Сударыня,— продолжал мистер Доррит,— за свою дочь Фанни, при столь мудром руководстве и при таком примере, какой теперь всегда перед нею...

(Миссис Дженерал закрыла глаза.)

— ...я спокоен вполне. В ней есть гибкость и уменье приноравливаться к обстановке. Но вот моя младшая дочь, миссис Дженерал, причиняет мне серьезное беспокойство. Должен вам сказать, что она всегда была моей любимицей.

— Подобным пристрастиям,— сказала миссис Дженерал,— трудно подыскать объяснение.

— Кха — в самом деле,— согласился мистер Доррит.— В самом деле. Так вот, видите ли, сударыня, меня очень огорчает и тревожит, что Эми, если можно так сказать, выпадает из нашей общей жизни. Она не любит выезжать вместе с нами, ей не по себе среди наших гостей, у нас и у нее, видимо, совершенно разные вкусы. Иными словами,— с судейской внушительностью резюмировал мистер Доррит,— нужно прямо сказать: с Эми — кха — что-то неладно.

— Но, может быть,— сказала миссис Дженерал, обмакнув кисточку в лак,— это следует отнести за счет новизны положения?

— Прошу простить, сударыня,— с живостью возразил мистер Доррит.— Едва ли это положение так уж ново для дочери джентльмена, даже если он в свое время — кха — был несколько стеснен в средствах — несколько стеснен — и если она выросла в — кхм — в уединении.

— Справедливо,— сказала миссис Дженерал.— Справедливо.

— Таким образом, сударыня,— продолжал мистер Доррит,— я вас побеспокоил (он произнес это с ударением и даже повторил, словно предупреждая, вежливо, но решительно, что возражений не должно быть), я вас побеспокоил для того, чтобы обратить ваше внимание на это обстоятельство и просить у вас совета.

— Мистер Доррит,— сказала миссис Дженерал.— За то время, что мы находимся в Венеции, мне несколько раз пришлось беседовать с Эми на тему о светском лоске. Она мне призналась, что Венеция поразила ее. Я на это заметила, что поражаться вообще не следует. Я кстати напомнила ей, что знаменитый мистер Юстес *, которого можно

назвать классиком туризма, довольно сдержанно отзывается об этом городе; в своей книге он сравнивает Риальто с Вестминстерским и Блекфрайерским мостами * и отдает решительно предпочтение последним. После сказанного вами нет нужды говорить, что мои аргументы не встретили пока должного отклика. Вы оказали мне честь, спросив моего совета. Мне всегда казалось (если это заблуждение с моей стороны, надеюсь, оно мне не будет поставлено в вину), что мистер Доррит привык пользоваться большим влиянием среди окружающих.

— Кхм — сударыня,— сказал мистер Доррит,— мне в свое время пришлось стоять во главе довольно — кха — многолюдного сообщества. Вы не ошиблись, предполагая, что я — кхм — имею в этом смысле некоторый опыт.

— Рада слышать,— сказала миссис Дженерал,— что мои предположения подтверждаются. С тем большим основанием я позволю себе рекомендовать мистеру Дорриту самолично поговорить с Эми и высказать ей, что он думает и чего желает. Будучи его любимицей и безусловно испытывая к нему самую глубокую привязанность, она не может не поддаться его влиянию.

— У меня у самого была такая мысль, сударыня,— сказал мистер Доррит,— но я — кха — опасался, не сочтете ли вы это — кхм...

— Вторжением в мою область, мистер Доррит? — с любезной улыбкой подсказала миссис Дженерал.— Нет, нет, пожалуйста.

— В таком случае, сударыня,— заключил мистер Доррит, звоня своему камердинеру,— я с вашего позволения тотчас же пошлю за ней.

— Мистеру Дорриту угодно, чтобы я присутствовала?

— Если у вас нет других дел, вы, может быть, не откажетесь задержаться на несколько минут...

— Само собой разумеется.

Итак, Тинклеру, камердинеру, было приказано отыскать горничную мисс Эми и поручить ей уведомить мисс Эми, что мистер Доррит желает ее видеть. Отдавая это распоряжение, мистер Доррит весьма строго смотрел на Тинклера, а затем проводил его до дверей подозрительным взглядом; а вдруг он таит какие-либо мысли, оскорбительные для достоинства господ, или, паче чаяния, до его ушей

еще в прежнее время доходили какие-нибудь тюремные анекдоты, и он сейчас хихикает про себя, вспоминая их. И если бы хоть тень улыбки промелькнула в эту минуту на лице Тинклера, мистер Доррит до конца своих дней был бы убежден. что не ошибся. Но, на свое счастье, Тинклер обладал довольно постной и сумрачной физиономией и благодаря этому избежал грозившей ему опасности. А воротившись, он доложил о мисс Эми таким похоронным тоном, что произвел на мистера Доррита (который снова впился в него испытующим взглядом) впечатление примерного молодого человека, воспитанного в богобоязненном духе рано овдовевшей матерью.

— Эми,— сказал мистер Доррит,— мы с миссис Дженерал только что беседовали о тебе. Нам обоим кажется, что ты здесь живешь словно бы чужая. Отчего — кха — отчего это?

Пауза.

— Должно быть, мне нужно время, отец.

— Предпочтительнее говорить «папа», моя милочка,— заметила миссис Дженерал.—«Отец» звучит несколько вульгарно. И кроме того, слово «папа» придает изящную форму губам. Папа, пчела, пломба, плющ и пудинг — очень хорошие слова для губ; в особенности плющ и пудинг. Чтобы наружность соответствовала требованиям хорошего тона, весьма полезно, находясь в обществе, время от времени — например, входя в гостиную,— произносить про себя: папа, пчела, пломба, плющ и пудинг, плющ и пудинг.

— Прошу тебя, дитя мое,— сказал мистер Доррит,— внимательно следуй всем — кха — наставлениям миссис Дженерал.

Бедная Крошка Доррит, глянув с тоской на несравненную лакировщицу, обещала, что постарается.

— Ты сказала, Эми,—продолжал мистер Доррит,— что, должно быть, тебе нужно время. Для чего?

Снова пауза.

— Я только хотела сказать, что мне нужно время, чтобы привыкнуть к новой для меня жизни,— вымолвила Крошка Доррит, с глубокой любовью глядя на отца, которого чуть было не назвала плющом или даже пудингом из желания угодить миссис Дженерал и заслужить его одобрение.

Но мистер Доррит нахмурился и глядел вовсе не одобрительно.

— Эми,— возразил он,— мне кажется, времени у тебя было более чем достаточно. Кха — ты меня удивляешь. Ты меня огорчаешь. Могла же Фанни преодолеть все эти маленькие затруднения, отчего же — кхм — ты не можешь?

— Надеюсь, что скоро смогу, — сказала Крошка Доррит.

— Я тоже надеюсь,—сказал отец.— Горячо надеюсь, Эми. Я затем и позвал тебя, чтобы сказать — кхм — достаточно ясно сказать в присутствии миссис Дженерал, которой мы все крайне обязаны за то, что она любезно согласилась присутствовать здесь — кха — в данном случае, как и вообще (миссис Дженерал снова закрыла глаза), что я — кхм — недоволен тобой. Ты весьма затрудняешь для миссис Дженерал исполнение задачи, которую она на себя взяла. Ты и меня ставишь в крайне неловкое положение. Как я уже говорил миссис Дженерал, ты всегда была моей любимицей; я всегда был тебе другом и товарищем; за это я теперь прошу — кха — убедительно прошу тебя больше считаться с — кха-кхм — с обстоятельствами и поступать во всем так, как приличествует твоему — твоему званию.

Будучи взволнован и стремясь придать своей речи побольше пафоса, мистер Доррит запинался несколько сильней обычного.

— Я убедительно прошу тебя,— повторил он,— отнестись со вниманием к моим словам и — кха — употребить серьезные усилия для того, чтобы твое поведение было достойно — кхм — мисс Эми Доррит и отвечало бы пожеланиям моим и миссис Дженерал.

Услыхав свое имя, упомянутая дама снова закрыла глаза, потом снова открыла их и, встав с кресла, разразилась следующим монологом:

— Если мисс Эми Доррит, не пренебрегая моей скромной помощью, уделит должное внимание приобретению светского лоска, у мистера Доррита не будет больше поводов для беспокойства. Пользуясь случаем, позволю себе заметить в виде примера, что едва ли уместно смотреть на нищих с таким интересом, какой имеет склонность выказывать одна моя маленькая приятельница. На них совсем не следует смотреть. Никогда не следует смотреть на неприят-

ное. Не говоря уже о том, что это нарушает элегантную невозмутимость, лучше всего свидетельствующую о хорошем воспитании, подобная склонность не совместима с утонченностью образа мыслей. Истинно утонченный образ мыслей в том и состоит, чтобы не замечать ничего, что не является вполне приличным, пристойным и приятным.— Изложив эти возвышенные соображения, миссис Дженерал сделала глубокий реверанс и удалилась, поминая Плющ и Пудинг, о чем можно было догадаться по движению ее губ.

До этой минуты Крошка Доррит и говорила и молчала, сохраняя спокойную сосредоточенность и ясный, ласковый взгляд. Если порой и затуманивался этот взгляд, то лишь на короткое мгновение. Но как только она осталась наедине с отцом, руки ее, лежавшие на коленях, тревожно зашевелились, и с трудом сдерживаемое волнение отразилось на лице.

Не о себе думала она. Быть может, предыдущий разговор и показался ей немного обидным, но не это было причиной ее тревоги. Все ее мысли, как и прежде, были только об отце. С первых дней перемены в их судьбе ее томило смутное предчувствие, что, несмотря на эту перемену, ей никогда не увидать отца таким, каким он был до тюрьмы; и мало-помалу предчувствие это перешло в тягостную уверенность. В упреках, которые только что привелось выслушать, во всем поведении отца с нею она узнавала знакомую тень тюремной стены. Теперь тень выглядела по-иному, но это была все та же зловещая тень. С болью и горечью приходилось сознаться, что напрасны все попытки уверить себя, будто время может стереть след, оставленный четвертью века пребывания за решеткой. Но если так, он не виноват; и она ни в чем не винила его, ни в чем не упрекала; не было в ее преданном сердце иных чувств, кроме безграничной нежности и глубокого сострадания.

Вот почему ни роскошь дворцовых покоев, ни красота города, раскинувшегося за дворцовыми окнами, не существовали сейчас для Крошки Доррит; она смотрела на отца, который восседал на мягком диване, освещенный лучами яркого итальянского солнца, а видела перед собой узника Маршалси в жалкой полутемной комнатенке, и ей хотелось

по-старому сесть с ним рядом и приласкать его и утешить, зная, что она близка и нужна ему. Быть может, он и угадал ее мысли, но они были не в лад его мыслям и чувствам. Он беспокойно заерзал на месте, потом встал и принялся расхаживать по комнате с крайне недовольным видом.

— Вы еще что-нибудь хотели мне сказать, отец?

— Нет, нет. Это все.

— Отец, дорогой, мне очень грустно, что вы недовольны мной. Больше у вас не будет к этому поводов, обещаю вам. Я изо всех сил постараюсь приноровиться ко всему, что для меня так ново и непривычно. Видит бог, я и прежде старалась, но ничего у меня не выходило.

— Эми,— прервал он, круто повернувшись к ней.— Ты — кха — то и дело причиняешь мне боль.

— Я причиняю вам боль, отец? Я?

— Есть — кхм — одно обстоятельство,— сказал мистер Доррит, скользя глазами по потолку и упорно избегая напряженного, полного немой обиды взгляда дочери,— весьма болезненное обстоятельство, период жизни, который я желал бы — кха — совершенно стереть в своей памяти. Это отлично понимает твоя сестра, и она не раз при мне укоряла тебя; это понимает твой брат, это понимают — кха-кхм — все, в ком есть деликатность и тонкость чувств, все, кроме тебя — кха — да, как ни грустно, а это так: кроме тебя. Ты, Эми,— кхм — ты и только ты постоянно напоминаешь мне об этом обстоятельстве, пусть даже и без слов.

Она положила руку на его рукав. Только положила руку — больше ничего. Эта дрожащая рука говорила достаточно красноречиво: «Подумай обо мне, о том, как я трудилась, какую тяжесть забот несла на себе!» Но с губ ее не слетело ни единого слова.

И все же был в ее прикосновении укор, должно быть, неосознанный ею,— иначе она убрала бы руку. Старик принялся оправдываться, раздраженно, сбивчиво, сердито.

— Я столько лет прожил там. Я был — кха — признанным главою общины. Я — кха — добился того, что все любили и уважали тебя, Эми. Я — кха-кхм — сумел создать положение своей семье. Я заслужил награду. И я требую награды. Я прошу: вычеркнем эти годы из памяти, станем

жить так, будто их не было. Разве это слишком много? Скажи, разве это слишком много?

Он ни разу не взглянул на нее, нанизывая эти бессвязные фразы; все его жесты и возгласы были словно обращены в пустоту.

— Я так страдал. Никто не знает, сколько мне пришлось выстрадать — кха — да, никто, кроме меня самого! И если *я* сумел забыть, если *я* сумел вытравить в себе следы перенесенных мук и войти в свет — кха — безупречным и ничем не запятнанным джентльменом — так неужели я слишком многого требую — повторяю, неужели я слишком многого требую, если хочу, чтобы мои дети — кхм — последовали моему примеру и навсегда вычеркнули из памяти эти злополучные годы?

При всем своем волнении он, однако же, ни разу не дал себе повысить голос, из страха, как бы не услышал камердинер.

— Да они, собственно, так и поступают. Так поступает твоя сестра. Так поступает твой брат. И только ты, моя любимица, к кому я с самых — кхм — самых ранних лет относился как к другу и товарищу, ты одна упорствуешь. Ты одна твердишь: не могу. Я стараюсь помочь тебе. Я специально для этого даю тебе в наставницы достойнейшую особу, образец благовоспитанности и всяческих совершенств — кха — миссис Дженерал, но все напрасно. Что же удивительного, если я недоволен? И разве я должен оправдываться в том, что открыто выражаю свое недовольство? Отнюдь!

Тем не менее он продолжал оправдываться с прежним жаром.

— Прежде чем выразить недовольство, я предусмотрительно советуюсь с упомянутой достойной особой. При этом мне — кхм — приходится вести разговор крайне осторожно, чтобы — кха — не выдать того, что я желаю скрыть. Но для чего я все это делаю? Разве я о себе беспокоюсь? Меньше всего! Я главным образом беспокоюсь о тебе, Эми.

По тому, как он ухватился за последнее соображение, ясно было, что оно только что пришло ему в голову.

— Я сказал, что ты причиняешь мне боль. Да, это так. Да, и я — кха — буду настаивать на этом, сколько бы ты со мной ни спорила. Мне больно, что моя дочь, когда ей —

кхм — выпал счастливый жребий, хандрит, сторонится людей и всем своим поведением усердно доказывает, что этот жребий не по ней. Мне больно, что она — кха — постоянно вытаскивает на свет божий то, что все мы стараемся запрятать подальше, и даже — кхм — я сказал бы, чуть ли не рвется осведомить высшее общество о том, что она родилась и выросла в — кха-кхм — не хочу даже произносить это слово. Да, мне больно, и все же — кха — беспокоюсь я главным образом о тебе, Эми, и никакого противоречия тут нет. Повторяю: я беспокоюсь о тебе. Именно потому я желал бы, чтобы ты под руководством миссис Дженерал приобрела настоящий — кхм — светский лоск. Именно потому я желал бы, чтобы ты — кха — прониклась утонченным образом мыслей, и (пользуясь удивительно метким выражением миссис Дженерал) не замечала ничего, что не является вполне приличным, пристойным и приятным.

Голос, произносивший эту тираду, жужжал и прерывался, точно испорченный будильник. Рука Крошки Доррит все еще лежала на рукаве отца. Он, наконец, умолк и, оторвавшись от изучения потолка, взглянул на дочь. Лица ее не было видно — она сидела, опустив голову; но прикосновение ее руки было ласковым и нежным, и в печальной позе не чувствовалось упрека — только любовь. Он вдруг расхныкался, совсем так, как в тот вечер в тюрьме, после которого она до утра просидела у его изголовья; назвал себя жалкой развалиной, стал причитать о том, какой он бедный и несчастный при всем своем богатстве, и заключил ее в объятия. «Полно, дорогой мой, полно, голубчик! Поцелуйте меня!» — только и шептала она в ответ. Его слезы быстро высохли, куда быстрей, чем тогда; и вскоре он уже надменно покрикивал на камердинера, словно чтобы расквитаться за проявленную слабость.

То был первый и единственный раз после получения богатства и свободы, когда он в разговоре с дочерью вернулся к прошлому — кроме одного особого случая, о котором речь впереди.

Тем временем наступил час завтрака, а к завтраку явились из своих апартаментов мисс Фанни и мистер Эдвард. Судя по виду этой достойной пары, полуночнический образ жизни ни тому, ни другому не шел на пользу. Мисс

Фанни стала жертвой ненасытной мании «являться в свете» (употребляя ее собственное выражение), и если б ее каждый вечер приглашали в пятьдесят мест, она умудрялась бы от зари до зари объехать все пятьдесят. Что же до мистера Эдварда, то он также завел большой круг знакомств, и все ночи напролет проводил со своими новыми друзьями (главным образом за игрой в кости или другими развлечениями подобного рода). Преимущество этого джентльмена состояло в том, что, когда повернулось колесо Фортуны, ему почти ничему не пришлось учиться; карьера барышника и бильярдного маркера отлично подготовила его для самого избранного общества.

За завтраком присутствовал и мистер Фредерик Доррит. Старику было отведено помещение в верхнем этаже, где он мог бы упражняться в стрельбе из пистолета без риска обеспокоить прочих обитателей дворца; и потому, вскоре по приезде в Венецию, младшая племянница отважилась попросить разрешения вернуть ему его кларнет, отобранный по приказу мистера Доррита, и с тех пор хранившийся у нее. Хотя мисс Фанни пыталась возражать, настаивая, что это вульгарный инструмент и что его звук действует ей на нервы, разрешение было дано. Но, видно, кларнет достаточно надоел старику, когда служил средством заработать на кусок хлеба, и теперь он даже не притрагивался к нему. Зато у него появилась новая склонность: он часами бродил по картинным галереям с неизменным картузиком табаку в руке (ему была куплена золотая табакерка, дабы он не ронял семейного достоинства, но к величайшему негодованию мисс Фанни, настоявшей на этой покупке, он наотрез отказался употреблять ее) и подолгу простаивал перед портретами знаменитых венецианцев. Кто знает, что видели в них его слезящиеся глаза: то ли просто живописные шедевры, то ли свидетельство былой славы, померкшей со временем, как и его разум. Но так или иначе он неукоснительно оказывал им внимание, очевидно находя в этом удовольствие. Как-то раз Крошка Доррит случайно оказалась его спутницей в одной из таких экскурсий. Ее присутствие так явно увеличивало радость, которую доставляло ему посещение галерей, что после этого она часто сопровождала его туда; и никогда еще со времени своего разорения старик не казался

таким счастливым и умиротворенным, как в те минуты, когда усаживал ее на складной стульчик (который вопреки всем ее возражениям носил за нею от картины к картине), а сам становился сзади, и словно бы молча представлял ее благородным венецианцам, смотревшим с полотна.

В то утро, о котором идет речь, дядюшка Фредерик обмолвился за завтраком, что накануне они видели в галерее ту молодую супружескую чету, с которой повстречались на Большом Сен-Бернаре.— Фамилию-то я забыл,— сказал он.— Но ты, верно, помнишь их, Уильям? И ты тоже, Эдвард?

— Я-то помню очень хорошо,— сказал мистер Эдвард.

— Еще бы! — отозвалась мисс Фанни, тряхнув головкой и бросив взгляд на сестру.— Но я подозреваю, что мы так и не узнали бы о вашей встрече, если б дядя про это не брякнул.

— Душа моя, что за выражение,— укоризненно заметила миссис Дженерал.— Не лучше ли было сказать: «Не обронил упоминание об этом», или: «Случайно не коснулся этой темы».

— Благодарю вас, миссис Дженерал,— отрезала бойкая девица.— Но, по-моему, не лучше. Я, во всяком случае, предпочитаю говорить так, как сказала.

Подобным образом мисс Фанни всегда отвечала на замечания миссис Дженерал. Но это не мешало ей приберегать их в памяти с тем, чтобы использовать при случае.

— Я бы рассказала о том, что мы встретили мистера и миссис Гоуэн, Фанни,— сказала Крошка Доррит,— даже если бы дядя не поднял этот разговор. Ведь мы с тобой почти не виделись со вчерашнего дня. Я как раз собиралась заговорить об этом за завтраком; тем более что мне хочется навестить миссис Гоуэн и познакомиться с ней поближе — если папа и миссис Дженерал не против.

— Поздравляю, Эми! — воскликнула Фанни.— Наконец-то я слышу, что ты хоть с кем-нибудь в Венеции хочешь познакомиться поближе. Я, правда, не уверена, что твои Гоуэны — подходящее знакомство для нас.

— Я говорю только о миссис Гоуэн, милая Фанни.

— Да, да, конечно,— отвечала Фанни.— Но ты не можешь отделить жену от мужа, разве что по парламентскому акту *.

— Вы мне позволите навестить миссис Гоуэн, папа? — робко и нерешительно спросила Крошка Доррит.— Или у вас есть какие-нибудь возражения против этого?

— Собственно говоря,— начал мистер Доррит,— я — кхм — а как полагает миссис Дженерал?

Миссис Дженерал полагала, что, не имея чести быть знакомой с мистером и миссис Гоуэн, она лишена возможности применить свою кисточку с лаком. Она только может заметить, исходя из общего для всех лакировщиков правила, что многое тут зависит от того круга, к которому принадлежит обсуждаемая дама: позволяет ли этот круг претендовать на знакомство с особами столь высоко стоящими на священной общественной лестнице, как члены семейства Доррит.

Услышав это, мистер Доррит нахмурился. Слова миссис Дженерал навели его на смутное воспоминание о некоем Кленнэме, довольно докучливом господине, с которым он, кажется, когда-то где-то встречался; и он уже готов был решительно забаллотировать Гоуэнов, но тут в разговор вмешался Эдвард Доррит, эсквайр. Он начал с того, что вставил в глаз стеклышко и прикрикнул: «Эй вы! А ну-ка, проваливайте отсюда!» Это любезное обращение должно было дать понять двум лакеям, прислуживавшим за столом, что от их услуг временно отказываются.

Когда лакеи послушно вышли за дверь, Эдвард Доррит, эсквайр, продолжал:

— Как вы понимаете, я лично не очень-то расположен к этим Гоуэнам — к нему, во всяком случае,— но, пожалуй, вам не мешает знать, что у них есть очень влиятельные знакомые. Правда, может быть, это не имеет значения.

— Напротив,— возразила несравненная лакировщица,— имеет, и очень большое. Если эти знакомые в самом деле влиятельные и уважаемые люди...

— Об этом,— перебил Эдвард Доррит, эсквайр,— вы можете судить сами. Вам, верно, приходилось слышать фамилию Мердл?

— Мердл? — вскричала миссис Дженерал.— Великий Мердл?

— Он самый,— подтвердил Эдвард Доррит, эсквайр.— Так вот, они с ним знакомы. Миссис Гоуэн — не молодая,

а старая, мать моего любезного друга — близкая приятельница миссис Мердл, и мне известно, что эти двое тоже там приняты в доме.

— Если так, то более надежной рекомендации и быть не может,— сказала миссис Дженерал мистеру Дорриту, воздев кверху перчатки и благоговейно склонив голову, словно бы в лицезрении золотого кумира.

Я просил бы моего сына объяснить — кха — просто любопытства ради,— сказал мистер Доррит, заметно оживившись,— откуда он столь — кхм — своевременно получил эти сведения.

— Нет ничего легче, сэр,— отвечал Эдвард Доррит, эсквайр,— как вы сейчас сами убедитесь. Начать с того, что миссис Мердл и есть та дама, с которой у вас вышло недоразумение в этом — как его...

— В Мартиньи,— подсказала мисс Фанни, принимая томный вид.

В Мартиньи,— повторил ее братец и выразительно подмигнул ей; в ответ на что мисс Фанни сперва удивленно вскинула брови, затем рассмеялась и, наконец, покраснела.

Как это может быть, Эдвард,— сказал мистер Доррит.— Ведь ты мне говорил, что фамилия джентльмена, с которым ты — кха — вел там переговоры,— Спарклер. Ты мне даже карточку показывал. Кхм — Спарклер.

— Так оно и есть, отец; но из этого не следует, что и мать должна носить ту же фамилию. Миссис Мердл замужем второй раз, а он, Спарклер,— ее сын от первого брака. Сейчас она в Риме, и мы, наверно, встретимся с нею, поскольку вы намерены на зиму переехать туда же. А Спарклер уже несколько дней здесь. Я вчера провел вместе с ним вечер. Он, в общем, недурной малый, этот Спарклер, только уж очень ушиблен своей несчастной любовью к одной девице.— Тут Эдвард Доррит, эсквайр, метнул сквозь стеклышко взгляд на мисс Фанни, сидевшую напротив.— Мы с ним вчера обменивались своими заграничными впечатлениями, и попутно я от него узнал то, о чем только что сообщил вам.— На этом он умолк и только продолжал метать взгляды на мисс Фанни, с трудом удерживая стеклышко в глазу и стараясь улыбаться

как можно многозначительнее, от совокупности каковых усилий его физиономия чудовищно перекосилась.

— Если обстоятельства таковы,— сказал мистер Доррит,— полагаю, я могу не только от своего лица, но и — кха — от лица миссис Дженерал сказать, что не вижу никаких препятствий к удовлетворению твоего желания, Эми — скорей даже — кха-кхм — наоборот. Позволю себе усмотреть в этом — кха — твоем желании,— продолжал мистер Доррит благосклонно-ободряющим тоном,— некий добрый знак. Подобное знакомство можно только приветствовать. Ничего кроме хорошего в подобном знакомстве нет. Имя мистера Мердла — кха — славится во всем мире. Предприятия мистера Мердла грандиозны. Они приносят ему такие колоссальные прибыли, что рассматриваются, как — кха — источник национального дохода. Мистер Мердл — воплощение духа нашего времени. Его имя — имя века. Прошу тебя передать мистеру и миссис Гоуэн мои лучшие чувства, так как мы — кхм — безусловно не обойдем их своим вниманием.

Это милостивое волеизъявление решило вопрос. Никто не заметил, что дядюшка Фредерик отодвинул свою тарелку и перестал есть, но дядюшку Фредерика вообще редко замечал кто-нибудь, кроме Крошки Доррит. Вновь были призваны слуги, и завтрак благополучно завершился. Миссис Дженерал встала из-за стола и вышла. Крошка Доррит встала из-за стола и вышла. За столом остались Эдвард и Фанни, которые перешептывались о чем-то своем, и мистер Доррит, который кушал винные ягоды и читал французскую газету,— и тут вдруг дядюшка Фредерик привлек общее внимание. Он поднялся со своего места, стукнул кулаком по столу и воскликнул:

— Брат! Я протестую!

Если бы он воззвал к присутствующим на неизвестном языке и тотчас же пал замертво, они были бы не больше ошеломлены. Мистер Доррит выронил из рук газету и окаменел, не донеся до рта винную ягоду.

— Брат! — повторил старик, и необычное воодушевление зазвучало в его дрожащем голосе.— Я протестую! Я люблю тебя; ты знаешь, как я тебя люблю. За все эти годы я ни разу не отступился от тебя даже в мыслях. Я слаб, но я ударил бы всякого, кто осмелился бы дурно

говорить о тебе. Но сейчас я протестую, брат! Да, да, да, я протестую!

Казалось странно и непонятно, откуда взялась такая сила гнева в этом дряхлом старике. Глаза его сверкали, седые волосы встали дыбом, в чертах проступила решимость, уже двадцать пять лет им несвойственная, рука вновь обрела твердость и жесты стали уверенными и энергичными.

— Мой милый Фредерик! — с трудом выговорил мистер Доррит.— Что случилось? В чем дело?

— Как ты смеешь! — продолжал старик, повернувшись к Фанни.— Как ты смеешь! Что, у тебя памяти нет? Или у тебя нет сердца?

— Дядя! — воскликнула испуганная Фанни и ударилась в слезы.— За что вы так набросились на меня? Что я сделала?

— Что сделала? — повторил старик, указывая на стул Крошки Доррит.— Где твой любящий, бесценный друг? Где твоя верная защитница? Где та, что была для тебя больше нежели матерью? Как смеешь ты заноситься перед сестрой, которая одна воплотила в себе все это? Стыдись, черствая душа, стыдись!

— Да я ли не люблю Эми! — воскликнула мисс Фанни, плача навзрыд.— Я люблю ее как свою жизнь — даже больше. Я не заслужила таких жестоких упреков. Я так предана Эми и так благодарна Эми, как никто на свете. Лучше бы мне умереть. Никогда еще я не терпела подобной несправедливости. И только за то, что я забочусь о семейном достоинстве!

— Пропади оно пропадом, это семейное достоинство! — взревел старик, вне себя от негодования.— Брат, я протестую против чванства! Протестую против неблагодарности! Протестую против никчемных претензий, которые хоть на миг могут выставить Эми в невыгодном свете или причинить ей огорчение — на что никто из нас, знающих то, что мы знаем, и видевших то, что мы видели, не имеет права! А если мы допустим что-либо подобное, господь бог покарает нас. Брат, я протестую именем господа бога!

Он с размаху стукнул опять кулаком по столу, и стол дрогнул, словно под могучим ударом кузнеца. Несколько

минут прошло в молчании; затем кулак разжался, и рука повисла, расслабленная, вялая, как всегда. Своей обычной шаркающей походкой старик добрел до кресла брата, положил руку на его плечо и сказал упавшим голосом: «Уильям, голубчик, я не мог иначе; ты уж прости меня, но я не мог иначе!» После чего вышел сгорбившись из роскошных покоев, как когда-то выходил из тюремных ворот.

Все это время Фанни не переставала обиженно всхлипывать. Эдвард ни разу не раскрыл рта (кроме как от удивления) и только молча таращил глаза на всех. Мистер Доррит, совершенно ошарашенный, тщетно пытался собраться с мыслями. Прервала молчание Фанни.

— Никогда и никто со мной так не обращался! — рыдала она.— Никогда и ни от кого я не слышала таких грубых, таких незаслуженных, таких злых и жестоких и несправедливых нападок! Милая, кроткая маленькая Эми, каково бы ей было, знай она, что из-за нее меня так обидели! Но я ей не расскажу об этом! Конечно же, я ничего не расскажу моей доброй сестренке!

Последние слова помогли мистеру Дорриту обрести дар слова.

— Дитя мое,— сказал он,— я — кха — одобряю твое намерение. Гораздо лучше ничего — кха-кхм — не говорить об этом Эми. К чему — кха — расстраивать ее. Кхм. Она непременно расстроится, если узнает. Мы должны постараться избавить ее от огорчения. Пусть все это — кха — останется между нами.

— Но каков все-таки дядя! — вскричала Фанни.— В жизни не прощу ему его жестокости со мной!

— Дитя мое,— сказал мистер Доррит, впадая в свой обычный тон, так что лишь бледность его лица напоминала о недавнем потрясении.— Прошу тебя, не говори так. Не нужно забывать, что твой дядя уже не — кха — не тот, каким был когда-то. Не нужно забывать, что его состояние — кхм — заставляет относиться к нему с чуткостью и снисхождением, да, с чуткостью и снисхождением.

— Ну и что ж,— воскликнула, надувшись, Фанни.— Вот из доброго отношения к нему и приходится предполагать, что у него где-то что-то неладно, иначе он бы не набросился так — и на кого? на меня, подумать только!

— Фанни,— возразил мистер Доррит с братской слезой в голосе,— ты сама знаешь, что твой дядя, при всех его многочисленных достоинствах, не более чем — кха — обломок человека; а потому, во имя любви, которую я к нему питаю, во имя моей, известной тебе, несокрушимой преданности ему, прошу тебя: делай выводы сама и пощади мои родственные чувства.

На том и закончилась сцена, в которой Эдвард Доррит, эсквайр, исполнял роль лица без речей, сохраняя, однако же, до конца растерянный и недоумевающий вид. Крошка Доррит была в этот день немало смущена и даже обеспокоена поведением своей сестры, которая то принималась душить ее в объятиях, то дарила ей свои брошки, то выражала желание умереть.

ГЛАВА VI

Где-то что-то налаживается

Очутиться, как мистер Генри Гоуэн, меж двух лагерей: со зла покинув один, не найдя себе места в другом, и бродить неприкаянным по ничьей земле, посылая проклятья обоим — положение, не способствующее душевному равновесию, и время тут ничего исправить не может. Задачи нашей повседневной жизни трудней всего решать тем горе-математикам, которые легко производят вычитание, подсчитывая чужие заслуги или успехи, но путаются в сложении при подсчете собственных.

К тому же и привычка утешаться, козыряя своим разочарованием, таит в себе немалую опасность. Она побуждает жить спустя рукава, не заботиться о последовательности своих речей и поступков. Человек, подвластный такой привычке, начинает находить извращенное удовольствие в том, чтобы унижать достойное, возвышая недостойное; а жонглирование истиной в любой игре не проходит для игрока безнаказанно.

В оценках таких живописных произведений, которые с точки зрения Искусства ровно ничего не стоили, Гоуэн был самым снисходительным судьей на свете. Он охотно

утверждал, что у такого-то больше таланта в одном мизинце (если это была бездарность), чем у такого-то во всем его существе (если это был настоящий художник). Когда ему возражали, что картина, которую он хвалит,— дребедень, он отвечал: «Дружище, а все мы разве не дребедень пишем? Я по крайней мере только этим и занимаюсь, говорю откровенно».

Еще он любил при каждом удобном случае подчеркивать свою бедность; в этом тоже находил себе выражение его сплин. Впрочем, может быть, это делалось нарочно, чтобы дать понять, что по праву он бы должен быть богат; точно так же он на всех перекрестках то расхваливал, то бранил Полипов, чтобы напомнить о своем родстве с ними. Так или иначе, эти две темы не сходили у него с языка; и он их разрабатывал столь успешно, что, занимайся он самовосхвалением месяц подряд, это не придало бы ему и половины того весу, который он приобрел тем, что слегка набрасывал тень на собственную персону.

Из той же легкомысленной болтовни как-то само собой выходило для тех, кто встречал его с женой в обществе, что он женился против воли своих высокопоставленных родичей, и лишь ценою больших усилий достиг того, что родня признала его жену. Он никогда не выказывал себя сторонником подобных предрассудков — напротив, с презрением высмеивал их; однако сколько он ни умалял свои достоинства, всегда преимущество оказывалось на его стороне. С первых дней своего медового месяца Минни Гоуэн почувствовала, что на нее смотрят как на жену человека, для которого такой брак был явным мезальянсом, но который, как истинный рыцарь, пренебрег этим ради любви.

Мсье Бландуа из Парижа был их спутником до Венеции, а по прибытии в Венецию мсье Бландуа из Парижа сделался почти неразлучен с Гоуэном. Когда этот бравый господин впервые представился им в Женеве, Гоуэн не знал, как с ним обойтись: турнуть его или приветить; за целые сутки он так и не пришел ни к какому решению, и уже готов был положиться на волю судьбы, подбросив вверх пятифранковую монету: орел — турнуть, решетка — приветить. Но тут Минни случилось обмолвиться, что обворожительный Бландуа ей не по душе; да и в гостинице о

нем сложилось не слишком благоприятное мнение. Этого было достаточно, чтобы Гоуэн решил вопрос в его пользу.

Откуда взялось подобное упрямство (ибо едва ли можно было предположить тут великодушный порыв)? Зачем понадобилось Гоуэну, который был не чета мсье Бландуа из Парижа и без труда мог раскусить этого наглого господина,— зачем понадобилось Гоуэну заводить с ним дружбу? Во-первых, он действовал наперекор первому самостоятельному побуждению своей жены, потому что ее отец уплатил его долги, и желательно было как можно скорей доказать свою полную независимость. Во-вторых, он действовал наперекор общему мнению, потому что, несмотря на заложенные в нем добрые качества, был человеком злонравным. Ему доставляло наслаждение утверждать, что в любой стране, где нравы более утонченны, человек с такими изысканными манерами, как у Бландуа, сделал бы блестящую придворную карьеру. Ему доставляло наслаждение провозглашать Бландуа образцом изящества и пользоваться им для высмеивания тех, кто чересчур много мнил о достоинствах своей особы. Он совершенно всерьез уверял, что поклоны Бландуа — воплощение грации, что против его обходительности невозможно устоять, что за непринужденную живописность его поз не жаль бы отдать и сто тысяч франков — если бы дары природы покупались на деньги. Отсутствие чувства меры, характерное для Бландуа и ему подобных, из какого бы круга они ни вышли (не меньше, нежели наличие солнца характерно для солнечной системы), особенно нравилось Гоуэну; это была карикатура, в которой были доведены до крайности черты, присущие тем, кто служил предметом его насмешек. Вот почему он отнесся к этому знакомству благосклонно; а там уже привычка и какое-то ленивое удовольствие, которое он находил в болтовне с Бландуа, сделали то, что он мало-помалу втянулся в почти приятельские отношения с ним. А между тем он нимало не сомневался, что его новый приятель — попросту шулер и плут; угадывал в нем труса, тогда как сам обладал и мужеством и дерзкой отвагой; знал, что он неприятен его жене, да и сам не испытывал к нему никаких теплых чувств, так что, услышь он, например, что неприязнь Минни вызвана хоть малейшим неуважением со стороны этого изысканного кавалера, он

бы, не задумываясь, вышвырнул его из самого высокого в Венеции окна в самый глубокий канал.

Крошка Доррит предпочла бы поехать к миссис Гоуэн одна; но мисс Фанни, которая все не могла опомниться после устроенной дядюшкой сцены (хотя прошло уже больше суток), навязалась ей в спутницы. Сестры сели в одну из гондол, дожидавшихся под окнами, и с большой помпой, в сопровождении курьера, отбыли к месту назначения. Впрочем, помпа, по совести говоря, была тут совершенно излишней, ибо сторона, в которой жили Гоуэны, оказалась, по выражению возмущенной Фанни, «форменной трущобой», и, чтобы попасть туда, им пришлось пробираться через бесконечную путаницу узеньких каналов, которые та же мисс Фанни пренебрежительно назвала «канавами».

Дом, расположенный на пустынном островке, выглядел так, словно он оторвался откуда-то, и его случайно прибило сюда вместе с одиноким виноградным кустом, на вид не менее жалким, чем какие-то потрепанные личности, растянувшиеся под ним в холодке. Окружающий пейзаж составляли: церковь, взятая в леса для ремонта, должно быть лет сто, не меньше, тому назад, поскольку за это время сами леса успели сгнить и частью обвалиться; белье, развешанное для просушки; дома, которые стояли вразброд, наклонившись в разные стороны, и были очень похожи на нарезанные кое-как куски сыру доадамовой поры, заплесневелые и кишащие червями; и фантастическая пестрядь окон с оторванными или покривившимися ставнями и каким-то грязным тряпьем, свисавшим отовсюду.

В первом этаже дома помещался банк — неожиданный сюрприз для каждого солидного коммерсанта, прибывшего сюда с запасом законов для всего человечества, изготовленных в Англии; и два сухопарых, бородатых конторщика в зеленых бархатных шапочках, украшенных золотыми кистями, стояли, похожие на высушенных кузнечиков, за невысокой стойкой в небольшой комнатке, где не видно было других предметов, кроме раскрытого несгораемого шкафа, зиявшего пустотой, графина для воды и обоев с веночками из роз; и где тем не менее, словно по мановению руки, выкладывались перед предъявителем чека целые горы пятифранковых монет. Под банком находилось поме-

щение из нескольких комнат с железными решетками на окнах — ни дать ни взять, тюрьма для проштрафившихся крыс. Над банком была расположена резиденция миссис Гоуэн.

Хотя сырость разрисовала здесь стены наподобие немых карт, по которым любознательные жильцы могли бы изучать географию; хотя разнокалиберная мебель была покрыта пятнами плесени, а обивка ее истрепалась и полиняла; хотя во всех комнатах стоял особый венецианский запах — запах стоялой воды и водорослей,— все же эта резиденция оказалась лучше, чем можно было ожидать. Двери отворил человек с физиономией раскаявшегося убийцы — нанятый на месте слуга; он приветливо заулыбался гостьям и проводил их в комнату миссис Гоуэн, которой доложил, что ее желают видеть две прекрасные английские леди.

Миссис Гоуэн с некоторой поспешностью сложила в корзиночку свое рукоделие и встала навстречу сестрам. Мисс Фанни рассыпалась в любезностях, пустословя с воодушевлением испытанного ветерана светской жизни.

— Папа крайне огорчен,— щебетала она,— что не мог нам сопутствовать (он совершенно не принадлежит себе, ведь у нас столько знакомых, просто ужас!); но он наказал, чтобы я непременно передала его карточку мистеру Гоуэну. Позвольте уж мне, для облегчения своей совести, сразу исполнить это поручение, которое я выслушала раз двадцать, и положить карточку вон на тот столик.

Что она и сделала, с непринужденностью ветерана.

— Нам так приятно было узнать, что вы знакомы с Мердлами,— продолжала Фанни.— Мы надеемся, это даст нам возможность чаще встречать вас в обществе.

— Семья Мердл в дружбе с родными мистера Гоуэна,— отвечала миссис Гоуэн.— Я еще не имела удовольствия лично познакомиться с миссис Мердл, но, вероятно, буду представлена ей в Риме.

— Вот как! — сказала Фанни, великодушно не стараясь подчеркнуть преимущества своего положения.— Я уверена, она вам понравится.

— Вы ее близко знаете?

— Ах, мой бог,— отвечала Фанни, выразительно по-

жимая своими округлыми плечиками,— в Лондоне все друг друга знают. Мы с ней недавно повстречались на пути сюда, и признаться, папа было рассердился на нее, что она заняла одну из оставленных для нас комнат. Но это маленькое недоразумение быстро уладилось, и мы расстались лучшими друзьями.

За все это время Крошка Доррит еще ни словом не обменялась с миссис Гоуэн, но, как видно, они отлично понимали друг друга и без слов. Гостья смотрела на хозяйку с живым и неослабным интересом, взволнованно вслушивалась в звук ее голоса, не упускала ни одной мелочи в ней самой, в том, что ее окружало, что так или иначе было связано с нею. Еще никогда Крошка Доррит не улавливала так чутко малейшую смену чужого настроения — разве только в одном случае.

— Как ваше здоровье после той ночи в горах? — спросила она наконец.

— Отлично, дружочек. А ваше как?

— О, я всегда здорова,— смущенно сказала Крошка Доррит.— Я — да, благодарю вас.

Ей не было причины запинаться и путаться, кроме разве того, что миссис Гоуэн, отвечая на вопрос, коснулась ее руки и взгляды их встретились. Какая-то боязливая грусть, увиденная Крошкой Доррит в глубине больших ласковых глаз, заставила ее на миг осечься.

— А вы, верно, не подозреваете, что совсем пленили моего мужа,— сказала миссис Гоуэн,— впору мне приревновать!

Крошка Доррит, краснея, покачала головой.

— Если он вам повторит то, что говорил мне, вы услышите, что вы — просто чудо по своему спокойствию и уменью быстро прийти на помощь в беде.

— Мистер Гоуэн слишком лестного мнения обо мне,— сказала Крошка Доррит.

— Не нахожу; зато я нахожу, что мне следует сообщить ему, что вы здесь. Он мне не простит, если я отпущу вас — вас и мисс Доррит,— не сказав ему об этом. Вы позволите? Вас не смутит беспорядок мастерской художника?

Мисс Фанни, к которой были обращены эти вопросы, любезно отвечала, что, напротив, она будет в восторге, ведь

это так интересно. Миссис Гоуэн на миг исчезла за дверью, и тотчас же возвратилась.

— Генри вас очень просит зайти,— сказала она.— Я знала, что он обрадуется!

Первое, что увидела Крошка Доррит, переступив порог мастерской, был Бландуа из Парижа; в широком плаще и надвинутой на глаза шляпе он стоял на подмостках в углу, совершенно такой же, как в тот день, когда он стоял на Большом Сен-Бернаре и руки деревянных скелетов, словно предостерегая, указывали на него. Она с испугом попятилась от этой фигуры, несмотря на любезную улыбку, которою была встречена.

— Не пугайтесь,— сказал Гоуэн, выходя из-за двери, скрывавшей его мольберт.— Это только Бландуа. Он сегодня служит мне моделью. Я пишу с него этюд. По крайней мере не нужно тратиться на натурщика. Мы, бедные художники, должны избегать лишних трат.

Бландуа из Парижа снял шляпу и издали поклонился дамам.

— Тысяча извинений! — сказал он.— Но маэстро так беспощаден со мной, что я боюсь пошевелиться.

— И не шевелитесь! — хладнокровно отозвался Гоуэн в то время, как сестры осторожно приблизились к мольберту.— Пусть дамы видят перед собой оригинал, им тогда легче будет решить, что эта мазня изображает. Вот, прошу вас. Bravo [1], готовый нанести удар своей жертве, доблестный герой, готовый лечь костьми за отечество, демон зла, готовый погубить чью-то душу, посланец небес, готовый спасти чью-то душу — это уж как вам покажется.

— Скажите лучше, professore mio [2],— скромный джентльмен, готовый приветствовать красоту и грацию,— вставил Бландуа.

— Или еще лучше, cattivo soggetto mio [3],— возразил Гоуэн, подправляя кистью лицо на портрете в том месте, где на живом лице дрогнул мускул,— убийца после преступления. Где ваша белая рука, Бландуа? Выньте ее из-под плаща. Только держите спокойно.

---

[1] Наемный убийца *(итал.)*.
[2] Профессор *(итал.)*.
[3] Негодник *(итал.)*.

Рука Бландуа слегка тряслась — должно быть оттого, что он смеялся.

— Он боролся с другим убийцей, а может быть, со своей жертвой,— продолжал Гоуэн, быстрыми, нетерпеливыми и неточными мазками выписывая тени на руке,— вот и знаки борьбы. Да не прячьте же руку, вам говорят! Corpo di San Marko [1], что с вами такое?

Бландуа из Парижа снова засмеялся, и рука его затряслась еще сильнее; он поднял ее, чтобы подкрутить усы, которые обвисли, будто взмокнув; затем снова встал в позу и приосанился.

Его голова была повернута так, что он смотрел прямо на Крошку Доррит, стоявшую около мольберта. Этот странный взгляд словно завораживал, и, раз взглянув на него, она уже не могла отвести глаза в сторону. Так они и стояли все время, глядя друг на друга. Но вот она вздрогнула; Гоуэн, заметив это, решил, что ее испугало раздавшееся вдруг ворчанье собаки, которую она гладила по голове, и, оглянувшись, сказал:

— Не бойтесь, мисс Доррит, он не тронет.

— Я не боюсь,— торопливо ответила она,— но посмотрите, что с ним.

В одно мгновение Гоуэн отшвырнул кисть и обеими руками схватил собаку за ошейник.

— Бландуа! С ума вы сошли, дразнить его! Клянусь небом — и не только небом,— он вас растерзает в клочья! Куш, Лев! Куш! Ты что, не слышишь, каналья?

Огромный пес, не обращая внимания на душивший его ошейник, рвался из рук хозяина. Если бы Гоуэн минутой опоздал схватить его, он успел бы броситься на Бландуа.

— Лев! Лев! — Пес встал на задние лапы и боролся с хозяином.— Назад, Лев! На место! Уйдите прочь, чтобы он вас не видел, Бландуа! Какого демона вы наслали на эту собаку?

— Я ничего ей не сделал.

— Уйдите прочь, иначе мне не сдержать этого зверя! Совсем уйдите из комнаты! Клянусь всеми святыми, он загрызет вас насмерть.

---

[1] Клянусь телом святого Марка *(итал.)*.

Собака с яростным лаем рванулась вслед уходящему Бландуа, потом утихла; но тут хозяин, рассвирепевший, пожалуй, не меньше собаки, сильным ударом по голове свалил ее на пол и принялся пинать каблуком, так что скоро вся морда у нее оказалась в крови.

— А теперь марш в угол и лежать смирно! — крикнул Гоуэн.— Не то выведу на двор и пристрелю!

Лев повиновался и, улегшись в углу, стал зализывать следы ударов на морде и на груди. Хозяин Льва перевел дух, а затем, вновь обретя свое привычное хладнокровие, повернулся к жене и ее гостьям, которые испуганно жались друг к другу у мольберта. Вся эта сцена заняла не более двух минут.

— Ничего, ничего, Минни! Ты же знаешь, какой он всегда кроткий и послушный. Бландуа, верно, корчил ему рожи, вот и раздразнил его. У Льва есть свои симпатии и антипатии, и, надо сказать, Бландуа он невзлюбил с первого же дня; но ты можешь подтвердить, Минни, что с ним никогда ничего подобного не бывало.

Минни была слишком взволнована, чтобы отвечать; Крошка Доррит успокаивала и утешала ее; Фанни, успевшая два или три раза вскрикнуть от испуга, держалась на всякий случай за руку Гоуэна; Лев, глубоко пристыженный тем, что наделал такой переполох, подполз на брюхе и лег у ног своей хозяйки.

— Зверь дикий! — сказал Гоуэн, снова пнув его ногой.— Я тебя проучу за это, будешь знать! — И он пнул его еще и еще.

— Ах, не надо больше его наказывать! — воскликнула Крошка Доррит.— Пожалуйста, не бейте его. Смотрите, какой он смирный!

Гоуэн внял ее просьбам и оставил в покое собаку, которая вполне того заслуживала, так как в эту минуту являла собой воплощение покорности, смирения и раскаяния.

После случившегося трудно было наладить простую и непринужденную беседу, даже не будь тут Фанни, чье жеманство мешало бы этому при любых обстоятельствах. Поговорили немного о разных пустяках, а затем сестры стали прощаться; однако и за этот короткий разговор у Крошки Доррит успело сложиться впечатление, что мистер Гоуэн, хотя и любит жену, но так, как можно любить

хорошенького ребенка. О глубине тех чувств, что таились под прелестной внешностью этого ребенка, он, видимо, и не догадывался; и это заставляло усомниться, способен ли он сам на сколько-нибудь глубокое чувство. Быть может, думалось Крошке Доррит, отсюда и проистекает присущая ему легковесность; быть может, люди, как корабли — где мелко и дно каменисто, там не за что зацепиться якорю, и судно несется по воле волн.

Гоуэн проводил сестер вниз, шутливо извиняясь за свое невзрачное жилье — что поделаешь, бедному художнику не приходится привередничать; вот если его знатные родичи, Полипы, когда-нибудь заглянут сюда и, устыдясь, предложат ему квартиру получше, он не станет огорчать их отказом. У причала стоял Бландуа и проводил дам учтивейшим поклоном; он еще был бледен после недавнего происшествия, но позаботился превратить все в шутку и весело засмеялся при упоминании о Льве.

Гондола с прежнею помпой заскользила по водам канала, и вскоре за поворотом остался и дом, и виноградный куст, и Гоуэн, который лениво обрывал листок за листком и бросал их в воду, и Бландуа, поторопившийся закурить, как только гондола отошла от причала. Спустя несколько минут Крошка Доррит стала замечать, что Фанни как-то уж очень неестественно себя держит — манерничает, принимает картинные позы, хотя, казалось бы, не для кого; в поисках причины этого странного поведения младшая сестра посмотрела в окно, потом в раскрытую дверь и увидела другую гондолу, которая словно бы сопровождала их.

Сообразуя свой ход с их ходом, эта гондола выделывала весьма замысловатые эволюции: она то стремительно вырывалась вперед и потом останавливалась, пропуская их мимо себя; то шла с ними борт о борт, там, где это допускала ширина русла, то следовала вплотную сзади; и так как Фанни не пыталась скрыть, что все ее ужимки рассчитаны на пассажира этой таинственной гондолы, который, однако, не должен был знать, что замечен ею,— то Крошка Доррит, наконец, спросила, кто это там.

Ответ был краток, но выразителен:

— Да тот оболтус.

— Кто? — переспросила Крошка Доррит.

— Ах ты душенька! — сказала Фанни (тоном, позволявшим предположить, что до протеста дядюшки Фредерика она сказала бы: «Ах ты дурочка!»).— Ну можно ли быть такой недогадливой! Мистер Спарклер, конечно!

Она опустила окно со своей стороны, небрежно облокотилась на него и, слегка откинувшись назад, принялась обмахиваться роскошным, черным с золотом, испанским веером. Как раз в эту минуту вторая гондола снова прошмыгнула мимо них, и в окне мелькнул чей-то глаз, прилипший к стеклу. Фанни кокетливо засмеялась и сказала:

— Видала ты когда-нибудь такого дурня, милочка?

— Неужели он собирается провожать тебя до самого дома? — спросила Крошка Доррит.

— Сокровище мое,— возразила Фанни,— я, право, не могу предвидеть, на что способен охваченный страстью идиот, но думаю, что это вполне возможно. Не такой уж в конце концов далекий путь. Да он бы, верно, не задумался проехать всю Венецию, раз он так влюблен.

— А он влюблен? — простодушно спросила Крошка Доррит.

— Ну знаешь ли, душенька, мне самой словно бы неловко отвечать на такой вопрос,— сказала старшая сестра.— Но, кажется, влюблен. Ты спроси лучше Эдварда. Он ему говорил о своих чувствах. Впрочем, он, кажется, о них твердит во всеуслышание, на потеху всем посетителям Казино и других подобных заведений. Спроси Эдварда, он тебе расскажет.

— Удивляюсь, что он ни разу не был у нас с визитом,— задумчиво сказала Крошка Доррит.

— Если я правильно осведомлена, милая Эми, тебе недолго придется удивляться. Можно ждать его даже сегодня. Просто этот недотепа никак не соберется с духом.

— А ты выйдешь к нему, если он явится?

— Право, не знаю, душенька,— сказала Фанни.— Там видно будет. Смотри, смотри, вот он опять! Ну и мозгляк!

Мистер Спарклер в самом деле не производил особо внушительного впечатления в рамке окна гондолы, к которому он так приклеился лицом, что его глаз можно было принять за пузырь на стекле. И вовсе ему незачем было останавливать гондолу, если не считать того, зачем он ее остановил.



— Когда ты спросила, выйду ли я к нему, душенька,— продолжала Фанни, принимая новую позу, грациозная небрежность которой сделала бы честь самой миссис Мердл,— что у тебя было на уме?

— У меня на уме...— сказала Крошка Доррит,— у меня на уме было узнать, что у тебя на уме, милая Фанни.

Фанни снова засмеялась, снисходительно и в то же время лукаво, и сказала, с шутливой нежностью обнимая сестру:

— Ты мне вот что скажи, малышка. Когда мы встретились с этой женщиной в Мартиньи, как по-твоему, что она подумала, увидя нас? Какое сразу же приняла решение, ясно тебе?

— Нет, Фанни.

— Ну так слушай, я сейчас объясню. Она сказала себе: «Никогда я не обмолвлюсь ни словом, что уже встречалась раньше с этими девушками, никогда не подам виду, что узнала их». Вполне в ее духе— вот так выйти из затруднительного положения. Что я тебе сказала, когда мы возвращались с Харли-стрит? Что это самая беззастенчивая и самая лживая женщина в мире. Но по части первого свойства, моя душенька, могут найтись такие, что не уступят ей.

Красноречивое движение веера к груди Фанни весьма недвусмысленно говорило о том, где именно такие могут найтись.

— Она не только решила так за себя,— продолжала Фанни,— но и за молодого Спарклера тоже; и не дает ему встретиться со мной, пока она не вдолбила в его дурацкую башку (головой ведь этот предмет не назовешь), что он должен вести себя так, будто до Мартиньи и в глаза меня не видал.

— А зачем? — спросила Крошка Доррит.

— Зачем? Ах ты господи, ну можно ли задавать такие наивные вопросы! («такие дурацкие вопросы», слышалось в тоне). Неужели ты не понимаешь, душенька, что я теперь выгодная партия для этого болвана? Неужели не догадываешься, что она хочет свалить все со своих плеч (которые у нее, признаюсь, очень недурны,— заметила мисс Фанни, самодовольно поводя собственными плечиками) и сделать вид, будто этот обман затеяли мы, а она лишь поддерживает его, щадя наши чувства.

— Но ведь мы всегда можем восстановить истину.

— Да, только с твоего позволения мы и не подумаем ее восстанавливать,— возразила Фанни.— Нет, нет, Эми, об этом и речи быть не может. Не я начала плести эту ложь; она начала, вот пусть и плетет на доброе здоровье.

И в упоении своим торжеством мисс Фанни так крепко сжала талию сестры, как будто ей в руки попала сама миссис Мердл и она собиралась раздавить ее.

— Да,— повторила Фанни,— теперь я с нею сквитаюсь. Она мне показала дорожку, вот я по этой дорожке и пойду. И если судьба мне поможет, я с ней заведу настолько близкое знакомство, что в один прекрасный день у нее на глазах подарю ее горничной платье от моей портнихи в десять раз лучше и дороже того, что она когда-то подарила мне!

Крошка Доррит молчала; она знала, что в вопросах семейного достоинства ей голоса не дано, и не хотела понапрасну рисковать столь неожиданно возвращенным ей благорасположением сестры. Поддакивать она не могла, оставалось только молчать. Фанни отлично понимала, о чем она думает — именно потому и не преминула спросить.

— Ты намерена поощрять мистера Спарклера, Фанни? — был ответ.

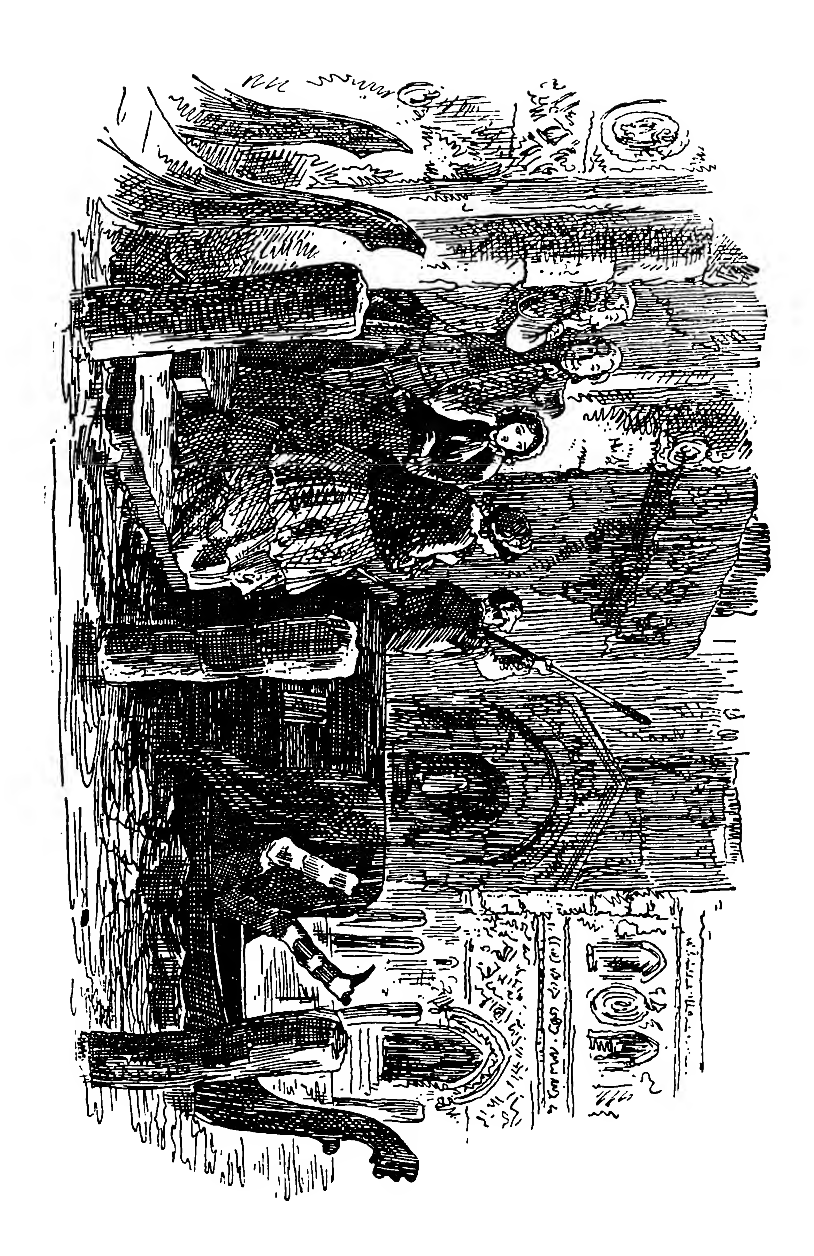
— Поощрять, милочка? — с презрительной усмешкой повторила старшая сестра.— Смотря по тому, что ты разумеешь под этим словом. Нет, поощрять я его не намерена. Но я из него сделаю своего раба.

Крошка Доррит устремила на нее тревожный испытующий взгляд, но Фанни не так-то легко было смутить. Она закрыла свой черно-золотой веер и легонько хлопнула им младшую сестру по носу с видом горделивой и мудрой красавицы, шутя поучающей скромную подружку.

— Я из него веревки буду вить, душенька, он передо мной на коленях ползать будет. А если мне не удастся поставить на колени и его маменьку тоже, то не по недостатку усердия с моей стороны.

— Милая Фанни, ты не обижайся на меня, раз уж мы разговорились по душам — но представляешь ли ты, чем все это может кончиться?

— А я пока и не стараюсь себе это представить,— отвечала Фанни с поистине царственным равнодушием,—



все в свое время. Словом, теперь тебе известны мои намерения, душенька. И я так долго объясняла их, что мы уже успели доехать. А вот, кстати, и молодой Спарклер, справляется, должно быть, принимают ли! Подумать только, какое совпадение!

И в самом деле, названный джентльмен тянулся из своей гондолы с визитной карточкой в руках, адресуясь к стоявшему у подъезда слуге. Случаю, однако, было угодно, чтобы минутою спустя сей буколический герой предстал перед дамами в положении, которое в древности едва ли могло быть сочтено предзнаменованием успеха; дело в том, что гондольеры сестер, недовольные гонками, которые он устроил, так ловко подтолкнули, причаливая, его гондолу, что он потерял равновесие и опрокинулся как подбитая кегля, являя предмету своей страсти подметки своих башмаков в то время, как более благородные части его существа барахтались на дне гондолы в объятиях одного из слуг.

Тем не менее когда мисс Фанни осведомилась, весьма участливо, не ушибся ли джентльмен, мистер Спарклер сверх ожиданий тотчас же воспрянул и самолично пролепетал: «Ничуть!» Мисс Фанни его лицо не показалось знакомым, и, слегка кивнув головой, она уже хотела войти на крыльцо, но тут он поторопился назвать свою фамилию. Однако и после этого ей все не удавалось его припомнить, пока он не объяснил, что имел удовольствие познакомиться с ней в Мартиньи. Тогда она, наконец, вспомнила и выразила желание знать, как чувствует себя его матушка.

— Благодарю вас,— залопотал мистер Спарклер,— очень хорошо — то есть, собственно говоря, неважно.

— Она в Венеции? — осведомилась мисс Фанни.

— Нет, в Риме,— ответствовал мистер Спарклер.— А я тут сам по себе, сам по себе. Вот решил навестить мистера Эдварда Доррита. Ну, и мистера Доррита тоже. И вообще все семейство.

Грациозно повернув головку к слуге, мисс Фанни спросила, дома ли папенька и братец. Так как ответ последовал утвердительный, мистер Спарклер робко предложил ей руку. Предложение было принято, и мисс Фанни проследовала наверх, опираясь на руку своего верного поклонника, который в простоте души, быть может, все еще пола-

гал, что имеет дело с девицей «без всяких там фиглей-миглей»,— но если так, то он сильно заблуждался.

Поднявшись по лестнице, они вошли в гостиную, украшенную пятнами сырости и линялыми драпировками цвета морской волны, такими обвислыми и мятыми, что можно было усмотреть в них фамильное сходство с водорослями, которые плавали по каналу или, прибившись к подножию стен, словно оплакивали своих томящихся в неволе родственников. Мисс Фанни тотчас же снарядила гонцов за отцом и братом, а пока что расположилась в изящнейшей позе на диване и завела речь о Данте — чем окончательно добила мистера Спарклера, у которого имелось лишь смутное представление, что был такой чудак, почему-то любивший сидеть на скамеечке перед собором во Флоренции, нацепив на голову венок из листьев.

Мистер Доррит, приветствуя гостя, блеснул изысканностью обхождения и аристократичностью манер. Он с особым интересом осведомился о миссис Мердл. Он с особым интересом осведомился о мистере Мердле. Мистер Спарклер ответил, точней, по кусочкам выдавил из себя через воротничок сорочки, что миссис Мердл надоел ее загородный дом и ее вилла в Брайтоне *, и гостить у знакомых ей нынешний год тоже не хотелось, ну а в Лондоне, сами понимаете, нельзя же оставаться, когда там нет ни души, вот она и надумала ехать в Рим, где такую женщину, как она, видную из себя и без всяких там фиглей-миглей, непременно с восторгом примут в обществе. Что касается мистера Мердла, так вся эта публика в Сити и разных там банках и конторах просто не может без него обойтись, уж очень он большой дока по денежной части и по торговой тоже, и если ему уехать, так там все кувырком пойдет; хотя мистер Спарклер готов был признать, что здоровье этого финансового и коммерческого феномена подчас несколько страдает от столь бурной деятельности и что невредно бы ему съездить проветриться куда-нибудь за границу. Что же касается его, мистера Спарклера, собственных планов, то он дал понять, что весьма важные дела призывают его как раз туда, куда собирается семейство Доррит.

Этот ораторский шедевр потребовал времени, но все же был завершен. После его завершения мистер Доррит

выразил надежду, что мистер Спарклер сделает им честь как-нибудь у них отобедать. Мистер Спарклер отнесся к этой перспективе с таким энтузиазмом, что мистер Доррит спросил: а что, например, он делает нынче вечером? Поскольку оказалось, что нынче вечером он ничего не делает (обычное его занятие, к которому он имел исключительные способности), то приглашение на обед состоялось немедленно; а после обеда ему было предложено сопровождать дам в Оперу.

Точно в назначенное время мистер Спарклер вышел из волн, точно сын Венеры *, следующий материнскому примеру, и в полном блеске совершил восхождение по главной лестнице. Если Фанни была очаровательна с утра, то сейчас, в туалете искусно подобранных цветов, она была втрое очаровательней; а небрежный взгляд, которым она подарила мистера Спарклера в знак приветствия, еще туже стянул его оковы и наглухо заклепал их.

— Я слышал, мистер Спарклер,— сказал за обедом хозяин дома,— что вы знакомы с — кха — мистером Гоуэном. Мистером Генри Гоуэном.

— Верно, сэр,— отвечал мистер Спарклер.— Его родительница с моей родительницей подружки.

— Как это мне не пришло в голову, Эми,— заметил мистер Доррит величественно-покровительственным тоном, достойным самого лорда Децимуса.— Ведь ты могла бы написать им и от моего имени пригласить их тоже к обеду сегодня. Кто-нибудь — кха — мог бы даже съездить за ними, а потом отвезти их домой. У нас нашлась бы — кхм — лишняя гондола. Жаль, я раньше об этом не подумал. Прошу тебя, Эми, напомни мне о них завтра.

Крошка Доррит отнюдь не была уверена, что это милостивое приглашение обрадует мистера Гоуэна, однако пообещала напомнить.

— А позвольте узнать, мистер Генри Гоуэн пишет — кха — портреты? — осведомился мистер Доррит.

Мистер Спарклер высказался в том смысле, что мистер Генри Гоуэн пишет все, на что ни подвернется заказ.

— Так у него нет никаких пристрастий? — спросил мистер Доррит.

Мистер Спарклер, которого любовь вдохновила на остроумие, ответил, что всякое пристрастие требует осо-

бой обуви: для охоты нужны охотничьи сапоги, для игры в крикет спортивные туфли. А мистер Генри Гоуэн, как он мог наблюдать, всегда ходит в обыкновенных башмаках.

— Никакой специальности? — спросил мистер Доррит.

Слово было слишком трудное для мистера Спарклера, к тому же непривычное напряжение уже утомило его мозг, и он отвечал.

— Нет, благодарю вас. Я этого не ем.

— Так или иначе,— сказал мистер Доррит,— мне было бы весьма лестно чем-либо выразить — кха — отпрыску столь уважаемого рода свою готовность быть ему полезным и способствовать — кхм — развитию его таланта. В качестве — кха — скромного знака внимания я, пожалуй, закажу ему свой портрет. А если этот опыт — кха — удовлетворит обе стороны, можно будет распространить его и на других членов моего семейства.

Исключительно смелая и оригинальная мысль осенила мистера Спарклера: пользуясь случаем, заметить, что перед некоторыми членами упомянутого семейства (слово «некоторыми» подчеркнуть голосом) бессильна кисть любого художника. Однако за отсутствием подходящих слов эта мысль так и не обрела выражения.

Последнее было тем огорчительней, что мисс Фанни сразу же загорелась идеей портрета и стала просить отца привести эту идею в исполнение. Ведь похоже на то, говорила она, что мистер Гоуэн ради союза со своей хорошенькой женой отказался от куда более выгодных и заманчивых перспектив; любовь в шалаше, писание картин ради куска хлеба — все это так интересно, что папа непременно должен дать ему заказ, хотя бы он даже совсем не умел писать портреты; а он, кстати сказать, умеет, они с Эми сегодня имели случай убедиться в этом, сравнив потрет его работы с оригиналом, который на полотне выглядит как живой. Эти слова повергли мистера Спарклера в полное отчаяние (на что, весьма возможно, и были рассчитаны); ибо если по ним и выходило, что мисс Фанни не глуха к голосу страсти нежной, то, с другой стороны, она так явно находилась в полнейшем неведении относительно его, мистера Спарклера, чувств, что у него глаза на лоб полезли от ревности к неизвестному сопернику.

После обеда они вновь нырнули в объятия волн, и вновь вынырнули из них у подножья Оперы. Сопровождаемые одним из гондольеров, который шел впереди на манер Тритона * с большим парусиновым фонарем в руке, они поднялись по широкой лестнице и вошли в свою ложу, которой суждено было стать для мистера Спарклера камерой пыток. В зале было темно, а в ложе светло; туда то и дело являлись разные джентльмены, засвидетельствовать свое почтение барышням Доррит, и Фанни так оживленно болтала с ними, принимала такие обольстительные позы, обмениваясь милыми шутками или споря насчет того, кто да кто сидит в дальних ложах, что злосчастный Спарклер возненавидел весь род человеческий. Лишь после представления два обстоятельства несколько утешили его. Надевая мантилью, она дала ему подержать свой веер, а затем он вновь удостоился редкостной привилегии вести ее по лестнице. То была лишь малость, но и эту малость мистер Спарклер счел достаточной для поддержания своего духа; не исключено, что и мисс Фанни рассуждала так же.

Тритон с фонарем уже стоял наготове у двери ложи, и такие же Тритоны с такими же фонарями дожидались у дверей других лож. Дорритовский Тритон низко опустил фонарь, освещая лестницу, и зрелище прелестных ножек, мелькающих на ступенях, прибавило еще несколько массивных звеньев к тяжелым оковам мистера Спарклера. В толпе у театрального подъезда случился Бландуа из Парижа. Он приветствовал мисс Фанни и пошел с ней рядом.

Крошка Доррит шла впереди с братом и миссис Дженерал (мистер Доррит предпочел остаться дома), но у самой воды все маленькое общество снова сошлось вместе. Увидев рядом с собой Бландуа, галантно помогавшего Фанни войти в гондолу, Крошка Доррит вздрогнула снова.

— Гоуэна сегодня постигла утрата,— сказал Бландуа,— уже после того, как вы осчастливили его своим посещением.

— Утрата? — переспросила Фанни, расставшись с обездоленным Спарклером и проходя на свое место.

— Да, утрата,— повторил Бландуа.— Его пес, Лев.

Он в это время держал в руке руку Крошки Доррит.

— Околел,— сказал Бландуа.

— Околел? — откликнулась Крошка Доррит.— Этот чудесный пес?

— Что поделаешь, милые барышни,— сказал Бландуа, с улыбкой пожимая плечами.— Кто-то отравил этого чудесного пса. Доги, как и дожи, смертны!

ГЛАВА VII

Преимущественно Плющ и Пудинг

Миссис Дженерал, уверенной, как всегда, рукой натягивая бразды приличий, неустанно заботилась о придании внешнего лоска своей милой юной приятельнице, а милая юная приятельница прилагала все силы, чтобы эти заботы не пропали зря. Ничто в ее прошлой нелегкой жизни не давалось ей таким тяжелым трудом, как нынешние старания приобрести с помощью миссис Дженерал лакированную поверхность. Ей, правда, было очень не по себе под ровными взмахами кисточки с лаком; но она так же покорно подчинялась семейным требованиям теперь, в дни блеска, как подчинялась им прежде, в дни нищеты, и ее личные склонности значили для нее не больше, чем чувство голода в те времена, когда она отказывала себе в обеде, чтобы накормить отца ужином.

Среди испытаний, которым ее подвергала миссис Дженерал, была у нее одна отрада, один источник силы и бодрости; правда, натуре менее преданной и нежной, и не столь привычной к борьбе и жертвам, показалось бы безрассудным находить в этом какое-либо утешение; но так уж повелось в жизни, что натуры, подобные Крошке Доррит, не обладают рассудительностью, свойственной тем, кто ими верховодит. Благорасположение сестры — вот что давало отраду Крошке Доррит. Нужды нет, что это благорасположение выливалось в форму снисходительного покровительства; она к тому привыкла. Нужды нет, что ей отводилось лишь скромное место где-то на запятках сверкающей колесницы, на которой восседала Фанни, принимая почести; она не искала лучшего. Восхищаясь красотой Фанни, ее изяществом, ее находчиво-

стью и остроумием, она щедро дарила ей всю сестринскую нежность, заключенную в ее большом сердце, никогда не задумываясь о том, чего тут больше, заслуг сестры или ее собственных.

Изрядные количества Плюща и Пудинга, которыми миссис Дженерал уснащала семейный обиход, в сочетании с беспрерывными вылазками мисс Фанни в общество, давали такую смесь, где лишь на дне отстаивался очень незначительный естественный осадок. Вот почему разговоры по душам со старшей сестрой были еще дороже для Крошки Доррит и приносили ей еще больше облегчения.

— Эми,— сказала Фанни однажды, когда они остались вдвоем после утомительного дня, который довел Крошку Доррит до полного изнеможения, тогда как Фанни с величайшей охотой нырнула бы в общество еще разок.— Я хочу заронить одну мысль в твою маленькую головку. Ты, верно, и не догадываешься, о чем идет речь?

— Как же мне догадаться, милая Фанни,— сказала Крошка Доррит.

— А ты попробуй, я тебе подскажу,— возразила Фанни.— Миссис Дженерал.

Плющ и Пудинг во всевозможных комбинациях заполнили весь этот нескончаемый день — все было сплошной лак, и лоск, и внешность, лишенная содержания; и Крошка Доррит, уставшая донельзя, явно надеялась, что миссис Дженерал, уютно свернувшись в теплой постели, угомонилась на несколько часов.

— Ну что, не догадываешься? — спросила Фанни.

— Нет, милая Фанни. Может быть, я что-нибудь не так сделала? — сказала Крошка Доррит, испугавшись: вдруг где-нибудь потрескался лак или сошел лоск по ее вине.

Фанни ее испуг показался до того забавным, что она схватила свой любимый веер с туалетного столика (служившего арсеналом смертоносных орудий, из которых многие были обагрены кровью Спарклера) и со смехом несколько раз хлопнула сестру по носу.

— Ах ты Эми, Эми! — воскликнула Фанни.— Трусишка ты моя глупенькая! Впрочем, ничего смешного тут нет. Напротив, душенька, я вне себя от злости.

— Но ведь не на меня же, Фанни, а раз так, мне все равно,— с улыбкой сказала младшая сестра.

— Зато мне не все равно! — вскричала старшая.— И тебе тоже будет не все равно, когда ты узнаешь, в чем дело. Скажи, Эми, ты никогда не замечала, что кое-кто до безобразия любезен с миссис Дженерал?

— С миссис Дженерал все любезны,— сказала Крошка Доррит.— Потому что...

— Потому что она примораживает всех, хочешь ты сказать? — перебила Фанни.— Нет, я не об этом; тут любезность совсем другого рода. Полно, Эми! Неужто ты и в самом деле не замечала, что папа до безобразия любезен с миссис Дженерал?

Нерешительное «нет» Эми соответствовало растерянному выражению ее лица.

— Ну, разумеется, нет! Где тебе! А тем не менее это так. Это именно так, Эми. И вот что я тебе скажу. Миссис Дженерал имеет виды на папу.

— Фанни, милая, неужели тебе кажется, что миссис Дженерал может иметь виды на кого бы то ни было?

— Кажется? — подхватила Фанни.— Мне не кажется, я уверена. Запомни мои слова, душенька: она имеет виды на папу. И более того: папа считает ее таким образцом совершенства, таким чудом из чудес, таким ценным приобретением для нашей семьи, что я не удивлюсь, если в один прекрасный день он вовсе потеряет голову. А тогда — хорошенькая нас ждет перспектива! Представь себе меня с миссис Дженерал в качестве маменьки!

Крошка Доррит не возразила на это: «А представь себе *меня* с миссис Дженерал в качестве маменьки!» Но она заметно встревожилась и спросила сестру, что дало ей повод так думать.

— Ах бог мой, Эми! — нетерпеливо вскричала Фанни.— Ты бы еще спросила, почему я знаю, когда кто-нибудь влюблен в меня. Знаю, и все. Это случается нередко, и я всегда знаю с первой же минуты. Вот и тут, должно быть, то же самое. Словом, я это знаю совершенно точно.

— Папа тебе ничего такого не говорил?

— Говорил? — откликнулась Фанни.— Ах ты мое золотце бесценное, да для какой надобности ему сейчас говорить об этом?

— И миссис Дженерал тоже не говорила?

— Господи твоя воля, Эми! — воскликнула Фанни.— Что ж, она так глупа, что пустится в разговоры? Ведь младенцу ясно, как выгоднее всего вести себя в ее положении. Ходить этакой павой, держать голову повыше и не снимать своих перчаток, от одного вида которых у меня колики делаются! Какие тут разговоры! Если при игре в вист у нее окажется козырной туз на руках, станет она говорить об этом? Она просто пойдет с него, когда настанет время, дитя мое!

— Но почему ты так уверена, Фанни. Разве ты не можешь ошибаться?

— Я могу ошибаться,— сказала Фанни.— Но я не ошибаюсь. Во всяком случае, рада за тебя, если ты способна строить всякие спасительные предположения и сохранять спокойствие, несмотря на то, что ты от меня узнала. Судя по этому, можно надеяться, что ты стерпишь и само событие, если оно совершится. Ну, а я не стерплю и даже пытаться не буду. Лучше выйду за Спарклера.

— Ах нет, Фанни, что бы ни было, а этого ты не сделаешь!

— Честное слово, душенька,— возразила старшая сестрица с неподражаемым хладнокровием,— не хочу зарекаться. Кто знает, как могут сложиться обстоятельства. Тем более что это дало бы мне возможность потом рассчитываться с его маменькой ее же монетой. И будь уверена, Эми, я уж сумела бы этой возможностью воспользоваться.

На том разговор между сестрами и окончился; но два предмета этого разговора — миссис Дженерал и мистер Спарклер — глубоко запали в память Крошке Доррит, и она то и дело возвращалась к ним мыслью.

Миссис Дженерал давно уже сумела так усовершенствовать собственную особу в смысле внешнего лоска, что под этой отполированной поверхностью ничего решительно нельзя было разглядеть (даже если там что-нибудь таилось). Мистер Доррит и впрямь был с нею отменно любезен и высоко ценил ее достоинства, но Фанни, со свойственной ей скоропалительностью, легко могла сделать из этого ложный вывод. Иное дело Спарклер; тут

каждый мог видеть все насквозь, и Крошка Доррит видела и размышляла о том, что видела, с тревогой и удивлением.

Пыл страсти мистера Спарклера шел в сравнение разве что с капризами и жестокостью его очаровательницы. Порой она так явно выказывала ему свою благосклонность, что он даже кудахтал от восторга; а назавтра или через час обдавала таким холодом, что бедняга летел в пропасть отчаяния, издавая жалобные стоны, которые тщетно пытался выдать за кашель. Его упорство и верность не могли тронуть сердце Фанни, даром что он как тень ходил за Эдвардом, и тот, желая отдохнуть от его общества, должен был прибегать к уловкам заговорщика: потайным ходам, маскировке, заметанию следов; даром что он через день наведывался справиться о здоровье мистера Доррита, словно последний страдал перемежающейся лихорадкой; даром что он так часто проезжал под окнами дворца, как будто взялся на пари сделать тысячу миль за тысячу часов; даром что стоило гондоле мисс Фанни сняться с места, как гондола мистера Спарклера, выскочив из какой-то водной засады, пускалась за нею в погоню, словно его возлюбленная была прекрасная контрабандистка, а сам он — офицер таможенной стражи. Должно быть, обильное потребление свежего морского воздуха укрепило силы, щедро отпущенные мистеру Спарклеру природой, и потому только он не таял на глазах; во всяком случае, не было никаких надежд на то, что жестокосердая красавица смягчится, видя, как он чахнет от любви к ней, ибо он толстел с каждым днем, и его румяные пухлые щеки чуть не лопались, делая его больше чем когда-либо похожим на гигантского младенца.

Явился Бландуа, засвидетельствовать свое почтение, и в качестве друга мистера Гоуэна был всячески обласкан мистером Дорритом. В беседе последний упомянул, между прочим, что думает поручить мистеру Гоуэну увековечить его для потомства. Идея эта встретила у гостя такое бурное одобрение, что мистеру Дорриту пришло на ум — может быть, Бландуа будет приятно самому уведомить друга об ожидавшей его блистательной перспективе. Бландуа принял поручение с обычной своей галантностью и заверил, что не пройдет и часу, как оно будет исполнено.

Маэстро, услышав новость, от всей души послал мистера Доррита к чертям раз десять кряду (попытки оказать ему покровительство возмущали мистера Гоуэна не меньше, чем нежелание оказывать его) и чуть было не рассорился с другом за то, что тот взялся быть посредником в этом деле.

— Может быть, я слеп, Бландуа,— сказал он,— но только я не вижу, при чем тут вы.

— Тысяча громов,— возразил Бландуа,— разумеется, ни при чем, если не считать того, что я думал оказать услугу приятелю.

— Перекачав в его карман часть денег выскочки? — подхватил Гоуэн.— Верно я вас понял? Ну, так посоветуйте вашему дорогому приятелю заказать свой портрет маляру, пригодится для трактирной вывески. Вы, кажется, забыли, кто я и кто он!

— Professore,— возразил незадачливый посол,— а кто я?

Не изъявляя желания выяснить последний вопрос, Гоуэн сердито свистнул, и с мистером Дорритом было покончено. Но на следующий день художник сам возобновил разговор как ни в чем не бывало, заметив с презрительным смешком:

— Ну, Бландуа, когда же мы отправимся к вашему Меценату? Нам, мастеровым, не приходится привередничать; кто нанял, на того и работаем. Когда мы пойдем уговариваться насчет этой работы?

— Когда вам будет угодно,— обиженно отозвался Бландуа.— Я тут ни при чем. Меня это не занимает.

— А меня занимает, и могу вам сказать почему,— возразил Гоуэн.— Работа — это хлеб. Не умирать же с голоду. А потому — вперед, мой милый Бландуа.

Мистер Доррит принял их в присутствии своих дочерей и мистера Спарклера, который по чистой случайности тоже оказался в доме.— Как поживаете, Спарклер? — небрежно спросил Гоуэн.— Когда вам не на что будет рассчитывать, кроме собственной смекалки, дружище, желаю, чтобы дела у вас шли лучше, чем у меня.

Вскоре мистер Доррит заговорил о своем предложении.

— Сэр,— сказал, смеясь, Гоуэн после того, как поблагодарил за честь,— я новичок в ремесле и еще не искушен

во всех его секретах. Кажется, мне полагается посмотреть на вас при различном освещении, сказать, что вы — находка для живописца, и прикинуть вслух, когда я могу выкроить достаточно времени, чтобы с должным воодушевлением отдаться тому шедевру, который я намерен создать. Право же,— он снова засмеялся,— я чувствую себя предателем по отношению к моим славным, добрым, талантливым и благородным собратьям по кисти, оттого что не умею разыгрывать всю эту комедию. Но меня к этому не готовили с детства, а теперь уж учиться поздно. Скажу вам по совести: художник я никудышный, но, впрочем, не хуже большинства. Раз уж вам не терпится выбросить на ветер сотню гиней, буду весьма обязан, если вы их бросите в мою сторону, ибо я неимущ, как всякий бедный родственник высокопоставленных особ. За ваши деньги я вам сделаю лучшее, на что я способен; а если это лучшее окажется дрянной пачкотней — ну что ж, вместо какой-нибудь именитой пачкотни у вас будет висеть пачкотня безыменная, только всего.

Этот ответ, хотя и несколько неожиданный по тону, удовлетворил мистера Доррита. Так или иначе художник — не ремесленник какой-нибудь, а настоящий джентльмен и притом со связями — готов считать себя обязанным ему, мистеру Дорриту. Он тут же объявил, что предоставляет себя в распоряжение мистера Гоуэна, и выразил надежду, что они будут встречаться и в дальнейшем, на правах добрых знакомых.

— Вы очень любезны,— отвечал Гоуэн.— Вступая в братство служителей кисти (к слову сказать, милейших людей в мире), я отнюдь не отрекся от светской жизни и бываю рад случаю нюхнуть порой старого пороху, хоть он и взорвал меня на воздух и сделал тем, что я есть теперь. Я надеюсь, мистер Доррит,— тут он снова засмеялся самым непринужденным образом,— вы не сочтете это за профессиональные замашки — они мне, право, чужды (ах, бог мой, я на каждом шагу совершаю вероломство по отношению к своей профессии, хотя, клянусь Юпитером, горячо ее люблю и уважаю!), но не назначить ли нам время и место?

Кха! Мистер Доррит далек от мысли подвергать — кхм — сомнениям искренность мистера Гоуэна.

— Повторяю, вы очень любезны,— сказал Гоуэн.— Я слышал, вы собираетесь в Рим, мистер Доррит? Я тоже туда собираюсь, у меня друзья в Риме. Так позвольте, я уж там приступлю к осуществлению своего злодейского умысла против вас. Эти дни перед отъездом у всех у нас будет много хлопот; и хотя я самый последний бедняк во всей Венеции, только что локти целы, во мне еще не совсем погиб любитель — вот видите, опять я подвожу своих собратьев по ремеслу! — и я не могу хвататься за кисть наспех, по заказу, только ради каких-то жалких грошей.

Эти слова произвели на мистера Доррита не менее благоприятное впечатление, чем предыдущие. Они и служили прелюдией к первому приглашению мистера и миссис Гоуэн на обед и очень ловко поставили Гоуэна на обычное место в этом новом для него доме.

Его жену они тоже поставили на обычное место. Мисс Фанни было ясно, как божий день, что хорошенькое личико миссис Гоуэн очень дорого обошлось ее мужу, что ее появление на сцену вызвало целую бурю в семействе Полипов и что вдовствующая миссис Гоуэн, убитая горем, противилась этому браку сколько могла, но в конце концов в ней одержали верх материнские чувства. Миссис Дженерал тоже отлично понимала, что увлечение мистера Гоуэна повело к большим семейным раздорам и огорчениям. О добром мистере Миглзе никто и не вспомнил; разве только в том смысле, что для такого человека, как он, совершенно естественно было желать, чтобы дочь вышла в люди, и нельзя винить его, если он к этому прилагал все старания.

Крошке Доррит ее глубокое и пристальное участие к прекрасной героине этих легко укоренившихся толков придало прозорливости. Она угадала, что именно подобными толками навеяно отчасти то облако печали, которое омрачало жизнь молодой женщины; и в то же время она была инстинктивно убеждена, что тут нет ни крупицы правды. Но все это явилось серьезным препятствием к ее встречам с Минни, ибо в школе Плюща и Пудинга вышел указ: относиться к миссис Гоуэн с отменной вежливостью, но не более того; а Крошка Доррит, вынужденная стипендиатка упомянутого заведения, должна была безропотно подчиняться его правилам.

Однако между этими двумя сердцами уже установилось взаимное нежное понимание, которое помогло бы им преодолеть и бо́льшие трудности, и никакие искусственные препятствия не могли помешать их дружбе. Случаю, словно бы благоприятствовавшему этой дружбе, угодно было дать им лишнее подтверждение их душевного сродства; речь идет о неприязни, которую обе испытывали к Бландуа из Парижа — неприязни, близкой к тому чувству страха и отвращения, что естественно возникает при виде какой-нибудь ползучей гадины.

Не только их отношение к Бландуа объединяло их, но также и отношение Бландуа к ним. С обеими он держался совершенно одинаково, и обе улавливали в его манере держаться нечто такое, чего не было в его поведении с другими. Никто не заметил бы этой разницы, так она была ничтожна, но обе они ее чувствовали. Чуть заметней подмигивали его недобрые глаза, чуть выразительней было движение гладкой белой руки, чуть выше вздергивались усы и ниже загибался кончик носа, когда он строил свою привычную гримасу, и во всем этом им чудилась какая-то похвальба, относившаяся к ним обеим. Он словно бы говорил: «Здесь моя власть, хоть покуда и тайная. Я знаю то, что знаю».

Особенно ясно они обе ощутили это — причем каждая знала, что то же ощущает и другая — в день, когда Бландуа явился проститься с семейством Доррит перед отъездом из Венеции. Миссис Гоуэн тоже приехала с прощальным визитом, и он застал их вдвоем; никого, кроме Крошки Доррит, не было дома. Они и пяти минут не пробыли вместе до его прихода, но странное выражение его лица как будто сказало им: «Ага! Вы собрались разговаривать обо мне. Так вот, теперь это вам не удастся».

— Гоуэн заедет за вами? — спросил Бландуа со своей постоянной усмешкой.

Миссис Гоуэн отвечала, что нет, он не заедет.

— Не заедет! — сказал Бландуа.— Тогда, надеюсь, вы позволите вашему покорному слуге проводить вас домой?

— Благодарю вас, но я еду не домой.

— Не домой! — сказал Бландуа.— Как вы меня огорчили!

Возможно, он и в самом деле огорчился; но не настолько, чтобы удалиться и оставить их вдвоем. Усевшись поплотнее, он повел светскую беседу, пересыпая ее блестками остроумия и галантности; но за всем этим им словно бы слышалось: «Не выйдет, не выйдет, милые дамы! Вам так и не удастся поговорить обо мне!»

Он внушал им это так многозначительно и с такой дьявольской настойчивостью, что в конце концов миссис Гоуэн не выдержала и стала прощаться. Он предложил ей руку, чтобы помочь спуститься с лестницы, но она, крепче сжав пальцы Крошки Доррит в своей руке, возразила:

— Нет, благодарю вас. Но вы меня очень обяжете, если потрудитесь взглянуть, здесь ли моя гондола.

Ему ничего не оставалось, как только идти вниз первым. Когда он, со шляпой в руке, стал спускаться с лестницы, миссис Гоуэн торопливо шепнула:

— Это он отравил Льва.

— А мистер Гоуэн знает? — шепотом же спросила Крошка Доррит.

— Никто не знает. Не смотрите на меня; смотрите ему вслед. Он сейчас оглянется. Никто не знает, но я совершенно уверена, что это он. А вы как думаете?

— Я — да, мне тоже кажется,— отвечала Крошка Доррит.

— Генри к нему расположен и не хочет замечать в нем ничего дурного; Генри сам так добр и благороден. Но мы с вами знаем, что оценили этого человека по заслугам. Он говорил Генри, что собака уже была отравлена, когда вдруг с такой яростью набросилась на него. Генри верит, а мы не верим. Смотрите, он прислушивается, но он отсюда ничего не может услышать. До свиданья, дорогая моя! До свиданья!

Последнее было сказано вслух, так как в это время Бландуа, дойдя до последней ступеньки, остановился, повернул голову и устремил на них настороженный взгляд. Хоть губы его любезно улыбались, но улыбка эта была такого сорта, что истинный человеколюбец при виде ее испытал бы сильнейшее желание привязать ему на шею булыжник и столкнуть его в воду, журчавшую за темным сводчатым проходом, в конце которого он стоял. Но так как подобного благодетеля рода людского поблизости не

случилось, Бландуа усадил миссис Гоуэн в гондолу, постоял, глядя ей вслед, покуда она не скрылась за поворотом, а затем и сам отбыл в том же направлении.

Крошке Доррит иногда приходило на ум, что этот человек как-то уж очень легко попал к ним в дом — вот и сейчас она думала об этом, медленно поднимаясь по ступенькам. Но мания светской жизни, которою мистер Доррит был одержим наравне со своей старшей дочерью, так широко открыла двери дома для самой разношерстной публики, что Бландуа, в сущности, не составлял исключения. Жажда новых знакомств, чтоб было кого поражать своей важностью и богатством, обуяла семейство Доррит с неукротимой силой.

Что же до самой Крошки Доррит, то пресловутое Общество, в гуще которого они жили, казалось ей очень похожим на тюрьму Маршалси, только рангом повыше. Многих, видимо, привело за границу почти то же, что других приводило в тюрьму: долги, праздность, любопытство, семейные дела или же полная неприспособленность к жизни у себя дома. Их доставляли в чужие города под конвоем курьеров и разных местных фактотумов, точно так же, как должников доставляли в тюрьму. Они бродили по церквам и картинным галереям с унылым видом арестантов, слоняющихся по тюремному двору. Они вечно уверяли, что пробудут всего два дня или всего неделю, сами не знали толком, чего им надо, редко делали то, что собирались делать, и редко шли туда, куда собирались идти; этим они тоже разительно напоминали обитателей Маршалси. Они дорого платили за скверное жилье и, якобы восхищаясь какой-нибудь местностью, бранили ее на все корки — совершенно в духе Маршалси. Уезжая, они вызывали зависть тех, кто оставался, но при этом оставшиеся делали вид, будто вовсе не хотят уезжать; опять-таки точно как в Маршалси. Они изъяснялись при помощи набора фраз и выражений, обязательных для туристов, как тюремный жаргон для арестантов. Они точно так же не умели ничем заняться всерьез, точно так же портили и развращали друг друга; они были неряшливы в одежде, распущенны в привычках — совершенно как обитатели Маршалси.

Время, назначенное для пребывания в Венеции, истекло, и семейство Доррит со всей свитой двинулось в Рим. Снова потянулись по сторонам знакомые уже картины итальянской жизни, только чем дальше, тем разительнее была грязь и нищета, и когда они приблизились к месту назначения, показалось, что самый воздух кругом отравлен. Уже был нанят прекрасный особняк на Корсо *, который должен был служить им пристанищем в этом городе, где дома и улицы, казалось, встали на века на развалинах других домов и улиц и все неподвижно — кроме воды, что, повинуясь извечным законам, бьет и плещет в бесчисленных струях фонтанов.

Здесь Крошка Доррит заметила, что духа Маршалси в обществе несколько поубавилось и что Плющ и Пудинг выступили на первый план. Все шагали по собору св. Петра * и Ватикану на чужих ходулях и просеивали все виденное сквозь чужое решето. Никто ни о чем не говорил своими словами, а только повторял слова, сказанные разными миссис Дженерал, мистером Юстесом или еще кем-нибудь. Многочисленные туристы казались сонмом добровольных мучеников, давших связать себя по рукам и по ногам и предать во власть мистера Юстеса и его сподвижников, дабы представители этой мудрой жреческой касты могли вправить им мозги на свой лад. Полчища слепых и безъязыких детей нового времени беспомощно скитались в развалинах храмов, гробниц, дворцов, сенатских зал, театров и амфитеатров древности, бормоча «Плющ» и «Пудинг», чтобы придать своим губам узаконенную форму. Миссис Дженерал была в родной стихии. Никто не претендовал на собственное мнение. Наведение лоска шло вокруг полным ходом, и ни один проблеск живой, свободной мысли не портил гладко отполированной поверхности.

Вскоре после приезда в Рим Крошке Доррит представился случай познакомиться еще с одной разновидностью Плюща и Пудинга. В одно прекрасное утро явилась с визитом миссис Мердл, которая нынешний год руководила этим важным видом человеческой деятельности в Вечном Городе; * они с Фанни сразились в поединке, и обе выказали себя столь искусными фехтовальщицами, что у тихой Крошки Доррит рябило в глазах от блеска рапир.

— Я очень рада,— сказала миссис Мердл,— возобновить знакомство, так неудачно начавшееся в Мартиньи.

— Вот именно, в Мартиньи,— подхватила Фанни.— Мне тоже очень приятно.

— Насколько я знаю,— сказала миссис Мердл,— моему сыну, Эдмунду Спарклеру, посчастливилось продолжить это знакомство при более благоприятных обстоятельствах. Он приехал из Венеции в полном упоении.

— Вот как,— небрежно протянула Фанни.— А он там долго пробыл?

— Мистер Доррит лучше меня может ответить на этот вопрос,— произнесла миссис Мердл, оборотясь бюстом к названному джентльмену,— ведь это ему Эдмунд обязан тем, что пребывание в Венеции оказалось столь приятным.

— Ах, стоит ли говорить об этом,— возразила Фанни.— Папа, кажется, имел удовольствие пригласить мистера Спарклера раза два или три, но это совершенные пустяки! У нас там было такое множество знакомых и мы так открыто жили, что это удовольствие, право же, ничего для папы не составляло.

— Если не считать того, дитя мое,— сказал мистер Доррит,— если не считать — кха — того, что мне было крайне приятно хотя бы — кхм — столь скромным и непритязательным образом изъявить то — кха-кхм — величайшее уважение, которое я, наравне со всем человечеством, испытываю к талантам и поистине государственному уму мистера Мердла.

Бюст весьма милостиво принял этот комплимент.

— Вы должны знать, миссис Мердл,— заметила Фанни, намеренно отодвигая мистера Спарклера на задний план,— что мистер Мердл — это положительно пунктик у папы.

— Я был весьма — кха — огорчен, сударыня,— сказал мистер Доррит,— поняв из разговора с мистером Спарклером, что мы едва ли — кхм — увидим мистера Мердла здесь.

— Да, едва ли,— подтвердила миссис Мердл.— Дела и обязанности никак его не отпускают. Вот уже много лет, как ему не удается вырваться за границу. Вы, мисс Доррит, вероятно, издавна проводите за границей каждую зиму?

— О да,— не моргнув глазом, отвечала Фанни.— С незапамятных времен.

— Я так и полагала,— сказала миссис Мердл.

— Вполне резонно,— сказала Фанни.

— Хотелось бы надеяться,— продолжал мистер Доррит,— что, если мне — кхм — не выпало счастье познакомиться с мистером Мердлом по эту сторону Альп и на берегах Средиземного моря, я удостоюсь этой чести по возвращении в Англию. Это честь, о которой я давно мечтаю и которую высоко ценю.

— Мистер Мердл,— отвечала миссис Мердл, опуская лорнет, в который она не без восхищения разглядывала Фанни,— со своей стороны, несомненно, сочтет за честь знакомство с вами.

Крошка Доррит, все такая же задумчивая и одинокая даже на людях, поначалу решила, что все это просто Плющ и Пудинг. Но когда ее отец, назавтра после пышного раута у миссис Мердл, заговорил за семейной трапезой о том, что, познакомившись с мистером Мердлом, он рассчитывает получить от этого выдающегося финансиста совет насчет помещения своих капиталов,— она поняла, что дело тут более серьезное, и ей самой захотелось увидеть воочию этот светоч нового века.

ГЛАВА VIII

Вдовствующая миссис Гоуэн спохватывается, что так не бывает

В то время как южное солнце для удовольствия семьи Доррит озаряло венецианские каналы и римские развалины, а сотни и сотни карандашей изо дня в день прилежно срисовывали их в дорожные альбомы без всякого намека на сходство или хотя бы подобие, в мастерских фирмы «Дойс и Кленнэм» работа шла своим чередом, и громкий лязг железа с утра до вечера оглашал Подворье Кровоточащего Сердца.

Младший компаньон успел уже навести полный порядок в делах фирмы; а старший, которому теперь ничто

не мешало сосредоточиться на своих изобретениях, значительно расширил ее поле деятельности. Как человек одаренный, он привык сталкиваться с препятствиями и затруднениями, которые власти предержащие всячески ухитряются чинить этому разряду преступников; впрочем, со стороны властей это не более как вполне естественная самозащита — ведь искусство делать то, что нужно, по самой природе своей является смертельным врагом искусства не делать того, что нужно. В этом ключ к пониманию мудрой системы, за которую зубами и когтями держится Министерство Волокиты и которая состоит в том, что у любого даровитого подданного британской короны всеми способами отбивается охота прилагать свои дарования к делу: его изводят, запугивают, ставят ему палки в колеса, натравливают на него грабителей, дерущих с него три шкуры за все, что ему требуется для работы, и в лучшем случае, не успеет он хоть немного насладиться успехом, конфискуют его добро, как будто изобретательство есть разновидность уголовного преступления. Система эта пользовалась всегда большой популярностью у Полипов, что тоже естественно: настоящий изобретатель все делает всерьез, а для Полипов ничего нет на свете страшней и ненавистней этого. Что опять-таки совершенно естественно, ибо разразись в стране эпидемия серьезного отношения к делу, в ней, весьма возможно, за короткий срок не осталось бы ни одного Полипа, присосавшегося к теплому местечку.

Дэниел Дойс не закрывал глаз на все невзгоды и тяготы своего положения, но продолжал работать ради самой работы. Кленнэм, принимавший во всем самое горячее участие, служил ему нравственной поддержкой, не говоря уже о той деловой пользе, которую приносил предприятию. Дела фирмы шли хорошо, и компаньоны скоро сделались друзьями.

Но Дэниел не мог забыть свое старое изобретение, то, над которым он трудился долгие годы. Да и могло ли быть иначе? Если б он был способен так легко забыть его, оно бы и вовсе не зародилось у него в голове, или он бы не нашел в себе столько терпения и упорства для его разработки. Так думал Кленнэм, глядя иной раз, как он перебирает свои модели и чертежи и потом со вздохом

снова откладывает их, бормоча себе в утешение, что все-таки идея верна.

Остаться равнодушным, зная про этот труд и эти разочарования, значило бы для Кленнэма не исполнять того, что он понимал под долгом компаньона. Сочувствие оживило в нем тот мимолетный интерес к существу дела, который был вызван случайной встречей на пороге Министерства Волокиты. Он попросил компаньона объяснить ему суть своего изобретения.

— Только будьте снисходительны, Дойс,— прибавил он,— ведь вы знаете, что я не разбираюсь в технике.

— Не разбираетесь в технике? — сказал Дойс.— Вы бы превосходно разбирались в ней, если бы захотели. У вас для этого самая подходящая голова.

— К сожалению, она сидит на плечах профана,— заметил Кленнэм.

— Не сказал бы,— возразил Дойс,— и вам говорить не советую. Разумный человек, которого чему-то учили или который учился сам, не может быть полным профаном в чем бы то ни было. Я не любитель окружать себя тайной. Считаю, что всякий, кто обладает названными качествами, способен судить о моей работе, получив от меня толковые и добросовестные объяснения.

— На этот счет я спокоен (можно подумать, что мы задались целью льстить друг другу, но это, разумеется, не так). Убежден, что объяснения будут самые толковые, какие только можно себе представить.

— Постараюсь, чтобы вам не пришлось разочароваться,— обычным своим ровным спокойным тоном отвечал Дойс.

Как часто бывает у людей подобного склада, он умел изложить и растолковать свои замыслы с той же ясностью и убедительной силой, какой они обладали для него самого. Трудно было не понять его — настолько логична, наглядна и проста была система его рассуждений. Ходячее представление об изобретателе, как о каком-то чудаке не от мира сего, решительно не вязалось с четкой уверенностью, с которой его палец путешествовал по чертежам и схемам, методично останавливался то тут, то там, терпеливо возвращался назад, если требовалось дополнительное звено в объяснении, и только тогда двигался дальше,

когда можно было не сомневаться, что у слушателя не осталось никаких неясностей. Не менее примечательной была в нем манера оставлять в тени собственную особу. Он никогда не говорил: я сделал то-то или я додумался до того-то; в его изложении выходило так, словно идея изобретения принадлежала господу богу, а ему только посчастливилось на нее набрести. Тут была и скромность, и трогательный оттенок уважения мастера к мастерскому труду, и глубокая вера в незыблемость тех законов, что лежат в его основе.

Не один этот вечер, а несколько вечеров подряд Кленнэм с увлечением слушал объяснения Дойса. Чем больше он постигал суть дела, чем чаще видел седую голову, склоненную над чертежами, умные глаза, в которых светилась радость и любовь к своему творению (хоть это творение двенадцать долгих лет служило для него орудием пытки) — тем трудней было Кленнэму, более молодому и более пылкому, примириться с тем, что все останется втуне. В конце концов он не выдержал и сказал:

— Дойс, вы, стало быть, оказались перед выбором — махнуть рукой, убедившись, что дело прочно погребено под обломками тысяч других дел, или же начать все сызнова?

— Да,— сказал Дойс,— вот то, чего я за двенадцать лет добился от благородных лордов и достоуважаемых джентльменов.

— Они, видно, друг друга стоят,— с горькой усмешкой заметил Кленнэм.

— Обычная история,— возразил Дойс.— Могу ли я почитать себя мучеником, когда столько людей разделяют ту же участь!

— Махнуть рукой или начать все сызнова,— задумчиво повторил Кленнэм.

— Да, к этому, в общем, свелось,— сказал Дойс.

— Так вот что, мой друг! — воскликнул Кленнэм, вскочив и хватая его мозолистую руку.— Мы начнем все сызнова.

Дойс тревожно посмотрел на него и ответил с непривычной поспешностью:

— Нет, нет. Не стоит. Право же, не стоит. Когда-нибудь мое изобретение еще увидит свет. А сейчас лучше

мне отказаться от борьбы. Вы забываете, мой дорогой Кленнэм — я ведь *уже* отказался. С этим покончено.

— Для вас покончено, Дойс,— возразил Кленнэм,— но не для меня. Я понимаю, вы устали от усилий и неудач. Но я другое дело. Я моложе вас; я только однажды переступил порог этого милого учреждения, и у меня нетронутый запас сил. Вот я и возьмусь за дело. Вы работайте, как работали до сих пор. А я, не оставляя своих основных занятий, попробую добиться, чтобы ваши заслуги были оценены по достоинству; и покуда не смогу сообщить вам что-нибудь утешительное, вы от меня ни слова больше не услышите.

Дэниел Дойс еще долго колебался и всячески настаивал, что лучше отказаться от каких-либо дальнейших попыток. Но естественно было предполагать, что рано или поздно он позволит себя уговорить и сдастся. Так оно и произошло. И вот Артур Кленнэм второй раз пустился на затяжное и не внушающее особых надежд предприятие — искать концов в Министерстве Волокиты.

Он скоро сделался привычной фигурой в министерских коридорах, и к его появлению относились примерно так, как в полицейском участке относятся к приводу уличного воришки; с той только разницей, что воришку в полиции стараются задержать, а Кленнэма из Министерства старались выпроводить, и как можно скорее. Однако он твердо решил не отступать; и вот заскрипели перья, полились чернила, пошли бумаги и бумажки на подпись, на рассмотрение, на усмотрение, на утверждение, из комнаты в комнату, туда и обратно, вдоль и поперек и вкось — словом, закипела обычная работа.

Следует упомянуть здесь одно обыкновение Министерства Волокиты, о котором до сих пор не заходила речь. Бывали в жизни этого достославного ведомства критические минуты, когда какой-нибудь член парламента, придя в ярость (или, как думал кое-кто из мелких Полипов, поддавшись наущению дьявола), вдруг принимался его громить, и не по случайному частному поводу, а посягая на самые основы, которые объявлял он вредоносными и родственными Бедламу *. Тогда поднимался со своего места тот благородный или достоуважаемый Полип, который представлял в палате интересы Министерства Воло-

киты, и в пух и прах разбивал дерзкого ссылкой на многообразную деятельность означенного Министерства (направлённую к пресечению всякой деятельности). Потрясая листком бумаги, на котором значились какие-то цифры, благородный или достоуважаемый Полип просил позволения огласить эти цифры для сведения присутствующих. Тотчас же мелкие Полипы по команде принимались вопить: «Внимание! Внимание!» и «Просим!» Тогда благородный и достоуважаемый Полип считал нужным указать, сэр, что, как явствует из этого краткого документа, казалось бы достаточно убедительного даже для самых несговорчивых (смех и одобрительные возгласы на скамьях полипьей мелкоты), за одно лишь истекшее полугодие в этом подвергшемся столь суровому осуждению ведомстве (аплодисменты) зарегистрировано пятнадцать тысяч входящих и исходящих бумаг (продолжительные аплодисменты), составлено двадцать четыре тысячи протоколов (бурные аплодисменты) и тридцать две тысячи пятьсот семнадцать докладных записок (бурные и продолжительные аплодисменты). Один остроумный джентльмен из числа служащих Министерства, оказавший обществу немало существенных услуг, взял на себя труд подсчитать расход канцелярских принадлежностей за это же время. Полученные им любопытнейшие данные — они также содержатся в этом небольшом меморандуме — говорят о том, что писчей бумагой, изведенной Министерством для пользы общества, можно было бы выстлать тротуары Оксфорд-стрит по всей длине и еще осталось бы с четверть мили на аллеи Гайд-парка (смех, аплодисменты, переходящие в овацию); а красной тесьмы, какая употребляется для канцелярских пакетов, хватило бы. чтобы перевить ею все дома от Гайд-парк-корнер до Центрального почтамта. После этого благородный или достоуважаемый Полип садился под гром служебных восторгов, оставив на поле боя изуродованные останки противника. Ввиду столь устрашающего примера никто уже не отважился бы намекнуть, что чем больше делало Министерство Волокиты, тем меньше делалось в стране дела, и что величайшую услугу своим злосчастным соотечественникам оно оказало бы, если б не делало вовсе ничего.

Новая задача, которую взял на себя Артур Кленнэм — задача, сократившая дни многих и многих порядочных людей до него,— оставляла ему немного свободного времени. Регулярные посещения больной матери в ее унылой, мрачной комнате да не менее регулярные, пожалуй, визиты к мистеру Миглзу в Туикнеме — вот и все, что в течение долгих месяцев разнообразило его жизнь.

Ему очень недоставало Крошки Доррит. Он ожидал, что будет скучать о ней, но не думал, что это чувство будет таким болезненным и сильным. Только теперь, не видя больше знакомой маленькой фигурки, он почувствовал в полной мере, какое большое место она занимала в его жизни. И в то же время он понимал, что она никогда уже к нему не вернется; зная семейство Доррит, можно было не сомневаться, что даль, разделившая их, непреодолима. Свою нежную привязанность к ней, задушевное доверие, которым она ему платила, он вспоминал теперь с оттенком грусти; время так скоро все это изменило, так скоро унесло в прошлое вместе с другими тайными влечениями его сердца.

Ее письмо глубоко тронуло его, но вместе с тем подтвердило, что не одним лишь количеством миль измеряется расстояние между ними. Читая это письмо, он еще ясней и отчетливей представил себе, как смотрит на него теперь ее семейство. Он понял, что сама она вспоминает о нем с теплым и благодарным чувством, но должна хранить это в тайне, потому что для остальных его имя связано с тюрьмой и со всем их тяжелым прошлым, а потому ненавистно.

Хоть все эти мысли постоянно кружились у него в мозгу, его отношение к ней ни в чем не изменилось. Его невинный маленький друг, его хрупкое дитя, его милая Крошка Доррит — такой она была для него и такой осталась. А самая их разлука каким-то странным образом пришлась в лад чувству, которое завладело им с того памятного вечера, когда река унесла вдаль букет роз,— упорному чувству, что он много старше своих настоящих лет. Он думал о ней с нежностью, но с нежностью почти отеческой, и даже не догадывался, как мучительно больно было бы ей это сознавать. Он размышлял о ее будущем, о том, какого мужа пошлет ей судьба, с заботливым уча-

стием, которое разбило бы ей сердце, погасив в нем последний луч надежды.

В силу обстоятельств своей жизни он все больше привыкал смотреть на себя как на старика, которому чужды уже мечты, подобные тем, что заставили его пережить такую внутреннюю борьбу в случае с Минни Гоуэн (хотя не так уж это было давно, если считать на месяцы и годы). Его отношения с мистером и миссис Миглз напоминали отношения овдовевшего зятя с родителями покойной жены. Если бы сестра Минни умерла не ребенком, а во цвете лет, успев сочетаться с ним браком, их отношения были бы, вероятно, точно такими же. И это тоже незаметно укрепляло в нем внутреннюю уверенность, что с одной стороной жизни у него покончено навсегда.

В письмах Ми́нни, судя по их рассказам, постоянно говорилось о том, как она счастлива и как любит своего мужа; но лицо мистера Миглза, когда он рассказывал это, так же постоянно было омрачено тенью. Со времени замужества Минни это лицо больше не сияло радостью, как в былые дни. Боль, причиненная разлукой с дочерью, не проходила. Он был все тот же — добросердечный, честный, прямой; но казалось, привыкнув глядеть на портрет близнецов, чьи личики всегда сохраняли одно и то же выражение, он перенял от них это свойство, и какая бы смена чувств ни отражалась на его лице, одно оставалось неизменным: тоска об утраченном.

Однажды в зимний день к воротам туикнемского коттеджа — где по случаю субботы находился и Кленнэм — подкатил тот знаменитый экипаж, что так исправно обслуживал население Хэмптон-Корта, изображая собственный выезд каждого очередного нанимателя. Из него вылезла вдовствующая миссис Гоуэн и, распустив свой зеленый веер, предстала перед мистером и миссис Миглз, которых решила осчастливить визитом.

— Как поживаете, папаша и мамаша Миглз? — милостиво осведомилась она у своих скромных родственников.— Что там мой бедный мальчик? Вы давно не имели известий от него или о нем?

«Мой бедный мальчик» употреблялось вместо «мой сын» и должно было в вежливой, ни для кого не обидной

форме напоминать, что мистер Генри Гоуэн сделался жертвой миглзовских козней.

— А наша хорошенькая куколка? — продолжала миссис Гоуэн.— Когда она вам писала последний раз?

Тут опять-таки заключался деликатный намек на то, что ее сын увлекся красотой и это слепое увлечение стоило ему многих преимуществ светской карьеры.

— Право же,— продолжала миссис Гоуэн, не утруждая себя выслушиванием ответов на заданные вопросы,— это очень утешительно, знать, что они пока счастливы. Мой бедный мальчик такой непоседа, так непостоянен в своих привычках и привязанностях, что это поистине огромное утешение для меня. Они, верно, бедны, как церковные мыши, папаша Миглз?

Мистер Миглз, неприятно задетый, отвечал:

— Надеюсь, что это не так, сударыня. Надеюсь, они вполне разумно тратят свои небольшие средства.

— Ах, мой милый Миглз! — воскликнула гостья, ударив своим зеленым веером собеседника по плечу и тут же ловко заслонясь им, чтобы скрыть зевок.— Вам ли, человеку бывалому и деловому — вы ведь по-настоящему деловой человек, не то что все мы...

(Сказано это было все с тем же расчетом: представить мистера Миглза ловким интриганом.)

— ...вам ли говорить о том, что они разумно тратят свои средства! Мой милый бедный мальчик! Ему разумно тратить какие-то жалкие сотни! А она, наша куколка! Хотела бы я взглянуть, как она «разумно тратит»! Папаша Миглз! Вы меня смешите!

— Что ж, сударыня,— сказал мистер Миглз, нахмурясь,— в таком случае должен, к сожалению, признать, что у Генри размах не по доходам.

— Голубчик мой — я уж так, без церемоний, поскольку мы с вами почти родственники,— а ведь в самом деле, мамаша Миглз! — весело вскричала миссис Гоуэн, как будто впервые додумавшись до этого несуразного обстоятельства,— мы же почти родственники! Голубчик мой, в этом мире *не все* выходит так, как нам хочется.

Еще выпад в том же направлении, который учтивейшим образом должен был указать мистеру Миглзу на то, что прочие его тайные замыслы увенчались полным успе-

хом. Миссис Гоуэн сочла этот выпад настолько удачным, что даже повторила его, заметив: — Да, да, не *все*. На *все* в этом мире никому рассчитывать не приходится, папаша Миглз.

— А позвольте узнать, сударыня,— спросил мистер Миглз, понемногу багровея,— кто тут на что-то рассчитывал, по-вашему?

— Ах, никто, никто! — воскликнула миссис Гоуэн.— Я только хотела сказать — но вы меня перебили, спорщик вы этакий. Что же именно я хотела сказать?

Она опустила свой зеленый веер и задумчиво уставилась на мистера Миглза, как бы припоминая — зрелище, отнюдь не способствовавшее охлаждению несколько разгоряченных чувств упомянутого джентльмена.

— Ах да, вот что,— сказала миссис Гоуэн.— Не следует забывать, что мой бедный мальчик привык питать кое-какие надежды. Быть может, оправданные, быть может, неоправданные...

— Скажите лучше, неоправданные,— заметил мистер Миглз.

Вдова метнула было гневный взгляд; но тотчас же замахала веером и головой, чтобы затушевать его, и продолжала своим обычным тоном, словно ничего не случилось.

— Все равно. Так уж он привык, мой бедный мальчик, и вы это знали и могли заранее представить себе, чего тут можно ждать. Я по крайней мере предвидела это с самого начала, я ничему не удивляюсь. И вы не должны удивляться. Не имеете права удивляться. Должны были предвидеть.

Мистер Миглз поглядел на жену, потом на Кленнэма; потом закусил губу и кашлянул.

— А теперь, изволите видеть,— продолжала миссис Гоуэн,— моему бедному мальчику объявляют, что ему предстоит сделаться отцом и нести все расходы, связанные с увеличением семейства! Бедненький Генри! Но что поделаешь! Поздно уж толковать об этом. Только когда вы говорите, что у него размах не по доходам, папаша Миглз, не смотрите так, словно вы сделали открытие. Это уже слишком.

— Слишком, сударыня? — повторил мистер Миглз с явным недоумением.

— Ладно, ладно! — сказала миссис Гоуэн, выразительным жестом как бы приглашая его не забываться.— Разумеется, слишком — для матери моего бедного мальчика, которой сейчас и так не сладко. Они женаты, и разженить их нельзя. Ладно, ладно! Я все это знаю. Незачем объяснять мне, папаша Миглз. Я все отлично знаю. Так о чем я давеча говорила? Очень утешительно знать, что они пока счастливы. Будем надеяться, они и впредь будут счастливы. Будем надеяться, куколка приложит все старания для того, чтобы мой бедный мальчик был счастлив и чтобы у него не было поводов для недовольства. И не стоит больше говорить об этом, папаша и мамаша Миглз. Мы всегда по-разному относились к этому делу и всегда по-разному будем относиться. Ладно, ладно! Умолкаю.

И в самом деле, высказав все, что можно было, в поддержание пресловутой легенды, и дав понять мистеру Миглзу, что знатное родство не достается дешево, миссис Гоуэн готова была этим ограничиться. Если бы мистер Миглз внял умоляющему взгляду своей жены и красноречивой мимике Кленнэма, он бы предоставил гостье тешиться приятным сознанием своего торжества. Но Бэби была радостью и гордостью его отцовского сердца; и если его любовь, его стремление не дать свое дитя в обиду могли когда-нибудь стать сильнее, чем в дни былого безоблачного счастья, то так случилось именно теперь, когда она больше не озаряла родительский дом своим присутствием.

— Миссис Гоуэн, сударыня,— сказал мистер Миглз.— Я человек прямой и другим никогда не был. Вздумай я вдруг разыгрывать комедии — перед собой или перед другими или и то и другое вместе,— у меня, верно, ничего бы не вышло.

— Я тоже так думаю, папаша Миглз,— отвечала вдова с любезнейшей улыбкой, но румянец на ее щеках заиграл ярче, должно быть оттого, что в окрестностях все побелело.

— А посему, почтеннейшая миссис Гоуэн,— продолжал мистер Миглз, употребляя героические усилия, чтобы сдержаться,— полагаю, что, не во гнев кому-либо, мог бы просить, чтобы и со мной никаких комедий не разыгрывали.

— Мамаша Миглз! — воскликнула вдова.— Ваш благоверный что-то мудрит сегодня.

Это был тонко рассчитанный маневр с целью вовлечь достойную матрону в спор, схватиться с ней и выйти победительницей. Но мистер Миглз пресек его осуществление.

— Мамочка,— сказал он,— ты в этих делах неопытна, голубушка моя, так что силы уж очень не равны. Сделай милость, сиди и не вмешивайся. Полно вам, миссис Гоуэн, полно. Давайте поговорим разумно; без злобы поговорим, по совести. Не сокрушайтесь вы о своем сыне, и я не стану сокрушаться о дочери. Нельзя смотреть на вещи с одной только стороны, уважаемая; это несправедливо, это эгоистично. И не надо говорить: надеюсь, она сделает его счастливым, или даже: надеюсь, он сделает ее счастливой. (Сам мистер Миглз отнюдь не выглядел счастливым при этих словах.) Скажем лучше: надеюсь, они сделают друг друга счастливыми.

— Правильно, папочка, и довольно об этом,— сказала миссис Миглз, воплощенная доброта и миролюбие.

— Нет, ты погоди, мамочка,— возразил мистер Миглз.— Как это так — довольно? Я еще не все сказал. Миссис Гоуэн, я, кажется, не страдаю излишней чувствительностью. Кажется, меня нельзя заподозрить в этом.

— Никак нельзя,— подтвердила миссис Гоуэн, энергично двигая веером и головой в подкрепление своих слов.

— Отлично, сударыня; благодарю вас. Тем не менее я чувствую себя несколько — как бы это назвать помягче,— ну, скажем, задетым,— произнес мистер Миглз тоном, в котором при всей откровенности и сдержанности слышалась примирительная нотка.

— Называйте как хотите,— отрезала миссис Гоуэн.— Мне совершенно безразлично.

— Ну зачем же так отвечать,— укоризненно заметил мистер Миглз.— Это уж не по-хорошему получается. Ведь я тогда чувствую себя несколько задетым, когда слышу разговоры насчет того, что можно было что-то предвидеть, и что теперь уже поздно и тому подобное.

— В самом деле, папаша Миглз? — отозвалась миссис Гоуэн.— Ничуть не удивляюсь.

— Тем хуже, сударыня,— сказал мистер Миглз.— Я-то думал, что вы хотя бы удивитесь, а если вы намеренно старались задеть меня по самому больному месту, это уж вовсе не великодушно с вашей стороны.

— Ну знаете ли,— возразила миссис Гоуэн.— Я не виновата в том, что вас совесть мучает.

Бедный мистер Миглз обомлел от изумления.

— Если я имела несчастье подставить вам зеркало, в котором вы себя узнали,— продолжала миссис Гоуэн,— не корите *меня* за то, что вам не понравилось отражение, папаша Миглз.

— Помилуй бог, сударыня! — вскричал мистер Миглз.— Другими словами, вы...

— Ну, ну, папаша Миглз, папаша Миглз,— перебила миссис Гоуэн, которая тотчас же обретала хладнокровие и выдержку, как только ее собеседник начинал горячиться,— лучше уж во избежание недоразумений я сама буду говорить за себя, чем вам затрудняться излагать мои мысли. Позвольте мне докончить начатую вами фразу. Другими словами я хотела сказать (не в укор вам, и даже не в напоминание, это теперь бесполезно и думать нужно только о том, как лучше выйти из создавшегося положения), что я с самого начала и до конца была против задуманного вами брака и только в последнюю минуту скрепя сердце согласилась.

— Мамочка! — возопил мистер Миглз.— Ты слышала? Артур! Вы слышали?

— Поскольку эта комната не чересчур велика,— сказала миссис Гоуэн, оглядываясь по сторонам и обмахиваясь веером,— и во всех отношениях удобна для беседы, я думаю, что меня было слышно достаточно хорошо.

Несколько минут длилось молчание, прежде чем мистер Миглз уверился в том, что усидит в своем кресле и не сорвется с него при первом же слове. Наконец он сказал:

— Сударыня, мне это не доставляет удовольствия, но я считаю необходимым напомнить вам о том, как я все время относился к этому злосчастному вопросу.

— Ах, дорогой сэр! — отозвалась миссис Гоуэн, улыбаясь и покачивая головой с обличающей многозначительностью,— поверьте, мне ваше отношение достаточно хорошо известно.

— До той поры, сударыня,— сказал мистер Миглз,— я никогда не знал горя, никогда не знал настоящей тревоги. Это обрушилось на меня таким тяжелым испытанием, что...— Что мистер Миглз, короче говоря, не смог говорить об этом и, достав платок, спрятал в него лицо.

— Я все прекрасно понимаю,— ответила миссис Гоуэн, безмятежно поглядывая поверх своего зеленого веера.— Вы обращались к свидетельству мистера Кленнэма, я могу сделать то же. Мистер Кленнэм знает, понимала я или нет.

— Мне очень неприятно участвовать в этом споре,— сказал Кленнэм, чувствуя, что все взоры обращены на него,— тем более, что я желал бы сохранить самые лучшие отношения с мистером Генри Гоуэном. У меня к тому есть весьма основательные причины. Еще до свадьбы миссис Гоуэн высказывалась мне в том смысле, что, по ее мнению, мистер Миглз стремится содействовать этому браку — и я ее тогда же пытался разуверить. Я говорил, что, насколько мне известно (а я это твердо знал и знаю), мистер Миглз всегда был его решительным противником, и на словах и на деле.

— Вот видите! — сказала миссис Гоуэн, выставив вперед обе руки ладонями кверху, как если бы она была самим Правосудием, вещающим, что запирательства бесполезны.— Вот видите! Чего же больше! А теперь, папаша и мамаша Миглз,— она встала,— позвольте мне положить конец этим неуместным пререканиям. Я ничего больше не добавлю по существу. Скажу только, что это лишнее подтверждение истины, которая всем известна по опыту: из этого никогда ничего не получается. Попытка с негодными средствами, как сказал бы мой бедный мальчик. Одним словом — так не бывает.

Мистер Миглз спросил, о чем она говорит.

— Напрасно думать,— сказала миссис Гоуэн,— что люди, которые совершенно различны по рождению и воспитанию, которых столкнули вместе лишь, так сказать, случайные матримониальные обстоятельства и которые даже сами эти обстоятельства воспринимают по-разному,— напрасно думать, что такие люди могут сойтись и достигнуть взаимного понимания. Так не бывает.

Мистер Миглз начал было:

— Позвольте вам заметить, сударыня...

— Нет, нет,— прервала его миссис Гоуэн.— Зачем лишние слова? Это факт, и факт неопровержимый. Так не бывает. А потому с вашего позволения я пойду своей дорогой, а вы уж идите своей. Я всегда буду с удовольствием принимать у себя хорошенькую женушку моего бедного мальчика и позабочусь о том, чтобы мы с нею жили душа в душу. Но тянуть эти странные, нелепые отношения — ни то ни се, ни родня ни чужие — право же, нет смысла. И наивно надеяться, что это может привести к чему-нибудь путному. Уверяю вас, так не бывает.

Вдова с улыбкой сделала изящнейший реверанс, адресованный скорее к комнате, чем к находящимся в ней лицам, и навсегда распростилась с папашей и мамашей Миглз. Кленнэм проводил ее до Пилюльной Коробочки, поочередно служившей упаковкой всем хэмптон-кортским пилюлям; она со светской непринужденностью уселась на подушки и отбыла.

После этого случая вдова часто развлекала своих добрых приятелей остроумным рассказом о том, каких тяжких мук стоили ей попытки водить знакомство с родней жены Генри — этими интриганами, которые завлекли ее бедного мальчика в свои сети! — и как в конце концов она убедилась, что это невозможно. Смекнула ли она наперед, что разрыв с Миглзами придаст большую достоверность ее любимой легенде, избавит ее от кой-каких мелких неудобств и не несет с собой никакого риска (хорошенькая куколка прочно замужем, и отец любит ее по-прежнему) — знает только она сама. Впрочем, и у автора настоящей истории имеется свое мнение на этот счет, и он склонен ответить утвердительно.

ГЛАВА IX

Появилась и исчезла

— Артур, голубчик,— сказал мистер Миглз в воскресенье вечером.— Мы тут с мамочкой потолковали и сошлись на том, что дело оборачивается не очень хорошо.

Наша драгоценная родственница — я имею в виду светскую даму, посетившую нас вчера...

— Понимаю,— сказал Артур.

— Этот образец любезности, это украшение общества,— продолжал мистер Миглз,— может все изобразить не так, как оно есть, вот чего мы опасаемся. Мы со многим готовы были мириться из уважения к ней, но тут уж пусть не взыщет, а пожалуй, нам мириться не следует.

— Так,— сказал Артур.— Что же дальше?

— Судите сами,— продолжал мистер Миглз.— Ведь мы чего доброго выйдем виноваты перед зятем, даже перед дочерью, и это может повести к большим семейным неурядицам. Согласны вы со мной?

— Бесспорно,— сказал Артур,— в ваших словах много справедливого.— Он успел глянуть на миссис Миглз, которая всегда стояла за доброе и разумное; и на ее открытом, приветливом лице прочитал просьбу поддержать мистера Миглза в его решении.

— Вот мы с мамочкой и подумываем,— продолжал мистер Миглз,— а не уложить ли нам чемоданы и не пуститься ли снова аллон-маршон? Проще говоря, не махнуть ли нам прямым путем через Францию в Италию к нашей милой Бэби?

— Что ж, отличная мысль,— сказал Артур, тронутый материнской радостью, озарившей ясное лицо миссис Миглз (она, должно быть, в молодости была очень похожа на дочь).— И если вы спросите моего совета, так я вам скажу: поезжайте завтра же.

— Нет, в самом деле? — воскликнул мистер Миглз.— Ну, мамочка, это ли не доказательство, что мы правы!

Мамочка, с сияющей улыбкой, явившейся лучшей наградой для Кленнэма, подтвердила, что доказательство убедительное.

— К тому же, сказать вам правду, Артур,— добавил мистер Миглз, и знакомое облако набежало на его лицо,— зять мой успел наделать новых долгов, и без моей помощи дело, видно, не обойдется. Так что и по этой причине неплохо будет мне повидать его и поговорить с ним по-дружески. Да и с мамочкой сладу нет: все тревожится о здоровье Бэби (впрочем, оно и не мудрено) и твердит, что нельзя заставлять ее тосковать в такое время. Что

верно, то верно, Артур; очень уж далеко наша бедная девочка, и в ее положении ей в самом деле должно быть тоскливо на чужбине. Пусть даже о ней там заботятся, как о самой знатной даме, а все-таки очень уж она далеко. Как ни хорош Рим, а все не родной дом,— заключил мистер Миглз, обогащая родную речь новой поговоркой.

— Все ваши соображения верны,— отвечал Артур,— и все говорит за то, чтобы вам ехать.

— Очень рад, что вы так думаете; это облегчает мне решение. Мамочка, можешь начинать сборы, душа моя. Теперь уж с нами не будет нашей милой переводчицы (она ведь превосходно говорила на трех языках, Артур; да вы сами не раз слышали); придется тебе, мамочка, меня выручать, как сумеешь. Мне в чужих краях всегда требуется поводырь, Артур,— заметил мистер Миглз, качая головой,— без поводыря я шагу ступить не могу. Еще имена существительные одолею с грехом пополам, но дальше — никуда; а бывает, что и на существительных спотыкаюсь.

— Знаете что,— сказал Кленнэм.— Я сейчас подумал о Кавалетто. Он может поехать с вами, если желаете. Я бы не хотел потерять его, но ведь вы мне его вернете целым и невредимым.

— Очень вам благодарен, голубчик,— отвечал мистер Миглз как бы в раздумье,— но, пожалуй, не стоит. Нет, уж как-нибудь меня мамочка выручит. Вам нужен ваш Каваллюро (видите, я даже имени его не выговорю толком, выходит что-то на манер припева куплетов), и я не хочу его у вас отнимать. Тем более что неизвестно, когда мы вернемся; нельзя же увозить человека на неопределенный срок. Домик наш теперь не тот, что прежде. Всего двух юных обитательниц недостает в нем — Бэби и бедной Тэттикорэм, ее служанки, но весь он словно опустел. Если мы уедем, бог весть когда нам захочется вернуться назад. Нет, Артур, пусть уж меня мамочка выручает.

«Может, и в самом деле, им будет лучше без чужого человека»,— подумал Кленнэм и не пытался настаивать.

— Если бы вы иной раз заглядывали сюда в свободное время,— снова заговорил мистер Миглз,— мне отрадно было бы думать — и мамочке, я знаю, тоже,— что вы приносите в наш домик кусочек той жизни, которой он был

так полон когда-то, и что кто-то хоть изредка ласково смотрит на малюток на портрете. Вы ведь нам все равно что родной, Артур, и им тоже, и как бы мы все были счастливы, если бы — да, кстати, а какая на дворе погода — благоприятна ли для путешествия? — Мистер Миглз оборвал свою речь, закашлялся и отвернулся к окну.

Решили сообща, что погода обещает быть превосходной; и Кленнэм заботливо придерживался этой спасительной темы, покуда разговор не обрел прежнюю непринужденность; только тогда он осторожно перевел его на Генри Гоуэна, заговорив о том, какой у него живой ум и сколько в нем природных достоинств — нужно только уметь подойти к нему; а уж о том, как он любит свою жену, и говорить нечего. Расчет Кленнэма оказался безошибочным: добрый мистер Миглз так и расцвел, слыша эти похвалы, и тут же призвал мамочку в свидетели, что ничего иного никогда не желал в отношениях с зятем, как взаимной дружбы и взаимного доверия. Спустя несколько часов в доме уже скатывали ковры и надевали чехлы на мебель — «накручивали папильотки» по образному выражению мистера Миглза — а спустя несколько дней папочка и мамочка покинули Англию. Миссис Тикит и доктор Бухан заняли свой сторожевой пост у окна в гостиной, и только шорох облетевшей листвы сопутствовал Кленнэму в его одиноких прогулках по саду.

Не проходило недели, чтобы Кленнэм не навестил эти милые его сердцу места. Иногда он там оставался с субботы до понедельника, один или вместе со своим компаньоном; иногда приезжал только на час-другой, обходил дом и сад, и убедившись, что все благополучно, возвращался в Лондон. И всегда и при любых обстоятельствах миссис Тикит, ее черные букли и доктор Бухан оказывались на своем посту у окна гостиной.

Но вот однажды миссис Тикит встретила его словами:

— Мистер Кленнэм, мне нужно сообщить вам удивительную новость.

Должно быть, новость и в самом деле была из ряду вон выходящая, раз она подняла миссис Тикит с ее места у окна и заставила выйти навстречу Кленнэму, едва тот успел шагнуть в садовую калитку.

— Что случилось, миссис Тикит? — спросил он.

— Сэр,— отвечала верная домоправительница, но не раньше, чем ввела Кленнэма в гостиную и плотно затворила дверь.— Или я не должна больше доверять собственным глазам, или эти глаза вчера под вечер видели наше совращенное, заблудшее дитя.

— Как, неужели Тэтти...

— ...корэм, да, именно ее! — договорила миссис Тикит, разом проясняя все возможные сомнения.

— Но где же?

— Мистер Кленнэм,— сказала миссис Тикит.— Я чувствовала некоторое утомление, верно, оттого, что Мэри-Джейн заставила меня дожидаться чаю дольше обыкновенного. Не то чтобы я спала, или даже, если употребить более точное выражение, дремала. Правильнее всего будет сказать, что я бодрствовала с закрытыми глазами.

Не пытаясь разузнать подробнее об особенностях этого своеобразного состояния, Кленнэм сказал:

— Понятно. Что же дальше?

— Дальше я задумалась, сэр,— продолжала миссис Тикит.— Думала о том о сем. Как могло случиться и с вами на моем месте. Как могло быть и со всяким другим.

— Да, да, разумеется,— сказал Кленнэм.— Дальше?

— Мне незачем вам говорить, мистер Кленнэм,— продолжала миссис Тикит,— что когда я задумываюсь о том о сем, то неизбежно прихожу к мыслям о нашем семействе. Да оно и не мудрено,— заметила миссис Тикит философически.— Ведь мысли человека хоть и разбегаются порой, а в общем все вертятся вокруг того, что человека больше всего занимает. Так уж оно есть, сэр, и ничего вы тут не поделаете.

Артур кивком признал справедливость этого наблюдения.

— Смею сказать, вы и на себе можете это проверить, сэр,— сказала миссис Тикит.— И каждый может проверить это на себе. А что до разницы в общественном положении, мистер Кленнэм, так это тут ни при чем; мысли, они свободны!.. Ну вот, стало быть, думаю я о том о сем, а больше всего думаю о нашем семействе. И не только в том виде, как у нас обстоят дела теперь, но и в том виде, как они обстояли раньше. Потому что, когда вот так, вечерком, сидишь и думаешь о том о сем, тут уже, знаете,

перестаешь разбирать, что было раньше и что теперь, и человеку требуется время, пока он придет в себя и сообразит, что к чему.

Артур снова ограничился молчаливым кивком из боязни неосторожным словом усилить поток красноречия миссис Тикит.

— По этой причине,— продолжала миссис Тикит,— когда я приоткрыла глаза и увидела ее стоящей собственной персоной у садовой калитки, я закрыла их снова, даже не вздрогнув, потому что мои мысли витали в прошлом, когда для нее так же естественно было находиться здесь, как для вас или для меня, а об ее побеге я в ту минуту и думать забыла. Но когда я опять приоткрыла глаза, сэр, и смотрю, никого у калитки нет, тут мне словно в голову ударило, и я так и подскочила.

— Вы сразу же выбежали из дома? — спросил Кленнэм.

— Сию же минуту,— подтвердила миссис Тикит.— Бежала со всех ног; и вот поверите, мистер Кленнэм,— ни даже пальчика этой молодой особы не было видно во всем ясном небе!

Оставив в стороне вопрос об отсутствии на небосводе этого нового светила, Артур осведомился у миссис Тикит, выходила ли она за калитку.

— И туда и сюда, и взад и вперед — куда только не бегала,— отвечала миссис Тикит,— но ее и след простыл.

Тогда он спросил, как она думает, сколько могло пройти времени от первого приоткрывания глаз до второго. Миссис Тикит отвечала весьма подробно и обстоятельно, однако же никак не могла сказать с определенностью, пять секунд прошло или десять минут. Слушая ее туманные выкладки, нетрудно было догадаться, что почтенная дама сладко вздремнула в то время, о котором шла речь, и Кленнэм в конце концов решил, что все это попросту привиделось ей спросонья. Но, не желая оскорбить чувства миссис Тикит столь вульгарным истолкованием, он оставил свои соображения при себе. Вероятно, так бы они при нем и остались, не случись вскоре одного события, которое заставило его взглянуть на дело по-иному.

Как-то под вечер Кленнэм шел по Стрэнду, а впереди его шел фонарщик, по мановению руки которого загора-

лись один за другим уличные фонари — точно расцветали в тумане гигантские огненные подсолнечники. Вдруг путь пешеходам преградил затор на перекрестке, образовавшийся из-за обоза с углем, который тянулся от речной пристани. Кленнэм шел быстрым шагом, глубоко задумавшись, и когда внезапная помеха заставила его остановиться и прервать свои размышления, он, как всегда бывает в таких случаях, растерянно огляделся по сторонам.

И тут, почти рядом — если б не двое-трое прохожих, затесавшиеся между ними, можно было бы достать до нее рукой,— он увидел Тэттикорэм, а с нею какого-то незнакомого ему мужчину весьма примечательной наружности: фатоватая осанка, нос крючком, густые усы, черный цвет которых внушал не больше доверия, чем любезное выражение его лица, тяжелый плащ, который он носил на иностранный манер, закинув полу на плечо. Судя по костюму, это был путешественник, и с Тэттикорэм он встретился, должно быть, совсем недавно. Она что-то ему говорила, а он слушал наклонившись, так как был гораздо выше ее ростом, и время от времени озирался кругом беспокойным взглядом человека, привыкшего ожидать преследования. В одну из таких минут Кленнэм и разглядел его — когда его глаза скользили по лицам в толпе, ни на одном не задерживаясь.

Только что незнакомец вновь повернулся к своей спутнице, по-прежнему наклоняясь, чтобы лучше слышать,— затор кончился, и людской поток устремился дальше. Все так же наклоняясь, незнакомец зашагал рядом с девушкой, и Кленнэм пошел за ними, решив не упускать неожиданного случая и проследить, куда они держат путь.

Не успел он принять это решение (хоть оно было принято довольно быстро), как ему снова пришлось остановиться, и почти столь же неожиданно. Дойдя до Аделфи *, интересовавшая его пара свернула за угол — дорогу, видимо, указывала девушка,— и направилась в сторону Террасы Аделфи, протянувшейся над берегом реки.

И по нынешний день, когда попадаешь в эти кварталы, многоголосый шум Стрэнда сразу сменяется тишиной. Все звуки стихают так внезапно, что кажется, будто вы заткнули уши ватой или толстой шалью укутали голову. Во

времена, к которым относится наш рассказ, контраст этот был еще разительней: тогда не сновали по Темзе юркие пароходики, не было речных причалов, только скользкие деревянные лесенки и пешеходные мостки, не было ни железной дороги на том берегу, ни висячего моста, ни рыбного рынка по соседству; пусто и безлюдно было на ближнем каменном мосту, и лишь лодки перевозчиков да угольные баржи бороздили речную гладь. Длинные черные ряды этих барж, так прочно зарывшихся в прибрежный ил, словно они собирались вековать здесь, с наступлением сумерек придавали местности мрачный, погребальный колорит и оттесняли на середину все движение, происходившее на реке. После захода солнца, особенно в час, когда те, у кого есть дома ужин, сидят за столом, а те, у кого его нет, еще не вышли на улицу побираться или воровать, кварталы Аделфи кажутся вымершими.

Именно в такой час Кленнэм остановился на перекрестке, глядя вслед девушке и ее спутнику, свернувшим в боковую улицу. Шаги незнакомца гулко звенели на каменных плитах, и Кленнэм не хотел вторить этому звуку, чтобы не привлекать к себе внимания. Он выждал, пока они скрылись в темном проходе, ведущем на Террасу Аделфи; и только тогда последовал за ними, стараясь сохранять равнодушный вид человека, идущего по своим делам.

Выйдя на Террасу, он увидел, что они идут по тротуару, а навстречу им приближается какая-то женская фигура. Издали, сквозь туман, в тусклом свете газовых фонарей, она едва ли показалась бы ему знакомой в другое время; но присутствие Тэттикорэм направляло его мысли определенным образом, и он сразу узнал мисс Уэйд.

Он стоял на углу прохода, делая вид, будто кого-то ожидает, но глаза его внимательно следили за этими тремя людьми. Когда они сошлись вместе, незнакомец снял шляпу и поклонился мисс Уэйд. Девушка проговорила несколько слов — то ли представляла своего спутника, то ли что-то пыталась объяснить, может быть, его опоздание или, напротив, чересчур ранний приход; затем она отошла в сторону. Мисс Уэйд и незнакомец стали прохаживаться взад и вперед, беседуя; незнакомец, судя по его

виду, был отменно учтив и галантен, мисс Уэйд, судя по ее виду, была высокомерна и холодна.

Когда они дошли до угла и поворачивали обратно, Кленнэм услышал, как мисс Уэйд говорила:

— Трудно мне это или легко — мое дело, сэр. Занимайтесь собственными делами и не задавайте вопросов.

— Помилуйте, сударыня,— возразил незнакомец с новым поклоном.— Ведь мною руководит лишь глубочайшее уважение к силе вашего характера и восхищение вашей красотой.

— Ни то, ни другое мне не требуется,— отвечала она,— от вас во всяком случае. Продолжайте рассказ.

— Но вы меня прощаете? — спросил он умильно-вкрадчивым тоном.

— Я вам плачу,— отвечала она,— а это все, что вам нужно.

Кленнэм не мог решить, отошла ли девушка потому, что разговор не предназначался для ее ушей, или потому, что предмет его был ей уже знаком. Но так или иначе, она прогуливалась одна, на расстоянии нескольких шагов от них, поворачивая всякий раз, когда поворачивали они. Она шла, скрестив на груди руки и отвернувшись к реке; больше Кленнэм не мог ничего разглядеть без риска обнаружить себя. По счастью, тут случился человек, в самом деле поджидавший кого-то; он то смотрел на воду, облокотясь на перила, то подходил к углу и заглядывал в темный проход и своим присутствием делал менее заметным присутствие Артура.

Когда мисс Уэйд и ее спутник приблизились снова, Кленнэм услышал, как она сказала:

— Вам придется подождать до завтра.

— Тысяча извинений! — воскликнул незнакомец.— Ах, бог мой! А сегодня никак нельзя?

— Нет. Я ведь вам сказала, мне сперва нужно достать их.

Она остановилась, как бы давая понять, что разговор окончен. Он, естественно, остановился тоже. Остановилась и девушка.

— Немножко неудобно для меня,— сказал незнакомец.— Немножко. Но — святое небо! что значат такие пу-

стяки в сравнении с оказанной услугой! Просто я сегодня случайно оказался без денег. У меня в Лондоне есть очень солидный банкир, но я предпочитаю обращаться к нему только за крупными суммами.

— Гарриэт,— сказала мисс Уэйд,— узнайте у этого... джентльмена, куда ему завтра прислать деньги.

Слово «джентльмен» она произнесла с запинкой, от которой оно прозвучало презрительней самой обидной клички,— и неторопливым шагом пошла дальше.

Остальные двое последовали за ней, причем незнакомцу снова пришлось наклониться, чтобы расслышать то, что ему говорила девушка. Когда они проходили мимо, Кленнэм рискнул вглядеться в девушку повнимательней. От него не укрылся недоверчивый взгляд ее блестящих черных глаз, устремленных на незнакомца, и он заметил, что хоть она и шла с ним рядом, но старалась держаться на некотором расстоянии.

Они скрылись в дальнем конце Террасы, и туман мешал Артуру видеть, что там происходит; но вскоре он снова услышал шаги на мостовой, и по звуку их понял, что незнакомец возвращается один. Артур выступил немного вперед, и незнакомец прошел совсем близко, едва не задев его полой закинутого на плечо плаща. Он шел быстрой, размашистой походкой, в такт французской песенке, которую напевал на ходу.

Теперь, кроме Кленнэма, вокруг не было ни души. Человек, поджидавший кого-то, ушел, мисс Уэйд и Тэттикорэм больше не появлялись. Но Кленнэм не отказался от своего намерения проследить за ними в надежде оказать услугу добрейшему мистеру Миглзу и потому осторожно двинулся вдоль Террасы, все время глядя по сторонам. Он справедливо рассудил, что они, во всяком случае, пойдут в сторону, противоположную той, куда направился их недавний спутник. И в самом деле, минуту спустя он их увидел в боковой улочке, которая заканчивалась тупиком; как видно, они свернули туда лишь для того, чтобы дать незнакомцу время уйти подальше. Они медленно шли рука об руку по одной стороне тупика, потом перешли на другую и повернули назад. Но, выйдя вновь на Террасу, они сразу ускорили шаг и пошли быстро и энергично, как люди, которым нужно поспеть куда-то, а идти далеко.

Кленнэм столь же энергично шагал им вслед, стараясь не терять их из виду.

Они пересекли Стрэнд, прошли через Ковент-Гарден (мимо окон старой его квартиры, куда однажды вечером приходила милая Крошка Доррит), потом повернули к северо-востоку, миновали длинное здание, которому Тэттикорэм была обязана своим именем, и, наконец, вышли на Грей-Инн-роуд. В этих местах Кленнэм был как дома — благодаря Флоре, а также Патриарху и Панксу, и здесь он уже не опасался упустить из виду своих невольных спутниц. Он несколько удивился тому, что они направились именно сюда, но ему пришлось удивиться гораздо больше, когда они свернули в переулок, где находился Патриарший дом, и он совершенно остолбенел от удивления, увидев, что они остановились у Патриаршей двери. Два негромких удара блестящим медным молотком, полоса света на мостовой из отворившейся двери, вопрос, ответ — и они исчезли в доме.

Артур поглядел на окружающие дома, желая убедиться, что все это происходит не во сне, потом прошелся раз-другой перед домом и тогда только решился постучать в дверь. На стук вышла знакомая служанка и тотчас же проводила его в знакомую гостиную.

В гостиной, кроме Флоры, была еще только тетушка мистера Ф. Эта почтенная дама нежилась в кресле у камина, овеянная благоуханиями чая и гренков; рядом с нею стоял маленький столик, а на коленях у нее был разостлан чистый белый платок, и на нем два дымящихся гренка ожидали своей очереди быть съеденными. Воззрившись на Кленнэма сквозь облако пара, которое клубилось над чайником, придавая ей сходство со злой китайской волшебницей, совершающей колдовской обряд, тетушка мистера Ф. отставила свою солидных размеров чашку и воскликнула:

— Смотрите-ка! Опять его нелегкая принесла!

Каковое восклицание наводило на мысль, что суровая родственница опочившего мистера Ф., судя о времени не по часам, а по силе собственных ощущений, полагала, что Кленнэм лишь недавно ушел из этого дома; а между тем не меньше трех месяцев истекло с тех пор, как он последний раз имел неосторожность показаться ей на глаза.

— Господи помилуй, Артур! — воскликнула Флора, в избытке чувств устремляясь ему навстречу.— Дойс и Кленнэм вот неожиданный сюрприз, хотя казалось бы литейное заведение совсем по соседству и можно бы иной раз зайти ну хоть в полдень когда стакан хереса и сандвич с чем ни на есть как раз кстати и уж верно не хуже на вкус от того, что из домашних припасов, торговец ведь должен заработать иначе и быть не может если не хочешь вылететь в трубу, но вас все равно не видно мы даже и ждать перестали недаром говорится увижу — поверю, а сам мистер Ф. еще говорил не увижу — поверю и он был прав потому что когда не видишь и не видишь как тут не поверить что о тебе и думать забыли впрочем с какой стати вам меня помнить Артур, Дойс и Кленнэм, что было то прошло, но подайте еще чашку и принесите горячих гренок да поскорее, а вас прошу садитесь сюда к огню.

Артуру не терпелось объяснить цель своего посещения; но он медлил, невольно пристыженный искренней радостью Флоры и упреком, который можно было уловить в ее словах.

— А теперь сделайте милость расскажите мне все что вы знаете,— снова начала Флора, подсаживаясь к нему поближе,— все как есть о нашей милой доброй деточке, как она душенька теперь живет после всех перемен, конечно карета и лакеи на запятках и лошадей целый табун, ах как это все романтично, и разумеется герб и его держат дикие звери, встав на задние лапы, точно школьники тетрадку с прописями, а пасть разинута до ушей, господи боже, а как ее здоровье, это в конце концов самое главное, потому что без здоровья и богатство ни к чему, сам мистер Ф. говорил бывало когда ему вступит в поясницу, лучше жить на шесть пенсов в день но без подагры, конечно это только так говорится, да к тому же не думаю чтобы наша славная деточка, впрочем сейчас такая фамильярность уже неуместна, имела наклонность к подагре, у нее и комплекция не та, но она всегда выглядела такой слабенькой благослови ее господь!

Тем временем тетушка мистера Ф. догрызла свой гренок до корки и торжественно протянула эту корку Флоре, которая тут же ее скушала, словно так и полагалось. Затем тетушка мистера Ф. послюнила один за другим все

десять пальцев и неторопливо вытерла их в том же порядке о свой платок; после чего вооружилась вторым гренком и вновь принялась за дело. В течение всей этой процедуры она не сводила с Кленнэма грозного взгляда, ввиду чего он счел себя обязанным также смотреть ей в лицо, хоть это и не доставляло ему ни малейшего удовольствия.

— Она сейчас в Италии, Флора, со всем своим семейством,— сказал он, когда внимание устрашающей дамы было, наконец, отвлечено едой.

— Ах неужели в Италии? — воскликнула Флора,— в этой стране грез, где запросто растут повсюду виноград и инжир, и ожерелья из лавы и браслеты тоже, и огнедышащие горы, живописные до невозможности, хотя если маленькие шарманщики бегут от них подальше чтобы не изжариться заживо ничего нет удивительного, они же еще совсем дети, и как человечно, что они и своих белых мышек забирают с собой, неужели же она в этой благословенной стране и вокруг нее одна небесная лазурь и умирающие гладиаторы и Бельведеры, хотя сам мистер Ф. относился к ним с недоверием и бывало говорил под веселую руку что как же это так, на одних целые штуки полотна наверчены и даже в складках все, а другие вовсе без белья, а середины нет, и в самом деле непонятно почему такие крайности, хотя может быть там изображены только самые богатые и самые бедные.

Артур попытался было вставить слово, но безуспешно.

— А Спасенная Венеция *,— тараторила Флора,— почему это кстати она так называется, и кто ее спасал, на этот счет существуют такие разные мнения, и потом еще я слыхала, они там глотают свои макароны целиком точно фокусники, а почему бы не разрезать на кусочки, да вот еще Артур — милый Дойс и Кленнэм, нет, нет, не милый и во всяком случае не милый Дойс поскольку я не имею удовольствия, но вы уж меня извините, я хотела спросить, бывали ли вы в Болонье и какое отношение к ней имеют болонки я никогда не могла понять.

— Мне кажется, никакого, Флора,— начал Артур, но она тут же снова перебила его.

— В самом деле, как странно, а я думала, впрочем у меня всегда так, если уж заведется в голове какая-

нибудь идея, никак не могу с ней расстаться, увы ведь было время, милый Артур, то есть разумеется не милый и не Артур, но вы меня понимаете, когда одна идея, одна лучезарная мечта сияла на нашем ну как его горизонте и так далее, но набежали тучи и все было кончено.

На лице у Артура так ясно было написано желание заговорить о чем-то другом, что даже Флора, наконец, заметила это и, прервав свои излияния, нежно осведомилась, в чем дело.

— Флора, мне бы очень хотелось поговорить с одной особой, которая сейчас находится в вашем доме — по всей вероятности у мистера Кэсби. Эта особа, поддавшись дурному влиянию, убежала из семьи моих друзей, а сейчас я видел, как она вошла сюда.

— У папаши бывает столько людей и притом самых странных,— сказала Флора, поднимаясь,— что ни для кого другого я бы туда не пошла, но для вас Артур я готова спуститься даже на дно морское, а не то что в столовую и мигом обернусь если вы не возражаете присмотреть тут пока за тетушкой мистера Ф.

И, послав Кленнэму на прощанье еще один нежный взгляд, Флора упорхнула, оставив его во власти самых мрачных предчувствий по поводу возложенной на него жуткой миссии.

Первым зловещим признаком надвигающейся беды явилось громкое и продолжительное фырканье, возвестившее о том, что тетушка мистера Ф. покончила со вторым гренком. Убийственный смысл этого сигнала был настолько ясен, что Кленнэм и не пытался обманывать себя относительно грозившей ему участи, и только жалобно смотрел на достойнейшую, но склонную к предубеждениям даму в надежде обезоружить ее полным смирением.

— Что глаза вытаращил? — прикрикнула на него тетушка мистера Ф., содрогнувшись от ненависти.— На, бери!

Это приказание относилось к протянутой ему корке от гренка. Кленнэм принял дар с признательностью и держал его в руке в некотором замешательстве, уменьшению которого отнюдь не способствовал тот факт, что тетушка мистера Ф. вдруг завопила истошным голосом: «А, барин не желает! У барина слишком нежный желудок!» —



и, встав с кресла, принялась трясти своим почтенным кулаком перед самым его носом. Не подоспей Флора вовремя, чтобы вывести его из затруднительного положения, кто знает, чем все это могло кончиться. Но Флора, нимало не удивясь и не смутившись, выразила свое восхищение по поводу того, что милая старушка «так оживлена сегодня», и водворила ее обратно в кресло.

— У барина слишком нежный желудок,— объявила представительница семейства Финчинг, усевшись.— Дай ему мякины.

— Что вы, тетушка! Едва ли это ему придется по вкусу,— возразила Флора.

— А я тебе говорю, дай ему мякины,— повторила тетушка мистера Ф., из-за юбки Флоры бросая на своего недруга свирепые взгляды.— Самое подходящее кушанье для нежного желудка. Скорми ему целое ведро. Пусть ест мякину, нелегкая его возьми!

Флора позвала Кленнэма за собой, якобы для того, чтобы угостить его означенным деликатесом; но тетушка мистера Ф. не угомонилась и с неистовой злобой продолжала твердить, что он «барин», и настаивать на лошадиной диете, которую она столь решительно ему предписала.

— Ужасно неудобная лестница, Артур,— шепнула Флора,— вас не затруднит обнять меня за талию под пелеринкой, чтобы поддерживать на поворотах?

Чувствуя, как нелепо должно выглядеть шествие в такой позе, Кленнэм, однако же, исполнил все, что от него требовалось, и опустил свою прелестную ношу только у дверей столовой; впрочем, и тут ему не очень легко было от нее освободиться, так как она все льнула к его плечу, повторяя шепотом:

— Артур только ради всего святого ни слова папаше!

Войдя вдвоем в комнату, они застали Патриарха в полном одиночестве. Он сидел у камина, поставив ноги в мягких туфлях на решетку, и вертел большие пальцы один вокруг другого, словно и не прерывал никогда этого занятия. Из рамки на стене глядел десятилетний Патриарх, с которым нынешний мог поспорить безмятежностью облика. И здесь и там выпуклый лоб, и здесь и там невинный взгляд, и здесь и там полное отсутствие мысли на лице.

— Мистер Кленнэм, я рад вас видеть. Надеюсь, вы в добром здравии, сэр, надеюсь, вы в добром здравии. Прошу садиться, прошу садиться.

— Признаться, сэр,— сказал Кленнэм, сев в кресло и с явным разочарованием оглядываясь по сторонам,— я полагал, что вы не один.

— В самом деле? — ласково откликнулся Патриарх.— В самом деле?

— Я ведь вам говорила, папаша,— воскликнула Флора.

— Ну как же! — отвечал Патриарх.— Да, да, конечно. Ну как же!

— Позвольте спросить вас, сэр,— с беспокойством сказал Кленнэм,— мисс Уэйд уже ушла?

— Мисс...? Ах, вы ее называете Уэйд? — сказал мистер Кэсби.— Ну что ж, почему бы и нет.

Артур встрепенулся.

— А вы как ее называете?

— Уэйд,— сказал мистер Кэсби.— Разумеется, Уэйд.

Поглядев с минуту на исполненный человеколюбия лик, на спускавшиеся до плеч серебристые кудри (мистер Кэсби в это время продолжал вертеть большими пальцами и кротко улыбаться огню, как бы говоря: «Обожги меня, чтобы я мог простить тебе это»), Артур начал было снова:

— Виноват, мистер Кэсби...

— Нисколько, нисколько,— сказал Патриарх.— Нисколько.

— ...но мисс Уэйд, я знаю, приходила не одна — с ней была молодая девушка, выросшая в доме моих друзей, на которую она оказывает не совсем благотворное влияние, и я очень желал бы передать этой девушке, что она попрежнему вправе рассчитывать на доброту и покровительство тех, кого она покинула.

— Понятно, понятно,— отозвался Патриарх.

— Так не будете ли вы столь любезны сообщить мне адрес мисс Уэйд.

— Ай, ай, ай! — сказал Патриарх.— Какая незадача! Что бы вам обратиться ко мне, когда они еще были здесь! Я заметил эту молодую девушку, мистер Кленнэм. Красивая девушка, мистер Кленнэм, румянец во всю щеку, а волосы черные и глаза тоже черные. Если не ошибаюсь, если не ошибаюсь.

Кленнэм подтвердил все приметы и снова сказал, еще более убедительно:

— Будьте столь любезны сообщить мне адрес.

— Ай, ай, ай! — воскликнул Патриарх с сердечным сожалением в голосе.— Тц, тц, тц! Вот досада, вот досада! Адреса у меня нет, сэр. Мисс Уэйд почти не живет в Англии, мистер Кленнэм. Уже несколько лет она все больше путешествует за границей, причем должен вам сказать, мистер Кленнэм (хоть и нехорошо судить ближних, тем более даму), нрав у нее весьма непостоянный и прихотливый. Может статься, я теперь ее не увижу очень долго, очень долго. Может, даже и никогда больше не увижу. Вот досада, вот досада!

Кленнэму было уже ясно, что с таким же успехом он мог бы добиваться помощи от портрета; тем не менее он сказал:

— Мистер Кэсби, в интересах друзей, о которых я упоминал, мне бы очень хотелось получить от вас сведения о мисс Уэйд — с обязательством сохранить тайну в той мере, в какой вы это найдете необходимым. Я встречал эту даму за границей, встречал и здесь, но о ней ничего не знаю. Можете вы сообщить мне какие-нибудь сведения?

— Никаких,— отвечал Патриарх, покачивая своей большой головой с видом беспредельного благорасположения.— Решительно никаких. Ай, ай, ай! Какая, в самом деле, жалость, что она так скоро ушла, а вы замешкались! В качестве делового посредника, делового посредника, я иногда выплачивал ей по доверенности некоторые суммы; но какая вам польза, сэр, знать это?

— Правда, решительно никакой,— сказал Кленнэм.

— Правда,— подхватил Патриарх, сияя обращенной к огню благостной улыбкой,— решительно никакой, сэр. Весьма мудрый ответ, мистер Кленнэм. Решительно никакой, сэр.

Глядя, как он вертит своими пухлыми пальцами, Кленнэм вдруг представил себе, что вот так же будет он вертеть и дальнейшим разговором, не давая ему сдвинуться с места, ничего не прибавляя к тому, что уже сказано; и, представив себе это, он окончательно убедился в бесполезности своих усилий. Времени обдумать все это у него было

более чем достаточно, ибо мистер Кэсби привык полагаться на свой выпуклый лоб и седые кудри и знал, что не в речах его сила. А потому он тихонечко вертел себе да вертел пальцами и старался, чтобы благость струилась из каждой шишки его отполированного черепа.

Насладившись этим зрелищем, Артур встал, чтобы откланяться, но тут из внутреннего дока, где буксир Панкс стоял на якоре между своими очередными рейсами, послышался шум, возвещавший о приближении этого славного суденышка. Артур заметил, что начался шум очень издалека, как будто мистер Панкс хотел предупредить, на случай если это кого-нибудь беспокоило, что находится на таком расстоянии, откуда разговор в столовой не слышен.

Мистер Панкс поздоровался с Кленнэмом и подал своему хозяину какие-то бумаги для подписи. Здороваясь, он только почесал указательным пальцем левую бровь и один раз фыркнул, но Кленнэм, который уже научился понимать его, сразу заключил, что мистер Панкс скоро заканчивает свои дела и желал бы сказать ему два слова с глазу на глаз. Поэтому, распростившись с мистером Кэсби и с Флорой (что было значительно труднее), он вышел из дома и стал прохаживаться неподалеку в ожидании мистера Панкса.

Ждать пришлось недолго. Когда мистер Панкс, еще раз пожав ему руку, снова выразительно фыркнул и снял шляпу, чтобы запустить пятерню в волосы, Артур усмотрел в этом приглашение говорить с ним как с человеком вполне осведомленным обо всем. Поэтому он спросил без всяких предисловий:

— Они в самом деле ушли, Панкс?

— Да,— сказал Панкс.— Они в самом деле ушли.

— А он знает, где найти эту даму?

— Не уверен. Но думаю, что знает.

А мистер Панкс не знает? Нет, мистер Панкс не знает. А вообще мистеру Панксу что-нибудь известно о ней?

— Смею сказать,— отвечал этот достойный человек,— мне о ней известно не меньше, чем ей самой о себе известно. Она чья-то дочь — чья-нибудь — ничья. Приведите ее туда, где собралось человек десять, по возрасту годящихся

ей в родители, и она не сможет поручиться, что ее родителей нет среди них. Любой дом в Лондоне, мимо которого она проходит, может оказаться домом, где живут ее отец и мать, любое кладбище — местом, где находятся их могилы; в любую минуту она может столкнуться с ними на улице, может случайно познакомиться с ними и не узнать этого. Она не знает, кто ее родители. Она не знает, есть ли у нее родные. И никогда не знала. И никогда не будет знать.

— А вы не думаете, что мистер Кэсби мог бы ее навести на след?

— Вполне возможно,— сказал Панкс.— Но утверждать не берусь. Много лет тому назад ему была передана некоторая сумма денег (насколько мне известно, не слишком значительная) с тем, чтобы он частями выдавал их мисс Уэйд по ее требованию. Из гордости она иногда годами не спрашивает никаких денег, но иногда нужда заставляет ее. Жизнь у нее — не жизнь, а мученье. Мир не видывал другой такой злобной, страстной, отчаянной и мстительной женщины. Сегодня она приходила за деньгами. Сказала, что они ей срочно необходимы.

— Кажется, я случайно знаю, зачем,— задумчиво проговорил Артур,— верней сказать, знаю, в чей карман они попадут.

— Вот как! — отозвался Панкс.— Ну, если это сделка, так мой совет другой стороне точно соблюдать все условия. Хоть мисс Уэйд женщина, и притом молодая и красивая, а я бы не доверился ей, будь я перед ней чем-нибудь виноват,— нет, нет, даже за вдвое большее состояние, чем у моего хозяина, не стал бы так рисковать! Разве только,— присовокупил Панкс в качестве оговорки,— был бы неизлечимо болен и пожелал ускорить свой конец.

Артур, торопливо перебрав в памяти собственные наблюдения, нашел, что они в большой мере соответствуют тому, что говорил Панкс.

— Меня вот что удивляет,— продолжал Панкс.— Как это, зная, что мой хозяин — единственный, кому известна ее тайна, она ни разу не попыталась расправиться с ним. Между нами говоря, если уж на то пошло, я бы сам порой не прочь это сделать.

Артур вздрогнул.

— Господь с вами, Панкс, что вы говорите!

— Поймите меня правильно,— возразил Панкс, приставив к его рукаву пять растопыренных пальцев с обглоданными черными ногтями.— Я не хочу сказать, что перережу ему глотку. Но клянусь всем святым, если он доведет меня до крайности, я его остригу.

Произнеся эту страшную угрозу, представившую его в совершенно новом свете, мистер Панкс несколько раз многозначительно фыркнул и удалился на всех парах.

ГЛАВА X

Сны миссис Флинтвинч еще усложняются

Долгие часы ожиданий в темноватых приемных Министерства Волокиты среди других злостных преступников, приговоренных к тому же виду пытки, позволили Артуру Кленнэму за три или четыре дня исчерпать всю пищу для размышлений, которую ему дала последняя встреча с мисс Уэйд и Тэттикорэм. Сколько он ни думал, он так и не придумал ничего нового и в конце концов выбросил этот предмет из головы.

За все это время он ни разу не был в Сити. Но вот подошел тот день недели, когда он обыкновенно исполнял сыновний долг, и в девятом часу вечера, покинув свою квартиру и своего компаньона, он медленным шагом направился к дому, в мрачных стенах которого протекало его безрадостное детство.

Дом этот всегда был для него олицетворением всего злого, загадочного и унылого; и ему даже чудилось, будто на всю округу ложится от него зловещая тень. Каждая улица, по которой он проходил в этот мглистый вечер, казалось, скрывала в темноте какие-то гнетущие тайны. Тайны счетов и документов, запертых в несгораемых шкафах опустевших купеческих контор; тайны банковских подвалов и кладовых с железными дверьми, ключи от которых хранятся в немногих надежных карманах и немногих надежных сердцах; тайны всех тех, кто приводит в движение эти гигантские жернова (а есть среди них, наверно,

и воры, и подделыватели подписей, и мошенники, которые могут быть изобличены в любой день), — нетрудно было вообразить, будто все это висит в воздухе и мешает дышать. Чем ближе к дому, тем тень была гуще, и он стал думать о тайнах уединенных склепов, о людях, которые всю жизнь копили и прятали добро в кованых сундуках, а теперь сами лежат упрятанные в сундук, хотя и не перестали вредить другим; и о тайнах реки думал он, что мутным потоком стремится меж двух сумрачных нагромождений тайн, на много миль протянувшихся каменными дебрями, тесня вольный воздух и вольные просторы, где птицы ширяют крыльями на ветру.

У самого дома тень сгустилась еще больше, и перед ним выплыла комната отца, печальная комната, где словно витал его призрак с мольбой в угасающем взгляде, каким он был, когда сын в одиночестве сидел у его смертного одра. Тайна была в спертом воздухе этой комнаты. Тайна была во всех мрачных, пыльных, затянутых паутиной углах старого дома. И хозяйка этого дома, женщина с непроницаемыми чертами, с неукротимой волей, охраняла свои тайны и тайны его отца, готовясь встретить лицом к лицу великую заключительную тайну всякой жизни.

Он только что свернул в узкую, круто спускавшуюся улочку, на которую выходил двор или палисадник, разбитый перед домом, как вдруг сзади послышались быстрые шаги, и кто-то с разгона толкнул его к стене. Занятый своими мыслями, он растерялся от неожиданности и опомнился только тогда, когда незнакомец, развязно воскликнув: «Пардон! Не по моей вине!», уже прошел мимо.

И тут, окончательно придя в себя, он увидал, что впереди шагает тот самый человек, о котором он так много думал последние дни. Это не было случайное сходство, усиленное навязчивым воспоминанием. Это, несомненно, был он — тот, кого он встретил на Стрэнде в обществе Тэттикорэм, чей разговор с мисс Уэйд отчасти донесся до его ушей.

Улица шла под уклон, резко изгибаясь, а незнакомец (он был, казалось, не то чтобы пьян, но немного навеселе) шагал так быстро, что через минуту скрылся за поворотом.

Движимый не столько намерением выследить его, сколько желанием приглядеться к нему получше, Кленнэм ускорил шаг, чтобы поскорей обогнуть поворот. Однако, обогнув его, он никого не увидел.

Остановившись у дома своей матери, он огляделся; но улица была пуста. Поблизости не было ни выступа стены, в тени которого мог спрятаться человек, ни перекрестка, где он мог свернуть на другую улицу; не слышно было также, чтобы где-нибудь хлопнула дверь. Но Кленнэм все же решил, что незнакомец вошел в один из соседних домов, отперев, должно быть, дверь своим ключом.

Размышляя об этой странной встрече и не менее странном исчезновении, он вошел во двор и сразу же по привычке поднял глаза на окна материнской комнаты, где, как всегда, светился слабый огонек. И вдруг он увидел того, кого только что искал. Незнакомец стоял спиной к железной ограде палисадника и смотрел на те же окна, самодовольно усмехаясь. Своим появлением он, как видно, спугнул нескольких бездомных кошек, из тех, что постоянно бродили здесь по ночам, но когда он остановился, они остановились тоже, и теперь, укрывшись на столбах ограды, карнизах и других безопасных местах, смотрели на него оттуда горящими, как и у него самого, глазами. Но он недолго развлекался созерцанием освещенных окон и через минуту, сбросив с плеча край своего дорожного одеяния, направился к дому, взошел по шатким ступеням на крыльцо и энергично постучал в дверь.

При всем своем изумлении Кленнэм на этот раз не растерялся. Он тоже направился к дому и взошел на крыльцо. Незнакомец окинул его нагловатым взглядом и замурлыкал вполголоса:

Кто там шагает в поздний час?
Кавалер де ла Мажолэн!
Кто там шагает в поздний час?
Нет его веселей!

Затем он снова застучал в дверь.

— Вы нетерпеливы, сэр,— заметил Артур.

— Именно, сэр! Громы и молнии, сэр! — отвечал незнакомец.— Нетерпение — мое природное свойство!

Тут оба оглянулись на лязг цепочки, которую миссис Эффери предусмотрительно накидывала на дверь прежде, чем отворить. После чего она приотворила ее чуть-чуть и, подняв повыше свечу, спросила, кто это среди ночи так колотит в дверь.

— Как, это вы, Артур? Быть не может,— с удивлением добавила она, приметив сперва только его одного, но тотчас же, разглядев фигуру незнакомца, закричала: — Ай! С нами крестная сила! Опять он!

— Вы не ошиблись, добрейшая миссис Флинтвинч! Опять он! — весело воскликнул незнакомец.— Откройте дверь и дайте мне поскорей заключить в объятия моего бесценного Иеремию! Откройте дверь и дайте мне поскорей прижать к груди моего друга Флинтвинча!

— Его нет дома,— сказала Эффери.

— Так сходите за ним! — воскликнул незнакомец.— Сходите за моим Флинтвинчем! Скажите ему, что его друг Бландуа только что приехал в Англию и жаждет его видеть; скажите ему, что его милашечка, его голубочек ждет его не дождется! Откройте дверь, прекрасная миссис Флинтвинч, и пока что дайте мне пройти наверх, засвидетельствовать мое почтение — почтение Бландуа — миледи, хозяйке этого дома! Надеюсь, она жива и чувствует себя не хуже? Чудесно! Открывайте же!

К вящему удивлению Артура, миссис Эффери, выразительно скосив на него широко раскрытые глаза, словно прося не вступать в пререкания с гостем, откинула цепочку и отворила дверь. Незнакомец бесцеремонно поспешил войти первым, не обращая внимания на Артура.

— Пошевеливайтесь! Поворачивайтесь! Бегите за Флинтвинчем! Доложите обо мне миледи! — тотчас же зашумел он, топая по каменному полу.

— Скажите, пожалуйста, Эффери,— намеренно громко спросил Артур, с возмущением оглядывая незнакомца,— кто этот господин?

— Скажите, пожалуйста, Эффери,— тотчас же подхватил тот,— кто — ха-ха-ха,— кто этот господин?

Но тут, как раз вовремя, послышался сверху голос миссис Кленнэм:

— Эффери, пусть они поднимутся оба. Артур, иди сюда!

— Артур? — воскликнул Бландуа и, описав шляпой кривую в воздухе, изящнейшим образом расшаркался перед Кленнэмом.— Сын миледи? Я весь к услугам сына миледи!

Артур посмотрел на него ничуть не ласковей прежнего и, молча повернувшись кругом, пошел наверх. Гость последовал за ним. Миссис Эффери сняла с крючка ключ от входной двери и бросилась на поиски своего повелителя.

От всякого, кто со стороны наблюдал бы оба визита мсье Бландуа, не укрылось бы кое-что новое в поведении миссис Кленнэм на этот раз. Ее лицо оставалось непроницаемым, как всегда, голос звучал так же ровно, и жесты были так же скупы. Но с той минуты, как гость переступил порог комнаты, она не отрывала глаз от его лица, и раз или два, когда он начинал проявлять нетерпение, слегка подавалась вперед в своем кресле, не наклоняясь и не снимая рук с подлокотников, как будто хотела уверить его, что выслушает все, что он пожелает ей сказать, но не сейчас, а после. Не укрылось это и от Артура, хотя он был лишен возможности сравнивать.

— Сударыня,— сказал Бландуа,— окажите мне честь представить меня вашему уважаемому сыну. Мне кажется, сударыня, ваш уважаемый сын настроен против меня. Он не слишком любезен.

— Сэр,— запальчиво перебил Артур,— не знаю, кто вы и зачем вы здесь, но будь я хозяином этого дома, я бы незамедлительно выставил вас за дверь.

— Но ты не хозяин,— сказала мать, не глядя на него.— К сожалению, тебе придется обуздать свою безрассудную ярость, так как ты не хозяин, Артур.

— Я на это и не посягаю, матушка. Если я возмущен поведением этого господина (настолько возмущен, что, будь моя воля, я бы ни минуты не потерпел его присутствия здесь), то исключительно из-за вас.

— Не вижу поводов для возмущения,— возразила она.— А если бы видела, то могла бы указать на это сама. И указала бы в случае надобности.

Виновник этого препирательства, усевшись в кресло, шлепнул себя по ляжке и громко захохотал.

— Ты не вправе,— продолжала миссис Кленнэм, попрежнему обращаясь к сыну, но глядя на Бландуа,— ты не

вправе осуждать человека (тем более иностранца) только потому, что он не подходит под твою мерку и держит себя иначе, нежели ты. А может быть, этот джентльмен по тем же причинам осуждает тебя?

— Польщен, если так,— заметил Артур.

— Этот джентльмен,— продолжала миссис Кленнэм,— представил нам в свое время рекомендательное письмо от весьма солидного уважаемого лица, с которым мы состоим в деловых отношениях. Я совершенно не осведомлена о цели его посещения на этот раз. Мне она не известна, и я весьма далека от каких-либо предположений на этот счет,— она говорила с расстановкой, подчеркивая каждое слово, и ее нахмуренные брови еще тесней сошлись на лбу,— но как только вернется Флинтвинч, я попрошу джентльмена изложить свою надобность и думаю, что речь пойдет об одной из тех деловых операций, которые входят в круг повседневной деятельности нашей фирмы и которую мы почтем своим долгом и удовольствием осуществить. Ничего другого тут и быть не может.

— Увидим, сударыня,— был ответ делового человека.

Увидим,— откликнулась она.— Джентльмен уже знаком с Флинтвинчем; помнится, я слышала, что в прошлое его посещение Лондона они вместе провели вечер и, кажется, даже не без приятности. Я не очень осведомлена о том, что происходит за стенами этой комнаты, и шум мирской суеты не привлекает моего внимания; но помнится, что-то я такое слыхала.

— Ваши сведения верны, сударыня. Все было именно так.— Он снова засмеялся и принялся насвистывать припев своей песенки.

— Вот видишь, Артур,— сказала миссис Кленнэм,— джентльмен явился сюда в качестве доброго знакомого, а не случайного посетителя; и очень досадно, что тебе вздумалось срывать на нем свою безрассудную ярость. Весьма сожалею и выражаю свое сожаление джентльмену. Собственно, выразить сожаление должен бы ты, но я знаю, что ты этого не сделаешь, вот и приходится мне делать это от своего имени и от имени Флинтвинча, поскольку у джентльмена есть дело до нас обоих.

Снизу послышалось щелканье отпираемого замка, и вслед за тем хлопнула дверь. Через минуту в комнату

вошел мистер Флинтвинч, завидя которого гость поспешно вскочил и заключил его в объятия.

— Как дела, друг сердечный? — воскликнул он.— Как жизнь, мой Флинтвинч? Улыбается? Тем лучше, тем лучше! Да вы просто цветете! Помолодели, посвежели, загляденье да и только! Ах, плутишка! Хорош, хорош!

Отпуская все эти комплименты, он так сильно тряс мистера Флинтвинча за плечи, что голова последнего моталась на искривленной шее, напоминая кубарь, делающий последние обороты.

— Я ведь вам говорил о своем предчувствии, что нам суждено познакомиться поближе и даже стать друзьями! Надеюсь, вы теперь и сами почувствовали это? А, Флинтвинч, почувствовали?

— Да нет, сэр,— сказал мистер Флинтвинч.— Не больше, чем раньше. Вы бы лучше сели, сэр. Сдается мне, вы уже успели пропустить стаканчик того самого портвейна.

— Ах, шутник! Ах, негодник! — вскричал гость.— Ха-ха-ха-ха! — И, в виде заключительной милой шутки отшвырнув Флинтвинча прочь, он уселся на прежнее место.

Артур смотрел на эту сцену, онемев от изумления, гнева, тягостных догадок и стыда. Мистер Флинтвинч отлетел было ярда на три в сторону, но тотчас же снова принял устойчивое положение и, сохраняя обычную невозмутимость, только слегка запыхавшись, сурово уставился на Артура. Полученная встряска не сделала мистера Флинтвинча ни менее деревянным, ни менее замкнутым; единственное заметное изменение состояло в том, что узел его галстука, приходившийся всегда под ухом, теперь торчал сзади, на манер кошелька для косички, придавая ему некоторое сходство с придворным щеголем.

Как миссис Кленнэм не сводила глаз с Бландуа (который, подобно трусливой дворняжке, невольно притих под этим неподвижным взглядом), так Иеремия не сводил своих с Артура. Казалось, они без слов уговорились поделить обязанности таким образом. В течение нескольких минут Иеремия молча скреб свой подбородок и сверлил Артура взглядом, как будто надеялся высверлить из него все его мысли.

Но вот гость, должно быть наскучив затянувшимся молчанием, встал и перешел к камину, в котором столько лет неугасимо горело священное пламя. И тотчас же миссис Кленнэм, приподняв руку, до сих пор лежавшую неподвижно, слегка махнула этой рукой Артуру и сказала:

— Оставь нас, Артур, мы должны заняться делами.

— Матушка, я повинуюсь вам, но делаю это скрепя сердце.

— Неважно, как,— возразила она,— важно, чтобы ты это сделал. Мы должны заняться делами. Приходи в другой раз, когда сочтешь своим долгом проскучать здесь полчаса. Покойной ночи.

Она протянула ему руку в шерстяной митенке, и он, по заведенному обычаю, дотронулся до нее пальцами, а потом, склонившись над креслом, губами дотронулся до ее щеки. Щека показалась ему сегодня тверже и холодней, чем обыкновенно. Выпрямившись, он последовал за направлением материнского взгляда, и глаза его уперлись в друга мистера Флинтвинча — мсье Бландуа. Мсье Бландуа в ответ презрительно прищелкнул большим и указательным пальцами.

— Мистер Флинтвинч,— сказал Кленнэм,— я с величайшим недоумением и с величайшей неохотой оставляю вашего — вашего клиента в комнате моей матери.

Джентльмен, о котором шла речь, снова прищелкнул пальцами.

— Покойной ночи, матушка.

— Покойной ночи.

— Знавал я, любезный Флинтвинч, одного человека,— заговорил вдруг Бландуа, в небрежной позе стоявший у камина спиной к огню (слова его столь явно были адресованы Кленнэму, что тот, услышав их, замедлил шаги),— так поверите ли, он столько наслышался всяких темных историй о здешних нравах и обычаях, что, предложи вы ему остаться здесь, на ночь глядя, одному с двумя людьми, заинтересованными в его переселении в лучший мир,— ни за что бы не согласился,— даже в таком добропорядочном доме, как этот! — если б не был уверен, что им с ним не справиться. Ха-ха! Вот ведь чудак, а, Флинтвинч?

— Просто трус, сэр!



— Правильно! Просто трус. Но он бы не решился на это, мой Флинтвинч, если б не знал наверняка, что они и рады бы закрыть ему рот, да не в силах. И уж, во всяком случае, стакана воды не выпил бы при подобных обстоятельствах — даже в таком добропорядочном доме, мой Флинтвинч,— не убедившись, что они сами пьют ту же воду; и не только пьют, но и глотают!

Не удостоив эту тираду ответом,— тем более, что душившая его ярость не дала бы ему выговорить ни слова — Кленнэм только поглядел на гостя и вышел. Тот в виде напутствия еще раз прищелкнул пальцами, и лицо его обезобразила зловещая улыбка, от которой усы у него вздернулись к носу, а кончик носа загнулся к усам.

— Ради всего святого, Эффери,— шепотом сказал Кленнэм, пробираясь по темным сеням к прямоугольнику ночного неба, видневшемуся в отворенную старухой дверь,— объясните мне, что тут у вас происходит?

Миссис Флинтвинч, под своим накинутым на голову передником сама в темноте похожая на привидение, отвечала глухим, замогильным голосом:

— Не спрашивайте ни о чем, Артур. Меня совсем замучили сны. Уходите!

Он вышел, и она заперла за ним дверь. У самой калитки он оглянулся, и ему показалось, что окна материнской комнаты, слабо светившиеся сквозь желтые шторы, повторяют ему так же глухо:

— Не спрашивай ни о чем. Уходи!

ГЛАВА XI

Письмо Крошки Доррит

«Дорогой мистер Кленнэм!

Прошлый раз я писала Вам, что лучше мне не получать ни от кого писем, а стало быть мое письмецо обременит Вас только необходимостью прочитать его (может быть, Вам и для этого трудно будет выбрать время, но я надеюсь, что Вы все-таки выберете); а потому я снова берусь за перо. Пишу на этот раз из Рима.

Мы покинули Венецию прежде мистера и миссис Гоуэн, но они ехали другой дорогой, и путешествие отняло у них меньше времени, так что мы их уже застали в Риме, где они наняли квартиру на улице, которая называется Виа Грегориана, Вам она, верно, знакома.

Постараюсь рассказать о них все, что могу, так как знаю, что это для Вас самое интересное. Мне показалось, что квартира у них не слишком удобная, впрочем Вы могли бы судить об этом лучше меня, ведь Вы объездили так много чужих стран, так хорошо знаете чужие нравы и обычаи. Разумеется, она несравненно — в миллион раз! — лучше всего того, к чему я привыкла в Лондоне; но я как бы смотрю не своими глазами, а глазами миссис Гоуэн. Ведь она выросла в доме, где все дышало сердечным теплом и уютом — об этом не трудно догадаться, даже если бы она не рассказывала мне с такой любовью о своей прежней жизни.

Так вот, это — довольно скудно меблированное помещение, на самом верху довольно темной общей лестницы, и почти все оно состоит из большой неуютной комнаты, которая служит мистеру Гоуэну мастерской. Окна до половины заделаны, а на стенах рисунки углем и мелом — память о прежних жильцах, и должно быть, за много лет! Часть комнаты отделена красной драпировкой, которая от пыли кажется скорее серой; это гостиная. Когда я в первый раз пришла туда, я застала миссис Гоуэн одну; она сидела, выронив из рук шитье, и смотрела на небо, синевшее в верхней части окна. Пожалуйста, не огорчайтесь, но я должна признаться, мне хотелось бы, чтобы вокруг нее было больше воздуха, света, веселья, молодости.

Мистер Гоуэн пишет папин портрет (я, пожалуй, не догадалась бы, кто на нем изображен, если бы не присутствовала при сеансах), и благодаря этому счастливому обстоятельству мне теперь гораздо чаще удается видеться с миссис Гоуэн. Она очень много бывает одна. Слишком много.

Рассказать Вам о моем втором посещении? Я зашла к ней днем, часа в четыре или пять, воспользовавшись тем, что гуляла без провожатых. Она обедала в полном одиночестве, если не считать старика, принесшего из харчевни обед на жаровне с горящими угольями. Он ей рассказывал

длиннейшую историю про каменную статую какого-то святого, которая помогла изловить шайку разбойников,— хотел немножко развлечь ее, как он мне объяснил потом, когда я уходила; у него, по его словам, «у самого дочка в ее годах, только не такая раскрасавица».

Я тут хочу вставить несколько слов о мистере Гоуэне, прежде чем досказать то немногое, что мне еще осталось. Не сомневаюсь, он отдает должное ее красоте, он гордится ею — ведь все кругом от нее в восхищении,— и он любит ее, да, да, бесспорно любит, но на свой лад. Мне он представляется человеком холодным и склонным ко всему относиться с небрежностью; если и у Вас подобное же впечатление, стало быть, я права, думая, что она заслуживает лучшего. Если же Вы этого не находите, то я наверняка ошибаюсь; ведь та, кого Вы, бывало, называли «мое бедное дитя», по-прежнему доверяет Вашему уму и доброте больше, чем могла бы выразить словами, если бы попыталась. Но не бойтесь, я не стану и пытаться.

Из-за своего капризного и переменчивого нрава (так мне кажется, если, конечно, и Вы того же мнения) мистер Гоуэн очень мало времени уделяет своей профессии. В нем нет ни упорства, ни терпения, сегодня он берется за одно, а завтра за другое, и ему совершенно все равно, доведена ли работа до конца или брошена на середине. Слушая его разговоры с папой во время сеансов, я иногда думаю: может быть, он оттого не верит в других, что у него нет веры в себя? Так это или нет? Хотелось бы мне знать, что Вы скажете, прочитав эти строчки! Я так ясно вижу сейчас Ваше лицо и, кажется, даже слышу Ваш голос, будто мы с Вами беседуем на Железном мосту.

Мистер Гоуэн много бывает в домах, составляющих здешнее высшее общество (хотя по нем не видно, чтобы ему там было приятно или весело),— иногда один, иногда вместе с нею; впрочем, последнее время она выезжает очень мало. Я часто слышу разговоры о том, что она сделала блестящую партию, выйдя за мистера Гоуэна, и странно, что это говорят дамы, которые, верно, не пожелали бы его в мужья ни для себя, ни для своих дочерей. Он также часто ездит за город, писать этюды; знакомых у него множество, и редко какой званый вечер обходится без него. В довершение всего у мистера Гоуэна есть при-

ятель, с которым он почти не расстается, ни дома, ни в гостях, хотя обращается с ним очень неровно и, во всяком случае, без дружеской теплоты. Я твердо знаю, что она очень не любит этого приятеля (она сама говорила мне об этом). Он и мне настолько отвратителен, что сейчас, когда он на некоторое время уехал из Рима, у меня даже на душе легче стало. А у нее и подавно!

А теперь я хочу сказать Вам главное, ради чего и вела весь этот длинный рассказ с риском встревожить Вас больше, чем нужно. Она так верна и так преданна, так убеждена в том, что принадлежит ему навек по праву любви и долга, что Вы можете не сомневаться: до конца своих дней она будет любить его, восхищаться им, хвалить его и скрывать все его недостатки. Мне кажется, она их скрывает и всегда будет скрывать даже от самой себя. Она отдала ему свое сердце целиком и безвозвратно; и как бы он ни поступил, любовь ее нерушима. Вы сами знаете это лучше меня, ведь Вы все знаете; но мне приятно сказать Вам, какая у нее чудесная душа — нет таких похвал, которых она не была бы достойна.

Я ни разу не назвала ее по имени в этом письме, а между тем мы теперь такие друзья, что с глазу на глаз всегда называем друг друга по именам; но она меня зовет не тем именем, которое мне дано при крещении, а тем, которое дали мне Вы. Когда она первый раз назвала меня «Эми», я ей вкратце поведала свою историю и сказала, что Вы меня всегда звали Крошкой Доррит и что это имя для меня лучше всех. С тех пор и она зовет меня так.

Может быть, ее отец и мать еще не успели написать Вам о том, что у нее родился сын. Это произошло всего два дня назад, ровно через неделю после их приезда. Они не нарадуются на внука. Однако, раз уж я решила ничего не скрывать, скажу Вам, что, по-моему, отношения с мистером Гоуэном у них не ладятся: как видно, его насмешливая манера обращения кажется им обидной для их родительской любви. Вчера при мне мистер Миглз вдруг переменился в лице, встал и вышел из комнаты, словно опасаясь, что иначе не удержится и выскажет зятю всю правду в лицо. А между тем они такие добрые, внимательные и разумные родители, что мистеру Гоуэну не следовало бы

доставлять им огорчения. Не знаю, как он может быть таким черствым и нечутким.

Я сейчас перечитала все написанное, и мне сперва показалось, что слишком уж о многом я берусь судить и толковать, и меня даже взяло сомнение, стоит ли посылать это письмо. Но, пораздумав, я успокоилась — Вы, я знаю, сразу поймете, что я только ради Вас старалась быть наблюдательной и подмечала (или думала, что подмечаю) то, что считала для Вас интересным. Можете не сомневаться в моих словах.

Теперь главное уже сказано, и осталось написать совсем немного.

Мы все здоровы, а Фанни с каждым днем совершенствуется во всех отношениях. Вы даже вообразить не можете, какая она добрая, сколько труда кладет, чтобы и меня усовершенствовать немножко. Есть у нее поклонник, который ездит за ней от самой Швейцарии — сперва в Венецию, затем сюда, а недавно он мне объявил по секрету, что намерен ездить за ней решительно повсюду. Мне было очень неловко выслушивать подобные признания, но что я могла поделать? Я не знала, как отвечать, и в конце концов сказала, что, по-моему, все это напрасно. Он не пара Фанни (этого я ему не говорила), она для него чересчур умна и бойка. Но он твердил свое. У меня, разумеется, никаких поклонников нет.

Если у Вас хватит терпения дочитать до этого места, Вы, пожалуй, подумаете: «Не может быть, чтобы Крошка Доррит ничего не рассказала мне о своих путешествиях, так не пора ли ей начать рассказ?» Да, верно, пора, но, право же, я не знаю, как за это взяться. После Венеции мы столько объездили прекрасных городов (назвать хотя бы Геную и Флоренцию), столько видели достопримечательностей, что у меня голова идет кругом, когда я пытаюсь все припомнить. Но ведь обо всем этом Вы можете рассказать гораздо больше меня, зачем же мне докучать Вам своими рассказами и описаниями?

Дорогой мистер Кленнэм, прошлый раз я не побоялась откровенно признаться Вам в тех странных мыслях, что всегда примешиваются к моим дорожным впечатлениям, наберусь же смелости и теперь. Вот что чаще всего происходит со мной, когда я раздумываю об этих древних горо-

дах: не то мне кажется самым удивительным, что они простояли здесь столько веков, а то, что они существовали тогда, когда я и не знала об их существовании (кроме разве двух или трех), когда я вообще ничего почти не знала дальше тюремных стен. Почему-то мне грустно от этой мысли, сама не понимаю почему. Когда мы в Пизе ездили смотреть знаменитую падающую башню, был яркий солнечный день, небо и земля казались такими молодыми по сравнению с древней башней и окружающими постройками, а тень от башни манила такой прохладой! Но первая моя мысль была не о том, как это красиво и любопытно; первая моя мысль была: «Ах, сколько же раз в то самое время, когда тень тюремной стены надвигалась на нашу комнату и со двора слышался унылый топот шагов,— в это самое время здесь все было так же полно мирного очарования, как сейчас!» Эта мысль не давала мне покоя. Сердце мое переполнилось, и слезы хлынули из глаз, как я ни старалась удержать их. И часто, очень часто появляется у меня подобное чувство.

Знаете, с тех пор как произошла эта перемена в нашей судьбе, мне гораздо чаще стали сниться сны; но странно, что во сне я всегда вижу себя не такой, как сейчас, а совсем, совсем юной. Вы можете возразить, что я и сейчас не так уж стара. Да, но я не то хочу сказать. Во сне я всегда вижу себя совсем девочкой, такой, как я была, когда стала учиться шить. Часто мне снится, что я опять хожу по тюремному двору, и вокруг меня знакомые лица, и даже не очень знакомые, которые не диво было бы и позабыть; а иногда я вижу себя за границей — в Швейцарии, во Франции, или в Италии — но всегда такою же девочкой. Однажды мне приснилось, будто я вхожу к миссис Дженерал в том заплатанном платьишке, в котором впервые запомнилась себе. А вот сон, повторявшийся много раз: будто мы в Венеции и у нас званый обед со множеством гостей, а я сижу за столом в траурном платье, которое носила с восьми лет, когда умерла моя мать, и доносила до того, что материя стала рассыпаться под иголкой. Сижу и с ужасом думаю о том, как должны удивиться гости, что дочь такого богатого отца одета в лохмотья, и как рассердятся на меня папа, Фанни и Эдвард — ведь я выставила их на позор, раскрыв перед всеми то, что они так тщательно дер-

жали в секрете. Но от этих мыслей я не сделалась старше, и сидя за столом, тревожно подсчитываю, во что обошелся этот обед, и ломаю голову над тем, как нам покрыть такие расходы. Но ни разу мне не снилась сама перемена в нашей судьбе; ни разу не снилось то памятное утро, когда Вы пришли ко мне с этой новостью; ни разу не видала я во сне Вас.

Дорогой мистер Кленнэм, может быть, я так много думаю о Вас — и о других тоже — наяву, что за день успеваю передумать все мысли. Должна Вам сознаться, что я очень тоскую по родине — до того тоскую, что порой, когда никто не видит, даже всплакну немножко. Я просто не могу больше жить вдали от нее. У меня делается легче на душе, когда мы хоть на несколько миль приближаемся к родной стороне, пусть даже я знаю, что это ненадолго. Так мне дороги места, которые были свидетелями моей бедности и Вашей доброты ко мне. Так дороги, так дороги!

Бог ведает, когда Ваше бедное дитя снова увидит Англию. Всем у нас (кроме меня) очень нравится жить здесь, и о возвращении даже речи нет. Моему дорогому отцу, может быть, придется будущей весной съездить в Лондон по делам, связанным с наследством, но едва ли он захочет взять меня с собой.

Я стараюсь извлечь пользу из уроков миссис Дженерал и льщу себя надеждой, что немного обтесалась под ее руководством. Теперь я уже довольно сносно могу объясняться на трудных языках, о которых говорила Вам в прошлом письме. Я тогда не подумала о том, что Вы и тот и другой знаете; но потом сообразила, и это помогло мне. Благослови Вас бог, дорогой мистер Кленнэм. Не забывайте

Вашу любящую и неизменно признательную

Крошку Доррит.

P. S. Главное, помните, что Минни Гоуэн заслуживает того, чтобы Вы о ней вспоминали с самыми лучшими чувствами. Она поистине достойна любви и уважения. Прошлый раз я совсем позабыла о мистере Панксе. Прошу Вас, если Вы его увидите, передайте ему сердечный привет от Вашей Крошки Доррит. Он был очень добр к Крошке Д.».

ГЛАВА XII,

в которой происходит важное совещание радетелей о благе отечества

Громкое имя Мердла с каждым днем все больше гремело в стране. Никто не слыхал, чтобы прославленный Мердл кому-нибудь сделал добро, живому или мертвому; никто не знал за ним способности хотя бы слабеньким огоньком осветить чей-нибудь путь в лабиринте долга и развлечения, горя и радости, труда и досуга, реальности и воображения и всех бесчисленных троп, по которым блуждают сыны Адамовы; ни у кого не было ни малейшего повода думать, будто этот идол слеплен не из самой обыкновенной глины, внутри которой тлеет самый простой фитиль, не давая развалиться этой бренной оболочке. Но все знали (или, во всяком случае, были наслышаны) об его колоссальном богатстве; и оттого раболепствовали перед ним с самоуничижением, куда более постыдным и куда менее оправданным, чем у невежественного дикаря, который простирается ниц перед ящерицей или деревянной чуркой, обожествляемой им в простоте души.

А между тем у жрецов этого культа был перед глазами живой укор их бесстыдству в лице самого мистера Мердла. Толпа поклонялась слепо — хотя и знала, чему поклоняется,— но служители алтаря видели свой кумир чуть ли не каждый день. Они сидели у него за столом, а он сидел за столом у них. И за его спиной им виделся призрак, который, казалось, говорил: Взгляните на этого человека — на его голову, глаза, манеры; вслушайтесь в его речь, его голос; это ли черты божества, чтимого вами? Вы — рычаги Министерства Волокиты, вы властвуете над людьми. Если вы перессоритесь между собой, кажется, мир погибнет, ибо некому будет управлять им. В чем же ваша заслуга? В безупречном ли знании человеческой натуры, побуждающем вас принимать, возвеличивать и прославлять этого человека? А если вы способны оценить по достоинству те черты, на которые я никогда не забываю указать вам,— быть может, ваша заслуга в безупречной честности? Эти щекотливые вопросы всегда возникали там, где появлялся

мистер Мердл; и по молчаливому уговору всегда оставлялись без внимания.

Покуда миссис Мердл путешествовала за границей, мистер Мердл по-прежнему держал свой дом открытым для нескончаемого потока гостей. Кое-кто из последних любезно взял на себя труд распоряжаться в нем, как в своем собственном. Какая-нибудь очаровательная светская дама говорила приятельнице: «Давайте в будущий четверг отобедаем у нашего милого Мердла. Кого бы нам пригласить?» И наш милый Мердл получал соответствующие указания; а потом, отсидев обед во главе стола, уныло бродил весь вечер из одной гостиной в другую, обращая на себя внимание разве только своей явной неприкаянностью среди праздничной толпы гостей.

Мажордом, этот жупел великого мужа, был так же суров, как всегда. Он надзирал за обеденной церемонией в отсутствие Бюста ничуть не менее бдительно, чем в присутствии Бюста; и его взгляд действовал на мистера Мердла, как взгляд василиска *. Человек непреклонного нрава, он не потерпел бы, чтобы на столе оказалось на одну бутылку вина или на одну унцию серебра меньше, чем положено. Он не позволил бы дать обед, не соответствующий его рангу. Накрывая на стол, он заботился прежде всего о собственном достоинстве. Он не возражал, чтобы гости ели то, что подавалось на стол, но подавалось это исключительно для поддержания его престижа. Стоя у буфета, он всем своим видом говорил: «Я принял на себя обязанность созерцать зрелище, представляющееся сейчас моему взгляду, а менее значительные зрелища я замечать не намерен». Если он ощущал отсутствие за столом Бюста, то лишь потому, что это некоторым образом нарушало его привычное самочувствие, как всякий, хотя бы и временный непорядок. Точно так же он бы ощущал отсутствие на столе хрустальной вазы или драгоценного серебряного ведерка для льда, отправленных временно на хранение в банк.

Мистер Мердл давал обед для Полипов. Приглашен был лорд Децимус, приглашен был мистер Тит Полип, приглашен был любезный молодой Полип, а также вся парламентская камарилья Полипов, которая между сессиями разъезжала по стране, славословя своего предводителя. От

этого обеда многое ожидалось. Мистер Мердл должен был заключить с Полипами союз. Уже состоялись кое-какие переговоры деликатного свойства между ним и благородным Децимусом — с обходительным молодым Полипом в роли посредника,— и мистер Мердл обещал Полипам положить на их чашу весов все свои немалые добродетели и все свои немалые капиталы. Недоброжелатели усматривали тут какие-то махинации — должно быть исходя из того, что, если бы с помощью махинаций можно было заручиться поддержкой самого Дьявола, Полипы не преминули бы сделать это — для блага отечества, разумеется для блага отечества.

Миссис Мердл слала своему великолепному супругу — который для непредубежденного ума олицетворял собою все британское купечество со времен Виттингтона * под слоем золота в три фута толщиной,— слала своему супругу из Рима письмо за письмом, настаивая на срочной необходимости устроить Эдмунда Спарклера. Миссис Мердл ставила вопрос так: теперь или никогда,— и намекала, что, если Эдмунд именно сейчас получит хорошее место, это может весьма благоприятно отразиться на его будущей судьбе. Рассуждая об этом важнейшем предмете, миссис Мердл не употребляла никаких других наклонений, кроме повелительного, и никаких других времен, кроме настоящего. Под напором столь энергично спрягаемых глаголов тягучая кровь мистера Мердла беспокойней побежала по жилам, а руки беспокойней задвигались под длинными обшлагами.

В таком состоянии беспокойства мистер Мердл пригласил к себе мажордома и, упорно разглядывая носки его башмаков (взглянуть в грозный лик этого величественного сфинкса у него недоставало мужества), выразил свое желание дать обед для избранного общества, не слишком многочисленного, но избранного. Мажордом милостиво согласился взять на себя заботу о том, чтобы зрелище, которое ему предстояло созерцать, стоило как можно дороже; и вот назначенный день наступил.

Мистер Мердл стоял в одной из парадных комнат у камина и грел спину в ожидании почетных гостей. Он почти никогда не разрешал себе подобной вольности, если не был совсем один. В присутствии мажордома он бы ни за что не

осмелился греться у камина. Случись сейчас этому наемному тирану заглянуть в дверь, его хозяин тотчас же ухватил бы сам себя за руки, как полицейский вора, и стал бы прогуливаться перед камином взад и вперед или несмело блуждать по комнате среди раззолоченной мебели. Проказливые тени, игравшие в прятки по углам, выскакивая, когда пламя разгоралось, и снова исчезая, как только оно опадало, были единственными свидетелями его скромных утех; да и эти свидетели казались ему лишними, судя по тому, как он беспокойно озирался.

Правая рука мистера Мердла была занята вечерней газетой, а вечерняя газета была занята мистером Мердлом. Его необыкновенная предприимчивость, его несказанное богатство, его чудо-банк составляли сегодня главную пищу вечерней газеты. Чудо-банк, им задуманный, им основанный и им возглавляемый, был последним предприятием, которым мистер Мердл поразил мир. Но такова уж была природная скромность мистера Мердла, что на фоне всех своих блистательных достижений он гораздо больше походил на человека, у которого описали имущество за долги, нежели на коммерческого Колосса, гордо взирающего со своей высоты на суденышки, стремящиеся промеж его ног в гостеприимную гавань обеденной залы.

И вот уж входят в бухту корабли! Любезный молодой Полип прибыл раньше всех; впрочем, на лестнице его нагнал Цвет Адвокатуры, явившийся во всеоружии своего лорнета и своего выработанного для присяжных поклона. Цвет Адвокатуры был счастлив видеть любезного молодого Полипа и высказал предположение, что предстоит заседание in banco[1] (пользуясь термином, принятым у нас, у юристов), посвященное особо важному вопросу.

— Неужели? — откликнулся жизнерадостный молодой Полип, чье имя, кстати сказать, было Фердинанд.— Какому же именно?

— Ну, ну,— улыбнулся Цвет Адвокатуры.— Уж если *вам* это неизвестно, так мне и подавно. Ведь *вы* пребываете в святая святых храма; я же лишь один из тех, кто толпится у ворот.

[1] При полном составе суда *(лат.)*.

Цвет Адвокатуры умел быть в разговоре и легким и тяжеловесным, смотря по собеседнику. С Фердинандом Полипом он был просто воздушен. Умел он также быть скромным — по-своему — и даже проявлять склонность к умалению собственных заслуг. Это была личность, сотканная из самых разнообразных свойств; однако же в узоре ткани явственно выделялась одна нить. В каждом человеке Цвет Адвокатуры видел присяжного; а каждого присяжного следовало любым способом расположить в свою пользу.

— Наш достославный хозяин и друг,— сказал он,— эта крупнейшая звезда нашего коммерческого небосклона — вступает на политическое поприще?

— Вступает? С вашего позволения, он давно уже член парламента,— возразил симпатичный молодой Полип.

— Совершенно верно,— отвечал Цвет Адвокатуры с игривым опереточным смешком из репертуара для особого состава присяжных, ничуть не похожим на грубый фарсовый смех, который приберегался для разных лавочников.— Совершенно верно, он давно уже член парламента. Однако же до сих пор эта звезда не светила в полную силу, а лишь мерцала на небосклоне. А?

Рядовой свидетель непременно поддался бы искушению этого «А?» и ответил утвердительно. Но Фердинанд Полип лишь искоса глянул на своего собеседника и ничего не ответил.

— Вот именно,— кивнул головой Цвет Адвокатуры, ибо его не так-то легко было обескуражить.— Говоря о заседании in banco по особо важному вопросу, я и подразумевал торжественность и экстраординарность нынешнего собрания. Скажем словами капитана Мэкхита: * «Уж судьи в сборе! Грозная картина!» Как видите, мы, юристы, настолько либеральны, что цитируем доблестного капитана, хотя доблестный капитан не жаловал нашего брата. Впрочем, могу сослаться на одно его высказывание,— заметил Цвет Адвокатуры, комически склонив голову на один бок (он любил сдабривать свое профессиональное красноречие долей этакого добродушнейшего подшучивания над самим собой); — высказывание, свидетельствующее о том, что в глазах капитана закон беспристрастен, по идее, во всяком случае. Вот что говорит по этому поводу капитан — если я ошибусь,— тут он слегка дотронулся лорнетом до

плеча собеседника (жест из репертуара для особого состава),— мой просвещенный молодой друг меня поправит.

Закон искоренять порок готов *,
Не разбирая званий и чинов,
Я, стало быть, надеяться могу,
Что в лучшем обществе на Тайберн попаду.

Заключительные слова Цвет Адвокатуры произнес уже на пороге комнаты, где стоял у камина мистер Мердл, чем поверг последнего в неслыханное изумление. Пришлось срочно объяснить ему, что автором этих слов является Джон Гэй.

— Который, разумеется, не принадлежит к числу признанных авторитетов Вестминстер-Холла *,— добавил Цвет Адвокатуры,— но вполне достоин внимания человека со столь широким практическим кругозором, как мистер Мердл.

Мистер Мердл как будто собрался что-то сказать, но тут же как будто передумал. Тем временем доложили о Столпе Церкви.

На лице Столпа Церкви написана была кротость, однако же он вошел энергичным шагом, словно только что надел семимильные сапоги в намерении пройтись по свету и убедиться в том, что состояние душ человечества не внушает тревоги. Столп Церкви и не подозревал, что обед, на который он приглашен,— не просто обед, а обед со значением. Достаточно было взглянуть на него, чтобы это понять. Он был такой чистенький, свеженький, ласковый, веселый, добродушный; ну просто сама невинность.

Цвет Адвокатуры тотчас же с живейшим интересом осведомился о здоровье супруги Столпа Церкви. Выяснилось, что супруга Столпа Церкви здорова и благополучна, если не считать легкой простуды, которую схватила на последней конфирмации. Молодой Столп Церкви также здоров и благополучен. Он вместе с женой и детками проживает теперь во вверенном ему приходе.

Стали собираться Полипы-фигуранты; пришел также врач, пользовавший мистера Мердла. Цвет Адвокатуры, с кем бы и о чем бы он ни беседовал, изловчался краешком глаза и уголком лорнета видеть всех, кто входил в гостиную, и путем сложных, но незаметных маневров к каждому

успевал подойти и с каждым находил особый предмет для разговора. С одними фигурантами он посмеялся над незадачливым депутатом, который, мирно продремав все заседание в кулуарах, голосовал спросонок за резолюцию противной партии; с другими посетовал на новые веяния, сказывающиеся в противоестественном интересе широкой публики к состоянию государственных дел и государственных финансов; с врачом завел разговор на общие темы врачевания недугов; а затем пожелал узнать его мнение по одному частному вопросу: дело в том, что некий коллега его собеседника, несомненно обладающий глубокой эрудицией и безупречными манерами — впрочем, есть и другие представители врачебного искусства, которые поистине могут служить образцом и в том и в другом отношении (поклон присяжным),— так вот, позавчера сей почтенный эскулап выступал в качестве свидетеля на суде и в ходе перекрестного допроса вынужден был признать себя приверженцем нового метода лечения, который ему, Цвету Адвокатуры, кажется... не правда ли?.. да, вот именно, таково его впечатление, и он, откровенно говоря, надеялся, что доктор это впечатление подтвердит. Он, конечно, не смеет настаивать на своей правоте там, где даже среди медиков нет единого мнения, но ему лично кажется, что, оставляя в стороне так называемый юридический подход и рассуждая лишь с точки зрения здравого смысла, этот новый метод не что иное, как — неудобно в присутствии столь крупного авторитета употребить выражение «шарлатанство»... Что?.. Ну, в таком случае он именно так и скажет: шарлатанство; признаться, доктор снял немалую тяжесть с его души!

Покуда длилась эта беседа, в гостиной успел появиться Тит Полип, джентльмен, у которого, подобно пресловутому знакомцу мистера Джонсона, в голове была только одна идея, да и та вздорная. Сей государственный муж и мистер Мердл сидели в углах желтого дивана у огня, глядя в разные стороны и храня глубокомысленное молчание — точь-в-точь две коровы с картины Кейпа, висевшей на противоположной стене.

И вот, наконец, сам лорд Децимус. Мажордом, который до сих пор ограничивался исполнением лишь части своих обязанностей, состоявшей в созерцании прибывавших

гостей (что он делал с видом скорее враждебным, нежели приветливым), на этот раз настолько отступил от собственных правил, что соблаговолил лично проводить высокого гостя наверх и доложить о нем. А один робкий парламентский пескарь, лишь недавно попавший на крючок Полипов и приглашенный сегодня на обед в ознаменование этого радостного события, даже благоговейно зажмурился при появлении столь могущественного вельможи.

Впрочем, лорд Децимус рад был видеть Пескаря. Он также был рад видеть мистера Мердла, рад видеть Цвет Адвокатуры, рад видеть Столп Церкви, рад видеть Врача, рад видеть Тита Полипа, рад видеть фигурантов, рад видеть своего личного секретаря, Фердинанда. Дело в том, что лорд Децимус, один из великих мира сего, не отличался тонкостью обращения; и Фердинанду пришлось долго натаскивать его, прежде чем он приучился замечать всех присутствующих и произносить несложную формулу «рад видеть». Совершив этот подвиг снисхождения и светской любезности, милорд уселся на желтый диван и увеличил собою количество кейповских коров до трех.

Спустя несколько минут к дивану пританцовывающей походкой приблизился Цвет Адвокатуры: он считал, что весь состав присяжных уже все равно что у него в кармане, осталось только обработать старшину. В качестве предмета беседы, наименее обязывающего к официальной чопорности, он избрал погоду. Говорят, начал он (в подобных случаях всегда ссылаются на то, что «говорят», хотя кто говорит и зачем — остается покрыто мраком неизвестности), в нынешнем году шпалерным плодовым грозит неурожай. Лорд Децимус не получил никаких тревожных сведений насчет груш, но вот яблок, если верить его садовнику, кажется, действительно не будет. Не будет яблок? Цвет Адвокатуры был совершенно ошеломлен этим удручающим известием. По правде говоря, его нимало не тронуло бы, если бы на всем земном шаре не осталось ни единого яблока, однако же со стороны можно было подумать, что речь идет о насущнейшем для него вопросе. А позвольте узнать, лорд Децимус — такой уж мы, юристы, докучливый народ, обожаем собирать всякого рода сведения, просто так, на всякий случай,— позвольте узнать, чем это может быть вызвано? Лорд Децимус не имел никаких соображений на сей

счет. Другого, пожалуй, удовлетворил бы такой ответ; но Цвет Адвокатуры тут же пошел на новый приступ:

— А как обстоит дело с персиками?

Уж после того, как Цвет Адвокатуры получил пост генерального прокурора, эти слова еще долго приводились в качестве образца гениальной находчивости. Дело в том, что лорд Децимус с юношеских лет лелеял воспоминание о персиковом дереве, которое росло под окном его комнаты в Итоне *. На этом дереве неувядаемо цвела его единственная в жизни острота — довольно тяжеловесный каламбур насчет разницы между итонскими персиками и парламентскими пэрами. По глубокому убеждению лорда Децимуса, чтобы оценить утонченную прелесть этой остроты, необходимо было подробное и обстоятельное знакомство с историей дерева. А потому рассказ начинался вовсе без дерева, затем набредал на него в зимнюю стужу, с ним вместе проходил через всю смену времен года, следил, как набухали на нем почки, как оно цвело, как появлялись и зрели плоды, словом, столь усердно и заботливо ухаживал за ним в ожидании того дня, когда можно будет вылезть в окно и наворовать персиков, что истомленные слушатели благодарили всевышнего за то, что дерево было посажено и привито до поступления лорда Децимуса в Итон. Но Цвет Адвокатуры слушал этот рассказ с волнением, совершенно затмившим проявленный им прежде интерес к яблокам; как зачарованный следил он за всеми перипетиями с той минуты, как лорд Децимус произнес торжественным тоном: «Кстати, о персиках — вы мне напомнили об одном персиковом дереве», и вплоть до многозначительной фразы, заключавшей собою повествование: «Вот так и мы свершаем свой жизненный путь от итонских персиков до парламентских пэров»,— и чтобы дослушать до конца, ничего не упустив, ему пришлось сопровождать лорда Децимуса в столовую и даже поместиться рядом с ним за столом. После этого он почувствовал, что симпатии старшины присяжных завоеваны, и с аппетитом принялся за обед.

От такого обеда разыгрался бы аппетит даже у тех, кто страдает его отсутствием. Редчайшие блюда, изысканно приготовленные и изысканно сервированные; дивные фрукты; отборные вина; великолепные изделия из золота

и серебра, хрусталя и фарфора; все, что способно услаждать вкус, зрение, обоняние сидящих за столом, было в изобилии представлено здесь. Ах, какой замечательный человек этот Мердл, как он умен, как он силен, какими обладает добродетелями и совершенствами — короче говоря, как он богат!

Мистер Мердл, как всегда, съел на полтора шиллинга чего-то, как всегда, думая о своем желудке, и сидел за столом такой унылый и молчаливый, что непосвященным трудно было угадать в нем замечательного человека. По счастью, лорд Децимус принадлежал к тем великим мира сего, которые не нуждаются в том, чтобы их занимали разговорами, ибо они всегда достаточно заняты размышлениями о собственном величии. Благодаря этому застенчивый молодой член палаты мог время от времени приоткрывать глаза и смотреть, что он ест. Но стоило лорду Децимусу заговорить, и он тотчас же снова зажмуривался.

Разговором с начала обеда завладели обходительный молодой Полип и Цвет Адвокатуры. Столп Церкви тоже старался не отставать, но его невинность мешала ему. Малейший намек на какие-либо скрытые ходы и соображения сбивал его с толку. Дела мирские были выше его понимания; разобраться в них он не умел.

Это сразу сказалось, когда Цвет Адвокатуры мимоходом упомянул о приятной новости, которую ему довелось услышать: что скоро ряды слуг общества пополнит и укрепит своей житейской мудростью — я имею в виду не поверхностное остроумие, а настоящую житейскую мудрость, опирающуюся на природный здравый смысл,— наш молодой друг мистер Спарклер.

Фердинанд Полип засмеялся и сказал, что да, он тоже об этом слышал. Что ж, лишний голос никогда не мешает.

Цвет Адвокатуры выразил сожаление, что нашего друга мистера Спарклера нет сегодня за этим столом.

— Он за границей с миссис Мердл,— ответил хозяин дома, медленно выходя из глубокого раздумья, во время которого он пытался засунуть себе в рукав столовую ложку.— Его присутствие вовсе не обязательно.

— Я полагаю,— сказал Цвет Адвокатуры с поклоном воображаемым присяжным,— магическое имя Мердл говорит само за себя.

— Мм-да, надеюсь,— пробормотал мистер Мердл, положив ложку на стол и неловко стараясь запрятать руки в обшлага.— Думаю, что, считаясь со мной, местные жители не станут чинить затруднений.

— Что за славные люди! — сказал Цвет Адвокатуры.

— Вы находите? Очень хорошо,— сказал мистер Мердл.

— Ну, а как в остальных двух местах? — продолжал Цвет Адвокатуры, хитро блеснув глазами в сторону своего великолепного соседа (мы, юристы, знаете ли, любопытный народ, любим все узнать, выспросить и припрятать где-нибудь в уголке памяти, авось пригодится!).— Как в остальных двух местах, мистер Мердл? Чувствуется ли и там похвальная жажда испытать на себе могучее и благотворное воздействие вашей прославленной предприимчивости и инициативы? Стремятся ли и эти тихие ручейки спокойно и просто, словно повинуясь закону природы, влиться в русло величественного потока, который мчит свои воды к заветной цели, щедро орошая земли, лежащие на пути? Возможно ли уже сейчас с точностью рассчитать и предвидеть направление, в котором они потекут?

Мистер Мердл, несколько оглушенный этим шквалом красноречия, с беспокойством поглядел на стоявшую рядом солонку, затем нерешительно произнес:

— Они сознают свои обязанности перед обществом, сэр. Они поддержат того, кого я им укажу.

— Приятно слышать,— сказал Цвет Адвокатуры.— Весьма приятно слышать.

Речь шла о трех глухих захолустных углах нашего прекрасного острова, населенных горсточкой пьяниц, хапуг и всякого человеческого отребья и представлявших собой три избирательных округа, которые мистер Мердл держал в своем кармане. Фердинанд Полип весело засмеялся и с обычной небрежностью заметил, что ребята там подобрались славные. Столп Церкви витал мыслями в заоблачных высях и был далек от земных дел и интересов.

— Между прочим,— сказал лорд Децимус, обводя глазами обедающих,— что это за история о каком-то джентльмене, который будто бы просидел много лет в долговой тюрьме, а потом вдруг оказался наследником огромного

состояния? Я слышу об этом со всех сторон. Вам что-нибудь известно, Фердинанд?

— Мне известно только одно,— сказал Фердинанд,— что он доставил кучу хлопот ведомству, к которому я имею честь принадлежать,— последнюю фразу бойкий молодой Полип отбарабанил с таким видом, словно хотел намекнуть: все мы знаем цену подобным словесам, но не будем нарушать заведенного порядка,— и что дело его в высшей степени каверзное.

— Каверзное? — переспросил лорд Децимус со столь величественным глубокомыслием, что застенчивый молодой член палаты поспешил зажмуриться изо всех сил.— Каверзное?

— Да, из этого положения нелегко было выпутаться,— заметил мистер Тит Полип с видом оскорбленного достоинства.

— А в чем же заключалось его дело, Фердинанд? — спросил лорд Децимус.— Отчего именно оно оказалось таким — э-э — каверзным?

— А, это довольно забавная история,— отвечал Фердинанд,— можно сказать, единственная в своем роде. Этот мистер Доррит (его фамилия Доррит) за много лет до того, как добрая банковская фея махнула палочкой и обратила его в богача, оказался нашим должником, скрепив своей подписью контракт, оставшийся невыполненным. Он был компаньоном фирмы, которая занималась какими-то оптовыми поставками — не то спирта, не то пуговиц, не то вина, не то ваксы, не то овсяной крупы, не то шерсти, не то свинины, не то крючков и петель, не то скобяного товара, не то сапог, не то патоки — словом, чего-то, что нужно для снабжения армии, или морских сил, или еще кого-то. Фирма обанкротилась, и так как в числе кредиторов состояли и мы, иск был предъявлен от имени государства в установленном порядке, со всеми вытекающими последствиями. Теперь, после того как фея махнула палочкой, он пожелал уплатить свой долг — и вот тут-то началось! Подсчеты, пересчеты, проверки, перепроверки, визы, резолюции — не меньше полугода потребовалось на то, чтобы изыскать способ принять от него деньги и дать расписку в получении. Поистине это был триумф ведомственной деятельности,— смеясь от души, воскликнул красавчик

Полип.— Такого количества исписанной бумаги не видывал свет. «Пожалуй,— сказал мне однажды поверенный нашего должника,— если бы я хотел получить от вашего министерства несколько тысяч фунтов, это было бы не труднее, чем уплатить их вам». — «Вы правы, милейший,— отвечал я ему.— Зато вы теперь будете знать, что мы здесь не сидим сложа руки!» — И славный молодой Полип рассмеялся от души. Он и в самом деле был премилый молодой человек, этот Полип, и подкупал собеседников своей милой непринужденностью.

Мистер Тит Полип относился ко всей этой истории не так легко. На его взгляд, желание мистера Доррита уплатить застарелый долг, причинившее столько хлопот министерству, было грубейшим нарушением правил и приличий. Но мистер Тит Полип имел обыкновение застегиваться на все пуговицы и, следовательно, обладал весом. Люди, застегнутые на все пуговицы, всегда обладают весом. Люди, застегнутые на все пуговицы, всегда внушают доверие. То ли неиспользованная возможность расстегнуться гипнотизирует окружающих; то ли принято считать, что под застегнутыми пуговицами происходит сгущение и накопление мудрости,— а если их расстегнуть, мудрость улетучится — но факт, что наиболее видными фигурами в обществе являются те люди, которые неизменно застегнуты на все пуговицы. Мистер Тит Полип утратил бы половину своего авторитета, если бы его сюртук не был всегда наглухо застегнут до самого галстука.

— А что,— спросил лорд Децимус,— этот мистер Даррит — или Доррит — человек семейный?

Видя, что все молчат, хозяин дома ответил:

— У него две дочери, милорд.

— А, так вы с ним знакомы? — сказал лорд Децимус.

— Миссис Мердл знакома. И мистер Спарклер тоже. Если не ошибаюсь,— прибавил мистер Мердл,— одна из барышень произвела впечатление на Эдмунда Спарклера. Он вообще впечатлительный, и я — мне кажется — эта победа...— Тут мистер Мердл умолк и стал разглядывать скатерть, как делал всегда, если чувствовал, что на него обращено внимание.

Цвет Адвокатуры весьма обрадовался, услыхав, что семейство Мердл и семейство, о котором шла речь, уже по-

знакомились. Обратясь к Столпу Церкви, сидевшему напротив, он заметил вполголоса, что тут можно усмотреть своего рода аналогию тем законам природы, согласно которым сходное сходится. Весьма любопытный и интересный феномен — это свойство богатства притягивать богатство, и, несомненно, здесь есть что-то общее с явлениями магнетизма и всемирного тяготения. Столп Церкви, потихоньку спустившийся на землю, как только разговор принял описанный оборот, согласился с этим. Для Общества, сказал он, чрезвычайно важно, если человек, неожиданно наделенный силой, которую можно употребить как во благо, так и во зло людям, избегнет искушения, пожелав, так сказать, растворить свою волю в другой, более могущественной и мудрой воле, которая (как это имеет место в случае нашего гостеприимного хозяина) всегда направлена в соответствии с высшими интересами Общества. Таким образом, вместо двух огней, большего и меньшего, которые, соперничая друг с другом, бросают неверные и колеблющиеся отсветы по сторонам, мы обретем одно прекрасное светило, чьи благотворные лучи равномерно озаряют землю. Столпу Церкви, как видно, очень понравилась его собственная мысль, и он еще долго развивал ее в подробностях; а Цвет Адвокатуры (каждый присяжный идет в счет) делал вид, что смиренно внимает его поучениям.

Обед и десерт длились три часа, и за это время застенчивый член палаты продрог до костей, ибо, едва успев разогреться едой и питьем, тотчас же снова остывал в тени лорда Децимуса. Лорд Децимус высился над столом точно колокольня на равнине, накрывая всю скатерть своей тенью, загораживал достоуважаемому сочлену свет, обдавал достоуважаемого сочлена холодом и внушал ему тягостное чувство одиночества. Когда он пожелал выпить с этим одиноким путником, у того ноги налились свинцом; а когда он сказал: «Ваше здоровье, сэр!», бедняге показалось, что вокруг него мрачная бесплодная пустыня.

Но вот лорд Децимус поднялся и с чашкой в руке стал кружить по столовой, рассматривая картины, а все прочие с интересом следили за ним и гадали, скоро ли это занятие ему надоест и он, взмахнув крылами, воспарит в гостиную, куда за ним можно будет потянуться и мелкой птахе. Несколько раз он расправлял свои могучие крылья и — оста-

вался на месте; но, наконец, долгожданный перелет совершился.

И тут возникла трудность, возникающая почти постоянно, когда обед или вечер затеян с одной лишь целью: доставить двум людям случай встретиться и поговорить. Все присутствующие (за исключением Столпа Церкви, пребывавшего в блаженном неведении) отлично знали, что все съеденное и выпитое за обедом было съедено и выпито лишь для того, чтобы лорд Децимус и мистер Мердл пять минут поговорили друг с другом. Но когда настало время для этого столь тщательно подготовленного разговора, то оказалось, что никакими силами невозможно свести обоих великих мужей вместе. Мистер Мердл и его аристократический гость упорно блуждали на разных концах анфилады парадных комнат. Напрасно обворожительный Фердинанд уговаривал лорда Децимуса взглянуть на бронзовых коней, близ которых бродил мистер Мердл,— не успел он привести его, как мистер Мердл увернулся и исчез. Напрасно он соблазнял мистера Мердла возможностью рассказать лорду Децимусу историю уникальных дрезденских ваз, стоявших в зале,— покуда он вел его, лорд Децимус увернулся и исчез.

— Видели вы когда-либо что-либо подобное? — сказал Фердинанд Цвету Адвокатуры после очередной неудачной попытки, двадцатой по счету.

— Видал, и не раз,— отозвался тот.

— Давайте назначим место, и я загоню туда одного, а вы другого,— сказал Фердинанд,— иначе ничего из этого не выйдет.

— Согласен. Только, с вашего позволения, я буду загонять Мердла. Милорда — не берусь.

Фердинанд, как он ни был зол, разразился смехом.

— Черт бы их побрал обоих,— сказал он, взглянув на часы.— Мне нужно уходить. И чего они валяют дурака? Ведь каждый знает, что у другого на уме. Вот, полюбуйтесь на них.

Они по-прежнему толклись в разных концах анфилады, притворяясь, будто им нет никакого дела друг до друга, хотя их истинные мысли читались сквозь это нелепое притворство так же легко, как если бы они были написаны мелом у них на спине. В это время к лорду Децимусу по-

дошел Столп Церкви (который присутствовал при разговоре Фердинанда с Цветом Адвокатуры, но в своей святой простоте не уловил смысла этого разговора).

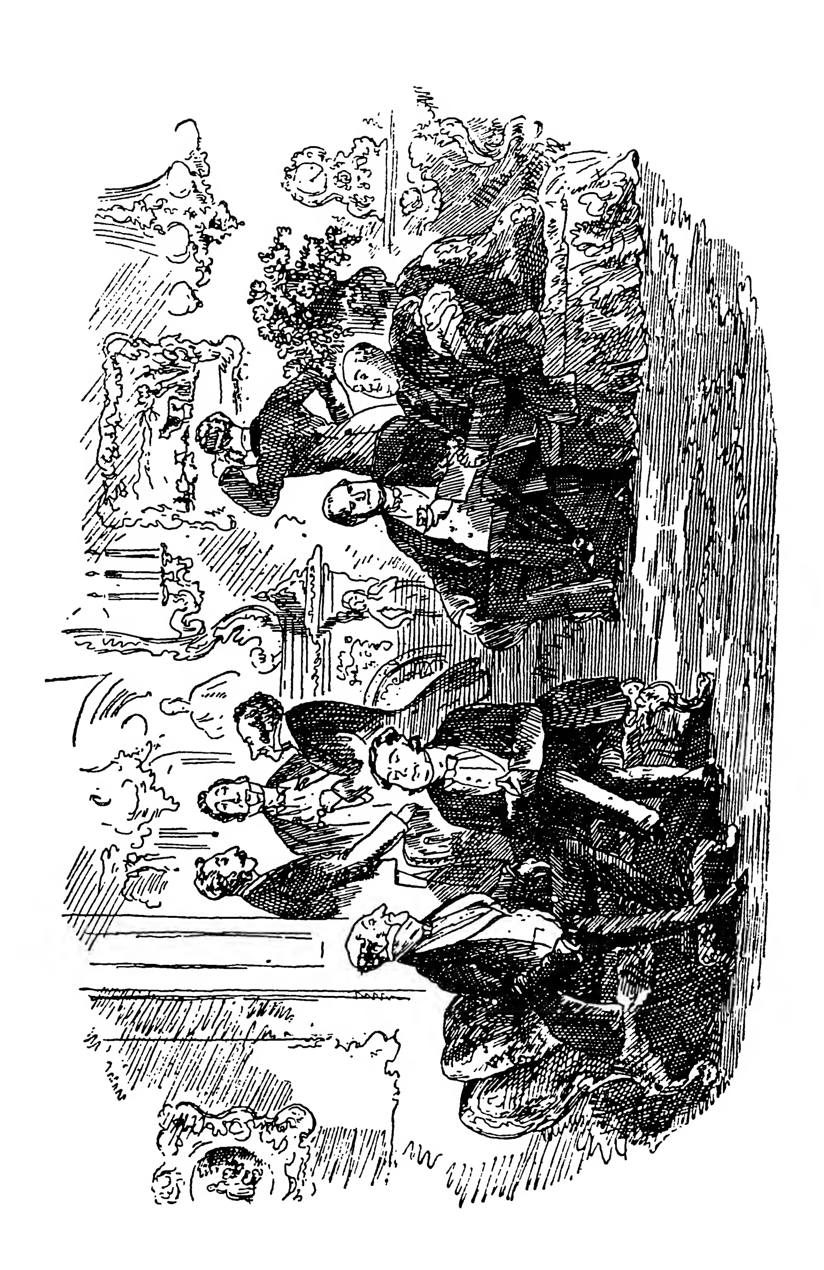
— Напущу-ка я на Мердла доктора,— решил Фердинанд.— Он его изловит и будет держать, а я тем временем заманю туда же своего знатного родича — в крайнем случае приволоку силой,— и совещание состоится.

— Раз уж вы оказали мне честь просить моей помощи,— сказал Цвет Адвокатуры с лукавейшей улыбкой,— готов служить вам в меру моих слабых сил. Одному тут, в самом деле, не справиться. Постарайтесь не выпускать милорда из угловой гостиной, где он сейчас так увлечен беседой, а я уж как-нибудь доставлю туда нашего милейшего Мердла и позабочусь о том, чтоб он не убежал.

— Идет,— сказал Фердинанд.

— Идет,— сказал Цвет Адвокатуры.

Любопытно и поучительно было наблюдать, как Цвет Адвокатуры, беспечно помахивая висевшим на ленте лорнетом и любезно раскланиваясь направо и налево (присяжные! всюду присяжные!), по чистой случайности натолкнулся на мистера Мердла и как он воспользовался этой счастливой случайностью, чтобы посоветоваться об одном вопросе, по которому чрезвычайно желал бы услышать его просвещенное и авторитетное мнение. (Тут он взял мистера Мердла под руку и незаметно увлек за собой.) Один банкир, назовем его А. Б., выдал его клиентке или доверительнице, назовем ее В. Г., довольно крупную ссуду, предположим пятнадцать тысяч фунтов. (Тут он крепче прижал руку мистера Мердла, так как они приближались к лорду Децимусу.) В качестве обеспечения указанной ссуды В. Г., предположим, вдова, передала А. Б. документы на право владения земельной собственностью, назовем ее Блинкитер Доддлз. Вопрос состоит вот в чем. У В. Г. есть совершеннолетний сын, назовем его Д. Е., который пользуется частичным правом вырубки леса на землях Блинкитер Доддлз... однако, что ж это он! В присутствии лорда Децимуса занимать внимание любезного хозяина сухой и скучной юридической материей — да это просто непозволительно! В другой раз! Он безмерно виноват и больше не произнесет ни слова. Кстати, не найдет ли Столп Церкви возможным уделить ему несколько минут? (Мистер Мердл



был уже усажен на кушетку рядом с лордом Децимусом, и деваться им было некуда. Теперь или никогда.)

Все прочие гости, в сознании важности минуты (один лишь Столп Церкви по-прежнему не подозревал ничего), собрались у камина в соседней комнате и с притворным интересом болтали о всевозможных пустяках, но мысли и взоры каждого украдкой стремились туда, где происходил знаменательный тет-а-тет. Фигуранты нервничали; быть может, их мучила страшная догадка, что какое-то теплое местечко уплывает от них. Столп Церкви был единственным, кто не испытывал никакого волнения и беспокойства. Он завел со знаменитым Врачом разговор о болезнях голосовых связок, которой часто страдают молодые священники, и о средствах против этого бедствия, наносящего вред церковным делам. Врач высказался в общем смысле: дескать, если хочешь стать чтецом, нужно прежде всего выучиться читать; соблюдайте это правило, и все будет в порядке. Столп Церкви переспросил с некоторым недоверием, серьезно ли доктор так думает? И тот отвечал: вполне серьезно.

Только Фердинанд все это время занимал обособленную позицию, примерно на полдороге между кружком у камина и местом уединения двух великих мужей,— как будто один из них совершал над другим хирургическую операцию и каждую секунду могла понадобиться помощь ассистента. И в самом деле, четверти часа не прошло, как лорд Децимус крикнул: «Фердинанд!» Тот не заставил себя звать дважды, и с его участием беседа длилась еще минут пять. Потом среди фигурантов пронесся сдавленный вздох: лорд Децимус встал, видимо собираясь распрощаться. Вспомнив наставления Фердинанда о пользе популярности, он самым эффектным образом пожал всем руки, а Цвету Адвокатуры даже сказал: «Надеюсь, я вам не наскучил своим рассказом?» На что тот поспешил ответить: «Напротив, милорд, я с интересом выслушал его весь, от персиков до пэров», довольно ясно намекнув, что оценил остроту по достоинству и не забудет ее до конца своих дней.

Вслед за ним отбыла государственная мудрость, сокрытая под застегнутым на все пуговицы сюртуком мистера Тита Полипа; а потом и Фердинанд, торопившийся в

Оперу. Другие еще медлили, в тщетной надежде услышать хоть слово от мистера Мердла, и пили ликеры из золотых рюмок, которые липкими кольцами следов обручались со столиками «буль» *. Но мистер Мердл, по обыкновению, бродил, как в тумане, из комнаты в комнату, не раскрывая рта.

Спустя день или два весь город был оповещен о том, что Эдмунд Спарклер, эсквайр, пасынок знаменитого мистера Мердла, заслуженно пользующегося всемирной известностью, получил видный пост в Министерстве Волокиты; и всем правоверным предлагалось приветствовать это назначение, как дань уважения и почета со стороны великого Децимуса коммерческим кругам, которые для нашей великой коммерческой державы должны быть, и так далее и тому подобное, под гром фанфар. Уважение и почет, выраженные столь официально, способствовали новому и еще большему расцвету чудо-банка и других чудо-предприятий; и толпы зевак валили со всего Лондона на Харлистрит, чтобы поглазеть на обиталище мастера золотых чудес.

И если величественный мажордом снисходил до того, чтобы показаться на пороге, зеваки восторгались его осанкой богача и вслух гадали: сколько денег лежит на его счету в чудо-банке. Впрочем, знай они эту респектабельную Немезиду * поближе, им бы незачем было гадать; они могли бы назвать цифру совершенно точно.

ГЛАВА XIII

Эпидемия растет

Что нравственный недуг не менее прилипчив, нежели недуг телесный; что зараза этого рода распространяется с пагубной быстротой чумы; что эпидемия, раз вспыхнув, захватывает всех без разбора, поражает самых здоровых людей и развивается в самых неожиданных местах,— все это мы знаем на опыте так же твердо, как то, что человеку нужно дышать, чтобы жить. Величайшим благодеянием для человечества был бы обычай хватать тех, чья слабость или

порочность служит питательной средой для болезнетворных микробов, и если уж не казнить их, то хотя бы сажать в одиночное заключение прежде, чем болезнь перекинется дальше.

Как во время большого пожара рев пламени разносится далеко по сторонам, так вокруг священного огня, раздуваемого могущественными Полипами, воздух все больше и больше полнился отголосками имени Мердла. Это имя было у всех на устах, звучало у всех в ушах. Не было, нет и не будет никогда человека, равного мистеру Мердлу. Никто, как уже говорилось раньше, не знал, в чем его заслуги; но все знали, что он — величайший из людей.

В Подворье Кровоточащего Сердца, где каждый грош был всегда рассчитан заранее, этот образец человеческих добродетелей вызывал не меньший интерес, чем на Бирже. Миссис Плорниш, теперь владелица бакалейной и мелочной лавочки в аристократическом конце Подворья, у выхода на улицу, где в торговле ей помогали Мэгги и старичок отец, вела нескончаемые разговоры о мистере Мердле со своими покупателями. Мистер Плорниш, который вошел в долю с одним мелким подрядчиком, промышлявшим по соседству, рассуждал, орудуя мастерком на лесах или на крыше дома, где шла работа: этот мистер Мердл, он, слыхать, как раз такой человек, какой всем нам нужен, и он, слыхать, может навести порядок, так чтобы каждый из нас получил свое, как оно и быть должно. Мистер Баптист, единственный плорнишевский жилец, собирался, если верить молве, вложить в одно из предприятий мистера Мердла все свои сбережения, плод скромной и умеренной жизни. Кровоточащие Сердца женского пола, являясь в лавочку за унцией чаю и с центнером сплетен, сообщали миссис Плорниш самые достоверные сведения, полученные от племянницы Мэри-Энн, той, что по швейной части: у миссис Мердл платьев, мэм,— три фургона нагрузить, и еще останется. А сама она такая раскрасавица, мэм, что другой такой во всем свете нет; грудь — мрамор, да и только. А сын ее, который теперь в начальство вышел, это от первого мужа, мэм; муж-то был генерал, водил войско на врага и всегда возвращался с победой. А еще передают, будто мистер Мердл хотел купить все правительство, да рассчитал, что невыгодно: мне, говорит, больших прибылей

не надо, но в убыток, говорит, я тоже покупать не могу — так и сказал. А только такому ли человеку бояться убытков, мэм, ведь он, можно сказать, по золоту ходит; и очень жаль, что он от этого дела отказался — уж кому, как не ему, знать, как нынче вздорожали хлеб и мясо, и кому, как не ему, сделать так, чтобы они подешевели.

Так сильно разбушевалась болезнь в Подворье Кровоточащего Сердца, что даже в дни сбора квартирной платы больных продолжало лихорадить. Только в эти дни лихорадка принимала своеобразную форму и выражалась в попытках найти оправдание и утешение в магическом имени Мердл.

— Ну! — говорил мистер Панкс очередному неплательщику.— Деньги на стол! И поживее!

— Нет у меня денег, мистер Панкс,— отвечал неплательщик.— Вот как перед богом, сэр, и одного шестипенсовика не найдется.

— Это не отговорка, любезный,— возражал мистер Панкс.— Сами понимаете, это не отговорка.

Неплательщик упавшим голосом произносил: «Да, сэр», подтверждая, что он действительно сам понимает.

— Хозяину ваши отговорки не нужны,— продолжал Панкс.— Не за этим он меня сюда посылает. Одним словом — деньги на стол.

И тогда неплательщик говорил:

— Ах, мистер Панкс! Был бы я тот богач, о котором все толкуют, был бы я по фамилии Мердл — с радостью выложил бы вам сполна, сэр, все, что с меня причитается.

Вопрос о квартирной плате дебатировался обычно на лестнице или у входной двери, в присутствии еще нескольких Кровоточащих Сердец, живейшим образом заинтересованных в этом вопросе. Ссылку на мистера Мердла они встречали одобрительным гулом, словно это и в самом деле было неопровержимым доводом, и неплательщик, за минуту перед тем жалкий и подавленный, сразу приободрялся.

— Кабы я был мистер Мердл, сэр, вам бы не в чем было упрекнуть меня. Можете не сомневаться! — продолжал неплательщик, качая головой.— Я бы вам выкладывал деньги на стол, не дожидаясь приглашения.

Снова одобрительный гул, означавший, что лучше и сказать нельзя и что такой ответ стоит, пожалуй, уплаты наличными.

Мистеру Панксу ничего не оставалось, как сделать отметку в своей книжке и сказать:

— Что ж! Опишут ваше имущество и выкинут вас на улицу; только и всего. А мистера Мердла оставьте в покое. Вы не мистер Мердл, и я тоже.

— Верно, сэр,— вздыхал неплательщик.— А жаль, что вы не мистер Мердл, сэр.

Одобрительный гул, в котором на этот раз можно было расслышать: «Жаль, что вы не мистер Мердл, сэр», подхваченное с большим чувством.

— Вы бы не так сурово обходились с нами, будь вы мистер Мердл, сэр,— продолжал неплательщик, все более воодушевляясь,— а это для всех было бы лучше. И для нас и для вас. Не нужно было бы вам никого донимать, сэр. Ни нас, ни себя. Жили бы спокойно, и других бы не беспокоили, будь вы мистер Мердл.

Мистер Панкс как-то соловел от этих косвенных комплиментов и только молча грыз ногти. Не выдержав атаки, он разводил пары и мчался к следующему неплательщику. А на месте действия оставался тесный кружок Кровоточащих Сердец, которые утешались в своих горестях тем, что строили самые фантастические предположения относительно наличного капитала мистера Мердла.

После очередного обхода Подворья, ознаменовавшегося рядом очередных поражений, мистер Панкс с записной книжкой под мышкой направился к заведению миссис Плорниш. Шел он не в качестве официального лица, а просто как добрый знакомый. День выдался трудный, и ему хотелось немного отдохнуть душой. С Плорнишами у него давно уже завязалась дружба; бывая в Подворье, он не упускал случая завернуть к ним и принять участие в семейных воспоминаниях о мисс Доррит.

Миссис Плорниш самолично руководила отделкой примыкающего к лавке помещения, и стена его со стороны лавки была расписана согласно ее замыслу, доставляя ей неизъяснимую радость. Художественный эффект замысла состоял в том, что живописец изобразил на стене фасад хижины с тростниковой крышей, дверь и окно которой прихо-

дились на месте настоящих двери и окна (понадобилось, правда, несколько искусственно подогнать размеры, не считаясь с пропорциями). Вокруг этого сельского приюта пышно цвели подсолнечник и мальва, а густой дым, валивший из трубы, свидетельствовал об изобилии, а быть может, и о том, что трубу пора прочистить. Верный пес бросался с порога навстречу гостю, с явным намерением вцепиться в его ляжки, а над изгородью торчала голубятня, вокруг которой вились тучи голубей. На двери (когда она была закрыта) можно было разглядеть медную дощечку с надписью: «Счастливый Уголок, Т. и М. Плорниш». Т. и М. были инициалы мужа и жены. Никогда еще Поэзия или Живопись не пленяли так человеческое воображение, как эта бутафорская хижина, бесхитростное воплощение того и другого, пленяла воображение миссис Плорниш. Нужды нет, что, когда Плорниш по своей привычке прислонялся к стене, чтобы выкурить трубку после работы, его шляпа загораживала и голубятню и голубей, спина скрывала из виду весь фасад, а руки, заложенные в карманы, уничтожали цветы в саду и опустошали окрестность. В глазах миссис Плорниш иллюзия продолжала существовать, прекрасная хижина была все так же прекрасна; и что за беда, если нос мистера Плорниша приходился на несколько дюймов выше слухового окна. Сидя перед хижиной после закрытия лавки и слушая отцовские песенки, миссис Плорниш переживала настоящую пастушескую идиллию, возрождение золотого века. И то сказать, даже в этот прославленный век — если он когда-нибудь был на самом деле,— едва ли многие дочери умели так восторженно любить своих родителей, как любила своего отца эта бедная женщина.

Услышав звон дверного колокольчика в лавке, миссис Плорниш вышла из Счастливого Уголка посмотреть, кто пришел.

— Я так и знала, что это вы, мистер Панкс,— сказала она,— ведь сегодня ваш день. А вот и отец; видите, какой он у нас расторопный: не успел колокольчик зазвонить, а уж он за прилавком. Правда, у него цветущий вид? Небось радуется, что это не покупатель, а вы пришли; его ведь хлебом не корми, а дай поговорить по душам, особенно если разговор зайдет о мисс Доррит. А слышали бы вы, как он теперь поет! — Миссис Плорниш сама, кажется,

готова была запеть от радости и гордости.— Вчера вечером он нам спел Стрефона, так Плорниш даже встал из-за стола и произнес целую речь. «Джон Эдвард Нэнди, говорит, слыхал я, какие вы голосом коленца выводите, но таких, говорит, как вы нынче выводили, таких я еще не слыхал». Что вы на это скажете, мистер Панкс? Ведь приятно, а?

Мистер Панкс, фыркнув на старичка в знак приветствия, отвечал утвердительно, а затем осведомился как бы вскользь, пришел ли уже этот веселый малый, Альтро. Нет, сказала миссис Плорниш, он еще не приходил, а между прочим пора бы ему прийти; он пошел в Вест-Энд * отнести заказ и хотел вернуться к чаю. После этого гость был уведен в Счастливый Уголок, где он застал старшего из молодых Плорнишей, только что вернувшегося из школы. Полюбопытствовав, какие знания приобрел юный поборник науки за сегодняшний день, мистер Панкс узнал, что ученики, которые уже дошли до буквы «М», списывали с доски слова «Мердл» и «Миллионы».

— Кстати, о миллионах, миссис Плорниш,— сказал Панкс.— Как идет торговля?

— Обижаться не приходится, сэр,— отвечала миссис Плорниш.— Отец, что, если бы вам до чаю обновить выставку товаров в окне — вы это делаете с таким вкусом!

Джон Эдвард Нэнди, весьма польщенный, тотчас же засеменил в лавку, исполнять данное ему поручение. Теперь миссис Плорниш могла без помехи беседовать с мистером Панксом: она до смерти боялась говорить при старике о денежных делах, чтобы какое-нибудь неосторожное признание не побудило его снова сбежать в работный дом.

— На торговлю-то, правда, обижаться не приходится,— сказала миссис Плорниш, понизив голос,— от покупателей отбою нет. Все бы хорошо, сэр, кабы не кредит.

Упомянутое обстоятельство, весьма чувствительное для всех, кто имел финансовые дела с обитателями Подворья Кровоточащего Сердца, было изрядным камнем преткновения в торговле миссис Плорниш. Когда мистер Доррит помог ей вступить на путь коммерции, Кровоточащие Сердца выказали готовность поддержать ее на этом пути с энтузиазмом, делавшим честь человеческой натуре. Признав, что она, так долго принадлежавшая к их среде, вправе рассчитывать на их дружбу, они великодушно обя-

зались делать покупки только у нее и, что бы ни случилось, не оказывать покровительства конкурирующим предприятиям. Движимые этими благородными побуждениями, они даже стали покупать подчас кое-какие деликатесы из разряда бакалеи и молочных продуктов, на которые раньше и не глядели,— оправдываясь друг перед другом тем, что идут на это единственно, чтобы удружить соседке и приятельнице; а для кого же и идти на жертвы, как не для соседей и приятелей? Благодаря всему этому торговля шла пребойко, и запасы товару в лавке исчезали с необыкновенной быстротой. Словом, если бы только Кровоточащие Сердца платили за свои покупки, дела миссис Плорниш находились бы в самом процветающем состоянии; но так как они все забирали в долг, графа прибылей в книгах предприятия оставалась пока незаполненной.

Слушая миссис Плорниш, мистер Панкс все сильней и сильней ерошил себе пятерней волосы,— так что сделался похож на дикобраза; но тут вдруг старичок Нэнди притворил дверь хижины и с таинственным видом позвал дочь и гостя посмотреть на мистера Баптиста, который ведет себя как-то странно, словно бы напугался чего-то. Все втроем они вышли в лавку и в окно увидели мистера Баптиста, очень бледного и взволнованного, который как будто разыгрывал сложную и непонятную пантомиму. Для начала он спрятался на ступенях, ведущих в Подворье, и, с опаской высовывая голову из-за угла лавки, тревожно и внимательно вглядывался сперва в один конец улицы, потом в другой. Покончив с этим осмотром, он выбрался из своего убежища и быстрым, решительным шагом пошел по улице, как будто уходя совсем; но вдруг повернулся и так же быстро и решительно зашагал в обратную сторону. Однако, отойдя не дальше, чем в первый раз, круто свернул за угол и исчез из виду. Смысл последнего маневра стал ясен только тогда, когда он неожиданно ворвался в лавку, вынырнув снизу, из Подворья: он, видно, кружным и извилистым путем добрался до него с другой стороны — со стороны завода Дойса и Кленнэма — и бегом бежал через весь двор. Он сильно запыхался (что и не удивительно), и сердце у него, должно быть, колотилось чаще дверного колокольчика, который он растревожил, с маху захлопнув за собой дверь.



— Эй, что такое? — воскликнул мистер Панкс.— Альтро, приятель! Что случилось?

Мистер Баптист, он же синьор Кавалетто, понимал теперь по-английски не хуже самого мистера Панкса, и даже вполне сносно мог выражать свои мысли на этом языке. Но миссис Плорниш настаивала на исполнении обязанностей переводчика с извинительным тщеславием лингвистки, которой ее познания позволяли считать себя почти итальянкой.

— Его хотеть знать,— сказала миссис Плорниш,— что не есть хорошо.

— Идемте в Счастливый Уголок, padrona [1],— возразил мистер Баптист, принимаясь трясти указательным пальцем правой руки, с таинственным и многозначительным видом.— Идемте туда.

Миссис Плорниш гордилась званием padrona, относя его не столько к своему положению хозяйки дома, сколько к своему мастерскому владению итальянским языком. Она охотно вняла просьбе мистера Баптиста, и все присутствующие перешли в хижину.

— Его думать вы испугаться,— продолжала миссис Плорниш, давая новый вариант перевода, что для нее никогда не представляло ни малейшего затруднения.— Чего случиться? Говорите падрона.

— Я rincontrato — встретил одного человека,— сказал мистер Баптист.— Это был он.

— Он? Кто такая он? — спросила миссис Плорниш.

— Дурной человек. Самый дурной. Я надеялся, что никогда больше его не встречу.

— Почему вы знать он дурной? — спросила миссис Плорниш.

— Неважно почему, padrona. Знаю, вот и все.

— Его видеть вас? — спросила миссис Плорниш.

— Нет. Кажется, нет. Я надеюсь, что нет.

— Он говорит,— великодушно перевела миссис Плорниш отцу и мистеру Панксу,— что встретил одного дурного человека, но этот дурной человек, кажется, не видел его. А почему,— спросила миссис Плорниш, снова пере-

---

[1] Хозяйка, госпожа *(итал.)*.

ходя на итальянский язык,— почему вы хотеть, чтобы дурной человек вас не видеть?

— Добрейшая padrona,— взмолился предмет ее заботливых попечений,— пожалуйста, не спрашивайте меня. Говорю вам опять: неважно почему. Я боюсь этого человека. Я не хочу, чтобы он узнал меня. Я не хочу встречаться с ним — никогда, никогда! И не будем больше говорить об этом, прекраснейшая. Не надо.

Предмет этот, видимо, был настолько неприятен ему, что от его обычной веселости не осталось и следа; и миссис Плорниш не настаивала, тем более что чайник уже кипел на огне в камине. Но хоть она и не задавала больше вопросов, любопытство ее было возбуждено в высшей степени,— равно как и у мистера Панкса, который с самого появления маленького итальянца пыхтел, точно локомотив, с натугой тянущий в гору перегруженный поезд. На заднем плане группу дополняла Мэгги, давно сменившая свой убогий наряд на платье получше, сохранив, однако, пристрастие к чудовищным чепцам; она прислушивалась к разговору с разинутым ртом и вытаращенными глазами, да так и позабыла вернуть то и другое в нормальное состояние, когда разговор на самом интересном месте оборвался. Одним словом, никто больше не заговаривал об этом предмете, но все, как видно, думали о нем, не исключая обоих юных Плорнишей, которые ужинали с таким нерешительным видом, как будто сомневались, стоит ли вообще есть хлеб с маслом, когда вот-вот может появиться худший из людей и съесть их самих. Мистер Баптист под конец повеселел немного, однако по-прежнему сидел, забившись между окном и дверью, хотя это не было его обычное место. При каждом дребезжанье колокольчика он вздрагивал и осторожно заглядывал в лавку, приподняв уголок занавески, но пряча за нею лицо — как будто опасался, что человек, внушивший ему страх, выследил его с чутьем свирепой ищейки, как он ни кружил и ни петлял.

Колокольчик звонил часто — наведывались в лавку запоздалые покупатели, вернулся мистер Плорниш с работы,— и мистеру Баптисту приходилось то и дело повторять свою игру, привлекавшую к нему внимание всего общества. Наконец чай был выпит, дети уложены спать, и миссис Плорниш уже подумывала, не попросить ли отца

порадовать их песенкой о Хлое, как вдруг колокольчик снова зазвонил, и вошел Кленнэм.

Кленнэм поздно засиделся в конторе над счетами и письмами: приемные Министерства Волокиты безжалостно грабили его время. Сверх того ему не давала покоя мысль о странной встрече в доме матери. Он казался утомленным и расстроенным, и в самом деле был утомлен и расстроен; но тем не менее нарочно пошел той дорогой, которая вела мимо лавки, чтобы сообщить Плорнишам о втором письме от мисс Доррит.

Эта новость произвела в хижине такую сенсацию, что даже мистер Баптист оказался забытым. Мэгги тотчас же протолкалась вперед и, казалось, слушала известия о своей маленькой маменьке не только ушами, но и ртом и носом,— слушала бы и глазами, если бы не застилавшие их слезы. Ее привели в полный восторг заверения Кленнэма, что в Риме имеются больницы, и притом такие, где за пациентами отличный уход. Мистер Панкс сразу вырос в глазах всего общества, когда выяснилось, что ему посвящена особая приписка. Словом, письмо всех заинтересовало, всех порадовало, и это послужило Кленнэму лучшей наградой.

— У вас усталый вид, сэр,— сказала ему миссис Плорниш.— Если не побрезгуете нашим угощением, я вам налью чашечку чаю; уж мы вам так благодарны, так благодарны за то, что вы про нас не забыли.

Мистер Плорниш счел, что положение хозяина дома обязывает его поблагодарить еще от себя лично, и для этого прибегнул к ораторскому приему, который всегда казался ему идеальным сочетанием парадности с искренностью.

— Джон Эдвард Нэнди! Сэр! — сказал мистер Плорниш, адресуясь к старичку.— Не каждый день видишь великодушные поступки, и чтобы это в простоте и не гордясь, стало быть, если уж привелось, так ты цени и будь благодарен, а то в другой раз и рад бы, да не за что, вот и выходит, сам виноват.

Мистер Нэнди отвечал на это:

— Я думаю точно так же, как и ты, Томас, и стало быть, мы с тобой думаем одинаково, а раз так, то тут и слов никаких не требуется, потому что, если думать так,

как мы думаем, то нужно прямо сказать: да, Томас, да, вот так именно мы с тобой и думаем, и всем бы следовало думать так, как думаем мы, а если все будем думать одинаково, то никто не будет думать иначе, нужно прямо сказать, нет, Томас, Томас, нет!

Артур в свою очередь поблагодарил, хотя и менее церемонно, прибавив, что его пустяковая услуга не стоила такой лестной оценки; что же касается чаю, то он бы с радостью воспользовался гостеприимством миссис Плорниш, но еще не обедал, и спешит домой после долгого трудового дня. В заключение, услышав, что мистер Панкс с шумом разводит пары, он предложил ему идти вместе. Мистер Панкс охотно принял приглашение, и они вдвоем покинули Счастливый Уголок.

— Вы бы сделали доброе дело, Панкс, если бы согласились разделить мой обед, или вернее ужин,— сказал Артур, когда они вышли на улицу.— Я сегодня очень устал, и у меня тоскливо на душе.

— Попросите меня о большем одолжении,— отвечал Панкс,— и вы тоже не встретите отказа.

Между этим чудаковатым человечком и Кленнэмом существовало взаимное понимание, не нуждавшееся в словах, которое все возрастало с того вечера, когда мистер Панкс играл в чехарду с мистером Рэгтом на дворе Маршалси. Вместе они смотрели вслед карете, увозившей семейство Доррит к новой жизни, вместе медленно побрели в этот торжественный день от тюремных ворот. Когда пришло первое письмо от Крошки Доррит, никто не проявил такого горячего интереса к его содержанию, как мистер Панкс. А во втором письме, лежавшем сейчас в нагрудном кармане Кленнэма, сама Крошка Доррит называла его имя. Хотя он никогда и ничем не обнаруживал своих чувств перед Кленнэмом, да и слова, сказанные им только что, ничего особенного не означали, у Кленнэма давно уже сложилось убеждение, что мистер Панкс по-своему к нему привязан. Все эти звенья сплетались в одну цепь, делавшую сегодня Панкса надежным якорем спасения.

— Я теперь один,— объяснил Артур дорогой.— Компаньон мой уехал по делам предприятия, и вы можете чувствовать себя совершенно свободно.

— Благодарю вас. Скажите, мистер Кленнэм, вы сейчас ничего такого не заметили в нашем Альтро? — спросил Панкс.

— Нет. А что?

— Он славный малый, и я испытываю к нему симпатию,— сказал Панкс.— Но сегодня он что-то сам не свой. Не знаете ли, что могло с ним стрястись?

— Понятия не имею. Вы меня удивляете.

Мистер Панкс объяснил, чем вызван этот вопрос. Для Артура услышанное явилось полной неожиданностью, и он не знал, что предположить.

Может, стоит вам порасспросить его,— сказал Панкс.— Все-таки ведь он иностранец.

— Порасспросить — о чем же?

— Чем это он так встревожен.

— Сперва я должен убедиться, что он и точно встревожен чем-то,— возразил Кленнэм.— Видите ли, он так трудолюбив, так старателен, так готов всегда благодарить за каждый пустяк, что заслуживает всяческого доверия; а мои расспросы могут навести его на мысль, что ему не доверяют, и это обидит его.

— Тоже верно,— сказал Панкс.— Эх, мистер Кленнэм, плохой из вас хозяин, как я погляжу! Чересчур вы деликатны.

Если уж на то пошло,— засмеялся Кленнэм,— я вовсе и не хозяин Кавалетто. На хлеб он себе зарабатывает резьбой по дереву. У него все наши ключи, через ночь он дежурит на заводе и вообще состоит при нем чем-то вроде сторожа; но с его ремеслом там почти нечего делать, хоть, конечно, если случается подходящая работа, он ее всегда получает. Нет, я скорей его советник, чем хозяин. Или, чтоб быть точным, назовем так: советник и банкир. Кстати сказать, Панкс, не странно ли, что горячка спекуляций, захватившая сейчас столько народу, не миновала даже маленького Кавалетто?

— Спекуляций? — переспросил Панкс, издав короткий храп.— Каких спекуляций?

— Я имею в виду предприятия Мердла.

— А, это вы о помещении капиталов,— сказал Панкс.— Так, так. Я сперва не понял, что вы о помещении капиталов.

Это было сказано с такой живостью, что Кленнэм вопросительно посмотрел на своего спутника, точно желая знать, нет ли в его словах другого, скрытого смысла. Но тот ускорил шаг, что сопровождалось усиленной работой всего машинного отделения, и Артур не стал продолжать разговор, тем более что они уже подходили к дому.

Обед, поданный на круглом столике у камина, состоял из супа и пирога с голубятиной и, будучи полит бутылкой доброго вина, послужил отличнейшей смазкой для механизмов мистера Панкса. А когда Артур, вооружась азиатским чубуком, предложил другой такой же чубук мистеру Панксу, последний почувствовал себя на верху блаженства.

Некоторое время они курили молча, и мистер Панкс напоминал паровое судно в благоприятную погоду — когда небо ясно, море спокойно и дует попутный ветер. Он первый прервал молчание, заметив:

— Да, вот именно. Помещение капиталов.

Кленнэм снова взглянул на него вопросительно, но сказал только:

— А-а!

— Я возвращаюсь к давешнему разговору,— пояснил Панкс.

— Да, я вижу, что вы к нему возвращаетесь,— отозвался Кленнэм, в душе недоумевая по этому поводу.

— Стало быть, странно, что горячка не миновала даже маленького Альтро, а? — спросил Панкс, пуская клубы дыма.— Так, кажется, вы сказали?

— Да, я это говорил.

— Ага! Но ведь все Подворье охвачено этой горячкой! Ведь куда бы я ни пришел за квартирной платой, всюду мне твердят одно и то же. Есть ли деньги, нет ли денег, у всех один разговор: Мердл, Мердл, Мердл. Только и слышно, что Мердл.

— Как легко распространяется подобная зараза, просто удивительно,— заметил Артур.

— В самом деле,— отозвался Панкс. Минуту-другую он попыхивал трубкой, но не столь ровно и бесперебойно, как можно было бы ожидать после недавней смазки, затем добавил: — Тем более что они ведь ничего в этом не смыслят.

— Ровно ничего,— подтвердил Кленнэм.

— Ровнехонько ничего! — воскликнул Панкс.— Цифры для них китайская грамота. Денежные дела и подавно. Никаких расчетов они не делали. Ни в чем толком не разбирались, сэр!

— А если бы разобрались...— начал было Кленнэм, но тут же осекся, ибо мистер Панкс, не меняя выражения лица, издал звук, перед которым все доселе известные усилия его носоглотки и бронхов показались ничтожными.

— Если бы разобрались? — повторил Панкс, как бы ожидая продолжения.

— Вы, кажется, что-то... сказали? — переспросил Артур, не зная, как назвать то, что он слышал.

— Ничуть не бывало,— возразил Панкс.— Пока ничего не говорил. Скажу, может быть, после. Если бы разобрались?

— Если бы разобрались,— сказал Кленнэм, несколько озадаченный тоном друга,— вероятно, они вели бы себя умнее.

— Вот как, мистер Кленнэм! — подхватил Панкс с такой поспешностью, как будто с самого начала разговора начинен был порохом и только дожидался случая выпалить.— А ведь они правы, между прочим. Они даже сами не знают, насколько они правы.

— Правы в том, что, подобно Кавалетто, увлечены спекуляциями мистера Мердла?

— Совершенно верно, сэр,— отвечал Панкс.— Я этим вопросом занимался. Я делал расчеты. Я разобрался во всем. Дело верное.— Отведя душу этим высказыванием, мистер Панкс затянулся на всю глубину своих легких и медленно выпустил дым, устремив на Кленнэма упорный и многозначительный взгляд.

В эту минуту мистер Панкс уже представлял опасность для окружающих, как переносчик заразы. Ведь таким способом и распространяются подобные болезни; так, незаметно, и возникает эпидемия.

— Уж не хотите ли вы сказать, мой добрый Панкс,— взволнованно спросил Кленнэм,— что решились бы, например, вложить свою тысячу фунтов в одно из этих предприятий?

— Разумеется,— отвечал Панкс.— Я уже это сделал, сэр.

Мистер Панкс снова глубоко затянулся, снова медленно выпустил дым, снова многозначительно посмотрел на Кленнэма.

— Повторяю вам, мистер Кленнэм, я этим вопросом занимался,— сказал Панкс.— У этого человека неограниченные возможности — колоссальный капитал — поддержка правительства. Надежней его предприятий не найдешь. Верное дело. Никакого риска.

— Ну, признаюсь,— сказал Кленнэм, внимательно поглядев на него, а потом столь же внимательно уставившись в пламя камина.— Удивили вы меня!

— Ба! — возразил Панкс.— Удивляться тут нечему, сэр. Я бы и вам посоветовал сделать то же. Право, взяли бы с меня пример.

При каких обстоятельствах мистер Панкс подхватил заразу, было так же трудно объяснить, как если бы речь шла о самой обыкновенной лихорадке. Такие болезни сходны с некоторыми телесными недугами; людской порок способствует их зарождению, людское невежество дает им разрастись в эпидемию, жертвами которой становятся люди, чуждые и пороку и невежеству. Подобным человеком был для Кленнэма мистер Панкс, и потому, где бы ни заразился он сам, зараза, исходя от него, становилась еще опаснее.

— И вы, Панкс, в самом деле поместили свою тысячу фунтов подобным образом? — Кленнэм уже употреблял выражение своего собеседника.

— Именно, сэр,— задорно отвечал мистер Панкс, выпуская новое облако дыма.— А будь у меня десять тысяч, поместил бы десять.

Две думы камнем лежали у Кленнэма на душе в этот вечер; одна касалась несбывшихся надежд его компаньона, другая — того, что он слышал и видел в доме матери. Сейчас, очутившись в обществе друга, который вполне заслуживал его доверия, он захотел поделиться с ним сперва одной, а потом и другой — и обе очень быстро привели его вновь к прежнему предмету беседы.

Случилось это весьма просто. Оставив разговор о капиталах и их помещении, Кленнэм немного помолчал, глядя в огонь сквозь дым своей трубки, а затем стал рассказывать Панксу, как и почему ему приходится иметь дело с

великим государственным учреждением, именуемым Министерством Волокиты.

— Тяжело это было Дойсу, да и сейчас тяжело,— закончил он свой рассказ с той глубокой грустью, которую всегда вызывала в нем эта тема.

— Еще бы не тяжело,— согласился Панкс.— Но ведь его дело в ваших руках?

— Как так?

— Вы занимаетесь денежной стороной предприятия?

— Да, и стараюсь делать это как можно разумнее.

— Сделайте самое разумное, что в ваших силах,— сказал Панкс.— Вознаградите его за все труды и разочарования. Не дайте ему упустить то, что сейчас само идет в руки. Ведь он, скромный труженик, весь ушедший в свою работу, об этом не подумает. Вы должны думать за него.

— Я стараюсь, как могу, Панкс,— с некоторым беспокойством отозвался Кленнэм.— Но то, о чем вы говорите, дело для меня новое и неизвестное, и боюсь, что мне не под силу все взвесить и во всем разобраться должным образом. Стар уж я для этого.

— Стары, вы? — вскричал Панкс.— Ха-ха-ха!

Такая великолепная непосредственность была в этом смехе, а также в наборе сопящих и храпящих звуков, которыми мистер Панкс выразил свое удивление и свой протест, что никому не пришло бы в голову усомниться в его искренности.

— Он стар! — кричал Панкс.— Нет, вы слышали что-либо подобное! Стар! Как вам это понравится!

Эти выкрики вперемежку с возмущенным фырканьем столь красноречиво свидетельствовали об отказе мистера Панкса хотя бы на мгновение допустить подобную мысль, что Артур не решился настаивать. Его даже обуял страх, как бы мистер Панкс не задохнулся в судорожных попытках одновременно выталкивать из себя воздух и втягивать в себя дым. Таким образом и вторая тема отпала; оставалось перейти к третьей.

— Стар ли я, молод ли, в средних ли годах,— сказал он, воспользовавшись короткой паузой,— я нахожусь в очень трудном и двусмысленном положении, Панкс,— настолько, что даже сомневаюсь, могу ли считать своим то,

что, казалось бы, принадлежит мне по праву. Посвятить вас в свои сомнения? Рассказать вам, в чем дело?

— Расскажите, сэр,— сказал Панкс,— если доверяете мне.

— Доверяю.

— И не напрасно.— В подкрепление этого краткого, но выразительного ответа, Панкс стремительно протянул свою черную, как у угольщика, руку, и Артур горячо пожал ее.

И вот, смягчая характер своих тревог, насколько это можно было сделать не в ущерб ясности рассказа, и заменив прямое упоминание о матери расплывчатой ссылкой на какую-то «родственницу», он в общих чертах поведал Панксу историю томивших его подозрений, а также рассказал о встрече, свидетелем которой был не так давно. Рассказ настолько заинтересовал мистера Панкса, что он даже позабыл о радостях, таящихся в азиатском чубуке, и, довольно небрежно ткнув его в каминную решетку рядом с щипцами и совком, принялся яростно закручивать во все стороны свои проволочные вихры, что в конце концов сделало его похожим на балаганного Гамлета в сцене с призраком отца.

— Вот видите, сэр,— воскликнул он, хлопнув Кленнэма по коленке, так что тот даже вздрогнул от неожиданности,— опять же приходится вспомнить наш разговор о помещении капиталов! Уж я не касаюсь того, что вам угодно стать нищим ради исправления зла, в котором вы не повинны. Это на вас похоже. Каков человек, таковы и его поступки. Но вы опасаетесь, что нужны будут деньги для спасения близких вам людей от стыда и бесчестья — так старайтесь же приобрести побольше денег!

Артур покачал головой, не сводя, однако, задумчивого взгляда со своего собеседника.

— Старайтесь разбогатеть, сэр,— взывал Панкс с настойчивостью, придававшей его словам силу заклинания.— Старайтесь разбогатеть, насколько это возможно честным путем. Это ваш долг, сэр. Не ради себя, ради других. Ловите момент. От вас зависит благополучие бедного мистера Дойса (он-то и впрямь уже не молод). От вас зависит благополучие вашей родственницы. Да мало ли что еще от вас зависит.

— Ну полно, полно! — сказал Артур.— На сегодня довольно.

— Еще одно слово, мистер Кленнэм,— возразил Панкс,— и уж тогда довольно. Почему вся нажива должна доставаться разным хапугам, плутам и мошенникам? Почему вся нажива должна доставаться моему хозяину и ему подобным? А ведь так оно всегда и выходит, из-за вас. Не из-за вас лично, а из-за таких, как вы. Вы сами знаете, что я прав. А я вижу это каждый день, каждый час. Ничего другого я не вижу в жизни. Моя обязанность состоит в том, чтобы видеть это. Потому я и говорю вам,— добавил Панкс внушительно.— Вступайте в игру и выигрывайте!

— А что, если я вступлю и проиграю? — сказал Артур.

— Не может этого быть, сэр,— возразил Панкс.— Я все подробно изучил. Имя, с которым везде считаются,— неограниченные возможности — колоссальный капитал — твердое положение — высокие связи — поддержка в правительстве. Нет, не может быть.

Изложив эти заключительные соображения, мистер Панкс мало-помалу угомонился: оставил свои волосы в покое — в той мере, в какой им вообще было свойственно упомянутое состояние; взял трубку с каминной решетки, заново набил ее и раскурил. После этого друзья больше молчали; но разговор продолжался без слов, поскольку одни и те же мысли занимали обоих, и было уже около полуночи, когда мистер Панкс встал, чтобы распрощаться. Пожав Кленнэму руку, он обошел его кругом и только тогда с пыхтеньем выкатился из комнаты. Артур истолковал это как заверение в полной готовности мистера Панкса прийти ему на помощь, когда бы ни понадобилось — в тех ли делах, о которых была речь в этот вечер, или в любых других.

Весь следующий день, чем бы Кленнэм ни занимался, известие, что мистер Панкс поместил свою тысячу фунтов в предприятия Мердла, и слова «я все подробно изучил» не шли у него из памяти. Он думал о том, с каким увлечением мистер Панкс относится к этому делу, хоть вообще его увлекающейся натурой не назовешь. Он думал о Великом Государственном Учреждении и о том, как хорошо было бы упрочить благосостояние Дойса. Он думал о мрачном и зловещем доме, где протекло его детство и юность,

и о тени, которая нависла над этим домом, делая его еще более зловещим и мрачным, чем в старину. Он вновь и вновь отмечал, что куда бы он ни подался, везде в глаза, в уши, в мысли назойливо лезло знаменитое имя Мердл: он часу не мог провести за своей конторкой, чтоб это имя не напомнило о себе через то или иное из его внешних чувств. И ему уже казалось странным, что это все заполонившее имя ни у кого, видимо, не вызывает недоверия, кроме как у него. А впрочем, если рассудить, так и он никакого недоверия не испытывает; просто до сих пор ему до всего этого как-то не было дела.

Подобные симптомы, в дни, когда свирепствует эпидемия, обычно служат признаком начала болезни.

ГЛАВА XIV

Советы

Когда британцы, проживающие над желтыми водами Тибра, узнали, что их выдающийся соотечественник мистер Спарклер стал одним из правителей Министерства Волокиты, это взволновало их не больше, чем любое другое событие — происшествие или несчастный случай,— упомянутое на страницах английских газет. Одни смеялись; другие в виде оправдания ссылались на то, что пост, о котором идет речь,— чистейшая синекура и любой дурак, умеющий подписать свое имя, для него сгодится; третьи с важностью политических оракулов изрекали, что Децимус укрепляет свои позиции, и правильно делает; в конце концов для того и существуют в ведомстве Децимуса различные посты, чтобы, раздавая их, Децимус укреплял свои позиции. Нашлось несколько желчных британцев, не пожелавших признать это положение, но возражали они только на словах — на деле же выказали полнейшее безразличие, считая, что это их не касается, а касается каких-то других британцев, неизвестно где обретающихся. Да и в самой Англии целые сутки не умолкали голоса, с апломбом доказывающие, что эти невидимые и безыменные британцы «не должны молчать», а если они предпочитают покорно

мириться с подобным безобразием, то так им и надо. Но что это за непутевые британцы, и где они, горемыки, прячутся, и по какой причине прячутся, и почему так упорно не желают отстаивать свои интересы, заставляя такое множество соотечественников сокрушаться и возмущаться по этому поводу — оставалось совершенно неясным как над желтыми водами Тибра, так и над черными водами Темзы.

Миссис Мердл распространяла новость и принимала поздравления с небрежно томным видом, оттенявшим значительность события подобно тому, как оправа оттеняет игру бриллианта. Да, говорила она, Эдмунд принял назначение. Он его принял потому, что так пожелал мистер Мердл. Хотелось бы думать, что служба понравится Эдмунду, а впрочем, трудно сказать. Придется большую часть года проводить в городе, а Эдмунд любит деревню. Но как бы там ни было, это — положение, и притом недурное. Разумеется, тут имелись в виду прежде всего заслуги мистера Мердла, но это не плохо для Эдмунда, если служба ему понравится. Все-таки он будет при деле, и будет получать за это деньги. А время покажет, подходит ли ему министерство больше, чем армия.

Так Бюст изощрялся в давно изученном искусстве: притворным равнодушием к предмету подогревать общий интерес к нему. А тем временем обойденный Децимусом Генри Гоуэн ездил из дома в дом от Порта дель Пополо до Альбано и уверял всех своих многочисленных знакомых почти (хоть и не совсем) со слезами на глазах, что Спарклер — самый безобидный, самый простодушный и, в общем, самый славный осел, когда-либо пасшийся на общественном выгоне; и что он (Гоуэн) так рад назначению его (осла) на высокий пост, что разве только собственному назначению мог бы радоваться больше. Спарклер просто создан для этого поста. Ничего не делать он сумеет; получать солидное жалованье — тем более. Словом, это отличный выбор, верный, разумный, превосходный во всех отношениях; он (Гоуэн) даже почти не в обиде, что знатная родня забыла про него — пусть! зато этот милый осленок, которого он искренне любит, пристроен в уютное стойло. Великодушие мистера Гоуэна этим не ограничилось. Он никогда не упускал удобного случая привлечь к мистеру

Спарклеру внимание общества; правда, по большей части это оказывалось не к пользе упомянутого молодого джентльмена, выглядевшего перед всеми дурак дураком — но в добрых намерениях его друга сомневаться не приходилось.

Если у кого-нибудь и возникали такие сомнения, то лишь у предмета нежных чувств мистера Спарклера. Мисс Фанни находилась теперь в довольно затруднительном положении; чувства мистера Спарклера ни для кого не составляли секрета, а она, хоть и жестоко терзала его своими капризами, все же не отвергала его бесповоротно. Имена их достаточно часто упоминались рядом, чтобы мисс Фанни могла счесть себя задетой, когда мистер Спарклер уж вовсе становился посмешищем для людей; а потому она иной раз выручала своего незадачливого поклонника, давая отпор Гоуэну с бойкостью, которой в ней было хоть отбавляй. Но в то же время она стыдилась его, не знала, гнать ли его, или поощрять, сознавала, что дело с каждым днем все больше запутывается, и мучилась подозрением, что миссис Мердл, видя все это, втайне торжествует. При таком смятении чувств и мыслей не удивительно, что после одного музыкального вечера у миссис Мердл мисс Фанни вернулась домой крайне взволнованная, уселась за туалетный столик в тщетных попытках расплакаться и, сердито оттолкнув сестру, старавшуюся ее успокоить, объявила, что всех ненавидит и хотела бы умереть.

— Фанни, милочка, что случилось? Прошу тебя, расскажи мне.

— Ах ты крот несчастный! — воскликнула Фанни.— Ведь не будь ты слепа, как крот, ты бы не спрашивала, что случилось! Не знаю, зачем тебе глаза, когда ты ничего не видишь, что вокруг тебя делается!

— Что-нибудь с мистером Спарклером, милочка?

— С ми-сте-ром Спарк-ле-ром! — повторила Фанни тоном величайшего презрения, словно во всей солнечной системе не было предмета более далекого от ее мыслей.— Нет-с, мисс Летучая Мышка, не угадали!

Но, разбранив сестру, она тут же пожалела об этом и, всхлипывая, принялась твердить, что она сама знает, какая она злая и гадкая, но что же делать, если ее до этого довели.

— Уж не больна ли ты, милая Фанни?

— Вздор и чепуха! — отрезала строптивая девица, снова рассердившись.— Я так же здорова, как и ты. А то и здоровей, не в обиду тебе будь сказано.

Бедная Крошка Доррит, видя, что любые ее ласковые увещания только подливают масла в огонь, сочла за благо умолкнуть. Сначала Фанни и этим была недовольна: плохо иметь сестру, которая докучает тебе вопросами, пожаловалась она зеркалу на туалетном столике, но еще хуже иметь сестру, от которой слова не услышишь. Она, Фанни, отлично знает, что ей подчас трудно совладать со своим характером, что она временами становится совершенно несносной; и когда она становится совершенно несносной, лучше всего так прямо ей и сказать; но поскольку бог наградил ее сестрой-молчальницей, то ей никогда так не говорят, вот и выходит, что ее попросту подбивают, даже вынуждают быть несносной. Кроме того (сердито заметила она зеркалу), ей вовсе не нужно, чтобы ее прощали. Это даже не к лицу старшей сестре, постоянно просить прощения у младшей! Так вот подите же — хочет она того или нет, а ее все время коварно ставят в такое положение, что она должна это делать. В конце концов Фанни разразилась бурными рыданиями, а когда сестра стала утешать ее, объявила: — Эми, ты ангел!

— Одно только я тебе скажу, моя душенька,— заметила Фанни, когда ласки и уговоры сестры возымели свое действие.— Так дальше продолжаться не может, должен быть какой-то конец, в ту или иную сторону.

Ввиду того, что это заявление, хотя и весьма категорическое, страдало некоторой расплывчатостью, Крошка Доррит предложила:

— Давай поговорим об этом.

— Охотно, милочка,— согласилась Фанни, вытирая слезы.— Поговорим. Я уже вполне успокоилась и готова выслушать твой совет. Ведь ты не откажешь мне в совете, моя милая сестренка?

Даже Эми не удержалась от улыбки, услыхав такие слова, но, однако, поспешила ответить:

— Разумеется, Фанни, не знаю только, смогу ли я.

— Благодарю, душенька,— сказала Фанни, обнимая ее.— Ты мой якорь спасения.

Горячо поцеловав упомянутый якорь, Фанни взяла со столика флакон с туалетной водой и приказала горничной подать батистовый платочек. После этого она отпустила горничную спать и приготовилась внимать советам, время от времени освежая лоб и веки туалетной водой.

— Сокровище мое,— начала Фанни,— мы с тобой настолько различны по характеру и по взглядам (поцелуй меня еще разочек, душенька!), что я не удивлюсь, если тебе покажется странным то, что я хочу сказать. А хочу я сказать вот что: несмотря на все наше богатство, милая Эми, нам приходится, в смысле светской жизни, плыть против течения. Ты меня не совсем понимаешь, дружок?

— Я уверена, что пойму, когда послушаю еще немножко,— кротко отвечала Эми.

— Я говорю о том, милочка, что мы все-таки пришлецы в высшем обществе.

— Глядя на тебя, Фанни,— возразила Крошка Доррит, исполненная неподдельного восхищения,— никто этого не подумает.

— Ну, может быть, ты и права, душенька,— сказала Фанни,— во всяком случае, с твоей стороны очень мило и великодушно так говорить, мой ангел.— Она смочила сестре лоб туалетной водой, а затем слегка подула на него.— Впрочем, всем известно, что другого такого золотого сердечка не найти на свете. Но вернемся к делу, милочка. У нашего папы и манеры и воспитание настоящего джентльмена, однако чем-то он чуть-чуть отличается от других джентльменов такого же положения. Отчасти тут сказываются все несчастья, перенесенные бедняжкой, а отчасти, пожалуй, и то, что, с кем бы он ни говорил, ему все кажется, будто собеседник знает его прошлое и думает об этом. Что же касается дяди, так он вовсе не презентабелен. Я нежно люблю этого доброго старичка, но в обществе ему решительно нельзя появляться. Эдвард — ужасный мот и кутила. Не хочу сказать, что такой образ жизни недостоин джентльмена — напротив! — но он это делает без настоящего уменья, и приобретенная им репутация шалопая не стоит, если можно так выразиться, тех денег, которые ради нее тратятся.

— Бедный Эдвард! — вздохнула Крошка Доррит, вложив в этот вздох всю историю семьи.

— И бедная Эми, и бедная Фанни тоже! — с запальчивостью подхватила старшая сестра.— Еще бы! Если к тому же вспомнить, что у нас нет матери, но зато имеется миссис Дженерал! А она из тех кошек, которым, вопреки пословице, перчатки не мешают ловить мышей. Даю голову на отсечение, что эта женщина будет нашей мачехой.

— Мне, право, не верится, Фанни...

Но Фанни не дала ей договорить.

— Пожалуйста, не спорь со мной,— сказала она.— Я лучше знаю.— И чтобы загладить резкость своего тона, Фанни снова принялась смачивать сестре лоб и дуть на него.— Но мы опять уклонились, милочка. Вопрос, стало быть, вот в чем: не следует ли мне (ты знаешь, что я горда и своенравна, Эми; пожалуй, даже слишком) — не следует ли мне взять на себя обязанность упрочить положение семьи?

— Каким образом? — с тревогой спросила Крошка Доррит.

— Я не потерплю,— продолжала Фанни, оставив ее вопрос без ответа,— чтобы миссис Дженерал разыгрывала со мною маменьку; я также ни при каких условиях не потерплю, чтобы миссис Мердл оказывала мне покровительство или помыкала мной.

Младшая сестра, тревога которой все росла, взяла старшую за руку, державшую флакон с туалетной водой. Фанни, с ожесточением тыча себя в лоб платком, взволнованно продолжала:

— Никто не может отрицать, что тем или иным путем (совершенно неважно, каким) он теперь достиг отличного положения. Никто не может отрицать, что он принадлежит к самым высоким кругам общества. А что касается ума, так, право, я не уверена, что мне нужен умный муж. Я не умею подчиняться. Я никогда не могла бы признать чье-то превосходство над собой.

— Фанни, милая Фанни! — воскликнула Крошка Доррит, с ужасом начиная понимать, к чему клонит сестра.— Если бы ты кого-нибудь любила, у тебя не было бы таких мыслей. Если бы ты кого-нибудь любила, ты бы забывала о себе, ты бы только о нем и думала, только им и жила. Если бы ты любила, Фанни...

Фанни отняла платок от лба и внимательно посмотрела на сестру.

— Вот как! — воскликнула она.— Скажите пожалуйста! И откуда это некоторые особы так хорошо разбираются в некоторых вещах? Говорят, у каждого есть свой конек, уж не напала ли я случайно на твоего? Ну, ну, я пошутила, котеночек.— Она потянулась с платком ко лбу сестры.— А ты не будь глупенькой, моя малышка, и не говори красивых и возвышенных слов о том, чего не может быть. Ладно! Вернемся к нашему разговору.

— Дорогая Фанни, прежде позволь мне сказать, что для меня было бы легче снова терпеть нужду и трудиться ради куска хлеба, чем знать, что ты живешь в богатстве замужем за мистером Спарклером.

— Позволить тебе сказать, душенька? — возразила Фанни.— Конечно же, ты можешь говорить все что угодно. Надеюсь, тебе не кажется, что тебя принуждают к чему-то. Мы ведь решили все обсудить и обо всем потолковать. Что же до мистера Спарклера, милочка, то я ведь сегодня еще не выхожу за него, и завтра тоже нет.

— Но когда-нибудь выйдешь?

— Пока не собираюсь,— равнодушно отвечала Фанни. И тут же ее равнодушие сменилось почти лихорадочным беспокойством, и она добавила: — Вот ты все говоришь об умных людях, малышка. На словах это очень хорошо получается, да где они, твои умные люди? Я что-то их не вижу около себя.

— Милая Фанни, за такой короткий срок...

— Короткий или долгий, не все ли равно,— перебила Фанни.— Мне надоело находиться в каком-то двусмысленном положении. Меня это положение злит, и я уже почти решила изменить его. Других девушек, которые иначе росли и воспитывались, мои слова и поступки, пожалуй, удивили бы. Что ж, пусть удивляются. У них свой путь, сообразный с их характером и привычками; у меня свой.

— Фанни, милая Фанни, ты знаешь сама, что достойна не такого мужа, как мистер Спарклер.

— Эми, милая Эми,— передразнила старшая сестра,— я прежде всего знаю, что мне требуется более твердое и определенное положение, чтобы я могла сбить спесь с этой наглой женщины.

— Так неужели — прости меня за такой вопрос,

Фанни, неужели ради этого ты решишься выйти замуж за ее сына?

— Может быть,— с торжествующей улыбкой сказала Фанни.— Приходится и на большее решаться, когда хочешь достигнуть цели, душа моя. Чего доброго, эта нахалка воображает, что женит на мне своего сынка и потом начнет командовать мною. Ей, видно, и в голову не приходит, что ее ждет, если я стану ее невесткой. Уж тут я ей спуску не дам. Буду во всем поступать ей наперекор, не отстану от нее ни на шаг. Весь смысл моей жизни будет в этом.

Фанни встала, водворила на место флакон и принялась расхаживать по комнате, но то и дело останавливалась, чтобы продолжить свою речь.

— Начать с того, дитя мое, что я могу сделать ее старше. И сделаю.

Она снова прошлась из угла в угол.

— Я буду говорить о ней, как о старухе. Выспрошу у Эдмунда, сколько ей лет, а нет, так просто сделаю вид, что мне это известно. И самым нежным и почтительным тоном — самым нежным и почтительным, Эми,— буду восхищаться, как она хорошо сохранилась для своего возраста. Да она от одной моей молодости сразу покажется старше. Может быть, я не такая красавица, как она; не мне судить об этом; но я достаточно хороша, чтобы отравить ей существование. И отравлю.

— Сестрица, милая, неужели для этого стоит обречь себя на жизнь без счастья?

— Почему же без счастья, Эми? Это именно такая жизнь, какой я ищу. По природной ли склонности, или под влиянием обстоятельств, роли не играет. Мне такая жизнь нравится, и я не ищу другой.

Нотка горечи слышалась в тоне, которым это было сказано; но она с горделивой усмешкой снова прошлась по комнате, задержалась на миг перед высоким трюмо и затем продолжала:

— Фигура? Фигура, Эми? Да, фигура у ней хороша. Отдадим ей должное и признаем это. Но так ли уж хороша, что никто не может сравниться с ней? Право, я в этом вовсе не уверена, мой свет. Предоставьте кой-кому помоложе такую свободу в выборе туалетов, какой пользуются замужние дамы,— и тогда посмотрим.

Эта мысль настолько понравилась Фанни, что она сразу повеселела. Усевшись на прежнее место, она взяла руки сестры в свои и, похлопывая одной о другую, воскликнула со смехом:

— А танцовщица, Эми, та давно забытая танцовщица, которая была совсем непохожа на меня и о которой я ей никогда не напоминаю — еще бы! — вдруг бы эта танцовщица ворвалась в ее жизнь и закружила ее в таком танце, от которого бы немножко порастряслось ее беломраморное нахальство! Совсем немножко, милая Эми, самую малость.

Но, поймав взгляд сестры, серьезный и молящий, она отпустила ее руки и ладонью закрыла ей рот.

— Не пытайся спорить со мной, дитя,— сказала она, перестав смеяться,— это все равно ни к чему не поведет. В таких делах я смыслю побольше твоего. Пока я еще никакого решения не приняла, но могу принять и такое. Ну, а теперь, когда мы хорошо и спокойно обо всем поговорили, пора спать. Доброй ночи, моя миленькая, маленькая мышка!

И Фанни снялась с якоря, должно быть рассудив, что с нее довольно уж советов — на сегодня во всяком случае.

После этого вечера отношения между сестрой и ее верным поклонником приобрели для Эми новый интерес, и она с тревогой и вниманием присматривалась ко всему, что происходило между ними. Бывали дни, когда Фанни, видимо, становилось невмоготу от скудоумия мистера Спарклера; она всячески шпыняла его, и казалось, готова была прогнать навсегда. В другие дни она относилась к нему более благосклонно, даже словно бы забавлялась им, находя утешение в чувстве собственного превосходства. Не будь мистер Спарклер самым преданным и безропотным вздыхателем на свете, ему бы следовало бежать без оглядки с арены пыток и позаботиться о том, чтобы между ним и его очаровательницей легло расстояние не короче, чем от Рима до Лондона. Но он так же мало зависел от собственной воли, как лодка, которую ведет паровой буксир, и покорно влекся за своею владычицей в штиль и в непогоду.

Миссис Мердл в эту пору редко беседовала с Фанни, но значительно чаще беседовала о ней. Словно бы помимо своего желания она то и дело наводила лорнет на старшую мисс Доррит, и с уст ее срывались невольные похвалы

красоте последней. Выражение вызова, неизменно появлявшееся на лице Фанни, когда эти похвалы достигали ее ушей (а каким-то образом они всегда их достигали), не обещало беспристрастному Бюсту никаких уступок с ее стороны; но все, что Бюст разрешал себе в отместку, это заметить вслух: «Красавица избалована — впрочем, при такой наружности это в порядке вещей».

Прошел месяц или два после описанной выше беседы между сестрами, и Крошка Доррит стала замечать, что у Фанни с мистером Спарклером словно бы завелся какой-то тайный уговор. Прежде чем раскрыть рот в обществе, мистер Спарклер теперь всякий раз оглядывался на Фанни, как бы спрашивая разрешения. Упомянутая девица была чересчур осторожна, чтобы ответить взглядом же; но если она желала дать разрешение, то молчала, если нет, затевала разговор сама. Однако это еще не все: когда мистер Генри Гоуэн, исполненный дружеской заботы, искал случая привлечь к мистеру Спарклеру внимание общества, случая не находилось. Более того: Фанни тотчас же (разумеется, никого не желая задеть) роняла какое-нибудь замечание, снабженное таким острым жалом, что мистер Гоуэн отскакивал, точно угодив рукой в осиное гнездо.

Было и еще одно обстоятельство, незначительное само по себе, однако в большой мере подкреплявшее тревожные догадки Крошки Доррит. Появилось нечто новое в отношении мистера Спарклера к ней самой. Какая-то родственная фамильярность. Порой, затерявшись в толпе гостей — дома, у миссис Мердл или еще где-нибудь,— она чувствовала, как рука мистера Спарклера украдкой поддерживает ее за талию. Мистер Спарклер ни разу не пробовал объяснить, чем вызвано подобное внимание; но улыбался с дурацким, хоть и добродушным самодовольством собственника, и для всякого, кто знал неповоротливость его ума, эта улыбка была зловеще красноречивой.

Как-то раз Крошка Доррит сидела одна, погруженная в невеселое раздумье о Фанни и ее судьбе. Парадные апартаменты их дома заканчивались небольшой гостиной, которая представляла собой нависший над улицей фонарь прихотливой формы, откуда открывался живописный вид на Корсо в обе стороны. Часа в три-четыре пополудни (по английскому времени) картина уличной жизни, которую

можно было наблюдать отсюда, становилась особенно пестрой и оживленной; и Крошка Доррит любила сидеть здесь наедине со своими думами, так же, как бывало на балконе их венецианского дворца. Однако на этот раз уединение ее было вскоре нарушено; чья-то рука мягко легла на ее плечо, и Фанни, со словами: «Эми, душенька моя», уселась рядом. Диванчик, на котором они сидели, составлял часть подоконника; в праздничные дни из этого окна вывешивали полосы цветной материи, и сестры, облокотясь на яркую ткань, смотрели на уличные процессии и другие зрелища. Но сегодня никаких процессий не предполагалось, и Крошку Доррит удивило появление Фанни, тем более что в этот час она обычно ездила кататься верхом.

— Эми, душенька моя,— сказала Фанни,— о чем это ты так глубоко задумалась?

— Я думала о тебе, Фанни.

— В самом деле? Какое совпадение! А кстати, со мной тут еще кто-то. Уж не думала ли ты и о нем тоже, Эми?

Эми и в самом деле думала о нем тоже, ибо то был не кто иной, как мистер Спарклер. Но она умолчала об этом, подавая ему руку. Мистер Спарклер уселся рядом с другой стороны, и она тотчас же ощутила за спиной родственную подпорку, тянувшуюся к Фанни, чтобы заодно подпереть и ее.

— Ну, сестренка,— со вздохом сказала Фанни,— я думаю, ты понимаешь, что все это значит.

— Такая красавица, и без всяких там фиглей-миглей,— забормотал мистер Спарклер,— как тут не потерять голову — в общем дело слажено...

— Объяснять не нужно, Эдмунд,— сказала Фанни.

— Не буду, любовь моя,— согласился мистер Спарклер.

— Одним словом, милочка, мы помолвлены,— продолжала Фанни.— Остается сказать об этом папе — сегодня или завтра, когда будет удобно. А тогда можно считать вопрос решенным и толковать больше не о чем.

— Дорогая Фанни,— почтительно сказал мистер Спарклер,— я хотел бы сказать два слова Эми.

— Ну, говорите, говорите,— был нетерпеливый ответ.

— Я глубоко убежден, милая Эми,— начал мистер Спарклер,— что после вашей очаровательной и несравнен-

ной сестры, вы самая славная девушка на свете, и без всяких там...

— Это мы уже знаем, Эдмунд,— перебила мисс Фанни.— Скажите что-нибудь другое — если можете.

— Хорошо, любовь моя,— отвечал мистер Спарклер.— И я вас уверяю, Эми, что не мыслю для себя лично большего счастья — если не считать того счастья, которое мне доставила своим выбором такая прелестная девушка, и совершенно без...

— Эдмунд, опять! — воскликнула Фанни, слегка притопнув своей хорошенькой ножкой.

— Совершенно справедливо, любовь моя,— сказал мистер Спарклер.— Никак не избавлюсь от этой привычки. Так вот я хотел заметить, что не мыслю для себя лично большего счастья — если не считать счастья быть связанным вечными узами с прелестнейшей из прелестных,— чем счастье пользоваться дружеским расположением Эми. Я, может быть, и не во всем достаточно тонко разбираюсь,— мужественно признал мистер Спарклер,— и если вы пожелаете узнать мнение общества на этот счет, так, пожалуй, большинство выскажется именно в этом смысле; но что касается Эми, тут уж я разобрался!

И мистер Спарклер подкрепил свои слова братским поцелуем.

— Прибор за нашим столом и комната в нашем доме,— продолжал мистер Спарклер, блистая совершенно непривычным для него красноречием,— будут ожидать Эми в любое время. Мой старик безусловно рад будет оказать гостеприимство особе, к которой я отношусь с таким уважением. Что до моей родительницы, так она замечательная женщина, и без...

— Эдмунд, Эдмунд! — прикрикнула мисс Фанни.

— Виноват, мой ангел,— сокрушенно отозвался мистер Спарклер.— Никак не избавлюсь от привычки. Очень вам признателен, моя прелесть, что вы даете себе труд отучать меня; но мою родительницу все считают замечательной женщиной, и, честное слово, в ней совершенно нет этого самого.

— Есть ли, нет ли,— возразила Фанни,— я решительно прошу вас больше не упоминать об этом.

— Обещаю, любовь моя,— отвечал мистер Спарклер.

— Вы уже все сказали, Эдмунд, не правда ли? — спросила Фанни.

— Все, моя прелесть,— подтвердил мистер Спарклер.— Я сказал даже больше, чем хотел, за что прошу прощенья.

Тут мистера Эдмунда осенила догадка, что в словах Фанни заключался намек на то, что ему пора уходить. Поэтому он убрал подпорку и весьма недвусмысленно выразил свое намерение откланяться. Эми на прощанье поздравила его, с трудом преодолевая душившее ее волнение.

Как только дверь за ним затворилась, она бросилась сестре на грудь и с возгласом «О Фанни, Фанни!» дала волю слезам. Фанни сперва только смеялась в ответ; но потом прижалась щекой к щеке сестры и тоже поплакала — немножко. Если и жило в ней тайное сожаление или раскаяние в сделанном, то это в последний раз она дала ему вырваться наружу. Решение было принято, и с этой минуты она твердой, уверенной поступью шла по избранному пути.

ГЛАВА XV

К браку упомянутых особ никаких законных помех и препятствий не имеется

Сообщение своей старшей дочери о том, что мистер Спарклер предложил ей руку и сердце и что она ответила согласием, мистер Доррит принял с большим достоинством и с родительской гордостью, которую он не пытался скрыть; первое расцветало в предвидении обширного круга знакомств, сулимых подобным союзом, для второй же отрадно было внимание мисс Фанни к тому, что составляло главный смысл его жизни. Он дал ей понять, что ее благородное честолюбие встречает созвучный отклик в его душе, и благословил ее, как дочь добронравную и послушную долгу, самоотверженно пекущуюся о славе семьи.

Мистеру Спарклеру, когда тот получил от своей нареченной позволение явиться в дом, мистер Доррит сказал, что весьма польщен его предложением, к которому относится как нельзя более сочувственно, ибо оно, во-первых,

отвечает сердечной склонности его дочери Фанни, а во-вторых, представляет ему счастливую возможность породниться с мистером Мердлом, самой выдающейся личностью нашего времени. Он также в изысканнейших выражениях упомянул о миссис Мердл, назвав ее истинным образцом красоты, грации и светских совершенств. Однако он счел своей обязанностью заметить (в надежде, что джентльмен столь тонкого ума, как мистер Спарклер, поймет его надлежащим образом), что не может считать этот вопрос решенным до того, как будет иметь удовольствие войти в письменное сношение с мистером Мердлом и убедиться в том, что предполагаемый союз пользуется одобрением этого высокоуважаемого джентльмена, и что его (мистера Доррита) дочь будет принята соответственно своему положению, размерам приданого, а также видам на будущее, и займет в Высшем Свете такое место, какого он, отец, вправе желать для нее без риска прослыть меркантильным. Но, сделав эту оговорку, которой требует его родительский долг, а также некоторое, хоть и скромное положение, занимаемое им в обществе, он без всякой дипломатии хочет сказать, что впредь до окончательного и, как он надеется, благоприятного исхода дела, считает предложение мистера Спарклера условно принятым и благодарит за честь, оказанную ему и его семейству. К этому он добавил еще несколько общих замечаний относительно своего положения — кха — независимого джентльмена и — кхм — быть может, несколько ослепленного любовью отца. Короче говоря, он принял предложение мистера Спарклера почти совершенно так, как в давно минувшие времена принял бы от него две или три полукроны.

Мистер Спарклер, слегка обалдев от этого словоизвержения, обрушившегося на его беззащитную голову, отвечал кратко, но выразительно: он, мол, давно уже разглядел, что мисс Фанни — девица без всяких там фиглей-миглей, а что касается старика, так тот наверняка даст согласие. Тут, однако, владычица его дум захлопнула его, как табакерку с крышкой на пружине, и выпроводила вон.

Когда мистер Доррит вскоре после этого отправился засвидетельствовать свое почтение Бюсту, ему был оказан самый почетный прием. Миссис Мердл уже знала обо всем от Эдмунда. Поначалу новость несколько удивила ее, так

как она считала Эдмунда убежденным холостяком. Общество всегда считало Эдмунда убежденным холостяком. Вместе с тем от нее, разумеется, не укрылось (у нас, у женщин, чутье на такие вещи, мистер Доррит!) то глубокое впечатление, которое произвела на Эдмунда мисс Доррит; положительно следует от имени Общества предъявить мистеру Дорриту претензию: зачем он привез сюда столь обворожительную девушку, которая сводит с ума всех своих соотечественников в Риме!

— Смею ли я заключить, сударыня,— сказал мистер Доррит,— что выбор, сделанный мистером Спарклером — кха — заслужил ваше одобрение?

— Поверьте, мистер Доррит,— отвечала его собеседница,— лично я просто в восторге.

Мистер Доррит был счастлив это слышать.

— Лично я,— повторила миссис Мердл,— в восторге.

Это «лично я», невзначай повторенное дважды, побудило мистера Доррита высказать надежду, что мистер Мердл также отнесется к делу благосклонно.

— Я не решилась бы,— возразила миссис Мердл,— давать положительный ответ за мистера Мердла; мужчины, в особенности те, кого в Обществе принято называть капиталистами, смотрят на такие вещи по-своему. Но я склонна предполагать — разумеется, это всего лишь мое предположение, мистер Доррит! — что и мистер Мердл также...— сделав паузу, она окинула взглядом собственную особу, после чего договорила: — будет в восторге.

При словах, «те, кого в обществе принято называть капиталистами», мистер Доррит кашлянул, словно бы ощутив какое-то неудобство внутри. Миссис Мердл заметила это и тотчас же спохватилась.

— Собственно говоря, об этом можно было бы и не упоминать, мистер Доррит; я просто высказала вслух свою мысль, что вполне естественно в разговоре с человеком, которого я так высоко ценю и с которым льщу себя надеждой оказаться в родственных отношениях. Надо полагать, ваши взгляды совпадают со взглядами мистера Мердла — хотя, правда, коммерческая деятельность, которой, к счастью или к несчастью, пришлось посвятить себя мистеру Мердлу, при всем ее размахе, пожалуй, несколько ограничивает его кругозор. Я настоящий младенец во всем, что

касается коммерческой деятельности,— прибавила миссис Мердл,— но мне кажется, мистер Доррит, что таково ее неизбежное следствие.

Эта словесная игра, напоминавшая качанье на доске, концы которой попеременно взлетают вверх, уравновешивая друг друга, оказалась для мистера Доррита отличным средством против кашля. С отменной учтивостью он заметил, что не может согласиться с высказанным мнением,— хоть оно и исходит из уст миссис Мердл, совершенства ума и красоты (за комплимент он был вознагражден грациозным поклоном),— ибо глубоко убежден, что предприятия мистера Мердла, перед которыми дела других людей кажутся мышиной возней, могут лишь способствовать свободному полету породившего их гения.

— Вы — воплощенное великодушие,— сказала в ответ миссис Мердл, с одной из самых своих подкупающих улыбок,— будем надеяться, что вы правы. Но не скрою от вас, все, что относится к делам, внушает мне почти суеверный страх.

Мистер Доррит не преминул ввернуть еще один комплимент: дела, сказал он, как и время (которым так дорожат деловые люди), созданы для рабов, а миссис Мердл привыкла повелевать — зачем же ей о них думать? Миссис Мердл рассмеялась и сделала вид, будто Бюст залился краской смущения — один из ее коронных номеров.

— Я только потому заговорила об этом,— пояснила она,— что мистер Мердл всегда горячо интересовался судьбой Эдмунда и непременно желал обеспечить его будущее. Общественное положение Эдмунда вам известно. Что касается средств, то тут он во всем связан с мистером Мердлом. Будучи полной тупицей в деловых вопросах, я не могу вам сказать ничего больше.

Мистер Доррит снова поспешил выразиться в том смысле, что царицы и волшебницы не созданы для дел. Затем он упомянул о своем намерении, в качестве джентльмена и отца, обратиться к мистеру Мердлу с письмом. Миссис Мердл с большим чувством — или с большим искусством, что в данном случае было одно и то же,— приветствовала это намерение — и позаботилась сама со следующей же почтой отправить письмецо Восьмому чуду света.

В послании к мистеру Мердлу, как и во всех речах и беседах мистера Доррита, касавшихся великого вопроса, суть дела была окружена множеством словесных выкрутасов, подобных тем росчеркам и завитушкам, которыми учителя каллиграфии украшают свои тетрадки с прописями, где четыре действия арифметики изображены с помощью орлов, лебедей, грифонов и других порождений каллиграфической фантазии, а заглавные буквы теряют свой смысл и облик в разгуле чернильной оргии. Но за всем тем содержание письма было достаточно ясным, чтобы мистер Мердл мог притвориться, будто только из него узнал великую новость, и ответить мистеру Доррите в сообразном духе. Мистер Доррит ответил мистеру Мердлу; мистер Мердл ответил мистеру Дорриту; и в конце концов стало известно, что высокие договаривающиеся стороны пришли к желанному соглашению.

Теперь и только теперь на сцене появилась Фанни во всеоружии средств, соответствующих ее новой роли. Теперь и только теперь она засверкала столь ослепительно, что бедный мистер Спарклер совсем потерялся в блеске ее лучей; впрочем, это не имело значения, ибо она сверкала за двоих и даже за десятерых. Исчезло тягостное чувство неопределенности и двусмысленности, и стройный корабль на всех парусах понесся по намеченному курсу, плавно и величаво бороздя морскую гладь.

— Поскольку все сомнения выяснены и разрешены, душа моя,— сказал мистер Доррит,— пора, пожалуй — кха — довести до сведения миссис Дженерал...

— Папа,— перебила Фанни, услышав это имя,— а при чем тут, собственно, миссис Дженерал?

— Душа моя,— сказал мистер Доррит,— я полагаю, что долг вежливости по отношению к даме — кхм — столь тонкого воспитания и благородных чувств...

— Ах, папа, не хочу я больше слышать о тонком воспитании и благородных чувствах миссис Дженерал,— возразила Фанни.— Мне надоела миссис Дженерал.

— Надоела! — повторил мистер Доррит с укором и недоумением.— Надоела — кха — миссис Дженерал!

— Меня просто тошнит от нее, папа,— объявила Фанни.— И никакого ей нет дела до моего замужества.

Пусть думает о своих брачных планах, если они у нее имеются.

— Фанни! — произнес мистер Доррит строго и внушительно, в противовес легкому тону дочери.— Будь добра объяснить, что означают твои слова.

— Лишь только то, папа,— сказала Фанни,— что, если у миссис Дженерал имеются собственные брачные планы, едва ли ей есть время думать еще и о чужих. Если у нее таких планов нет, тем лучше; но так или иначе, я вовсе не жажду доводить что-либо до ее сведения.

— А могу я спросить, почему?

— Потому что она и сама догадается,— отрезала Фанни.— Она достаточно наблюдательна, как я не раз имела повод убедиться. Вот пусть и догадывается сама. В крайнем случае узнает в день свадьбы. И надеюсь, папа, вы не упрекнете меня в неуважении к вам, если я скажу, что ей совершенно незачем знать раньше.

— Фанни,— возразил мистер Доррит,— меня крайне удивляет, крайне возмущает эта — кха — беспричинная, вздорная враждебность по отношению к миссис — кхм — миссис Дженерал.

— О враждебности тут не может быть и речи, папа,— отозвалась Фанни.— Слишком много чести для миссис Дженерал.

Мистер Доррит встал с кресла и с достоинством выпрямился перед дочерью, устремив на нее грозный и негодующий взгляд. Но дочь, играя своим браслетом и то поднимая глаза на отца, то снова опуская их, заметила:

— Что ж, папа. Очень жаль, если вам это неприятно, но ничего не поделаешь. Я не ребенок, и я не Эми, а потому говорю вслух то, что думаю.

— Фанни,— после величественной паузы проговорил с усилием мистер Доррит.— Сейчас я приглашу сюда миссис Дженерал, чтобы довести до сведения этой — кха — почтеннейшей дамы, которую я рассматриваю, как — кхм — полноправного члена семьи, об ожидающемся событии. Прошу тебя остаться здесь и присутствовать при этом разговоре; впрочем — кха — не только прошу, но и — кхм — требую.

— Ах, папа,— воскликнула Фанни не без колкости,— если это так важно для вас, я, право, не смею ослушаться.

Но надеюсь, вы мне не запретите остаться при своем мнении, тем более что обстоятельства еще подкрепляют его.— И Фанни поджала губки со смирением, которое (поскольку крайности, как известно, сходятся) весьма смахивало на дерзость; а мистер Доррит, то ли не желая снизойти до ответа, то ли не зная, что отвечать, позвонил мистеру Тинклеру, и последний не замедлил предстать перед господские очи.

— Миссис Дженерал!

Мистер Тинклер не привык к подобной краткости, когда дело касалось прекрасной лакировщицы, и потому медлил. Мистер Доррит, усмотрев в этом промедлении память о Маршалси и о знаках внимания, тотчас же набросился на него.

— Что это значит, сэр? Как вы смеете!

— Прошу прощения, сэр,— пролепетал мистер Тинклер.— Я не совсем понял...

— Вы отлично все поняли, сэр,— закричал мистер Доррит, багровея от гнева.— Не притворяйтесь! Кха. Отлично все поняли. Вам угодно смеяться надо мной, сэр.

— Уверяю вас, сэр...— начал было мистер Тинклер.

— Не смейте меня уверять! — оборвал его мистер Доррит.— Я не намерен выслушивать уверения от лакея. Вы позволили себе смеяться надо мной. Я рассчитаю вас — кхм — я всю прислугу рассчитаю! Ну, чего вы ждете?

— Приказаний, сэр.

— Вздор. Приказания были отданы. Кха-кхм. Кланяйтесь миссис Дженерал и скажите, что я прошу ее на несколько минут пожаловать сюда, если это ей удобно. Вот все приказания.

Быть может, исполняя эту миссию, мистер Тинклер намекнул, что мистер Доррит находится в припадке крайнего раздражения. Так или иначе, очень скоро шуршание юбок в коридоре возвестило о том, что миссис Дженерал спешит — позволительно даже сказать, летит на зов. Впрочем, перед самой дверью юбки успокоились и вплыли в комнату неторопливо и степенно, как всегда.

— Миссис Дженерал,— сказал мистер Доррит,— прошу садиться.

Миссис Дженерал поблагодарила грациозным изгибом стана и опустилась в предложенное ей кресло.

— Сударыня,— продолжал мистер Доррит,— поскольку вы любезно взяли на себя задачу быть — кхм — другом и наставницей моих дочерей и поскольку я убежден, что все близко касающееся их для вас — кха — не безразлично...

— Без всякого сомнения,— ровным голосом отвечала миссис Дженерал.

— ...я хотел бы, сударыня, уведомить вас, что моя дочь, присутствующая здесь...

Миссис Дженерал слегка наклонила голову в сторону Фанни. Последняя ответила преувеличенно низким поклоном, и тотчас же снова надменно выпрямилась.

— ...что моя дочь Фанни — кхм — сделалась невестой знакомого вам мистера Спарклера. Таким образом, сударыня, ваши обременительные обязанности — кха — обременительные обязанности,— повторил мистер Доррит, кинув на Фанни сердитый взгляд,— сокращаются наполовину. Однако это, я полагаю, ни прямо, ни косвенно не должно — кхм — изменить то положение, которое вы так любезно соглашаетесь занимать в моем доме.

— Мистер Доррит,— возразила миссис Дженерал, взглянув на свои перчатки, неподвижно покоившиеся одна на другой,— как всегда великодушен и как всегда ценит мои дружеские услуги чересчур высоко.

(Мисс Фанни кашлянула, словно желая сказать: «Что верно, то верно».)

— Благоразумие, проявленное мисс Доррит в данных обстоятельствах, достойно всяческих похвал, и я надеюсь, она мне позволит принести ей свои искренние поздравления. Подобные события, если в них не замешано безрассудство страсти,— миссис Дженерал закрыла глаза, словно иначе не могла выговорить это слово,— если они согласуются с волей ближайших родственников и могут служить опорой величественному зданию семейного благополучия, по праву считаются событиями радостными. Надеюсь, мисс Доррит позволит мне принести ей свои поздравления.

Тут миссис Дженерал остановилась и для приведения своих черт в желаемый вид добавила про себя: «Папа, пчела, пломба, плющ и пудинг».

— Мистер Доррит,— снова начала она вслух,— как всегда, любезен сверх всякой меры; и я считаю своим приятным долгом поблагодарить за то внимание, или лучше

сказать, за ту честь, которую он и мисс Доррит оказали мне, заблаговременно сообщив о готовящемся событии. Моя благодарность, как и мои поздравления, относятся в равной степени к мистеру Дорриту и к мисс Доррит.

— Я просто счастлива все это слышать,— сказала мисс Фанни.— Вы не поверите, миссис Дженерал, какое облегчение я испытала, узнав, что вы не возражаете против моего замужества. Не знаю даже, что бы я стала делать, если бы у вас нашлись какие-нибудь возражения, миссис Дженерал.

Миссис Дженерал с плющ-пудинговой улыбкой переложила свои перчатки так, что теперь правая оказалась поверх левой.

— Само собою разумеется, миссис Дженерал,— продолжала Фанни, тоже с улыбкой, но без всяких следов плюща и пудинга,— главной заботой и целью моей семейной жизни будет сохранить ваше одобрительное отношение; само собою разумеется, утратить его было бы для меня величайшим несчастьем. Однако, если позволите — в чем я не сомневаюсь, зная вашу доброту,— и если позволит папа, мне хотелось бы исправить одну маленькую неточность, вкравшуюся в наш разговор. Лучшим из людей свойственно ошибаться, и даже вы, миссис Дженерал, не избегли некоторой ошибки. Вы так красиво, так проникновенно говорили об оказанном вам внимании и даже чести, как вам угодно было выразиться; к сожалению, я тут решительно ни при чем. Было бы неблаговидно с моей стороны приписывать себе блестящую мысль обратиться к вам за советом, когда на самом деле эта мысль принадлежала не мне. Папа один до этого додумался. Я вам премного обязана за вашу снисходительность и одобрение, но о них беспокоился папа, а не я. Как видите, миссис Дженерал, вам меня благодарить не за что; напротив, я должна благодарить вас, так как, любезно согласившись на мой брак, вы сняли большую тяжесть с моей души. Надеюсь и после замужества поступать всегда так, чтобы вы мною были довольны, миссис Дженерал, а своей сестре желаю как можно дольше наслаждаться вашими благодетельными заботами.

Окончив эту тираду, произнесенную медовым голосом, Фанни с обворожительной улыбкой покинула комнату — и тотчас же вне себя от злости бросилась наверх, ворва-

лась к сестре, обозвала ее сурком, хорошенько встряхнула, чтобы разогнать ее сон, рассказала ей обо всем происшедшем и выразила надежду, что теперь, наконец, она убедилась насчет папы.

С миссис Мердл Фанни себя держала весьма уверенно и независимо, но открытых военных действий пока не начинала. Случались порой небольшие столкновения: например, когда Фанни чудились покровительственные нотки в голосе будущей свекрови или когда упомянутая дама особенно хорошо и молодо выглядела; но миссис Мердл всегда быстро прекращала схватку, с томным безразличием откинувшись на подушки и устремив свое внимание на другой предмет. Общество (ибо и здесь, на Семи Холмах *, обитало это таинственное создание) находило, что помолвка пошла мисс Доррит на пользу. Она стала гораздо мягче в обращении с людьми, гораздо любезней и приветливей и гораздо менее придирчивой; и ее всегда окружала толпа поклонников, к несказанной ярости маменек с дочерьми на выданье, которые подняли знамя бунта против Общества, обвиняя его в потворстве творящемуся безобразию. А мисс Доррит, наслаждаясь вызванной ею смутой, не только сама парадировала по-прежнему в светских гостиных, но еще и мистера Спарклера заставляла парадировать вместе с собой, как бы говоря с подчеркнутым вызовом: «Если мне угодно влачить в цепях за своей триумфальной колесницей столь жалкого раба, это мое дело. Так я хочу, и этого довольно!» Что до мистера Спарклера, то он ни в какие рассуждения не вдавался; шел, куда его вели, делал, что ему приказывали, понимал, что успех его нареченной — самый легкий для него путь к успеху, и с удовольствием купался в отраженных лучах.

Меж тем зима подходила к концу и приближалась весна, а с нею необходимость для мистера Спарклера отбыть в Англию, дабы приступить к исполнению возложенной на него обязанности направлять и укреплять дух нации, ее науку, коммерцию, мысли и чувства. Страна Шекспира, Мильтона, Бэкона, Ньютона и Уатта, родина многих великих людей прошлого и настоящего, философов, естествоиспытателей, совершенствователей Природы и Искусства во всем их многообразии форм, взывала к мистеру Спарклеру, моля не дать ей погибнуть без его мудрого

руководства. Мистер Спарклер не мог остаться глухим к этому воплю потрясенного отечества, и объявил, что должен ехать.

Ввиду этого понадобилось незамедлительно решать, где, когда и как будет освящен союз мистера Спарклера с бесподобнейшей девицей без всяких там фиглей-миглей. После нескольких секретных и таинственных совещаний решение было принято, и мисс Фанни сама сообщила его сестре.

— Ну, дитя мое,— сказала она, входя однажды в комнату Эми,— приготовься услышать новость. Все только сейчас выяснилось, и я сразу поспешила к тебе.

— О чем ты, Фанни? Неужели о твоей свадьбе?

— Бесценное мое дитятко,— сказала Фанни,— не забегай вперед. Дай мне самой рассказать тебе все по порядку, торопыга ты этакая. А что касается твоего вопроса, то если толковать его буквально, я должна ответить «нет». Потому что речь идет не столько о моей свадьбе, сколько о свадьбе Эдмунда.

Крошка Доррит, судя по выражению ее лица, явно не улавливала этого тонкого различия.

— Мне спешить ни к чему,— продолжала Фанни.— Мой голос и мое присутствие нигде не требуется. Не мне, а Эдмунду нужно ехать в Англию. Но Эдмунд чуть не плачет при мысли о том, что поедет один. Да я и сама, признаться, не хотела бы отпускать его одного. Ведь где только можно сделать глупость (а случаев к тому предостаточно), он ее непременно сделает.

Высказав это беспристрастное мнение о положительности своего супруга, мисс Фанни с озабоченным видом сняла шляпку и принялась раскачивать ее на весу, чуть не задевая за пол.

— Так что сама видишь, дело тут больше в Эдмунде, чем во мне. Впрочем, это ясно само собой, и не стоит больше говорить об этом. Вот теперь и рассуди, душенька Эми. Коль скоро встает вопрос, можно ему ехать одному или нет, приходится решать и другой вопрос: обвенчаться ли нам немедля здесь, в Риме, или отложить свадьбу на несколько месяцев, до возвращения в Англию.

— Я вижу одно, Фанни: скоро я тебя потеряю.

— Ну что ты все забегаешь вперед, беспокойное ты

существо! — воскликнула Фанни полуласково, полусердито.— Прошу тебя, наберись терпения и выслушай меня. Эта женщина (речь шла, разумеется, о миссис Мердл) не собирается уезжать отсюда раньше пасхи; таким образом, если свадьба будет здесь и потом мы с Эдмундом отправимся в Лондон, я попаду туда раньше ее. Это дает мне преимущество, которым пренебрегать не следует. Теперь второе, Эми. Раз этой женщины там не будет, почему бы мне не согласиться на предложение, сделанное мистером Мердлом папе,— чтобы мы с Эдмундом, покуда для нас подыщут и отделают дом, поселились в его особняке на Харли-стрит — помнишь, ты когда-то приходила туда в сопровождении одной танцовщицы. И, наконец, третье, Эми. Папа имеет намерение съездить весной в Лондон — стало быть, все складывается так: после свадьбы, которая состоится здесь, мы с Эдмундом едем во Флоренцию, а спустя некоторое время к нам там присоединяется папа, и мы все втроем возвращаемся в Англию. Мистер Мердл, кстати, усиленно приглашал папу остановиться у него, и я думаю, он так и сделает. Впрочем, папа — хозяин своим поступкам, и на этот счет у меня никакой уверенности нет; но это в конце концов неважно.

Что в отличие от папы мистер Спарклер отнюдь не хозяин своим поступкам, явствовало из речи Фанни с полной очевидностью. Но младшая сестра не заметила этого; печаль по поводу предстоящей разлуки не оставляла ей места для других дум, кроме разве затаенного сожаления, что ей самой не придется принять участия в этом путешествии в Лондон.

— Стало быть, все так и решено, Фанни?

— Решено? — воскликнула Фанни.— Право же, милочка, с тобой нелегко разговаривать. Ведь я намеренно остерегалась выражений, которые могли дать повод к подобным выводам. Я только сказала, что встают некоторые вопросы, и объяснила, какие именно.

Глубокие глаза Крошки Доррит глядели на нее сосредоточенно и нежно.

— Послушай, душенька,— сказала Фанни, все беспокойнее размахивая шляпкой,— ну что ты на меня так уставилась? Уставилась и смотрит, точно совенок. Я ведь от тебя совета жду. Что ты мне посоветуешь делать?

— Не кажется ли тебе,— начала Эми после некоторого колебания,— не кажется ли тебе, Фанни, что, приняв во внимание все обстоятельства, было бы разумнее подождать несколько месяцев?

— Нет, милейшая черепашка,— запальчиво отрезала мисс Фанни.— Вовсе мне так не кажется.

Она отшвырнула шляпку на другой конец комнаты и с размаху бросилась в кресло. Но тотчас же, повинуясь наплыву чувств, снова вскочила, опустилась перед сестрой на колени и заключила ее вместе со стулом в свои объятия.

— Не считай меня злой и несправедливой, золотце мое, право я не такая. Но можно ли в самом деле быть подобной чудачкой. Ведь ты хоть кого выведешь из терпения. Разве я не говорила тебе, что Эдмунда нельзя отпускать одного? И разве ты сама этого не знаешь?

— Да, да, Фанни, ты права. Ты действительно говорила это.

— А ты действительно сама это знаешь,— сказала Фанни.— Так как же быть, моя радость? Раз его нельзя отпустить одного, выходит, я должна ехать с ним?

— Пожалуй — да, милочка,— отвечала Крошка Доррит.

— А поскольку для этого необходимо принять решение, о котором я тебе только что говорила, стало быть, ты мне советуешь принять это решение?

— Пожалуй — да, милочка,— снова отвечала Крошка Доррит.

— Что ж,— сказала Фанни с видом покорности судьбе.— Значит, иначе нельзя. Я пришла к тебе, душенька, чтобы ты помогла мне разрешить мои сомнения. Теперь они разрешены. Так тому и быть.

Столь примерным образом подчинившись советам сестры и силе обстоятельств, Фанни сразу подобрела, как человек, принесший свои вкусы и склонности в жертву любимому другу и умиленный сознанием собственной добродетели.

— Бесценная ты моя Эми! — воскликнула она.— Ну есть ли еще в целом свете другая такая умная головка! Просто не знаю, как я обойдусь без тебя!

И она еще крепче обняла сестру в искреннем порыве чувств.

— Впрочем, я и не собираюсь без тебя обходиться, Эми; надеюсь, мы и впредь будем почти что неразлучны. А теперь, душенька, я хочу дать совет тебе. Когда ты останешься одна с миссис Дженерал...

— А я останусь одна с миссис Дженерал? — робко спросила Эми.

— Разумеется, мой ангел, пока не вернется папа! Эдвард, я полагаю, в счет не идет, даже когда он здесь, а когда он в Неаполе или в Сицилии, то и подавно. Итак, я хотела сказать,— всегда ты, милочка, умудришься перебить и спутать все мысли! — когда ты останешься одна с миссис Дженерал, Эми, не слушай, если она начнет тебе петь про то, как она уважает папу или как папа уважает ее. Можешь быть уверена, она не упустит случая. Знаю я эту ее манеру красться, нащупывая путь лапками в перчатках. Так вот притворись, что ты ничего не понимаешь. А если папа, вернувшись, намекнет, что он не прочь дать тебе миссис Дженерал в маменьки (без меня это еще вероятнее), ты ему отвечай напрямик: «Позвольте, мол, вам сказать, папа, что я решительно против этого. Фанни, мол, меня предупреждала на этот счет, и она тоже против, и я против». Я вовсе не думаю, что твои слова возымеют какое-нибудь действие, сомневаюсь даже, сумеешь ли ты достаточно твердо произнести их. Но речь идет о долге — дочернем долге,— и ты должна исполнить его, всеми силами стараясь помешать миссис Дженерал усесться на хозяйское место в нашем доме. Едва ли твоего сопротивления надолго хватит — тем более, что тебе придется иметь дело с папой,— но я хочу, чтоб ты хотя бы почувствовала, что сопротивляться необходимо. Что до меня, то я, со своей стороны, сделаю все, чтобы не допустить этого брака, и не оставлю тебя одну, голубка, можешь не бояться. Все преимущества, которые мне сулит положение замужней молодой дамы, не лишенной привлекательности, и которые прежде всего я намерена использовать против *этой женщины* — будут обрушены на голову миссис Дженерал и на ее фальшивые букли (убеждена, что они фальшивые, хоть, кажется, только сумасшедший мог бы заплатить деньги за подобное безобразие!).

Крошка Доррит выслушала все это, не пытаясь возражать, но и не выказывая готовности следовать получен-

ному совету. Что до Фанни, то она как бы покончила расчеты со своей прежней жизнью и, сказав девичеству «прости», принялась, со свойственным ей пылом, готовиться к предстоящей серьезной перемене.

Приготовления заключались в том, что горничная мисс Фанни была под охраной курьера снаряжена в Париж для закупки тех принадлежностей гардероба невесты, которым в английском языке не находится достаточно изысканных наименований; называть же их по-французски мы не считали бы уместным, ибо (вопреки требованиям светского тона) стараемся придерживаться того языка, на котором эта книга написана. И вскоре роскошное приданое, закупленное упомянутыми доверенными лицами, пошло кочевать из таможни в таможню, проходя сквозь строй попрошаек в мундирах, протягивающих руку над каждым открываемым сундуком, словно все это доблестное воинство испытало судьбу полководца Велизария *. Их было так много, что, если бы курьер не потратил полтора бушеля серебряных монет на облегчение их горестной участи, все приданое превратилось бы в лохмотья от бесконечных осмотров, еще не доехав до Рима. По счастью, этой опасности удалось избегнуть, и, благополучно проделав весь путь, дюйм за дюймом, оно в полной сохранности прибыло на место.

Там покупки были показаны избранному кругу представительниц прекрасного пола и вызвали бурю ненависти в их нежных сердцах. Меж тем уже шла полным ходом подготовка к торжественному дню, когда части этих сокровищ предстояло быть выставленной для всеобщего обозрения. Приглашения на свадебный завтрак получила половина английской колонии в городе Ромула; а те, кто их не получил, спешно оттачивали оружие, готовясь наблюдать церемонию издали в качестве критиков-волонтеров. Известный английский аристократ синьор Эдгардо Доррит, несмотря на грязь и распутицу, прибыл на почтовых прямо из Неаполя (где он совершенствовался в искусстве светского обхождения, вращаясь среди местной знати), чтобы украсить своим присутствием брачную церемонию. Лучшие повара лучшей в Риме гостиницы были поставлены на ноги для свадебного завтрака. Чеки мистера Доррита едва не привели к краху банк Торлониа *. Британский консул за все свое консульство не мог припомнить подобной свадьбы.

И вот настал долгожданный день. Волчица Капитолия могла завыть от зависти, глядя, какие празднества задают ныне дикари-островитяне *. Статуи развратных римских императоров со злодейскими лицами, чьих свирепых черт не облагородил даже льстивый резец ваятеля, могли спрыгнуть со своих пьедесталов при виде невесты и пуститься за нею в погоню. Заглохший фонтан, у которого во время óно умывались гладиаторы, мог вновь забить в честь радостного события. Храм Весты * мог подняться из развалин, чтобы послужить этому событию фоном. Многое могло случиться — но не случилось. Так подчас и разумные существа — вплоть до царей и цариц творения — многое могут, но ничего не делают.

Свадьба была отпразднована с неслыханным великолепием; монахи в черных рясах, в белых рясах, в коричневых рясах останавливались и смотрели вслед экипажам; бродяги в овечьих шкурах, наигрывая на дудке, просили подаяния под окнами; англичане-волонтеры не отставали от брачного кортежа; но вот уже день стал клониться к закату; праздник понемногу утих; на тысяче колоколен зазвонили к вечерне, словно никакой свадьбы и не было; и св. Петр горделиво возносил к небу свой купол, знать не желая об этом событии.

А невеста тем временем была уже далеко на пути к Флоренции. Особенность этой свадьбы состояла в том, что казалось, в ней участвовала только невеста. Никто не замечал жениха. Никто не замечал первой подружки невесты. Да и трудно было заметить Крошку Доррит, исполнявшую эту обязанность, среди ослепительного сверкания праздника. Итак, невеста — теперь уже новобрачная — уселась в роскошную карету, где случайно оказался и ее супруг, и после нескольких минут езды по ровной дороге стала увязать в Трясине Уныния *, а впереди был долгий, долгий путь, весь в ухабах и выбоинах. Говорят, это часто случалось и случается с брачными экипажами.

Крошке Доррит было немного грустно и одиноко в этот вечер; если бы только она могла посидеть с работой подле отца, как в прежние годы, накормить его ужином, уложить спать — это послужило бы лучшим лекарством против ее тоски. Но нечего было и думать об этом теперь, когда они ехали в парадной карете жизни, с миссис Дженерал на

козлах. А уж что касается ужина! Когда мистеру Дорриту хотелось поужинать, к его услугам были повар итальянец и кондитер швейцарец, которые тотчас же надевали колпаки высотой с папскую тиару и словно два алхимика принимались колдовать над медными кастрюлями в своей кухонной лаборатории.

Мистер Доррит был в этот вечер расположен к сентенциям и поучениям. Крошка Доррит куда больше нуждалась в простых ласковых словах; но она принимала его таким, как он есть — бывало ли когда-нибудь иначе? — и утешалась тем, что он с нею. Наконец миссис Дженерал стала прощаться на ночь. Церемониал ее прощания на ночь всегда напоминал процедуру замораживания; как будто она нарочно старалась оледенить воображение человека, чтобы оно не могло последовать за ней. Проделав все положенные эволюции с исправностью солдата на плацу, она удалилась восвояси. После ее ухода Крошка Доррит обняла отца и пожелала ему спокойной ночи.

— Эми, дитя мое,— сказал мистер Доррит, взяв ее за руку,— этот волнующий и — кха — знаменательный день навсегда останется в моей памяти.

— Но он был для вас немного утомительным, родной мой.

— Нет,— возразил мистер Доррит,— нет; я не замечаю усталости, если она вызвана — кхм — столь возвышающим душу событием.

Крошка Доррит, радуясь его радости, ласково улыбнулась ему.

— Дорогая Эми,— продолжал он,— это событие — кха — может послужить отличным примером. Отличным примером — кхм — для тебя, мое любимое и преданное дитя.

Он помедлил, словно ожидая, что она скажет, но Крошка Доррит, встревоженная его словами, не говорила ничего.

— Эми,— начал он снова,— твоя милая сестра, наша Фанни, сделала — кха-кхм — партию, которая позволяет рассчитывать на увеличение круга наших знакомств и, несомненно — кхм — укрепит наше положение в обществе. Надеюсь, душа моя, недалек тот день, когда и для тебя сыщется — кхм — достойный спутник жизни.

— О нет, нет! Позвольте мне остаться с вами. Прошу вас, умоляю, позвольте мне остаться! Мне ничего больше не нужно, только быть с вами и заботиться о вас!

Голос ее дрожал, словно от испуга.

— Ну, ну, Эми,— сказал мистер Доррит.— В тебе говорит малодушие и неразумие, малодушие и неразумие. Нельзя забывать, что положение — кха — обязывает. Ты обязана быть на высоте своего положения и всячески — кхм — стараться его упрочить. Что до заботы обо мне, то я — кха — могу сам о себе позаботиться. А в случае надобности,— добавил он после небольшой паузы,— найдется — кха — с божьей помощью — кхм — кому позаботиться обо мне. Я — кха-кхм — никогда не соглашусь, чтобы ты, дорогое мое дитя, посвятила мне всю свою жизнь, никогда не приму от тебя такой жертвы.

Ах, не поздно ли явилась в нем эта готовность к самоотречению; не поздно ли говорить о ней теперь, любуясь собственным благородством; не поздно ли убеждать себя в том, что это правда!

— Не спорь, Эми. Я решительно не могу согласиться на это. Я — кха — не должен соглашаться на это. Моя — кхм — совесть этого не допустит. А потому, мой ангел, я хочу в этот знаменательный и волнующий день торжественно — кха — объявить тебе, что у меня теперь одно заветное желание и цель: видеть тебя замужем за — кхм — достойным (я повторяю — достойным) человеком.

— О нет, нет! Не надо!

— Эми,— сказал мистер Доррит,— я совершенно уверен, что, если бы мы обратились к мнению особы, хорошо знающей свет, умеющей тонко чувствовать и здраво рассуждать — ну, например, хотя бы — кха — к миссис Дженерал,— она бы сразу подтвердила резонность моих соображений, подсказанных лишь горячей любовью. Но, зная тебя — кхм — из опыта, как преданную и послушную дочь, я думаю, что нам нет надобности продолжать этот разговор. Я ведь пока — кхм — никого тебе в мужья не предлагаю, дружочек; у меня даже и на примете никого нет. Мне бы только хотелось, чтобы мы — кха — поняли друг друга. Кхм. Покойной ночи, моя дорогая и теперь единственная дочь. Покойной ночи. Храни тебя господь!

Если и задумалась хоть на миг Крошка Доррит о том, как легко он готов отказаться от нее теперь, в дни довольства и покоя, собираясь заменить ее второю женой, то сразу же отогнала эту мысль. Верная ему сейчас, как и в те тяжелые времена, когда у него не было другой опоры, кроме нее, она поспешила отогнать эту мысль; и лишь в одном с грустью сознавалась себе в эту ночь смятения и слез: что богатство стало для него мерилом всего — богатство и забота о том, как его упрочить и умножить.

Еще три недели в парадной карете с миссис Дженерал на козлах — а затем мистер Доррит отбыл во Флоренцию, где его ждала Фанни. Крошка Доррит с радостью проводила бы его туда, просто из любви к нему, а потом вернулась бы одна, втихомолку грустя о милой Англии. Но хотя курьер уехал в свите новобрачной, следующим по ранжиру был камердинер; и очередь никогда не дошла бы до нее, пока можно было нанять провожатого за деньги.

Миссис Дженерал, оставшись вдвоем с Крошкой Доррит, благодушествовала — насколько ей вообще свойственно было это состояние, и когда они выезжали на прогулку в экипаже, нанятом для них на это время, Крошка Доррит иногда выходила из экипажа одна и подолгу бродила среди развалин древнего Рима. Развалины исполинского амфитеатра, храмов, гробниц, триумфальных арок были для нее не только памятниками седой старины; ей виделись в них развалины тюрьмы Маршалси — руины ее прежней жизни — тени тех, кто когда-то населял эту жизнь,— обломки былых чувств, надежд, радостей и печалей. Два разрушенных мира людских дел и страданий лежали перед девушкой, одиноко приютившейся на какой-нибудь мраморной ступени; и в пустынном безлюдье, под ярко-синим небом они для нее сливались вместе.

Но подходила миссис Дженерал, и сразу же обесцвечивала все кругом, как ее самое обесцветили природа и искусство. Она искала везде мистера Юстеса и К°, не желая замечать ничего другого, сыпала цитатами из этого почтенного автора, приправляя их Плющом и Пудингом, выскребала откуда-то высохшие кусочки античности и без зазрения совести глотала их целиком — настоящий вампир в перчатках.

ГЛАВА XVI
К новым удачам

Прибыв на Харли-стрит, Кэвендиш-сквер, молодые были встречены мажордомом. Сей великий муж отнесся к событию без особого интереса, но в общем терпимо. Люди должны жениться и выходить замуж, иначе не будет надобности в мажордомах. Как народы существуют, чтобы платить налоги, так и семейные дома существуют, чтобы держать мажордомов. Мажордом мистера Мердла был, повидимому, глубоко убежден, что природа заботится о продолжении рода богачей ради него и ему подобных.

Ввиду этого он удостоил подъехавшую карету снисходительным взглядом и милостиво распорядился, стоя в дверях, чтобы один из его подчиненных помог снести багаж. Он даже простер свою любезность до того, что лично проводил новобрачную в гостиную к мистеру Мердлу; но это следует рассматривать как дань уважения прекрасному полу (коего он был большим почитателем и даже питал нежные чувства к одной очаровательной герцогине), а отнюдь не как знак служебного усердия.

Мистер Мердл топтался на коврике перед камином в ожидании миссис Спарклер. Приветствуя ее, он так глубоко втянул руку в рукав, что новобрачной пришлось пожать пустой обшлаг, словно она здоровалась с чучелом Гая Фокса. Он слегка прикоснулся губами к ее губам, а затем ухватил себя за запястье и стал пятиться назад, натыкаясь на диваны, столы и стулья, как будто сам себя вел в полицию, твердя: «Шалишь, шалишь, голубчик! Попался, так теперь уж не уйдешь!»

Миссис Спарклер расположилась в отведенных ей апартаментах — уютном гнездышке из пуха, шелка, кретона и тончайшего полотна — с приятным сознанием, что пока все идет как по маслу и каждый день приближает ее к долгожданному торжеству. Накануне свадьбы она в присутствии миссис Мердл сделала ее горничной небольшой подарок — браслет, шляпку и два новехоньких платья — раза в четыре дороже того, что когда-то миссис Мердл подарила ей самой. Сейчас она занимала парадные комнаты миссис Мердл, убранные еще роскошней обычного ради

почетной гостьи. Нежась среди этой роскоши, окруженная всем, что только могут доставить деньги или создать человеческая изобретательность, она видела в мечтах, как та лилейная грудь, что вздымалась сейчас в лад полету ее воображения, вступает в соперничество с прославленным Бюстом, затмевает его и развенчивает навсегда. Счастье? Наверно, Фанни была счастлива. По крайней мере она больше не выражала желания умереть.

Курьер не согласился на то, чтобы мистер Доррит останавливался у кого-нибудь, и отвез его в отель на Брук-стрит, Гровенор-сквер. Мистер Мердл приказал, чтобы завтра с утра карета ждала у подъезда, решив сразу же после завтрака нанести мистеру Дорриту визит.

Ах, как блестела карета, как лоснились крутые лошадиные бока, как нарядно выглядела сбруя, каким добротным было сукно ливрей! Богатый, внушительный выезд, вполне достойный великого Мердла. Ранние пешеходы оглядывались вслед и говорили, благоговейно понизив голос: «*Он* поехал!»

Он ехал, не останавливаясь, до самой Брук-стрит. Там из роскошного футляра появился таившийся в нем бриллиант — довольно тусклый, против ожиданий.

Переполох в отеле! Сам Мердл! Хозяин, весьма надменный джентльмен, который только что приехал в город на паре чистокровных гнедых, поторопился выйти, чтобы лично проводить высокого гостя к мистеру Дорриту. Конторщики и слуги толпились в боковых коридорах, забивались в углы и ниши, чтобы хоть поглядеть на него. Мердл! О солнце, луна и звезды, вот он — великий из великих! Богач, вопреки Новому завету, уже вошедший в царствие небесное. Человек, который кого угодно мог пригласить к обеду, у которого деньгам не было счету! Он еще только поднимался по лестнице, а люди уже занимали места на нижних ступеньках, чтобы хоть тень его упала на них, когда он будет спускаться. Так когда-то приносили и клали больных на пути Апостола — только тот не принадлежал к высшему обществу и денег не имел вовсе.

Мистер Доррит, облаченный в халат и вооруженный газетой, сидел за завтраком. Курьер доложил звенящим от волнения голосом: «Мистер Мердл!» Мистер Доррит вскочил на ноги, сердце рванулось у него из груди.

— Мистер Мердл, какая — кха — честь! Не нахожу слов, чтобы выразить, как я тронут — кхм — глубоко тронут подобным — кха-кхм — вниманием. Мне хорошо известно, сэр, что вы обременены делами и что ваше время — кха — ценится на вес золота. (От волнения мистеру Дорриту не удалось достаточно оттенить голосом слово «золото».) В столь ранний час уделить мне — кхм — несколько минут вашего поистине бесценного времени, это — кхм — высокая честь, сэр, и поверьте, я — кхм — признателен вам до глубины души.— При мысли о том, к кому он обращается, мистер Доррит не мог сдержать почтительного трепета.

Мистер Мердл издал какое-то глухое, утробное, нечленораздельное бормотанье, после чего выговорил:

— Рад вас видеть, сэр.

— Вы очень любезны, сэр,— сказал мистер Доррит,— необычайно любезны.— Гость тем временем опустился в кресло и провел рукой по нахмуренному лбу.— Надеюсь, вы в добром здравии, мистер Мердл?

— Я — да, более или менее — как всегда,— сказал мистер Мердл.

— Вам, верно, совсем не приходится отдыхать, сэр?

— Пожалуй. Но — да вы не думайте, ничего серьезного со мной нет.

— Небольшая диспепсия? — участливо подсказал мистер Доррит.

— Возможно. Но я — да, я, в общем, здоров,— сказал мистер Мердл.

Губы мистера Мердла запеклись темной полоской, напоминавшей след пороха после выстрела; вид его позволял предположить, что, если бы не природная медленность движения крови в жилах, его бы, вероятно, трепала сейчас лихорадка. Всеми этими признаками, а также усталым жестом, которым он проводил рукой по лбу, и были вызваны заботливые расспросы мистера Доррита.

Миссис Мердл,— галантно заметил мистер Доррит,— в Риме, как и везде — кха — пленяет все взгляды,— кхм — царит во всех сердцах и является лучшим украшением светского общества. Когда я видел ее последний раз, она цвела как роза.

— Миссис Мердл,— сказал мистер Мердл,— пользуется славой очень красивой женщины. Она и в самом деле красива. Я это признаю.

— Не признавать этого нельзя,— сказал мистер Доррит.

Мистер Мердл пошевелил во рту языком — язык, видно, был очень тугой и неповоротливый,— потом облизнул губы, снова провел рукой по лбу и стал озираться по сторонам, главным образом норовя заглянуть под стулья.

— Впрочем,— сказал он и впервые за все время посмотрел мистеруĒrриту в глаза, но тут же перевел взгляд на пуговицы его жилета,— уж если разговор зашел о женской красоте, то нужно говорить о вашей дочери. Она удивительно хороша собой. Лицо, фигура, все в ней бесподобно. Когда они вчера приехали, я был просто поражен ее красотой.

Мистер Доррит, польщенный сверх всякой меры, не мог — кха — удержаться, чтобы не повторить мистеру Мердлу устно то, о чем уже говорил в письме: что считает союз между их семьями величайшей честью для себя. И протянул мистеру Мердлу руку. Тот внимательно поглядел на нее, подложил снизу свою ладонь, раскрытую в виде подноса или лопаточки для рыбы, подержал немного и вернул мистеру Дорриту.

— Я нарочно пораньше заехал к вам,— сказал мистер Мердл,— чтобы справиться, не могу ли я быть чем-нибудь полезен, и предложить свои услуги, а кроме того, прошу сегодня отобедать со мною, и вообще, покуда вы в Лондоне, оказывать мне эту честь всякий раз, когда у вас не окажется чего-нибудь лучшего на примете.

Мистер Доррит, слыша такие слова, просто таял от блаженства.

— Вы к нам надолго, сэр?

— В мои планы входило,— сказал мистер Доррит,— пробыть недели две, не больше.

— Это весьма короткий срок после такого долгого пути,— заметил мистер Мердл.

— Кхм. Пожалуй,— согласился мистер Доррит.— Но должен вам сказать, дорогой мистер Мердл, что, живя за границей, я настолько лучше чувствую себя — кха — во всех отношениях, что я вовсе не приезжал бы в Лондон,

если бы не два обстоятельства. Во-первых — кха — та счастливая и почетная возможность, которою я — кхм — наслаждаюсь в настоящее время и которую — кха — поверьте, высоко ценю; во-вторых, забота об устройстве — кхм — точней сказать, о помещении, наиболее разумном и выгодном помещении — кха-кхм — моего капитала.

— Дорогой сэр,— сказал мистер Мердл, снова пошевелив во рту языком,— если я могу чем-либо помочь вам в этом смысле, прошу располагать мною.

Мистер Доррит запинался больше обыкновенного, готовясь коснуться щекотливого предмета, ибо у него не было уверенности насчет того, как отнесется к этому предмету его знаменитый собеседник. Захочет ли магнат, привыкший ворочать делами столь крупного масштаба, размениваться на мелочи, какими для него бесспорно является капитал или состояние отдельного лица? Любезные слова мистера Мердла рассеяли все сомнения, и мистер Доррит поспешил рассыпаться в благодарностях.

— Я, право — кха — не смел рассчитывать,— сказал он,— на столь — кхм — драгоценную привилегию, как ваш непосредственный совет и помощь. Но и независимо от этого я — кха-кхм — подобно большинству цивилизованного мира был бы, разумеется, рад следовать за победным шествием мистера Мердла.

— Мы теперь в некотором роде породнились, сэр,— сказал мистер Мердл, проявляя настойчивый интерес к узору ковра на полу,— и я готов по-родственному служить вам чем могу.

— Кха. Ваше великодушие безгранично, сэр! — воскликнул мистер Доррит.— Кхм. Поистине безгранично!

— Для лица, так сказать, со стороны,— заметил мистер Мердл,— сейчас довольно трудно получить акции какого-либо солидного предприятия — я, разумеется, говорю о своих предприятиях...

— Разумеется, разумеется! — вскричал мистер Доррит тоном, исключающим предположение, что могут быть и другие солидные предприятия.

— ...иначе, как по цене, намного превышающей номинал. С порядочным хвостиком, как у нас говорят.

Мистер Доррит дал волю своему веселью.

— Ха-ха-ха! С порядочным хвостиком. Прелестно. Удивительно меткое выражение!

— Однако,— продолжал мистер Мердл,— я обычно сохраняю за собой право предоставлять в отдельных случаях известные преимущества — льготы, как некоторым угодно это называть,— рассматривая такое право как своего рода вознаграждение за мои труды и хлопоты.

— И предприимчивость и смелость мысли,— с энтузиазмом подсказал мистер Доррит.

Мистер Мердл сделал судорожное глотательное движение, точно проталкивая в себя комплимент, как пилюлю, и затем повторил:

— Своего рода вознаграждение. Если хотите, я подумаю о том, как употребить это право (к сожалению, ограниченное, по причине людской зависти) в ваших интересах.

— Вы очень добры,— сказал мистер Доррит.— Вы чересчур добры!

— Само собой разумеется,— сказал мистер Мердл,— деловые взаимоотношения требуют от участников безукоризненной, кристальной честности, полной откровенности и безоглядного доверия во всем; иначе нельзя делать дела.

Столь благородные чувства вызвали горячее одобрение мистера Доррита.

— Таким образом,— сказал мистер Мердл,— речь может идти лишь о некоторой скидке.

— Понимаю вас. Об определенной скидке.

— Да. Определенной заранее и совершенно открыто. Что же касается совета,— продолжал мистер Мердл,— это другое дело. Мое скромное мнение...

О! Скромное мнение! Мистер Доррит никому не мог простить малейшей недооценки в этом вопросе, даже самому мистеру Мердлу.

—...принадлежит только мне, и я вправе делиться им с кем захочу, не погрешив против своего нравственного долга по отношению к ближнему. А потому,— заключил мистер Мердл, сосредоточив свое внимание на повозке мусорщика, в эту минуту проезжавшей под окнами,— тут я всегда к вашим услугам.

Снова мистер Доррит усердствует в выражениях признательности. Снова мистер Мердл проводит рукой по лбу.

А затем — тишина и молчание. Взгляд мистера Мердла прикован к жилетным пуговицам мистера Доррита.

— Пора,— сказал мистер Мердл, разом встав с кресла, словно он только и дожидался своих ног, которые ему, наконец, подали.— Меня ждут в Сити. Вы не собираетесь выезжать, сэр? Я с удовольствием подвезу вас, куда прикажете. Мой экипаж в вашем распоряжении.

Мистер Доррит вспомнил, что ему нужно повидаться со своим банкиром. Контора его банкира находится в Сити. Вот и прекрасно; мистеру Мердлу это даже по дороге. Но не задержит ли он мистера Мердла, ведь он еще без сюртука. Нет, нет, пустяки, мистер Мердл охотно подождет. Мистер Доррит вышел в соседнюю комнату, поручил себя заботам своего камердинера и через пять минут воротился во всем парадном великолепии.

И мистер Мердл сказал: «Позвольте предложить вам руку, сэр!» И мистер Доррит сошел с лестницы, опираясь на руку мистера Мердла, и в отблесках сияния, исходившего от этого великого человека, прошествовал мимо толпы почитателей, теснившихся на ступенях. Потом они ехали в карете мистера Мердла в Сити; и прохожие останавливались и смотрели на них; и шляпы слетали с седых голов; и все кругом склонялось перед этим необыкновенным смертным в уничижении, какого не видывал свет — поистине нигде и никогда! Весь богомольный пыл всех воскресных посетителей Вестминстерского аббатства и собора св. Павла, взятых вместе, ничего не стоил перед этим. Мистер Доррит словно грезил наяву, восседая на триумфальной колеснице, мчавшей его к желанной и достойной цели — золотой улице Ломбардцев *.

Здесь мистер Мердл настоял на том, чтобы ему дойти пешком, оставив свой скромный экипаж в распоряжении мистера Доррита. И грезы последнего стали еще упоительней, когда он выходил из банка один и все взгляды, за отсутствием мистера Мердла, были обращены на него, и казалось, со всех сторон несется ему вслед: «Вот замечательный человек — друг мистера Мердла!»

За обедом, совершенно случайно, собралось блестящее общество,— все люди, созданные не из глины, но из какого-то более ценного материала, пока еще неизвестного по имени,— и оно удостоило брак дочери мистера Доррита

своим благословением. И с этого дня дочь мистера Доррита начала всерьез (хоть пока и заочно) свое состязание с *этой женщиной;* и начала так успешно, что сам мистер Доррит готов был присягнуть в случае надобности, что миссис Спарклер с колыбели была окружена роскошью и даже не подозревала о существовании в ее родном языке таких грубых слов, как «долговая тюрьма».

На другой день — снова обед в изысканном обществе, и на третий и во все последующие дни то же самое; а в промежутках визитные карточки сыпались на мистера Доррита, словно бутафорский снег в театре. Адвокатура, Церковь, Финансы, парламентские фигуранты, словом, все и вся жаждали знакомства с мистером Дорритом, другом и родственником великого Мердла. Если дела приводили мистера Доррита в Сити (а это случалось часто, ибо дел становилось все больше и больше), ему стоило только назвать свое имя, как перед ним раскрывались двери всех многочисленных контор мистера Мердла. Так сон наяву был день ото дня прекраснее, и мистер Доррит убеждался, что желанный союз не обманул его надежд.

Только одна тень слегка омрачала лучезарное блаженство мистера Доррита. Этой тенью был мажордом. Когда сей величественный персонаж созерцал обедающих со своего наблюдательного поста, мистеру Дорриту чудилось в его взгляде что-то подозрительное. Проходил ли мистер Доррит через вестибюль, поднимался ли по лестнице, он всегда чувствовал на себе этот пристальный, неподвижный взгляд, внушавший ему смутную тревогу. Во время обеда, поднося к губам бокал с вином, он ловил сквозь хрустальную грань бокала все тот же взгляд, холодный и зловещий. И у него закрадывалась мысль, что мажордом в свое время посещал Маршалси и встречал его там — быть может, даже был ему представлен. Он всматривался в лицо мажордома (насколько это было допустимо со столь важной особой), но положительно не мог решить, видел ли он это лицо раньше. В конце концов он пришел к заключению, что этот человек попросту лишен почтительности и не желает знать свое место. Но легче ему от этого не стало; ибо так или иначе, но высокомерный взгляд мажордома держал его и не отпускал, даже тогда, когда, казалось, был устремлен на столовое серебро и посуду. Намекнуть, что

столь назойливое внимание может быть неприятно, или прямо спросить, что, мол, это значит — о подобной дерзости нечего было и думать; мажордом держал своих господ и их гостей в строгости беспримерной и ни малейших вольностей по отношению к себе не допускал.

ГЛАВА XVII
Без вести пропавший

В один из последних дней своего пребывания в Лондоне мистер Доррит одевался у себя в комнате, собираясь на смотр к мажордому (жертвы последнего всегда одевались именно для него и ни для кого другого). В это время ему подали карточку. Мистер Доррит взял ее и прочел: «М-сс Финчинг».

Слуга, принесший карточку, почтительно молчал, ожидая приказаний.

— Послушайте, любезнейший,—сказал мистер Доррит, оборотясь к нему в досадливом недоумении,— зачем вы мне это принесли? Я первый раз слышу эту нелепую фамилию. Финчинг, сэр? — грозно повторил мистер Доррит, быть может стремясь выместить на слуге те чувства, которые ему внушал мажордом мистера Мердла.— Что это за Финчинг? Кха! Вы что, шутки со мной шутить желаете?

Любезнейший, судя по всему, отнюдь не испытывал такого желания. Он робко попятился под суровым взором мистера Доррита и пролепетал: «Это дама, сэр».

— Не знаю такой дамы, сэр,— сказал мистер Доррит.— Уберите карточку. Не знаю никаких Финчингов, ни женского, ни мужского пола.

— Прошу извинить, сэр. Дама так и предполагала, что вам неизвестна ее фамилия. Но она просила передать, что имела удовольствие знать мисс Доррит. Младшую мисс Доррит, сэр,— так она сказала.

Мистер Доррит нахмурил брови и после минутного колебания сказал: «Просите миссис Финчинг пожаловать», с таким ударением на фамилии Финчинг, как будто злосчастный слуга был лично повинен в ее неблагозвучии.

Он успел рассудить, что, если отказать посетительнице в приеме, она может невзначай упомянуть внизу о той поре его жизни, которую он предпочитал скрывать. Вот отчего он пошел на уступки, и вот отчего минуту спустя любезнейший, отворив дверь, впустил в комнату Флору.

— Я, кажется, не имею чести, сударыня,— начал мистер Доррит, держа в руке карточку с таким видом, который ясно показывал, что он не склонен ценить эту честь очень высоко,— я, кажется, не имею чести быть с вами знакомым, ни лично, ни хотя бы по имени. Кресло даме, сэр!

Провинившийся слуга, вздрогнув, поспешил исполнить приказание и на цыпочках выбрался из комнаты. Флора, с девичьей застенчивостью подняв вуаль, открыла рот, чтобы представиться подробнее. В ту же секунду по комнате разнеслось какое-то странное смешанное благоухание, словно в склянку с лавандовой водой по ошибке налили джину, или в бутылку с джином по ошибке налили лавандовой воды.

— Тысячу раз прошу мистера Доррита извинить меня, и то еще мало за такое бесцеремонное вторжение, представляю, как это должно показаться рискованно со стороны дамы, да еще одной, без провожатых, но я решила, что как это ни затруднительно и даже неловко, а все-таки будет лучше, хотя, разумеется, тетушка мистера Ф. с удовольствием бы мне сопутствовала, и несомненно произвела бы на вас впечатление силой своего ума и характера, тем более вам столько пришлось испытать превратностей судьбы, а этим приобретается жизненный опыт, вот и мистер Ф. всегда говорил, хоть он и получил хорошее образование, недалеко от Блекхита *, целых восемьдесят гиней в год, немалые деньги для родителей, да еще и со своим прибором, который потом обратно не выдается, дело тут не в цене, но надо же иметь совесть, вот он и говорил, что когда стал ездить коммивояжером по продаже чего-то такого, на что никто и смотреть не хотел, а не то, что покупать, условия, правда, самые выгодные, но это все было еще задолго до виноторговли, так по его словам за первый год он большему выучился, чем за все шесть лет в этом своем блекхитском заведении, даром что тамошний директор вышел из Оксфорда, хотя раз уж он оттуда вышел, так

что толку говорить об этом, я признаться не понимаю, но простите, я, кажется, немножко отвлеклась.

Мистер Доррит, словно вросши в ковер, являл собою нечто вроде статуи Изумления.

— Вы не подумайте, я ни на что не претендую,— продолжала Флора,— просто я хорошо знала милую крошку, впрочем в ее нынешнем положении это можно счесть за неуместную фамильярность, но поверьте я далека от подобной мысли, да и полкроны в день не бог весть какая щедрая плата при таких золотых пальчиках, скорей напротив, а унизительного тут ничего нет, разумеется, нет, всякий труд своих денег стоит, и что до меня, так я от души хотела бы, чтобы те, кто трудится, получали этих денег побольше, и почаще бы ели мясо, и не маялись бы, бедняги, ревматизмом в спине и в ногах.

— Сударыня,— с усилием выговорил мистер Доррит, воспользовавшись мгновением, когда неутешная вдова мистера Финчинга остановилась, чтобы перевести дух,— сударыня,— повторил он, покраснев до корней волос,— если я вас правильно понял, вы намекаете на какое-то — кха — какие-то давнишние обстоятельства в жизни одной из моих дочерей, связанные с — кхм — поденной платой. Прошу вас иметь в виду, сударыня, что этот факт, если — кха — это действительно факт, мне совершенно не был известен. Кхм. Я бы никогда ничего подобного не допустил. Кха. Ни в коем случае!

— Не стоит больше говорить об этом,— возразила Флора,— если я и завела разговор, так только в надежде, что он мне заменит рекомендательное письмо к вам, но насчет того, факт или не факт, так вы не беспокойтесь, доказательством вот это платье, которое и сейчас на мне, взгляните, какая отличная работа, хотя, конечно, фасон бы выиграл на более стройной фигуре, я чересчур уж полна, но просто ума не приложу, что мне делать, чтобы похудеть, ах простите, опять я не о том.

Мистер Доррит, как манекен, отступил на шаг и сел в кресло, а Флора подкупающе улыбнулась ему и, вертя в руках зонтик, понеслась дальше.

— Я бы никогда не отважилась,— говорила Флора,— но ведь это в моем доме, или во всяком случае в папашином доме, он правда не куплен, но взят в долгосрочную

аренду, и за номинальную плату, так что это все равно, милая крошка упала в обморок, вся холодная и бледная, в то утро, когда Артур — безрассудная привычка юности, мистер Кленнэм куда уместнее при нынешних обстоятельствах, тем более в разговоре с посторонним лицом, да еще столь высокопоставленным — сообщил ей радостное известие, принесенное человеком по фамилии Панкс.

Услышав эти два имени, мистер Доррит нахмурился, посмотрел на гостью, снова нахмурился, в нерешительности поднес к губам пальцы, как делал когда-то, много лет тому назад, и, наконец, произнес:

— Быть может, вы — кха — изложите мне свою надобность, сударыня?

— Мистер Доррит,— сказала Флора,— вы очень добры, что просите меня об этом, да меня и не удивляет ваша доброта, я сразу заметила сходство, конечно, осанка и телосложение и все прочее, но все-таки сходство есть, а что до причин, побудивших меня вторгнуться, то ни одна живая душа от меня об этом не слыхала, а уж меньше всех Артур — простите, Дойс и Кленнэм, то есть я хочу сказать только Кленнэм без Дойса — но для того, чтобы спасти этого человека, связанного золотой цепью воспоминаний с той счастливой порой, когда все вокруг растворялось в блаженстве, я готова дать королевский выкуп, не знаю, правда, точно, сколько это составит, но хочу сказать, что готова отдать все, что имею, и даже больше.

Мистер Доррит остался безучастным к глубокому чувству, с которым были произнесены последние слова, и только повторил:

— Прошу вас изложить вашу надобность, сударыня.

— Я понимаю, это не слишком вероятно,— сказала Флора,— однако же возможно, а раз это возможно, то, прочитавши в газетах, что вы приехали из Италии и скоро туда возвращаетесь, я тотчас же сказала себе, попытка не пытка, а вдруг да случится встретить его или услыхать про него, какая была бы удача и радость для всех.

— Позвольте, позвольте, сударыня,— сказал мистер Доррит, чувствуя, как у него в голове все идет кругом,— о ком, собственно, вы изволите говорить — кха — *о ком*? — чуть ли не выкрикнул он, уже в полном отчаянии.

— О приезжем из Италии, который пропал без вести, вы, конечно, читали про это в газетах, как и я сама, хотя есть и другой источник по фамилии Панкс, откуда и известно, какие чудовищные слухи распускают некоторые злые люди, должно быть по себе судят, и в какой тревоге и негодовании находится бедный Артур — Дойс и Кленнэм — это просто выше моих сил.

К счастью для мистера Доррита — ибо в противном случае ему так и не удалось бы получить вразумительное объяснение,— он ничего не читал и не слышал об упомянутом происшествии. А потому миссис Финчинг, без конца извиняясь за промедление, вызванное тем, что не так-то легко добраться до кармана в бесчисленных складках и сборках ее платья, извлекла, наконец, полицейскую афишку, в которой говорилось, что некий иностранец по фамилии Бландуа, недавно прибывший из Венеции, в ночь на такое-то число бесследно исчез в таком-то квартале лондонского Сити при обстоятельствах, оставшихся невыясненными; известно только, что в таком-то часу он вошел в такой-то дом, что, по свидетельству обитателей этого дома, он оттуда вышел за столько-то минут до полуночи и что с той поры его никто не видел. Мистер Доррит с большим вниманием прочитал это, останавливаясь на всех подробностях, касавшихся места и времени, и особенно на описании примет таинственно исчезнувшего незнакомца.

— Бландуа! — воскликнул он, дочитав до конца.— Венеция! И эти приметы! Я знаю человека, о котором тут говорится. Он бывал в моем доме. Он близкий друг одного джентльмена из хорошего рода, но — кха — несколько стесненного в средствах, которому я — кхм — оказываю покровительство.

— Тем легче вам будет исполнить мою покорнейшую и настоятельную просьбу,— подхватила Флора,— сделайте милость, когда будете возвращаться в Италию, ищите этого пропавшего иностранца на всех дорогах и перекрестках, справляйтесь о нем во всех гостиницах, и виноградниках, и апельсиновых рощах, и вулканах, и словом всюду, где вам только придется проезжать, ведь не сквозь землю же он провалился, так с какой же стати он прячется вместо того, чтобы выйти и открыто сказать, вот я, и рассеять всякие подозрения.

— Скажите, сударыня,— осведомился мистер Доррит, снова заглянув в афишку,— а что это за Кленнэм и К⁰? Эта фамилия названа здесь при указании дома, где теряется след мсье Бландуа; кто же такой Кленнэм и К⁰? Я, помнится — кха — был когда-то — кхм — немного знаком с человеком, носившим такую фамилию; если не ошибаюсь, вы о нем также упоминали. Может ли быть, что это то самое лицо?

— Нет, это совсем другое лицо,— возразила Флора,— без ног и на колесах, а нрав такой, что ни приведи боже, хоть она и мать ему.

— Кленнэм и К⁰ — кха — мать? — воскликнул мистер Доррит.

— Да, и еще старикашка со скривленной шеей,— сказала Флора.

Выражение лица мистера Доррита ясно показывало, что если он еще не сошел с ума, то это случится в самое ближайшее время. Самочувствие его не улучшилось оттого, что Флора тут же пустилась в подробный рассказ о наружности мистера Флинтвинча, без всякого перехода перемежая этот рассказ замечаниями, касающимися миссис Кленнэм, а в заключение назвала почтенного компаньона последней ржавым винтом в гетрах. В результате перед мысленным взором мистера Доррита возникло устрашающее видение некоего двуполого чудовища без ног и на колесах, похожего на ржавый винт в гетрах, и это видение до такой степени потрясло упомянутого джентльмена, что на него просто жаль было смотреть.

— Ну, я не стану вас больше задерживать,— сказала Флора, заметив болезненное состояние мистера Доррита, однако нимало не догадываясь о собственной причастности к этому факту,— если вы любезно дадите мне слово джентльмена, что по дороге в Италию и в самой Италии будете неустанно разыскивать этого мистера Бландуа всюду, где только можно, и если вам удастся напасть на его след, заставите его вернуться и рассеять все подозрения.

Тем временем мистер Доррит уже достаточно оправился, чтобы связать несколько слов в том смысле, что сочтет это своим долгом. Флора, восхищенная успехом своей миссии, поднялась и стала прощаться.

— Миллион раз благодарю,— сказала она,— а на случай, если потребуется что-нибудь сообщить лично, мой адрес есть на карточке, я не прошу передать привет милой крошке, чтобы не показаться навязчивой, тем более, что никакой милой крошки уже и нет больше после всех перемен, но мы с тетушкой мистера Ф. желаем ей всякого добра, и у нас даже в мыслях нет, что она нам чем-нибудь обязана, скорее напротив, потому что она бывало какое дело ни начнет, всегда доведет до конца, а этим мало кто из нас может похвастаться, взять хоть меня, собиралась же я, когда немного оправилась после смерти мистера Ф., научиться играть на органе, который без памяти люблю, и что же — стыдно сказать, даже нот не выучила, всего хорошего!

Когда мистер Доррит, проводив ее до дверей, получил, наконец, возможность собраться с мыслями, он почувствовал себя во власти оживших воспоминаний о былом, что никак не шло к обеду у мистера Мердла. Поэтому он послал человека с запиской, в которой просил его извинить, и пообедал у себя в номере. Было тут и еще одно соображение. До отъезда из Лондона оставалось всего два дня, и каждый час в них был расписан; а между тем мистер Доррит считал для себя желательным подробнее ознакомиться с обстоятельствами исчезновения Бландуа и по приезде в Италию сообщить Генри Гоуэну о том, что удалось установить ему лично. Поэтому он решил употребить освободившийся вечер на то, чтобы съездить по адресу, указанному в афишке, и задать Кленнэму и К° кое-какие вопросы от себя.

Итак, пообедав со всей простотой, какую могли допустить курьер и местный повар, он вздремнул часок у камина, чтобы восстановить свои силы после визита миссис Финчинг, и в наемном кабриолете один отправился в путь. На башне св. Павла било девять, когда он проезжал под тенью Тэмпл-Бара *, где уже не увидишь голов преступников в наш измельчавший век.

Чем больше он углублялся в глухие улицы Сити и узкие переулки, сбегавшие к реке, тем мрачней и безобразней казалась ему эта часть Лондона. Много лет прошло с тех пор, когда он здесь бывал; впрочем, и тогда это случалось не часто; и незнакомые кварталы словно были окутаны какой-то зловещей тайной. Так сильно разыгралось

воображение мистера Доррита, что, когда возница после неоднократных расспросов остановился у какого-то дома и объявил, что, по всей видимости, это тот самый и есть, он долго не решался оторвать руку от дверцы кабриолета, с испугом глядя на обветшалый фасад.

И в самом деле, никогда еще старый дом не выглядел таким мрачным, как в этот вечер. Уже знакомые мистеру Дорриту полицейские афиши были наклеены по обе стороны от входа, и когда пламя уличного фонаря мигало на ветру, по ним пробегали тени, словно гигантский палец водил по строкам. За домом, по-видимому, следили. Пока мистер Доррит в нерешительности стоял у ворот, мимо прошел какой-то человек, а навстречу ему вынырнул из темноты другой; оба окинули мистера Доррита внимательным взглядом, и оба остановились, разойдясь в стороны на несколько шагов.

Других домов во дворе не было, так что задумываться не приходилось. Мистер Доррит взошел на ступени и постучал. Два окна первого этажа были слабо освещены. Стук гулко отдался где-то в глубине, словно дом был необитаем; однако это было ложное впечатление, ибо свет стал тотчас же приближаться и за дверью послышались шаги. Минуту спустя загремела цепочка, и в приотворившейся двери показалась женская фигура в переднике, накинутом на голову.

— Кто здесь? — спросила женщина.

Мистер Доррит, немало озадаченный подобным явлением, отвечал, что он приехал из Италии и желал бы навести справки о пропавшем иностранце, так как был с ним знаком.

— Иеремия! — закричала женщина надтреснутым старческим голосом.— Иди сюда!

К двери подошел жилистый старик в гетрах, по какому признаку мистер Доррит предположил, что это и есть ржавый винт. Женщина, видно, боялась этого старика, судя по тому, что она поспешно сдернула с головы передник, открыв бледное, испуганное лицо.

— Открой дверь, дура,— сказал старик,— дай джентльмену войти.

Мистер Доррит украдкой глянул через плечо на дожидавшийся его кабриолет и вступил в полутемные сени.

— Ну-с, сэр,— сказал мистер Флинтвинч,— можете спрашивать о чем угодно; у нас здесь секретов нет.

Но прежде чем посетитель успел открыть рот для вопроса, сверху послышался голос, явно принадлежавший женщине, но не по-женски суровый и энергичный: «Кто там пришел?»

— Кто пришел? — переспросил Иеремия.— Да опять за справками. Приезжий из Италии.

— Пусть поднимется ко мне.

Мистер Флинтвинч неодобрительно пробурчал что-то себе под нос, однако же, повернувшись к мистеру Дорриту, сказал: «Миссис Кленнэм. Она все равно поставит на своем. Пойдемте, я провожу вас». И стал подниматься по лестнице с почерневшими ступенями; мистер Доррит следовал за ним, а старуха, снова накинув на голову передник, замыкала шествие, похожая на привидение — так по крайней мере казалось мистеру Дорриту, когда он с опаской оглядывался назад.

Миссис Кленнэм сидела на диване, а на столике перед нею были разложены счета и книги.

— Так вы из Италии, сэр,— сказала она без предисловий, вперив в гостя острый взгляд.— Ну?

Мистер Доррит, растерявшись, не нашел ничего лучше, чем в свою очередь спросить:

— Кха — ну?

— Где же этот человек? Вы нам принесли сведения о том, где он, да?

— Напротив, я — кхм — надеялся получить некоторые сведения от вас.

— К несчастью, мы вам ничего сообщить не можем. Флинтвинч, покажите джентльмену афишку. Дайте ему несколько штук, пусть возьмет с собой. Посветите, чтоб он мог прочесть.

Мистер Флинтвинч исполнил приказание, и мистер Доррит стал читать печатный текст, как будто не видал его раньше, радуясь случаю восстановить свое душевное равновесие, поколебленное зрелищем этого дома и его странных обитателей. Не отрывая глаз от бумаги, он чувствовал, что мистер Флинтвинч и миссис Кленнэм не отрывают глаз от него. Когда он кончил читать и поднял голову, то убедился, что это чувство его не обманывало.

— Ну вот, сэр,— сказала миссис Кленнэм,— теперь вам известно все, что знаем мы сами. Мистер Бландуа ваш друг?

— Нет, просто — кхм — просто знакомый,— отвечал мистер Доррит.

— Быть может, вы пришли с каким-нибудь поручением от него?

— Я? Кха. Что вы, помилуйте.

Испытующий взгляд медленно скользнул вниз, на миг задержавшись на мистере Флинтвинче. Мистер Доррит, обнаружив к своей досаде, что вместо того, чтобы спрашивать, ему приходится самому отвечать на вопросы, попытался восстановить должный порядок вещей.

— Я — кха — человек состоятельный, живу в настоящее время в Италии, с семьей, с прислугой, со всем — кхм — обзаведением, довольно обширным. Приехав на короткое время в Лондон по делам — кха — денежного свойства, я услышал о странном исчезновении мсье Бландуа, и мне захотелось выяснить некоторые подробности из первых рук, чтобы рассказать о них одному моему — кха — знакомому, англичанину, с которым я непременно увижусь по возвращении в Италию и который был близким приятелем мсье Бландуа. Мистер Генри Гоуэн. Вы, может быть, слышали это имя?

— Никогда в жизни.

Это сказала миссис Кленнэм, а мистер Флинтвинч повторил за ней, точно эхо.

— Желая — кха — чтобы мой рассказ был как можно более связным и последовательным, я осмелюсь предложить вам три вопроса.

— Хоть тридцать, если угодно.

— Давно ли вы знаете мсье Бландуа?

— Около года. Мистеру Флинтвинчу нетрудно установить по своим книгам, когда именно и от кого этот человек получил рекомендательное письмо, по которому явился к нам из Парижа. Если вы что-нибудь можете из этого вывести,— добавила миссис Кленнэм.— Мы не могли вывести ровно ничего.

— Он бывал у вас часто?

— Нет. Всего дважды. В тот раз, с письмом, и...

— В этот раз,— подсказал мистер Флинтвинч.

— И в этот раз.

— А позвольте узнать, сударыня,— сказал мистер Доррит, который, вновь обретя свой апломб, вообразил себя чем-то вроде высшего полицейского чина, и все больше входил в эту роль,— позвольте узнать, в интересах джентльмена, которому я имею честь оказывать — кха — покровительство, или поддержку, или скажем просто — кха — гостеприимство — да, гостеприимство — в тот вечер, о котором идет речь в этом печатном листке, мсье Бландуа привела сюда деловая надобность?

— Да — с его точки зрения, деловая,— отвечала миссис Кленнэм.

— А — кха — простите — могу ли я спросить, какая именно?

— Нет.

Барьер, воздвигнутый этим лаконичным ответом, был явно непреодолим.

— Нам уже задавали этот вопрос,— сказала миссис Кленнэм,— и ответ был тот же: нет. Мы не привыкли делать достоянием всего города свои деловые операции, пусть даже самые незначительные. И потому мы говорим: нет.

— Мне важно знать, были ли, например, при нем деньги,— сказал мистер Доррит.

— Если и были, то он их получил не здесь, сэр; мы ему денег не давали.

— Я полагаю,— заметил мистер Доррит, переводя взгляд с миссис Кленнэм на мистера Флинтвинча, и с мистера Флинтвинча на миссис Кленнэм,— что вы не в состоянии объяснить себе эту тайну.

— А почему вы так полагаете? — спросила миссис Кленнэм.

Опешив от суровой прямоты этого вопроса, мистер Доррит не мог сказать, почему он так полагает.

— Я все объясняю себе очень просто, сэр,— продолжала миссис Кленнэм после паузы, вызванной замешательством мистера Доррита,— одно из двух: либо этот человек путешествует где-то, либо где-то намеренно скрывается.

— А вам известны причины, которые — кха — побуждали бы его скрываться?

— Нет.

Такое же «нет», как прежде, такой же непреодолимый барьер.

— Вы спрашивали о том, могу ли я объяснить себе исчезновение этого человека,— холодно напомнила миссис Кленнэм,— а не о том, могу ли я объяснить это *вам*. Вам я ничего объяснять не собираюсь, сэр. Было бы так же неуместно с моей стороны предлагать объяснения, как с вашей — требовать их.

Мистер Доррит слегка поклонился, как бы прося извинения. Затем он отступил на шаг, намереваясь сказать, что не имеет больше вопросов, и тут ему бросилась в глаза ее поза угрюмого ожидания и мрачная сосредоточенность, с которой она рассматривала одну точку на полу; то же сосредоточенное ожидание было написано на лице у мистера Флинтвинча, который стоял поодаль и тоже смотрел в пол, поскребывая правой рукой подбородок.

Вдруг миссис Эффери (старуха с передником, конечно, была она) выронила из рук подсвечник и громко вскрикнула:

— Опять! Господи боже, опять! Вот, Иеремия! Слышишь!

Если и донесся в эту минуту какой-то звук, он был таким тихим, что лишь привычно настороженное ухо миссис Эффери могло уловить его; однако и мистеру储рриту почудилось что-то похожее на шуршанье сухой листвы. Страх миссис Эффери на несколько мгновений как бы передался остальным, и они все трое замерли, прислушиваясь.

Мистер Флинтвинч опомнился первым.

— Эффери, старуха,— сказал он, подступая к ней со сжатыми кулаками и весь дрожа, так ему не терпелось хорошенько ее встряхнуть,— ты опять за свое. Того и гляди начнешь расхаживать во сне и повторять все свои старые штуки. Придется, видно, тебя полечить. Вот я провожу джентльмена и тогда займусь твоим лечением, голубушка, всерьез займусь!

Эта перспектива ничуть не воодушевила миссис Эффери; но Иеремия не стал распространяться о своих целительных средствах, а взял другую свечу со столика миссис Кленнэм и сказал:

— Прикажете посветить вам, сэр?



Мистеру Дорриту оставалось только поблагодарить и удалиться, что он и сделал. Мистер Флинтвинч, не теряя минуты, захлопнул за ним дверь и запер ее на все замки. В воротах мистер Доррит снова столкнулся с двумя давешними прохожими, которые тотчас же разошлись в разные стороны. Кабриолет дожидался его на улице; он сел и уехал.

По дороге возница рассказал, что эти двое подходили к нему в отсутствие седока и заставили назвать свое имя, номер кабриолета и адрес, а также сказать, где он посадил мистера Доррита, в котором часу был вызван со стоянки и каким путем ехал. Это известие еще усугубило тревожное чувство, не покидавшее мистера Доррита, когда он думал о приключениях минувшего вечера, сидя в кресле у камина, и поздней, уже лежа в постели. Всю ночь он бродил по мрачному дому, видел две фигуры, застывшие в угрюмом ожидании, слышал крик старухи в переднике, напуганной неведомым шумом, и находил труп Бландуа то зарытым в погребе, то замурованным в стене.

ГЛАВА XVIII
Воздушный замок

Есть свои заботы у богатых и знатных. Едва мистер Доррит тронулся в обратный путь, как утешавшая его мысль, что он так и не назвал себя Кленнэму и К⁰ и не упомянул о своем знакомстве с навязчивым господином, носившим ту же фамилию, была вытеснена мучительными колебаниями: ехать ли мимо Маршалси или выбрать кружную дорогу, чтобы не видеть знакомых стен. В конце концов он склонился к последнему решению и немало удивил возницу, сердито раскричавшись, когда тот направился было к Лондонскому мосту, с тем чтобы потом проехать по мосту Ватерлоо — путь, который привел бы их чуть не к самым воротам тюрьмы. Но ему пришлось выдержать борьбу с самим собой, и по какой-то причине — а может быть, и вовсе без причины — его томило глухое недовольство. Весь следующий день ему было не по себе, и даже

за обедом у Мердла он то и дело возвращался к своим вчерашним раздумьям, чудовищно неуместным в избранном обществе, которое его окружало. Его бросало в жар от одной догадки, что подумал бы мажордом, если бы тяжелый взгляд упомянутой важной особы мог проникнуть в эти раздумья.

Прощальный банкет был неслыханно великолепен и послужил достойным апофеозом пребывания мистера Доррита в Лондоне. Фанни блистала молодостью и красотой, и при этом держалась так уверенно и свободно, как будто была замужем лет двадцать. Он чувствовал, что со спокойной душой может оставить ее одну на путях светской славы (не отказываясь, впрочем, от своего отеческого покровительства), и только жалел, что другая его дочь не такова — хотя и отдавал должное скромным достоинствам своей любимицы.

— Душа моя,— сказал он Фанни, прощаясь,— мы ждем, что ты — кха — поддержишь достоинство семьи, и — кхм — всегда сумеешь внушать должное почтение к ней. Надеюсь, ты оправдаешь наши ожидания.

— Разумеется, папа,— отвечала Фанни.— Можете положиться на меня. Передайте мой самый горячий привет милочке Эми и скажите, что я ей на днях напишу.

— Не пужно ли передать привет — кха — еще кому-нибудь? — осторожно намекнул мистер Доррит.

— Нет, благодарю вас,— сказала Фанни, перед которой сразу выросла фигура миссис Дженерал.— Очень любезно с вашей стороны, папа, но вы уж меня извините. Никому больше ничего передавать не требуется — во всяком случае, ничего такого, что вам было бы приятно передать.

Прощальный разговор отца с дочерью происходил в одной из гостиных, где, кроме них, не было никого, если не считать мистера Спарклера, покорно ожидавшего своей очереди пожать отъезжающему руку. Когда мистер Спарклер был допущен к этой заключительной церемонии, в гостиную проскользнул мистер Мердл, у которого рукава болтались точно пустые, так что можно было принять его за близнеца знаменитой мисс Биффин,— и выразил твердое намерение проводить мистера Доррита вниз. Все протесты последнего оказались напрасны, и он спустился

с лестницы под почетным эскортом величайшего из людей нашего времени, чья любезность и внимание сделали эти две недели положительно незабываемыми для него (все это мистер Доррит высказал мистеру Мердлу при последнем рукопожатии). На том они простились; и мистер Доррит сел в карету, преисполненный гордости и отнюдь не недовольный тем обстоятельством, что курьер, который в это время тоже прощался, только этажом ниже, мог наблюдать его великолепные проводы.

Впечатление от этих проводов не изгладилось за всю дорогу до отеля. Выйдя из кареты с помощью курьера и полудюжины слуг, мистер Доррит неспешно и величаво направился к лестнице, и — обмер. Джон Чивери, во всей парадной амуниции, с цилиндром под мышкой, с пачкой сигар в одной руке и тросточкой с костяным набалдашником в другой, застенчиво улыбался ему из угла.

— Вот джентльмен, которого вы спрашивали, молодой человек,— сказал швейцар.— Сэр, этот молодой человек непременно хотел вас дождаться, уверяя, что вы будете ему рады.

Мистер Доррит метнул на молодого человека свирепый взгляд, проглотил слюну и сказал самым ласковым тоном:

— А-а, Юный Джон! Ведь это Юный Джон, я не ошибся?

— Он самый, сэр,— отвечал Юный Джон.

— Я — кха — сразу узнал вас, Юный Джон! — сказал мистер Доррит.— Этот молодой человек пойдет со мной,— бросил он на ходу своей свите,— да, да, он пойдет со мной. Я с ним поговорю наверху, с Юным Джоном.

Юный Джон, сияя от удовольствия, последовал за ним. Распахнулась дверь номера. Зажглись свечи. Свита, сделав свое дело, удалилась.

— Ну-с, сэр,— грозно сказал мистер Доррит, схватив гостя за ворот, как только они остались одни.— Это что же такое значит?

Изумление и ужас, отразившиеся на лице злополучного Джона (который ожидал по меньшей мере объятий) были так велики, что мистер Доррит убрал свою руку и только продолжал испепелять его взглядом.

— Как вы посмели? — сказал мистер Доррит.— Как у



вас хватило нахальства прийти ко мне? Как вы посмели оскорбить меня?

— Я вас оскорбил, сэр? — воскликнул Юный Джон.— О-о!

— Да, сэр,— отрезал мистер Доррит.— Оскорбили. Ваш приход — это дерзость, наглость, неслыханное бесстыдство. Вам здесь не место. Кто вас подослал? Какого — кха — черта вам от меня нужно?

— Я думал, сэр,— сказал Юный Джон с таким жалким и убитым видом, какого мистеру Дорриту ни у кого не приходилось наблюдать, даже в своей прежней жизни,— я думал, сэр, вы, может быть, не откажетесь в одолжение мне принять пачку...

— К дьяволу вашу пачку, сэр! — в бешенстве закричал мистер Доррит.— Я — кха — не курю!

— Простите великодушно, сэр. Раньше вы курили.

— Скажите еще слово,— заорал мистер Доррит вне себя,— и я вас прибью кочергой!

Джон Чивери попятился к двери.

— Назад, сэр! — крикнул мистер Доррит.— Назад! Сядьте! Сядьте, черт вас побери!

Джон Чивери рухнул в ближайшее к двери кресло, а мистер Доррит принялся ходить из угла в угол, сперва чуть не бегом, потом постепенно замедляя шаг. Наконец он подошел к окну и постоял немного, прижавшись к стеклу лбом. Потом круто обернулся и спросил:

— Так что же вы задумали, сэр?

— Ничего решительно, сэр. Господи помилуй! Я только хотел справиться о вашем здоровье, сэр, и узнать, здорова ли мисс Эми.

— Вам дела нет до этого, сэр.

— Знаю, что нет, сэр. Поверьте, я никогда не забываю о том, какое между нами расстояние. Но я взял на себя смелость явиться к вам, совершенно не предполагая, что вы так рассердитесь. Даю вам честное слово, сэр,— добавил Юный Джон взволнованно,— я человек маленький, но у меня есть своя гордость, и я бы ни за что не пришел, если б мог это предположить.

Мистеру Дорриту сделалось стыдно. Он снова отвернулся и приложил лоб к оконному стеклу. Когда он, спустя несколько минут, отошел от окна, в руках у него был но-

совой платок, которым он, видно, вытирал глаза; и он казался усталым и больным.

— Юный Джон, я сожалею, что погорячился, но есть — кха — обстоятельства, о которых неприятно вспоминать, и — кхм — лучше было вам не являться ко мне.

— Я и сам теперь вижу, сэр,— отозвался Джон Чивери,— но раньше мне как-то в голову не пришло, и бог свидетель, сэр, я сделал это без умысла.

— Да, да, разумеется,— сказал мистер Доррит.— Я — кха — не сомневаюсь. Кхм. Дайте мне вашу руку, Юный Джон, дайте мне вашу руку.

Юный Джон протянул руку, но в этом движении не было души, потому что мистер Доррит спугнул ее; и ничто уже не могло согнать горестное и растерянное выражение с побледневшего лица.

— Ну вот,— сказал мистер Доррит, пожимая протянутую руку.— А теперь сядьте, посидите, Юный Джон.

— Благодарю вас, сэр, я лучше постою.

Мистер Доррит сел сам. Несколько минут он держался обеими руками за голову, потом выпрямился в кресле и спросил как можно непринужденнее.

— Как поживает ваш отец, Юный Джон? Как — кхм — как все там поживают, Юный Джон?

— Благодарю вас, сэр. Все слава богу, сэр. Живут, не жалуются.

— Кхм. Вы, я вижу — кха — как прежде, по торговой части, Джон? — заметил мистер Доррит, бросив взгляд на предательскую пачку сигар, вызвавшую у него такой бурный взрыв гнева.

— Не только, сэр. Я теперь и...— Джон замялся,— ...и по отцовской части тоже.

— Ах вот как,— сказал мистер Доррит.— И вам — кха-кхм — приходится нести — кха...

— Дежурства, сэр? Да, сэр.

— Дела много, Джон?

— Да, сэр; у нас сейчас полно, сэр. Сам не знаю, как это получается, но у нас почти всегда полно.

— Неужели и весной тоже, Джон?

— Да можно сказать, что круглый год, сэр. Для нас весна ли, осень ли, разницы не составляет. Позвольте пожелать вам доброй ночи, сэр.

— Погодите минутку, Джон — кха — погодите минутку. Кхм. Оставьте мне эти сигары, Джон — кхм — прошу вас.

— С удовольствием, сэр.— Джон дрожащей рукой положил пачку на стол.

— Погодите минутку, Юный Джон; погодите еще минутку. Мне бы — кха — очень приятно было воспользоваться такой надежной оказией и передать небольшой — кхм — знак внимания, с тем, чтобы он был разделен между — кха-кхм — между *ними,* соответственно нуждам каждого. Вы не откажетесь взять это на себя, Джон?

— Буду только рад, сэр. Там много есть таких, кому это придется очень кстати.

— Спасибо, Джон. Я — кха — сейчас напишу, Джон.

У него так дрожала рука, что писать пришлось очень долго и написанное было не очень разборчиво. Это был чек на сто фунтов. Он вложил его в руку Юного Джона и крепко сжал эту руку.

— Надеюсь, вы — кхм — забудете то, что здесь произошло, Джон.

— Не стоит и говорить об этом, сэр. Я, право, не в обиде.

Но покуда Джон находился в этих стенах, ничто не могло вернуть обычный цвет и выражение его лицу и ничто не могло восстановить его душевного равновесия.

— Я надеюсь, Джон,— сказал мистер Доррит, в заключение еще раз пожав ему руку,— весь этот разговор — кха — останется между нами, и вы там, внизу, воздержитесь от замечаний, которые — кха — могли бы навести на мысль — кхм — что когда-то я...

— Будьте покойны, сэр,— отвечал Джон Чивери.— Человек я, конечно, маленький, но моя гордость и честь этого не допустят, сэр.

Мистеру Дорриту гордость и честь не помешали послушать у дверей, уйдет ли его гость сразу, или остановится посудачить с кем-нибудь внизу. Сомнения оказались напрасны: быстрые шаги Юного Джона простучали по лестнице и затерялись в уличном шуме. Час спустя мистер Доррит вызвал к себе курьера, и тот, войдя, нашел его сидящим в кресле у камина, спиной к дверям.

— Там лежит пачка сигар, можете взять ее себе и выкурить в дороге,— сказал мистер Доррит, небрежно указывая рукой через плечо.— Я получил ее в виде — кха — маленького подарка от сына одного из моих — кхм — старых арендаторов.

Назавтра первые лучи солнца застали карету мистера Доррита на дуврской дороге, где каждая красная почтальонская куртка служила вывеской разбойничьего притона, устроенного с целью безжалостного ограбления проезжих. Так как это, по-видимому, самый распространенный промысел на всем протяжении от Лондона до Дувра, то мистера Доррита обобрали в Дартфорде, обчистили в Грейвзенде, ограбили в Рочестере, распотрошили в Ситтингборне и вытряхнули из него последнее в Кентербери. Однако курьер, на обязанности которого лежало охранять своего господина, всякий раз выкупал его из рук бандитов; и снова красные куртки, мерно подпрыгивая перед глазами мистера Доррита, прикорнувшего в уголке, весело мелькали на фоне весеннего пейзажа, где пыльная дорога вилась среди меловых холмов.

Следующий восход солнца застал путешественника в Кале. Теперь, когда между ним и Джоном Чивери лег Ламанш, он почувствовал себя в безопасности и лишний раз убедился, что в воздухе континента ему дышится значительно легче, чем в английском.

И вот уже карета катит к Парижу, ныряя на ухабах французских дорог. А мистер Доррит в своем уголке, вполне оправившись после испытанных волнений, занят постройкой воздушного замка. Сразу видно, что это должно быть грандиозное сооружение. Целый день он возводит одни башни, сносит другие, здесь пристроит крыло, там украсит карниз зубцами, укрепляет стены, добавляет контрфорсы — словом, не щадит трудов, чтобы замок вышел на славу. Это так ясно написано у него на лице, что любой нищий калека (если он не слеп), из тех, что на каждой почтовой станции тычут в окно кареты мятую жестяную кружку, выпрашивая подаяние именем Христа, именем пресвятой девы, именем всех святых христианского мира, читает его мысли не хуже, чем это сделал бы сам знаменитый Лебрен * — вздумай он избрать приезжего англичанина предметом специального трактата по физиогномике.

В Париже мистер Доррит решил три дня отдохнуть. В эти дни он много бродил по улицам один, рассматривая выставленные в витринах товары, причем особое внимание уделял витринам ювелиров. В конце концов он зашел в самый знаменитый ювелирный магазин и сказал, что желал бы приобрести небольшой подарок для дамы.

Его просьбу выслушала очаровательная маленькая француженка, настоящая куколка, одетая с безукоризненным вкусом; она выпорхнула из зеленого бархатного гнездышка, где писала что-то на изящном маленьком столике, похожем на конфетку, в изящной маленькой книжечке, казалось бы, совершенно непригодной, чтобы вести в ней какие-либо счета, разве только счет поцелуев.

А какого рода подарок желает сделать мсье? спросила маленькая француженка. Любовный подарок?

Мистер Доррит улыбнулся и сказал: может быть, может быть. Как знать. Женские чары столь пленительны, что в этом нет ничего невозможного. Не покажет ли она ему какую-нибудь подходящую вещицу?

С восторгом, сказала маленькая француженка. Она будет просто счастлива предложить мсье самый разнообразный выбор. Но pardon! Прежде всего мсье должен иметь в виду, что есть любовные подарки и есть свадебные подарки. Вот, например, этот прелестный гарнитур из серег и колье просто создан, чтобы служить любовным подарком. А вот эти кольца и брошь такого прекрасного и строгого рисунка, с позволения мсье, как нельзя лучше подходят для свадебного подарка.

Быть может, самое разумное, с тонкой улыбкой предположил мистер Доррит, купить и то и другое, чтобы начать с даров любви, а кончить брачными дарами.

Ах бог мой, воскликнула маленькая француженка, молитвенно складывая свои маленькие ручки, вот это галантность, вот это настоящие рыцарские чувства! Можно не сомневаться, что дама, столь щедро осыпанная дарами, не сможет устоять перед ними.

Мистер Доррит не был уверен в этом. Но зато очаровательная маленькая француженка была, по ее словам, совершенно уверена. Мистер Доррит купил два подарка и заплатил за них весьма внушительную сумму. Обратно он шел с гордо поднятой головой; должно быть, его воздуш-

ный замок успел подняться намного выше квадратных башен Собора Парижской богоматери.

Без устали трудясь над постройкой замка, однако же сохраняя свои труды в тайне, мистер Доррит отбыл в Марсель. Он строил, строил, усердно, хлопотливо, с утра до ночи без передышки. Засыпал от усталости, оставляя в беспорядке огромные массы своего строительного материала; а проснувшись, снова принимался за работу и укладывал все по местам. А в это время курьер на запятках мирно покуривал лучшие сигары Юного Джона, пуская тоненькую струйку дыма, и кто знает — может быть, он строил *свои* замки на деньги мистера Доррита, случайно прилипшие к его рукам.

Ни одна крепость, встретившаяся им на пути, не была так неприступна, как замок мистера Доррита, ни один собор не возносил так высоко в небо свои башни. Воды Соны и Роны текли не с такой быстротой, как вырастало это величественное здание; Средиземное море было менее глубоко, чем его фундамент; жемчужные дали, встававшие за Корнишем *, холмы на берегах славного Генуэзского залива, ничто не могло сравниться с ним красотой. Мистер Доррит и его ослепительный замок высадились среди грязных домишек и еще более грязных мошенников Чивита-Веккиа * и оттуда потащились в Рим, увязая в непролазной дорожной грязи.

ГЛАВА XIX

Падение воздушного замка

Прошло добрых четыре часа после захода солнца, и наступило время, когда всякий путешественник предпочел бы находиться уже в стенах Рима, а карета мистера Доррита еще тряслась по унылой Кампанье, совершая свой последний утомительный переезд. Попадавшиеся днем навстречу диковатые пастухи и свирепого вида крестьяне скрылись вместе с солнцем, и ничто больше не оживляло пустынную глушь. Порой за поворотом дороги показывались на краю неба розоватые отсветы, словно испарения удобренной древностями земли — предвестье далекого еще

города; но и это смутное видение надежды мелькало лишь изредка и ненадолго. Снова карета ныряла в пучину сухого темного моря, и кругом не оставалось ничего, кроме его окаменелых волн да сумрачного небосвода.

Мистеру Дорриту было изрядно не по себе среди этого безлюдья, несмотря на занятие, которое постройка замка давала его уму. Впервые со времени выезда из Лондона он стал обращать внимание на каждый толчок кареты, каждый выкрик почтальона. Камердинер на козлах весь трясся от страха. Курьеру на запятках тоже, видимо, было не по себе. Всякий раз, когда мистер Доррит, высунув голову из окошка, оглядывался назад (что случалось довольно часто), он видел, что курьер, посасывая очередную сигару Джона Чивери, все время оглядывается по сторонам, как человек, у которого есть свои основания быть настороже. И мистер Доррит, снова подняв оконное стекло, тревожно думал о том, что физиономии у почтальонов самые разбойничьи, и надо было ему лучше заночевать в Чивита-Веккиа, а утром продолжать свой путь. Впрочем эти размышления не мешали ему трудиться над постройкой замка.

Но вот стали попадаться все чаще то полуразрушенная изгородь, то окна с выбитыми стеклами, то кусок обвалившейся стены, потянулись пустые дома, заброшенные колодцы, пересохшие водоемы, кипарисы, похожие на привидения, запущенные виноградники, дорога перешла в длинную, кривую, неприглядную улицу, где все говорило об упадке, от ветхих строений до выбоин на мостовой,— и по этим приметам можно было узнать, что Рим уже близко. Карету вдруг сильно тряхнуло и лошади стали; мистер Доррит, в полной уверенности, что сейчас разбойники начнут его грабить, опустил стекло и выглянул; однако же вместо шайки разбойников увидел лишь похоронную процессию, с заунывным пением тянувшуюся мимо — обтрепанные рясы, чадные факелы, раскачивающиеся кадила, большой крест, за которым шел священник. Лицо священника, сумрачное, с нависшим лбом, казалось зловещим в мертвенном свете факелов, а когда он заметил мистера Доррита, который, сняв шляпу, смотрел из окошка кареты, губы его, бормотавшие молитву, словно бы произнесли угрозу по адресу знатного путешественника, а жест, которым он ответил на поклон мистера Доррита, эту угрозу

подкрепил. По крайней мере так показалось мистеру Доррриту, воображение которого было распалено путешествием и постройкой замка. Но священник прошел мимо, и вся процессия вместе с покойником скрылась за изгибом дороги. Продолжала свой, более радостный, путь и карета мистера Доррита, нагруженная всем, что могли предложить по части роскоши две великих столицы Европы, и вскоре он и его приближенные подобно новым готам уже стучались в ворота Рима.

Домашние мистера Доррита не ждали его в этот вечер, верней, перестали ждать с наступлением темноты, никак не думая, что он решится путешествовать в окрестностях Рима в столь поздний час. Поэтому, когда дорожный экипаж остановился у подъезда, никто его не встретил, кроме швейцара. А что, мисс Доррит нет дома? — спросил вернувшийся путешественник. Ему ответили, что она дома. Хорошо, сказал он сбежавшимся слугам; пусть остаются тут и помогают выгружать вещи; он сам найдет мисс Доррит.

Медленно поднялся он по парадной лестнице и долго блуждал по пустым и темным покоям, пока, наконец, не заметил свет впереди. Свет шел из маленькой комнатки в дальнем конце, задрапированной на манер шатра; оттуда веяло теплом и уютом после неприветливой мертвящей пустоты.

Двери не было, ее заменяла портьера. Мистер Доррит, оставаясь незамеченным, заглянул в просвет между складками и почувствовал неприятный холодок в сердце. Не ревнует же он, в самом деле! С какой стати ему ревновать? В комнате никого не было, кроме его брата и дочери; первый грелся в кресле у камина, где весело потрескивали дрова; вторая вышивала, сидя за маленьким столиком. Все это напоминало давно знакомую картину; фон был иной, но фигуры те же. Фамильное сходство между братьями позволяло на миг принять одного за другого. Так он сам сидел, бывало, долгими вечерами, в далеком краю, где печи топят углем, и она, преданная дочь, вот так же склонялась над работой подле него. Но уж, конечно, в той убогой нищенской жизни не было ничего, что могло бы вызвать в нем теперь ревность. Откуда же это неприятное ощущение в сердце?

— Знаете, дядя, вы словно помолодели.

Дядя покачал головой и сказал:

— С каких это пор, дитя мое, с каких это пор?

— Мне кажется,— отвечала Крошка Доррит, продолжая прилежно водить иголкой,— это произошло за последний месяц. Вы стали веселым, бодрым, так живо отзываетесь на все.

— Это благодаря тебе, голубка.

— Благодаря мне?

— Да, да. Ты отогрела мне душу. Ты всегда так внимательна, так ласкова со мной, так деликатно прячешь свою заботу, что я... ну, ну, ну! Ничто не пропадает даром, дитя мое, ничто не пропадает даром.

— Право, дядя, это все одна ваша фантазия,— весело возразила Крошка Доррит.

— Ну, ну, ну! — пробормотал старик.— Благослови тебя господь.

На миг она прервала работу, чтобы взглянуть на него, и этот взгляд отозвался новой болью в сердце ее отца, бедном, слабом сердце, вместилище стольких противоречий, сомнений, причуд, всяких мелких житейских огорчений — мглы, которую лишь вечное утро может развеять.

— Видишь ли, голубка,— сказал старик,— мне куда легче с тех пор, как мы с тобой остались одни. Я говорю одни, потому что миссис Дженерал в счет не идет. Я о ней не думаю; мне до нее нет дела. А вот Фанни всегда сердилась на меня, я знаю. И меня это не удивляет и не обижает, я сам вижу, что мешаю тут, хоть по мере сил стараюсь не мешать. Я — неподходящее общество для людей из общества. Мой брат Уильям,— восторженно сказал старик,— не ударит лицом в грязь даже перед королем; но о твоем дяде этого не скажешь, дитя мое. Уильяму Дорриту не приходится гордиться Фредериком Дорритом, и Фредерик Доррит это знает... Эми, Эми, гляди, твой отец здесь! Дорогой Уильям, с приездом! Я так рад тебя видеть, милый брат!

Во время разговора он невзначай повернул голову и заметил за портьерой мистера Доррита.

Крошка Доррит, радостно вскрикнув, кинулась обнимать и целовать отца. Но тот, казалось, был не в духе и чем-то недоволен.

— Очень рад, что мне, наконец, удалось найти тебя, Эми,— сказал он.— Очень рад, что мне — кхм — хоть кого-нибудь удалось найти. Здесь, видно — кха — о моем возвращении так мало думали, что я, пожалуй — кха-кхм — должен принести свои извинения за то, что вообще — кха — позволил себе вернуться.

— Мы уже не надеялись, что ты приедешь сегодня, дорогой Уильям,— сказал ему брат.— Ведь ночь на дворе.

— Я крепче тебя, мой милый Фредерик,— возразил глава семейства с состраданием, в котором слышался укор,— и могу путешествовать в любой час, не опасаясь — кха — за свое здоровье.

— Конечно, конечно,— поспешил ответить Фредерик, смутно догадываясь, что он сказал что-то невпопад.— Конечно, Уильям.

— Благодарю, Эми,— заметил мистер Доррит дочери, помогавшей ему раскутаться.— Я справлюсь и сам. Не хочу — кха — утруждать тебя, Эми. Можно мне получить ломтик хлеба и стакан вина, или это — кха — потребует чересчур больших хлопот?

— Дорогой отец, через пять минут ужин будет на столе.

— Благодарю, дитя мое,— отвечал мистер Доррит обиженным тоном,— боюсь, я — кха — слишком много доставляю хлопот. Кхм. Миссис Дженерал здорова?

— Миссис Дженерал жаловалась на усталость и головную боль, дорогой мой; когда мы отказались от мысли дождаться вас сегодня, она ушла спать.

Быть может, мистеру Доррнту понравилось, что его предполагаемое запоздание так расстроило миссис Дженерал. Во всяком случае, лоб у него разгладился, и он сказал с явным удовольствием:

— Весьма прискорбно слышать, что миссис Дженерал нездорова.

Во время этого короткого разговора дочь присматривалась к нему с особенным вниманием, словно он казался ей постаревшим или вообще как-то изменившимся. Он это, должно быть, заметил и рассердился, судя по тому, что, избавившись от своей дорожной одежды и подойдя к камину, он сказал ворчливым тоном:

— Что ты меня так разглядываешь, Эми? Что вызывает у тебя такой — кха — преувеличенный интерес к моей особе?

— Простите, отец, я нечаянно. Мне просто приятно видеть вас снова, вот и все.

— Не говори «вот и все», потому что — кха — это отнюдь не все. Тебе — кхм — тебе кажется,— продолжал мистер Доррит с обличающей многозначительностью,— что я нездоров.

— Мне кажется, что вы немного устали, голубчик мой.

— Вот и ошибаешься,— сказал мистер Доррит.— Кха. Ничуть я не устал. Кха-кхм. Я сейчас бодрей, чем был до поездки.

Чувствуя его раздражение, она не стала спорить, только тихонько прижалась к его плечу. Он вдруг свесил голову и задремал, но через минуту встрепенулся.

— Фредерик,— сказал он, обращаясь к брату, стоявшему по другую его сторону,— советую тебе немедленно лечь в постель.

— Нет, Уильям, я посижу с тобой, пока ты будешь ужинать.

— Фредерик,— возразил он,— я прошу тебя лечь в постель. Я настаиваю на том, чтобы ты сейчас же лег в постель. Тебе — кхм — давно уже пора быть в постели. Ты такой слабый.

— Ну, ну, ну! — сказал старик, готовый на все, лишь бы сделать брату приятное.— Ты прав, Уильям. Я в самом деле слаб.

— Мой милый Фредерик,— произнес мистер Доррит с неподражаемым чувством превосходства над дряхлым и немощным братом,— в этом не приходится сомневаться. Мне крайне грустно видеть, как ты ослабел. Кха. Это для меня большое огорчение. Кхм. Я нахожу, что у тебя совсем больной вид. Такой образ жизни не по тебе. Нужно больше думать о своем здоровье, больше думать о своем здоровье.

— Так мне пойти лечь? — спросил Фредерик.

— Сделай милость, Фредерик,— сказал мистер Доррит.— Ты меня этим крайне обяжешь. Покойной ночи, брат. Надеюсь, сон подкрепит тебя. Мне решительно не нравится твой вид. Покойной ночи, мой милый.— Отпу-

стив брата с этим сердечным напутствием, он снова задремал, прежде чем тот успел дойти до порога; и если бы не дочь, ткнулся бы прямо в огонь головой.

— Твой дядя стал совсем плох, Эми,— сказал он, сразу же очнувшись.— Бормочет что-то — кха — так, что нельзя разобрать, а порой — кхм — и вовсе заговаривается. Я его — кха-кхм — еще таким не видел. Не болел ли он тут без меня?

— Нет, отец.

— Он очень — кха — переменился, верно, Эми?

— Я как-то не замечала, отец.

— Очень одряхлел,— сказал мистер Доррит.— Очень одряхлел. Мой бедный добрый Фредерик, видно, что его силы падают с каждым днем. Кха. Даже если вспомнить, каким я его оставил, он — кхм — заметно одряхлел.

Ужин, накрытый здесь же, на маленьком столике, у которого он давеча увидел Эми за вышиваньем, отвлек его мысли от брата. Она села рядом, по старому, давно уже забытому обыкновению. За столом никто не прислуживал, и она сама подавала ему еду, наливала вино в стакан, как всегда делала это в Маршалси. Впервые после перемены в их судьбе ей выпала такая возможность. Она избегала смотреть на него, чтобы не вызвать новой вспышки гнева; дважды в течение ужина она замечала, как он вдруг вскидывал на нее глаза и тотчас же оглядывался по сторонам, будто спешил убедиться, что это не та комната, в которой они коротали долгие тюремные вечера. И оба раза он ощупывал рукой голову, словно искал свою старую черную ермолку — хотя сей заслуженный головной убор так и не увидел свободы и, безжалостно брошенный в стенах Маршалси, до сих пор совершал прогулки по двору на чьей-то голове.

Ел он мало, но за столом сидел долго, и не раз снова заводил разговор о печальном состоянии брата. Сокрушаясь и сетуя, он, однако, был довольно беспощаден в подборе выражений. Приходится сознаться, говорил он, что бедный Фредерик — кха-кхм — выжил из ума. Да, иначе не скажешь: именно выжил из ума. Несчастный! Страшно даже подумать, каково было Эми выносить его общество — слушать бессвязное и бессмысленное бормотанье бедняги, да, бессвязное и бессмысленное бормотанье; она бы, верно,

пропала с тоски, если бы не спасительное присутствие в доме миссис Дженерал. Весьма прискорбно, повторил он с прежним удовольствием, что эта — кха — достойнейшая особа захворала.

Все, что он говорил и делал в тот вечер, вплоть до самых незначительных мелочей, Крошка Доррит любовно сохранила бы в памяти, даже если б не появилось у нее впоследствии причины запомнить этот вечер на всю жизнь. Она не могла забыть, как он упорно гнал от нее, а может быть, и от себя, навязчивую мысль о прошлом, стараясь заслонить эту мысль рассказами о богатстве и пышности общества, окружавшего его в Лондоне, о высоком положении, которое теперь прочно занял он и его семья. Но в его речах, во всей его повадке — это тоже запомнилось ей на всю жизнь — сквозили два противоречивых стремления, уживавшихся рядом; он словно хотел доказать, что она ему вовсе не нужна, что он отлично обходится без нее; и в то же время чуть ли не упрекал ее в том, что она мало беспокоилась о нем, пока он был в отсутствии.

Толкуя об истинно королевском блеске приемов мистера Мердла и о всеобщем поклонении перед этим новоявленным монархом, естественно было вспомнить про его супругу. И если ход мыслей мистера Доррита в этот вечер не всегда отличался последовательностью, то в данном случае ничего удивительного не было в том, что он без всякого перехода осведомился, здорова ли миссис Мердл.

— Она здорова и на будущей неделе уезжает.

— В Англию? — спросил мистер Доррит.

— Не сразу. Она собирается пробыть в путешествии несколько недель.

— Большая потеря для Рима,— заметил мистер Доррит,— и большое — кха — приобретение для Лондона. В особенности для Фанни, и — кхм — вообще для — кха — высшего света.

Крошка Доррит не слишком уверенно присоединилась к этому мнению, думая о той борьбе, которая теперь начнется.

— Миссис Мердл дает большой прощальный бал, которому будет предшествовать званый обед. Она очень беспокоилась, успеете ли вы вернуться, отец. Мы оба приглашены к обеду.

— Миссис Мердл весьма — кха — любезна. А когда это?

— Послезавтра.

— Завтра с утра извести ее, что я — кхм — благодарю за честь и непременно буду.

— Можно, я провожу вас в вашу комнату, дорогой?

— Нет! — сердито отрезал он, оглянувшись — ибо уже шел к выходу, забыв проститься.— Это совершенно ни к чему, Эми. Мне не нужны провожатые. Я твой отец, а не твой дряхлый дядя! — Тут его неожиданно вспыхнувшее раздражение столь же неожиданно улеглось, и он промолвил: — Ты меня не поцеловала, Эми. Покойной ночи, мой ангел! Дай срок, мы и тебе — кха — и тебе подыщем хорошего мужа.— С этими словами он вышел из комнаты и еще более медленным тяжелым шагом направился к себе. Поторопившись отпустить камердинера, он занялся своими парижскими покупками: открыл футляры, долго любовался игрой драгоценных камней, наконец убрал все и запер на ключ. Потом он забылся в кресле, чередуя дремоту с возведением новых пристроек и башенок в замке, и когда, наконец, лег в постель, над пустынной Кампаньей уже брезжило утро.

Когда он проснулся, ему доложили, что миссис Дженерал шлет поклон и желает знать, хорошо ли он отдохнул после утомительного путешествия. Он в свою очередь послал поклон миссис Дженерал и велел передать, что совершенно отдохнул и чувствует себя как нельзя лучше. Однако всю первую половину дня он оставался у себя, а когда, наконец, вышел, разодетый и расфранченный, чтобы ехать на прогулку с дочерью и с миссис Дженерал, вид его решительно не соответствовал его утверждениям.

Гостей в этот день не предвиделось и обедали в семейном кругу. Мистер Доррит с соблюдением всяческих церемоний повел миссис Дженерал к столу и усадил по правую руку от себя; Крошка Доррит, следовавшая за ними под руку с дядей, не могла не заметить изысканности его туалета и подчеркнутого внимания, которое он оказывал миссис Дженерал. Отменное качество лака, употребляемого этой во всех отношениях достойнейшей особой, не позволяло ни одной жилке дрогнуть в ее лице. Но

Крошке Доррит почудилось, будто искра затаенного торжества на миг растопила ледяную неподвижность ее взгляда.

Хотя семейная трапеза проходила, так сказать, под знаком Плюща и Пудинга, мистер Доррит несколько раз заснул за столом. Эти приступы сонного забытья были так же внезапны, как и накануне, и так же кратковременны и глубоки. Когда он первый раз впал в дремоту, миссис Дженерал почти удивилась; но в дальнейшем она при каждом таком приступе начинала перебирать свои словесные четки: папа, пчела, пломба, плющ и пудинг,— и приладилась делать это так медленно, что добиралась до конца как раз к пробуждению мистера Доррита.

Последний был крайне озабочен болезненной сонливостью Фредерика (существовавшей, кстати сказать, лишь в его воображении) и после обеда, когда тот удалился, стал извиняться за беднягу перед миссис Дженерал.

— Почтеннейший человек и преданнейший брат,— говорил он,— но — кха-кхм — совсем одряхлел за последнее время. Угасает на глазах, как ни грустно это сознавать.

— Мистер Фредерик слаб здоровьем и несколько рассеян, сэр,— возразила миссис Дженерал,— однако будем надеяться, что до худшего еще далеко.

Но мистеру Дорриту не так легко было отказаться от этой темы.

— Угасает на глазах, сударыня. Превратился в руину. В развалину. Дряхлеет день от дня. Кхм. Мой бедный добрый Фредерик!

— Надеюсь, миссис Спарклер здорова и счастлива? — осведомилась миссис Дженерал, благопристойно вздохнув и на том покончив с Фредериком.

— Сударыня,— отвечал мистер Доррит,— она окружена всем, что — кха — услаждает чувства и — кхм — возвышает душу. К тому же с нею любящий — кхм — супруг.

Миссис Дженерал немного смутилась и слегка шевельнула перчаткой, как бы отстраняя это слово, которое неизвестно куда могло завести.

— Фанни,— продолжал мистер Доррит,— Фанни, миссис Дженерал, обладает многими похвальными качест-

вами. Кха. Она честолюбива — кхм — настойчива, сознает свое — кха — положение, стремится быть на высоте этого положения — кха-кхм — хороша собой, грациозна и полна врожденного благородства.

— Без сомнения,— сказала миссис Дженерал (чуть суше, чем следовало бы).

— Но наряду с этими качествами, сударыня,— продолжал мистер Доррит,— в ней — кха — обнаружился один недостаток, который меня весьма — кхм — огорчил, и даже — кха — вызвал мой гнев; правда, сейчас это уже несущественно, во всяком случае, для — кхм — для других.

— О чем это вы говорите, мистер Доррит? — спросила миссис Дженерал, и ее перчатки снова пришли в некоторое волнение.— Я, право, теряюсь...

— Не говорите так, сударыня,— прервал ее мистер Доррит.

— ...теряюсь в догадках,— замирающим голосом докончила миссис Дженерал.

Тут мистер Доррит задремал было снова, но через минуту вздрогнул и широко раскрыл глаза.

— Я говорю, дорогая миссис Дженерал, о том — кха — строптивом недовольстве — кхм — я бы даже сказал — кха — ревности, которую подчас вызывало у Фанни мое глубокое чувство — кхм — уважения к достоинствам — кха — дамы, с которой я имею честь сейчас беседовать.

— Мистер Доррит,— возразила миссис Дженерал,— всегда несказанно любезен, несказанно великодушен. Если мне минутами и казалось, что мисс Доррит не по душе благосклонное мнение, которое сложилось у мистера Доррита о моих скромных заслугах, само это мнение, бесспорно преувеличенное, было для меня утешением и наградой.

— Мнение о ваших заслугах, миссис Дженерал? — спросил мистер Доррит.

— О моих скромных заслугах,— с грациозным и в то же время выразительным наклоном головы повторила она.

— Только о заслугах, миссис Дженерал? — снова спросил мистер Доррит.

— Я полагаю,— отвечала миссис Дженерал столь же выразительно,— только о заслугах. К чему же еще,— спро-

сила миссис Дженерал, в легком недоумении разведя перчатками,— могла бы я отнести...

— К себе — кха — лично, сударыня — кха-кхм. К себе лично, к своим совершенствам,— был ответ.

— Мистер Доррит извинит меня,— сказала миссис Дженерал,— если я позволю себе заметить, что ни время, ни место не кажутся мне подходящими для начатого им разговора. Мистер Доррит простит меня, если я напомню, что мисс Доррит находится в соседней комнате и отлично видна мне в отворенную дверь. Мистер Доррит не взыщет, если я признаюсь, что чувствую себя несколько взволнованной, обнаружив, что слабости, которые казались мне похороненными навсегда, могут оживать вновь и вновь овладевать моей душой. Мистер Доррит разрешит мне удалиться.

— Кхм. Может быть, мы возобновим наш — кха — интересный разговор в другой раз,— сказал мистер Доррит,— если это, как я надеюсь, не будет — кхм — неприятно для миссис Дженерал.

— Мистер Доррит,— сказала миссис Дженерал и, приседая, потупила взоры,— всегда вправе рассчитывать на мое уважение и готовность к услугам.

Миссис Дженерал величаво выплыла из комнаты, без малейших признаков того волнения, которое непременно проявила бы на ее месте женщина не столь выдающаяся. Мистер Доррит, исполнявший свою партию в этом дуэте с величественной и слегка умиленной снисходительностью — как многие исполняют свои благочестивые обязанности в церкви — был, казалось, весьма доволен и собою и миссис Дженерал. Упомянутая дама вышла к чаю припомаженная и припудренная и в несколько приподнятом настроении, о чем свидетельствовали ее ласково покровительственный тон с мисс Доррит и нежное внимание к мистеру Дорриту — в той мере, в какой это не противоречило самым строгим требованиям приличий. Под конец вечера, когда она встала, чтобы проститься, мистер Доррит взял ее за руку, словно собирался пройтись с нею в менуэте по Пьяцца дель-Пополо при свете луны, и весьма торжественно проводил до дверей, где поднес ее пальчики к губам. Пальчики были довольно костлявые, а кроме того, поцелуй вышел с парфюмерным привкусом, но мистер Доррит этого

не заметил. Намекнув всем своим поведением на грядущие знаменательные события, он милостиво благословил дочь на прощанье и отправился спать.

На следующее утро он не спустился к завтраку, а посланный им камердинер передал, что мистер Доррит свидетельствует свое почтение миссис Дженерал и просит ее отправиться с мисс Доррит на прогулку без него. Но вот настало время ехать к миссис Мердл, Эми давно уже была готова, а его все не было. Наконец он появился, разряженный в пух и в прах, но как будто сразу состарившийся и одряхлевший. Однако дочь не решалась даже спросить его о здоровье, предвидя новую вспышку гнева; она только молча поцеловала его морщинистую щеку и с тяжелым сердцем уселась рядом с ним в экипаж.

Ехать было недалеко, но уже с полпути он занялся своим замком и строил вовсю, пока они не прибыли на место. Миссис Мердл оказала ему самый почетный прием; Бюст был в отличном виде и сиял самодовольством; обед был самый изысканный, общество самое отменное.

Состояло оно главным образом из англичан, если не считать неизбежного французского графа и неизбежного итальянского маркиза — живой мебели почти единого образца, без которой не обходится ни одна гостиная в известных светских кругах. Стол был длинный, обед еще длиннее; Крошка Доррит, загороженная парой внушительных черных бакенбард и не менее внушительным белым галстуком, совсем потеряла отца из виду, как вдруг лакей подал ей записку и шепнул, что миссис Мердл просит безотлагательно прочитать ее. В записке было нацарапано карандашом: «Подойдите, пожалуйста, к мистеру Дорриту. Он, кажется, не совсем здоров».

Пока она торопливо пробиралась к нему за спиной гостей, он вдруг встал и громко позвал, обращаясь к ее опустевшему месту в другом конце стола:

— Эми, Эми, дитя мое!

Эта странная выходка, в сочетании с его неестественно напряженным голосом и неестественно напряженным выражением лица, так удивила всех, что за столом мгновенно установилась тишина.

— Эми, дитя мое,— повторил он.— Сходи, дружочек, взгляни, не Боб ли нынче дежурит у ворот.

Она была уже рядом, уже прикасалась к его руке, но ему все чудилось, что она сидит там, на прежнем месте, и, подавшись вперед, он звал ее через весь стол.— Эми, Эми! Мне что-то неможется. Кха. Сам не знаю, что это такое со мной. Я очень хотел бы поговорить с Бобом. Кха. Ведь из всех тюремных сторожей он нам самый большой друг, и мне и тебе. Поищи Боба в караульне и скажи, что я прошу его прийти.

За столом начался переполох, гости один за другим повставали со своих мест.

— Отец, дорогой, я не там, куда вы смотрите; я здесь, подле вас.

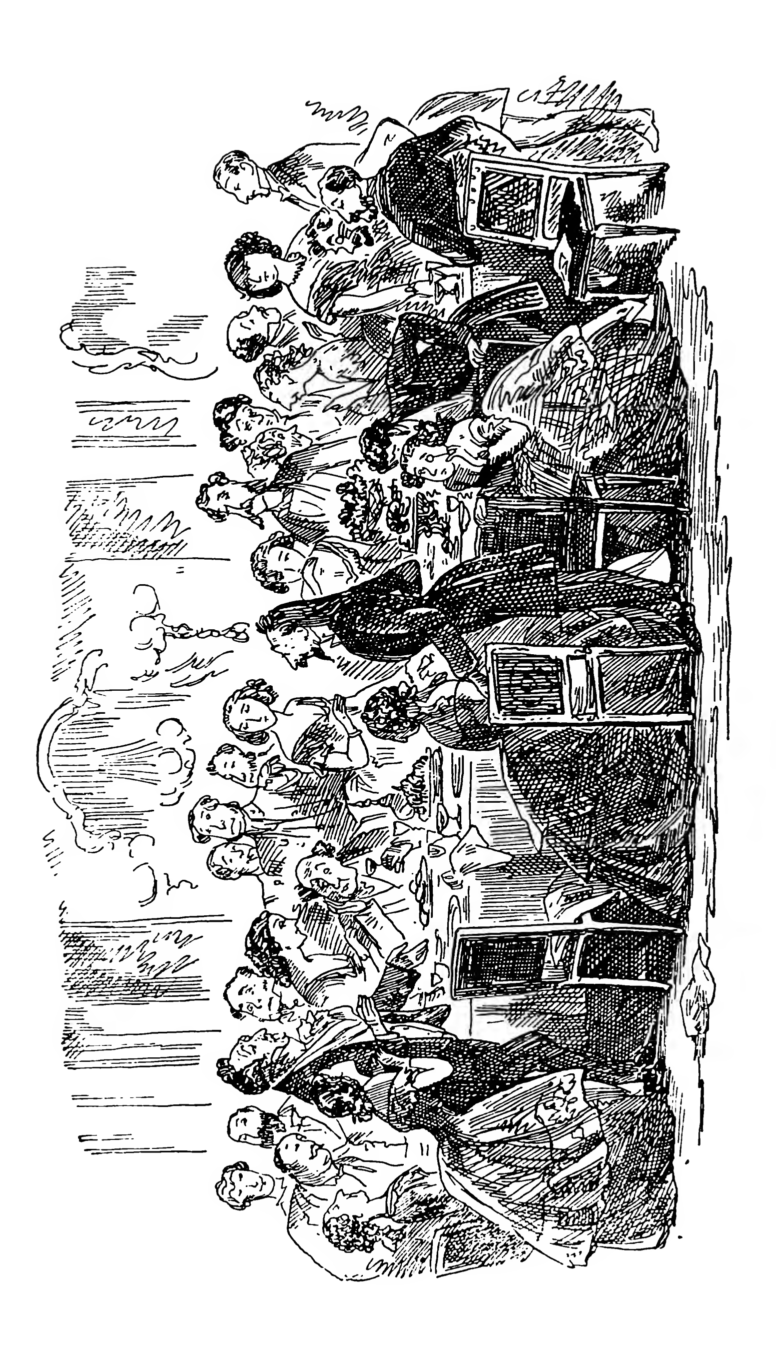
— А, ты здесь, Эми! Тем лучше. Кха. Тем лучше. Кхм. Позови Боба. А если он уже сменился и ушел домой, скажи миссис Бэнгем, пусть сходит за ним.

Она мягко пыталась увести его; но он упирался и не шел.

— Какая ты, право,— с досадой сказал он,— знаешь ведь, что мне не взойти на эту крутую лестницу без Боба. Кха. Позови Боба. Кхм. Пусть придет Боб — лучший из всех тюремных сторожей,— пусть придет Боб!

Он обвел присутствующих блуждающим взглядом и, словно только сейчас заметив их, обратился к ним с речью.

— Леди и джентльмены, мой — кха — долг приветствовать вас в стенах Маршалси. Добро пожаловать в Маршалси! Здесь, быть может, несколько — кха — тесновато — тесновато — территория для прогулок невелика; но как вы сами убедитесь, леди и джентльмены, с течением времени она — кхм — будет казаться вам больше и больше — больше и больше — а воздух, если все принять во внимание, просто превосходный. Здесь веют ветры с Сэррейских холмов. Кха. С Сэррейских холмов. Вот это наш Клуб. Кхм. На его содержание сами — кха — пансионеры вносят небольшие суммы по подписке. За это к их услугам горячая вода — общая кухня — и разные мелкие хозяйственные удобства. Завсегдатаи этого — кхм — заведения любезно называют меня — кха — Отцом Маршалси. Посетители с воли обычно считают своим долгом приветствовать меня в качестве — кхм — Отца Маршалси. Бесспорно, если право на это — кха — почетное звание дается числом проведенных здесь лет, то я — кхм — могу принять его с чистой со-



вестью. Моя дочь, леди и джентльмены. Моя любимая дочь. Родилась здесь.

Она не стыдилась сказанного им, как не стыдилась и его самого. Бледная, испуганная, она думала только о нем, о том, как бы успокоить его и увести. Она встала перед ним, подняв к нему лицо, словно стараясь заслонить его от любопытной, недоумевающей толпы. Он обхватил ее левой рукой, и минутами можно было расслышать ее тихие мольбы и уговоры.

— Родилась здесь,— повторил он со слезами на глазах.— Родилась и выросла. Моя дочь, почтеннейшие господа. Дитя злополучного отца, который, однако, и в несчастье сумел остаться — кха — джентльменом. Да, я беден, но — кхм — горд. Неизменно горд. У моих — кха — почитателей — только почитателей, разумеется,— вошло в обычай — кхм — выражать свое уважение к тому полуофициальному посту, который я здесь занимаю, небольшими — кха — знаками внимания, чаще всего в форме подношений — кхм — денежных подношений. Принимая эту добровольную дань признательности за мои скромные усилия поддерживать здесь известный — кха — тон — вот именно, тон — я считаю, что это меня никоим образом не компрометирует. Кха. Никоим образом. Кхм. Я не нищий. Отнюдь. Категорически протестую против этого наименования! Но я бы никогда не позволил себе — кха — оскорбить благородные чувства моих друзей хотя бы тенью сомнения в приемлемости — кхм — подобных знаков внимания. Напротив, я горячо приветствую их. Заявляю это во всеуслышание, если не от своего имени, то от имени своей дочери, без малейшего ущерба для моего — кха — личного достоинства. Храни вас бог, леди и джентльмены!

Большинство гостей, не желая усугублять жестокого испытания, выпавшего на долю хозяйки дома, уже разбрелось по соседним комнатам. Вскоре за ними последовали и те, кого любопытство дольше удерживало на месте, и в зале, кроме Крошки Доррит и ее отца, остались только слуги. Родной, голубчик, теперь он пойдет с нею, да? Но как она ни упрашивала, он все твердил свое: ему не подняться по крутой лестнице без Боба, где Боб, почему никто не сходит за Бобом? Наконец, под предлогом поисков Боба, ей удалось свести отца вниз, где уже бурлил поток

гостей, съезжавшихся на бал, усадить в подвернувшийся наемный экипаж и увезти домой.

Широкая лестница римского палаццо сжалась перед его помутившимся взором в узкую лестницу лондонской тюрьмы; но он никому не позволил дотронуться до себя, кроме дочери, да еще старика брата. Вдвоем они довели его до спальни и уложили в постель. И с этого вечера его бедная больная душа вернулась туда, где впервые были перебиты ее крылья; сказочная явь последних месяцев перестала существовать, и мир снова замкнулся для него в стенах Маршалси. Шаги на улице казались ему монотонным шарканьем ног по тюремному двору. В час, когда в тюрьме запирают ворота, он напоминал, что посторонним пора уходить. В час, когда их обычно отпирают, он так настойчиво требовал Боба, что домашним пришлось сочинить ему целую историю: Боб, мол, простудился (бедняга уже много лет лежал в могиле), но скоро поправится и придет — завтра, послезавтра или в крайности дня через два.

Он так ослабел, что не мог пошевелить рукой. Но его покровительственное отношение к брату ничуть не изменилось; и он раз пять — десять на дню снисходительно замечал ему, завидя его у своей постели: «Мой дорогой Фредерик, садись. Тебе не по силам стоять».

Приводили к нему миссис Дженерал, но он ее совершенно не узнал. Почему-то он вдруг забрал себе в голову, что это какая-то пьянчужка, которая метит на место миссис Бэнгем. Он тут же высказал ей эту оскорбительную догадку, не стесняясь в выражениях, и так настаивал, чтобы Эми пошла к смотрителю и попросила выгнать ее вон, что неудачную попытку больше не повторяли.

О двух других своих детях он вовсе не вспоминал, только раз вдруг спросил, дома ли Тип. Но дочь, которой он стольким был обязан и которой так скудно отплатил за все, постоянно занимала его мысли. Не то, чтобы он щадил ее или опасался, что она надорвет свои силы и здоровье; это его беспокоило не больше чем прежде. Нет, он любил ее все так же, по-своему. Они снова были в тюрьме, и она ухаживала за ним, и он беспрестанно нуждался в ней, каждый час, каждый миг; но не раз принимался рассуждать о том, как он счастлив, что ему так много пришлось вынести ради нее. А она склонялась над ним, молча

прижималась лицом к его лицу и с радостью отдала бы жизнь, чтобы вернуть ему здоровье.

На третий или четвертый день после того, как началось это тихое, безболезненное угасание, она вдруг заметила, что он тревожно прислушивается к тиканью своих часов — великолепных золотых часов, так громко напоминавших о том, что они идут, как будто, кроме них, ничто больше в мире не шло, разве только время. Она остановила часы, но он не успокоился; видно было, что она не угадала его желания. Наконец, собрав все силы, он дал ей понять, что просит ее снести часы в заклад. Когда она притворилась, что исполнила его просьбу, он был так доволен, что даже со вкусом выпил глоток вина и съел несколько ложек желе — впервые за все это время.

Что именно это подействовало на него так благотворно, подтвердилось назавтра, когда за часами последовали запонки, а потом кольца. Нетрудно было видеть, что ему доставляет огромное удовольствие давать ей эти маленькие поручения, воображая при этом, будто он весьма мудро и предусмотрительно распоряжается своим добром. После того как исчезли подобным образом все драгоценности, находившиеся у него на глазах, настала очередь гардероба; и, быть может, увлечение, с которым он отправлял вещь за вещью к несуществующему закладчику, несколько лишних дней поддерживало в нем жизнь.

Так день за днем Крошка Доррит склонялась над его изголовьем, щекой прижимаясь к его щеке. Случалось, она от усталости засыпала на несколько минут рядом с ним. Потом, проснувшись, сразу все вспоминала; слезы беззвучно, неудержимо лились из глаз, и сквозь них она видела, как на любимое лицо, неподвижно белеющее в подушках, понемногу ложится тень более глубокая, чем тень стены Маршалси.

Медленно, медленно, башня за башней таяла громада недостроенного замка. Медленно, медленно светлел и разглаживался нахмуренный заботой лоб. Медленно, медленно исчезало с него отражение тюремной решетки. Медленно, медленно молодело лицо под седыми кудрями, и все явственней проступало в его чертах сходство с дочерью, пока они не застыли в вечном покое.

В первые минуты дядя не помнил себя от горя.

— О мой брат! О Уильям, Уильям! Как ты мог уйти раньше меня, уйти один, не взяв меня с собой! Ты, такой благородный, утонченный, умный, ты ушел, а я, жалкий, никчемный, никому не нужный старик, остался!

Ей было легче от того, что приходилось о ком-то думать, кого-то утешать и поддерживать.

— Дядя, милый дядя, не убивайтесь так! Пожалейте себя, пожалейте меня!

Старик не мог остаться глухим к этому последнему доводу. Жалея ее, он постарался справиться со своим отчаянием. О себе он не думал; но ее готов был оберегать последними силами своей честной души, которая так долго существовала словно в полусне и теперь пробудилась лишь для того, чтобы принять сокрушительный удар.

— Великий боже! — воскликнул он, молитвенно сложив над Крошкой Доррит морщинистые руки.— Вот перед тобой дочь моего дорогого усопшего брата! Ты ясно видишь то, что я лишь смутно мог разглядеть в своей грешной слепоте. Ни один волос не упадет с ее головы без твоей воли. Ты будешь ей поддержкой и опорой здесь до ее последнего часа. А потом, я верю, воздашь ей по заслугам!

Они вышли в соседнюю комнату и тихо и скорбно сидели там без света вдвоем почти до полуночи. Иногда горе старика искало себе выхода в бурном порыве, подобном первому; но он был слишком слаб, а кроме того, всякий раз вспоминал ее слова, корил себя и утихал, жалуясь только, что брат ушел без него; вместе они начинали свой жизненный путь, вместе были сокрушены несчастьем, вместе долгие годы терпели нужду, и до этого дня оставались вместе; а теперь брат ушел без него, один!

Печальные, измученные, они, наконец, расстались на ночь. Она проводила дядю в его комнату, настояла на том, чтобы он лег, хотя бы одетым, своими руками заботливо укрыла его и тогда только ушла. Придя к себе, она бросилась на постель и тут же заснула глубоким сном — сном, давшим ей отдых, в котором она так нуждалась, но не вытеснившим смутного сознания беды. Спи, добрая Крошка Доррит. Спи до утра!

Ночь была лунная, но луна взошла поздно. Когда она уже мирно сияла в вышине, лучи ее сквозь полузакрытые жалюзи проникли в комнату, где так недавно пришли к



концу невзгоды и заблуждения одной жизни. Две фигуры покоились в торжественной тишине этой комнаты. Два человеческих существа, одинаково безгласные и бесстрастные, одинаково далекие от шумной суеты той земли, в которую им предстояло вскоре лечь.

Один из двоих покоился на кровати. Другой стоял на коленях, склонившись к нему головой; лицо было опущено, и губы касались лежавшей на одеяле руки, как в ту минуту, когда с них слетело последнее дыхание. Оба брата были уже перед Отцом своим; там, где бессилен суд этого мира; куда не доходит его сумрак и мгла.

ГЛАВА XX

Вводная к следующей

С прибывшего в Кале пакетбота сходили пассажиры. Унылым и неприветливым выглядел Кале в час, когда берега обнажались отливом. Вода убывала так быстро, что пакетбот только-только мог подойти к молу; и отмель, едва прикрытая мелкой волной, была похожа на какое-то морское чудовище, лениво дремлющее под самой поверхностью воды. Белесый тощий маяк, торчавший на берегу точно загробная тень здания, которое обладало и красками и формами, ронял меланхолические слезы, вспоминая свои схватки с морем. Ряды мрачных черных свай, осклизлых, мокрых, потрепанных непогодой, с траурными венками водорослей, намотанными недавним приливом, можно было принять за заброшенное морское кладбище. Все здесь, под серым бескрайним небом, в шуме ветра и волн, перед свирепым натиском прибоя казалось таким жалким и ничтожным, что можно было только удивиться, как это Кале еще существует на свете, и почему его невысокие стены, и невысокие крыши, и невысокие ворота, и невысокие холмы, и невысокие насыпи, и неглубокие рвы, и плоские улицы не разрушены давным-давно грозным и неумолимым морем, как те песочные крепости, что строит на берегу детвора.

Не раз поскользнувшись на мокрых ступеньках, споткнувшись на шатких сходнях и претерпев десятки дру-

гих мытарств, пассажиры потянулись вдоль мола, где все французские оборванцы и английские бродяги города (иначе говоря, добрая половина населения) соединили свои усилия, чтобы не дать им опомниться. На протяжении трех четвертей мили они были предметом неутолимого любопытства англичан и усиленного внимания французов, которые их хватали, выхватывали и перехватывали друг у друга, как лакомую добычу, пока, наконец, им не удалось выбраться в город и разойтись в разные стороны, не избавясь, однако, от преследования.

Кленнэм, томимый своими заботами, которых у него было немало, тоже находился в толпе обреченных. Выручив из критического положения некоторых особенно беззащитных соотечественников, он пошел дальше в одиночестве — поскольку можно говорить об одиночестве, если на расстоянии полусотни ярдов за вами гонится личность в куртке из одного сала и головном уборе под стать, выкрикивая без передышки: «Эй! Сэр! Мистер! Послушайте! Самый лучший отель!»

Но вот, наконец, отстал и этот гостеприимный туземец, и Кленнэм беспрепятственно продолжал свой путь. Тихим и мирным казался город после сутолоки пакетбота и пристани, и сравнение было не в пользу последних. Попадались навстречу еще соотечественники, все какие-то облезлые на вид, точно те цветы, у которых лепестки облетают при первом ветре и остается только сиротливо торчащий стебелек. И все смотрели хмуро и уныло, как будто им до смерти надоело кружить изо дня в день по одним и тем же местам — чем напоминали Кленнэму обитателей Маршалси. Впрочем, он лишь мимоходом отметил это сходство, занятый поисками нужной ему улицы и номера.

— Так сказал Панкс,— пробормотал он, остановившись перед довольно неприглядным домом.— Думаю, что его сведения надежны и адрес, обнаруженный им в старых бумагах мистера Кэсби, точен; но без этого мне никогда не пришло бы в голову искать ее здесь.

Унылый, скучный дом, унылая ограда, унылая калитка в ней, с надтреснутым колокольчиком, который уныло тренькнул два раза подряд, и молотком, глухой, унылый стук которого, казалось, не в силах был проникнуть даже сквозь трухлявые доски. Однако все же калитка с унылым

скрипом отворилась, и, прикрыв ее за собой, Кленнэм очутился в унылом дворике, упиравшемся в такую же унылую стену, где засохшие остатки плюща свисали над обломками статуи, некогда украшавшей заброшенный фонтан.

Парадный вход находился с левой стороны дома, и у дверей, как и у калитки на улице, висели объявления, по-французски и по-английски, о том, что здесь «Сдаются Меблированные Комнаты». Дюжая молодая крестьянка, в короткой юбке, толстых чулках, сережках и белом чепце, появилась на пороге и спросила, сверкнув зубами:

— Эй, сэр! Мистер! Вам кого?

Кленнэм ответил ей по-французски, что желает видеть даму англичанку — даму англичанку, которая проживает в этом доме. «Пожалуйста, войдите и поднимитесь наверх»,— отвечала служанка, тоже по-французски. Он не заставил просить себя дважды и последовал за нею во второй этаж, в гостиную, находившуюся в конце коридора, из окон которой открывался довольно безрадостный вид на унылый дворик, засохший плющ, заброшенный фонтан и разбитую статую.

— Господин Бландуа,— сказал Кленнэм.

— Сейчас доложу, сударь.

Служанка ушла, и Кленнэм, оставшись один, огляделся по сторонам. Гостиная была типичная для такого рода заведений. Холодная, темная, неуютная. Вощеный пол, который мог бы служить катком, но для этого комната была недостаточно велика, а ни к каким иным занятиям она не располагала. Красные с белым занавески на окнах, соломенная циновка на полу, небольшой круглый стол с путаницей тоненьких ножек, неуклюжие стулья с плетеными сиденьями, два красных плюшевых кресла, достаточно глубоких, чтобы можно было поместиться в них с наибольшим неудобством, секретер, каминное зеркало, составленное из кусков, но прикидывавшееся цельным, пара аляповатых ваз с сугубо искусственными цветами, а между ними греческий воин, который, сняв свой шлем, приносил в жертву гению Франции круглые часы.

Спустя несколько минут дверь соседней комнаты отворилась и вошла дама. При виде Кленнэма на лице ее отразилось крайнее удивление, и глаза торопливо обежали комнату, словно в поисках еще кого-то.

— Мое почтение, мисс Уэйд. Извините, я один.

— Но мне назвали не ваше имя.

— Совершенно верно. Прошу прощения, но, зная по опыту, что мое имя не располагает вас к гостеприимству, я решился назвать имя человека, которого разыскиваю.

— Позвольте,— возразила она, жестом приглашая его сесть, но так холодно, что он предпочел остаться на ногах,— а что же это за имя?

— Бландуа.

— Бландуа?

— Вам это имя должно быть знакомо.

— Я вижу, мистер Кленнэм,—сказала она, сдвинув брови,— вы продолжаете проявлять неуместный интерес к моим знакомствам и к моим делам. Право, не знаю, чему я обязана...

— Еще раз прошу прощения. Ведь вам знакомо это имя?

— Что вам до этого имени? Что мне до этого имени? Что вам до того, знакомо оно мне или не знакомо? Я много имен знаю, а еще больше знала и забыла. Может быть, я знаю это имя, а может быть, я его забыла, а может быть, и не слыхала никогда. Не вижу надобности давать в этом отчет себе, а тем более другим.

— Если вы разрешите,— сказал Кленнэм,— я объясню вам причины своей настойчивости. Я понимаю, что она может показаться странной и даже невежливой, и приношу вам свои искренние извинения. Причины, о которых я говорю, чисто личного характера. К вам они непосредственного отношения не имеют.

— Хорошо, сэр,— сказала она и снова пригласила его сесть, но на этот раз в ее жесте было меньше надменности, и поскольку она села сама, он последовал ее примеру.— Спасибо и на том, что речь не идет еще о чьей-то рабыне, которую я похитила тайком, воспользовавшись отсутствием у нее собственной воли. Что ж, говорите, я вас слушаю.

— Прежде всего, чтобы не было никаких сомнений относительно лица, которое я имею в виду,— сказал Кленнэм,— позвольте напомнить вам, что с этим лицом вы виделись в Лондоне сравнительно недавно. Вы встретились с ним в Аделфи, неподалеку от реки.

— У вас просто какая-то страсть вмешиваться в мои

дела,— сказала она, глядя на него с нескрываемым раздражением.— Как вы это узнали?

— Умоляю, не сердитесь на меня. Виноват случай.

— Какой такой случай?

— Случай, позволивший видеть вашу встречу со стороны.

— Вы сами видели или кто-нибудь другой?

— Я сам. Я в это время проходил мимо.

— Да, ведь это было на улице,— заметила она, немного подумав и успокоившись.— Десятки людей могли видеть нас. Это еще ничего не означает.

— Я далек от мысли придавать этому какое-то особое значение и только хотел объяснить, что побудило меня обратиться к вам. Но я никак не связываю с этим цели своего визита и того одолжения, о котором намерен вас просить.

— Ах вот как! Вы намерены просить меня об одолжении, мистер Кленнэм! — воскликнула она, и язвительная усмешка промелькнула на ее красивом лице.— То-то я замечаю, у вас сегодня совсем другой тон!

В знак протеста он лишь слегка развел руками, но спорить не стал и сразу заговорил об исчезновении Бландуа. Вероятно, она слыхала об этом? Нет. Вопреки его предположению, она ничего не слыхала. Пусть он оглянется кругом и посудит сам, так ли уж вероятно, чтобы какие-нибудь новости внешнего мира достигали ушей женщины, которая сама обрекла себя на заточение в этой глуши. Сказав эти слова, в искренности которых он не подумал усомниться, она спросила, что значит «исчезновение Бландуа»? Тогда он подробно рассказал ей, что знал, прибавив, что должен добиться раскрытия тайны, чтобы отвести мрачные подозрения, тяготеющие над домом его матери. Она слушала с неподдельным удивлением и даже с некоторыми признаками интереса, оставаясь, впрочем, такой же холодной, гордой и замкнутой, как всегда. Когда он кончил, она ограничилась тем, что заметила:

— Но мне покуда неясно, сэр, при чем здесь я и о каком одолжении вы хотите меня просить. Не будете ли вы любезны объяснить мне это.

— Я предполагал,— ответил Артур, упорствуя в своих стараниях смягчить ее суровость,— что поскольку вы

состоите в сношениях — если можно так сказать, в конфиденциальных сношениях — с этим лицом...

— Сказать, разумеется, можно что угодно,— возразила она,— но я не отвечаю за чужие предположения, в том числе и за ваши, мистер Кленнэм.

— ...поскольку вы состоите с ним в личных сношениях,— продолжал Кленнэм, надеясь обойти возражения заменой эпитета,— вы мне можете что-нибудь сообщить об его прошлом, об его привычках, занятиях, обычном местожительстве. Иначе говоря, навести меня на след, который поможет либо разыскать его, либо узнать, что с ним случилось. Вот о каком одолжении я прошу и надеюсь, что ввиду серьезности обстоятельств, побудивших меня к вам обратиться, вы мне не откажете. Если по каким-нибудь причинам вы найдете нужным поставить мне те или иные условия, я приму их, ни о чем не спрашивая.

— Вы случайно увидели меня с этим человеком на улице,— немного помолчав, сказала мисс Уэйд, которую, к немалому огорчению Кленнэма, явно больше занимали собственные раздумья, чем его просьба.— Вы, стало быть, встречали его раньше?

— Раньше — нет, но я встретился с ним потом. Тогда, в Аделфи, я его увидел впервые, но мне пришлось увидеть его еще раз — в тот самый вечер, после которого он исчез. Это было в доме моей матери, в ее комнате. Он оставался там, когда я ушел. Вот прочтите, здесь сказано все, что о нем известно.

Он протянул ей печатный листок, который она прочла с сосредоточенным вниманием.

— Это больше того, что известно мне,— сказала она, возвращая листок Кленнэму.

На лице Кленнэма так ясно отразилось его глубокое разочарование, пожалуй даже недоверие, что она прибавила, тем же недружелюбным тоном:

— Вы мне не верите. А между тем это правда. Кстати, о личных сношениях: ваша мать, по-видимому, тоже поддерживала личные сношения с этим человеком — однако *ей* вы верите, что она о нем ничего больше не знает.

Кленнэм вспыхнул, почувствовав намек, заключенный в этих словах и в улыбке, с которой они были произнесены.

— Знаете что, сэр,— заметила она, с жестоким удовольствием поворачивая нож в ране,— я вам скажу со всей откровенностью, которой вы от меня добиваетесь, что, если бы я заботилась о своей репутации (а я о ней вовсе не забочусь), если бы берегла свое доброе имя (а мне беречь нечего, ибо меня совершенно не интересует, доброе у меня имя или нет), я бы считала себя серьезно скомпрометированной одним фактом знакомства с подобной личностью. А между тем моего порога он никогда не переступал, со мной ни разу за полночь не засиживался.

Она мстила ему за старую обиду, обратив его же довод против него. Не в ее характере было щадить кого-нибудь, и совесть ее не тревожила.

Человек этот — низкая, продажная тварь; я встретила его в Италии, во время своего недавнего пребывания там, и он мне показался подходящим орудием для одного моего замысла. Проще говоря, чтобы доставить себе удовольствие — исполнить одно давнишнее неотвязное желание,— мне понадобился шпион, который за деньги был бы готов на все. Я наняла этого субъекта. Уверена, что если бы речь шла об убийстве (при условии, что можно было бы совершить его в темноте, без всякого риска) и у меня хватило бы денег, чтобы заплатить ему желаемую цену, эта сделка вызвала бы у него не больше колебаний, чем любая другая. Таково по крайней мере мое мнение о нем, и, видимо, оно не слишком расходится с вашим. Но ваша мать, как я предполагаю (почему бы мне в свою очередь не заняться предположениями), придерживается другого мнения.

— Я хотел бы напомнить вам,— сказал Кленнэм,— что мою мать столкнули с этим человеком дела.

— И должно быть, неотложные дела,— отозвалась мисс Уэйд,— судя по тому, что час для них был выбран не совсем обычный.

— Вы, кажется, намекаете,— сказал Артур, весь сжимаясь от боли под этими ударами, наносимыми твердой, безжалостной рукой,— что здесь что-то...

— Мистер Кленнэм,— хладнокровно перебила она,— как вы могли заметить, я не прибегаю к намекам, говоря об этом человеке. Я вам сказала уже, и могу повторить еще раз: это низкая, продажная тварь. Такие, как он,

являются тогда, когда в них есть надобность. Не будь у меня надобности в нем, вам бы не пришлось увидеть нас вместе.

Кленнэм молчал, подавленный ее упорными стараниями сосредоточить его мысли на мрачных подозрениях, тень которых и без того шевелилась у него в душе.

— Я все говорю о нем так, будто он жив,— добавила она,— но ведь, может быть, его уже и нет на свете. Может быть, кто-нибудь позаботился об этом. Я не знаю, да и не хочу знать. Мне он больше не нужен.

Артур Кленнэм тяжело вздохнул и с опечаленным лицом поднялся с кресла. Мисс Уэйд, не вставая, следила за ним пристальным, испытующим взглядом, гневно сжав губы. Наконец она сказала:

— Ведь с ним постоянно водил компанию ваш любезный друг мистер Гоуэн. Почему вы не обратитесь к вашему любезному другу?

Артур уже готов был сказать, что Гоуэн вовсе не друг ему, но вспомнил пережитую борьбу, принятое решение и удержался, ответив вместо этого:

— Мистер Гоуэн не видел Бландуа со времени его отъезда в Англию и вряд ли может сообщить что-либо новое. Это всего лишь случайное знакомство, завязанное за границей.

— Случайное знакомство, завязанное за границей! — подхватила мисс Уэйд.— Да. Что же еще делать вашему любезному другу, как не развлекаться случайными знакомствами, имея такую жену. Я ненавижу его жену, сэр!

Ярость, прозвучавшая в этих словах, хотя и сказанных ровным, сдержанным голосом, так поразила Кленнэма, что он замер на месте. Ярость сверкала в ее темных глазах, заставляла вздрагивать тонкие ноздри, казалось, она дышала яростью; но лицо сохраняло свое презрительно-невозмутимое выражение, и в спокойной позе была обычная надменная грация — как будто ничто ее не волновало.

— Могу сказать только одно, мисс Уэйд,— заметил он.— Едва ли кто-нибудь еще разделяет ваше чувство, ничем, как я уверен, не оправданное.

— Советую вам спросить мнения вашего любезного друга на этот счет,— возразила она.

— Я отнюдь не столь близок с моим любезным другом,— отвечал Артур, позабыв все свои благие решения,— чтобы вести с ним подобные разговоры, мисс Уэйд.

— Я ненавижу его,— сказала она.— Ненавижу еще сильней, чем его жену, оттого что была когда-то так глупа и так легковерна, что почти любила его. Мы с вами встречались, сэр, лишь при самых обыкновенных обстоятельствах, и вы, вероятно, считаете меня самой обыкновенной женщиной, только немного более своевольной, чем другие. А потому вы не понимаете, что я называю ненавидеть; да и не можете понять, не зная, сколько усилий я потратила на то, чтобы изучить себя и изучить всех тех, кто меня окружает. Вот почему у меня явилось желание рассказать вам свою историю — не с целью расположить вас к себе, я в этом не нуждаюсь; но для того, чтобы, думая о своем любезном друге и его жене, вы знали, что я называю ненавидеть. Здесь у меня хранятся записки, которые я приготовила для вас. Что ж, дать их вам или не стоит?

Артур попросил ее не менять своего намерения. Она подошла к секретеру, отперла его и достала из ящика несколько сложенных листков бумаги. Без примирительной нотки в голосе, почти не обращаясь к Артуру, словно она разговаривала с зеркалом и у собственного отражения искала оправдания своему упрямству, она сказала:

— Теперь вы узнаете, что я называю ненавидеть! Но довольно об этом. Сэр, в любом моем временном и дешевом прибежище, будь то пустой дом в Лондоне или меблированные комнаты в Кале, Гарриэт всегда со мною. Не хотите ли повидать ее перед уходом? Гарриэт, пойдите сюда!

Ей пришлось повторить свой оклик дважды. После второго раза в дверях показалась Гарриэт, бывшая Тэттикорэм.

— Мистер Кленнэм здесь,— сказала мисс Уэйд,— но он пришел не за вами; он уже отказался от мысли вернуть вас в Туикнем — не правда ли, сэр?

— Пришлось отказаться,— поскольку я не располагаю для этого ни властью, ни влиянием,— признал Кленнэм.

— Итак, он вас не разыскивал, можете быть спокойны; однако он все же разыскивает кое-кого. Ему нужен Бландуа.

— С которым я видел вас в Лондоне, на Стрэнде,— вставил Артур.

— Если вам что-нибудь известно о нем, Гарриэт, кроме того, что он приехал из Венеции — это мы все знаем, — расскажите мистеру Кленнэму.

— Больше мне о нем ничего не известно,— сказала девушка.

— Вы удовлетворены? — спросила мисс Уэйд Артура.

Он не видел причины не верить им; если и были у него сомнения прежде, девушка своим естественным тоном развеяла их. Он сказал:

— Придется, видно, искать других следов.

Он еще не собирался уходить, но когда девушка вошла, он стоял, и она решила, что он уже прощается. Она торопливо глянула на него и спросила:

— Они здоровы, сэр?

— Кто?

Она чуть было не ответила: «Все», но запнулась и, посмотрев на мисс Уэйд, сказала:

— Мистер и миссис Миглз.

— Были здоровы, когда я последний раз имел от них известия. Они за границей. Кстати, ответьте мне на один вопрос. Это правда, что вас видели там?

— Где? Кто меня видел и где? — спросила девушка, нахмурясь и опустив глаза.

— В Туикнеме, у садовой калитки.

— Неправда,— сказала мисс Уэйд.— Она там и близко не была.

— Вы ошибаетесь,— возразила девушка.— Я туда ездила, когда мы прошлый раз были в Лондоне. Ездила, воспользовавшись тем, что вы ушли куда-то. И я подходила к калитке и заглядывала в сад.

— Жалкая девчонка! — произнесла мисс Уэйд с безграничным презрением.— Немногого же стоила вся наша дружба, все наши разговоры и все ваши старые жалобы!

— Что тут дурного, если я на миг заглянула в калитку? — возразила девушка.— Я по окнам видела, что хозяева в отъезде.

— А зачем было вообще ездить туда?

— Затем, что мне хотелось посмотреть на знакомые места. Затем, что мне приятно было снова их увидеть.

Кленнэм глядел на эти два красивых лица и думал о том, как должны мучить друг друга эти две неукротимые натуры.

— О! — сказала мисс Уэйд, овладев собой и холодно отводя взгляд в сторону.— Если вас так тянуло туда, где вы влачили унизительную жизнь, от которой я помогла вам избавиться, когда у вас наконец раскрылись глаза — тогда другое дело. Но где же ваша искренность и правдивость? Где ваша верность мне? Где преданность нашим общим интересам? Вы недостойны доверия, с которым я отнеслась к вам. Недостойны участия, которое я приняла в вашей судьбе. Возвращайтесь к людям, которые обращались с вами хуже, чем с собачонкой, потому что другого обращения вы не заслуживаете.

— Если вы будете так говорить о них при посторонних, вы сами вынудите меня стать на их сторону,— отвечала девушка.

— Возвращайтесь к ним,— повторила мисс Уэйд.— Возвращайтесь к ним.

— Вы прекрасно знаете, что я к ним не вернусь,— возразила девушка.— Вы прекрасно знаете, что я ушла от них навсегда и теперь уже не могу, не хочу и не намерена возвращаться. Вот и оставьте их в покое.

— Жить у них в сытости и довольстве для вас заманчивее, чем вести скромную жизнь вдвоем со мной,— не унималась мисс Уэйд.— Вы возвышаете их, а мною пренебрегаете. Впрочем, чему удивляться? Этого следовало ожидать.

— Это неправда! — сказала девушка, вся вспыхнув.— Вы говорите не то, что у вас на уме. А что у вас на уме, я знаю. Вы попрекаете меня тем, что я живу на ваш счет, хоть прямо так и не скажете. И оттого, что мне некуда податься, вы считаете, что я должна плясать под вашу дудку и молча проглатывать любую обиду. Вы не лучше их, ни чуточки не лучше. Но я не намерена подчиняться вам во всем. Я опять скажу: да, я поехала в Туикнем, потому что мне давно хотелось взглянуть на тот дом. Да, я хочу знать, как они поживают, потому что я их любила когда-то и мне порой казалось, что они добры ко мне.

Кленнэм поспешил сказать, что если она когда-нибудь пожелает вернуться, то наверняка встретит самый ласковый прием.

— Никогда! — страстно воскликнула девушка. — Никогда я не вернусь! И мисс Уэйд это хорошо известно, она только дразнит меня, пользуясь зависимым положением, в которое сама же меня поставила. Да, я знаю, что завишу от нее, как знаю и то, что она всегда рада напомнить мне об этом.

— Хитро придумано! — подхватила мисс Уэйд с прежним гневом и с прежней надменностью. — Но только эта хитрость шита белыми нитками, и я отлично вижу, что под нею кроется. Куда мне с моей бедностью против их богатства! Нет, возвращайтесь, возвращайтесь как можно скорей, и кончим с этим!

Кленнэм смотрел на этих двух женщин, стоявших посреди тесной неуютной комнаты, пестуя свой гнев, терзая себя и друг друга. Он стал прощаться; но мисс Уэйд едва кивнула ему головой, а Гарриэт с наигранным самоуничижением служанки или рабы (в котором, однако, было больше вызова, чем смирения) сделала вид, что никак не решится отнести его приветствие и к своей скромной особе.

Он спустился по темной винтовой лестнице во двор, где все показалось ему еще более унылым, чем прежде, — глухая стена, засохший плющ, заброшенный фонтан, разбитая статуя. Размышляя о том, что он видел и слышал в этом доме и о неудаче своих попыток напасть на след подозрительной личности, которую он разыскивал, он возвратился в Лондон с тем же пакетботом, что привез его в Кале. Дорогой он развернул листки, полученные от мисс Уэйд, и прочитал в них то, что составляет содержание следующей главы.

ГЛАВА XXI

История одного самоистязания

Я имею несчастье быть неглупой. С самых юных лет я всегда видела то, что от меня думали скрыть. Если бы я чаще поддавалась обману и реже проникала в истину, мне бы легко и спокойно жилось на свете, как живется большинству глупцов.

Детство мое прошло в доме у бабушки, верней сказать, у дамы, которая себя называла моей бабушкой. Она не имела права называть себя так, но я в своей детской наивности тогда об этом не догадывалась. У нее жило несколько человек детей, своих и чужих. Все это были девочки; числом десять, считая меня. Мы вместе росли и вместе воспитывались.

Мне было лет двенадцать, когда я стала замечать, что другие девочки относятся ко мне покровительственно. Считалось, что я сирота. Больше среди нас сирот не было, и в поведении своих сверстниц я ясно почувствовала (вот когда мне впервые следовало пожалеть о том, что я неглупа) желание подкупить меня оскорбительной жалостью, смешанной с сознанием собственного превосходства. Я убедилась в этом не сразу, я долго проверяла свое открытие. Оказалось, что мне очень трудно вызвать их на ссору. Если и удавалось поссориться с той или другой, то через час она уже приходила мириться. Я снова и снова повторяла испытание, и не было случая, чтобы кто-нибудь стал дожидаться, когда я сделаю первый шаг. Всегда они прощали меня, тщеславно наслаждаясь своим великодушием. Точь-в-точь, как это делают взрослые!

Одна из них была моей закадычной подружкой. Сама еще ребенок, я любила эту маленькую дурочку пламенной любовью, какой она вовсе не стоила — мне до сих пор стыдно вспоминать об этом. Ее всегда хвалили за доброту и мягкость характера. Она всем готова была дарить и дарила ласковые улыбки и взгляды. И никто в доме, кроме меня самой, не подозревал, что она это делает только из желания дразнить и мучить меня!

И все же я так любила свою недостойную подругу, что жизнь обратилась для меня в сплошную пытку из-за этой любви. Меня без конца стыдили и бранили за то, что я к ней «придиралась», иными словами, уличала ее в разных мелких предательствах и доводила до слез, наглядно доказывая, что умею читать в ее душе. Но я по-прежнему любила ее; и однажды на каникулы поехала к ней гостить.

Дома она была еще хуже, чем в пансионе. У нее оказалось множество двоюродных братьев и сестер, не говоря уже о знакомых; для нас часто устраивались вечера с тан-

цами, то дома, то где-нибудь у соседей, и каждый такой вечер она превращала в невыносимое испытание для моей любви. Она нарочно старалась привлекать к себе все сердца — чтобы я безумствовала от ревности; быть со всеми милой и ласковой — чтобы я завидовала до исступления. Ночью, оставшись с ней вдвоем в нашей спальне, я упрекала ее за все эти коварные уловки, которые видела насквозь, а она плакала и жаловалась на мою жестокость; и потом я до утра не выпускала ее из своих объятий, чувствуя, как сердце у меня разрывается от любви; и нередко мне приходило в голову: чем так страдать, лучше броситься вместе с нею в реку и умереть — по крайней мере мертвую у меня ее никто не отнимет.

Мне даже легче сделалось, когда наступила развязка. Среди ее родных была тетка, которая меня невзлюбила. Пожалуй, никто в семье не питал ко мне расположения, но мне это и не нужно было, мне не нужен был никто, кроме моей подруги. Тетка была молодая женщина, и я часто ловила на себе ее внимательный взгляд. Эта беззастенчивая особа открыто смотрела на меня с состраданием. Как-то после одной из описанных выше ночных сцен я утром, до завтрака, пошла в оранжерею. Шарлотта (так звали мою вероломную подругу) была уже там, и, входя, я услышала голос тетки, которая, обращаясь к ней, произнесла мое имя. Я остановилась за деревом и прислушалась.

— Шарлотта,— говорила тетка,— мисс Уэйд совершенно извела тебя, этому надо положить конец.— Я повторяю слово в слово то, что слышала.

Что же отвечала Шарлотта? Может быть, сказала: «Это я ее извела, а не она меня; я беспрестанно мучаю ее, я — ее палач, а она, несмотря на все пытки, которым я ее подвергаю, ночами напролет говорит мне о своей любви»? Ничуть не бывало, ее ответ показал, что я с самого начала верно ее оценила. Она стала плакать и рыдать (чтобы сильней растрогать тетку) и сказала: «Милая тетя, у нее тяжелый характер, другие девочки тоже стараются смягчить его, не только я — мы все стараемся как можем».

Тетка принялась ласкать ее и утешать, точно услышала не подлую клевету, а свидетельство благородных чувств, и, помогая разыгрывать эту лицемерную комедию,

отвечала: «Но всему есть границы, моя милочка; даже ради столь благой цели нельзя терпеть те беспрерывные мучения, которые причиняет тебе эта бедная, несчастная девочка».

Как нетрудно догадаться, бедная, несчастная девочка тут же вышла из своего тайника и сказала: «Отправьте меня домой!» Ничего больше они от меня не услышали; на все уговоры я твердила только: «Отправьте меня домой, а не то я уйду пешком, одна». Вернувшись к своей так называемой бабушке, я сказала ей, что, если меня не отвезут в какой-нибудь другой пансион до возвращения моей бывшей подруги и остальных девочек, я выжгу себе глаза, чтобы не видеть их лживых физиономий.

Я попала в среду взрослых девушек, но они оказались не лучше. Красивые слова, притворно красивые чувства; под всем этим я легко разглядела стремление представить себя в выгодном свете, унижая меня. Еще до того как я вышла из пансиона, я узнала, что «бабушка» вовсе не бабушка мне и что никаких родственников у меня нет. Это известие по-новому осветило для меня мое прошлое, да и будущее. Оно раскрыло мне глаза на много других случаев, когда люди, якобы оказывая мне внимание или услугу, попросту тешились своим превосходством надо мной.

На мое имя был положен небольшой капитал, к которому я имела доступ через поверенного. Я должна была пойти в гувернантки. Я так и поступила. Мне удалось получить место в одной титулованной, но небогатой семье, где были две дочери — совсем еще маленькие девочки, но родителям хотелось, чтобы по возможности их вырастила одна воспитательница. Мать была молода и хороша собой. С первых же дней она всячески подчеркивала свое любезное обращение со мной. Я прятала свой гнев; но я отлично распознала в этом блажь госпожи, которая знает, что могла бы совсем по-другому относиться к своей служанке, если бы захотела.

Как уже сказано, я прятала свой гнев; но я не поддавалась на ее любезности и тем давала понять, что раскусила ее. Когда она предлагала мне вино, я пила воду. Когда за обедом она посылала мне какое-нибудь особо лакомое блюдо, я всегда отказывалась и ела то, чем прене-

брегали другие. Таким образом, все ее благодетельные поползновения наталкивались на преграду с моей стороны, и это позволяло мне чувствовать себя независимой.

Я полюбила детей. Это были тихие, застенчивые девочки, однако мне думается, они могли бы привязаться ко мне. Но в доме жила нянька, румяная толстуха, всегда прикидывавшаяся веселой и добродушной, которая вынянчила обеих и сумела завладеть их сердцами еще до моего появления. Быть может, я даже примирилась бы со своей участью, если бы не эта женщина. Не всякий на моем месте заметил бы, как ловко она устраивалась, чтобы постоянно отвлекать от меня внимание детей. Под предлогом уборки моей комнаты, заботы о моем белье и платье и разных мелких услуг (о которых ее никто не просил) она вечно торчала на глазах. Но главная ее хитрость состояла в том, что она будто бы старалась вызвать в детях любовь ко мне. Казалось, ей только и дела было уговаривать их: «Смотрите, какая мисс Уэйд добрая, какая она милая, какая красивая. Мисс Уэйд так любит вас. Мисс Уэйд образованная, она много читала книг, она вам расскажет интересные сказки, каких я рассказывать не умею. Посидите, послушайте мисс Уэйд!» Могла ли я расположить к себе своих воспитанниц, когда душа у меня кипела от возмущения при виде этих низких происков. Могла ли я спокойно смотреть, как они отворачивают от меня свои невинные личики и тянутся ручками к ней, а не ко мне. Она же оглядывалась на меня и говорила, отводя от лица их локоны: «Ничего, мисс Уэйд, они к вам скоро привыкнут, они хорошие, ласковые девочки, сударыня, вы не огорчайтесь, сударыня»,— а сама радовалась моему поражению!

Вот что еще проделывала эта женщина. Доведя меня своими подлостями до приступа самой черной тоски, она приводила ко мне детей и говорила, чтобы показать им разницу между собой и мной: «Тсс! Бедняжка мисс Уэйд нездорова. Не шумите, мои душеньки, у нее головка болит. Подойдите, приласкайте ее. Спросите, очень ли ей больно, уговорите ее прилечь. Уж не расстроились ли вы чем, сударыня? Полноте, сударыня, все пройдет!»

Это становилось невыносимым. Однажды, когда я сидела одна и боролась с охватившим меня отчаянием,

вошла миледи, моя госпожа, и я сказала ей, что решила уехать. Я больше не могу оставаться под одной кровлей с этой Доз.

— Что вы, мисс Уэйд! Да наша бедная Доз так вас любит. Она бы все для вас сделала!

Я предвидела этот ответ и была готова к нему заранее. Не смею спорить со своей госпожой, сказала я, но я решила уехать.

— Мисс Уэйд,— сказала она, тотчас же исполнясь высокомерия, которое всегда так прозрачно маскировала,— мне кажется, я ничем не давала вам повода употреблять это противное выражение «госпожа». Может быть, я неумышленно что-нибудь такое сказала или сделала? Прошу вас, скажите, что именно?

Я отвечала, что не жалуюсь на свою госпожу и не жалуюсь своей госпоже; но я решила уехать.

Она с минуту колебалась, потом села рядом и взяла меня за руку. Словно эта высокая честь могла стереть любые обиды!

— Мисс Уэйд, я подозреваю, что ваше тяжелое настроение вызвано причинами, которые не от меня зависят.

Одно из слов, произнесенных ею, заставило меня коечто вспомнить, и я усмехнулась.

— Должно быть, у меня просто тяжелый характер.

— Я этого не говорила.

— Этим очень удобно все объяснять,— заметила я.

— Возможно, но я этого не говорила. Я имела в виду нечто совсем другое. Мы с мужем не раз с грустью замечали, что вы никак не освоитесь в нашем обществе.

— Еще бы! Где уж мне, миледи!

— Я, кажется, неудачно выбрала выражение — его можно истолковать неверно, что вы и сделали. (Она не ожидала такого ответа, и он пристыдил ее.) Я только хочу сказать, что вы, видно, не счастливы здесь. Это щекотливый вопрос, но — женщине всегда легче понять женщину — словом, у нас явилась мысль, что, может быть, вы чересчур сильно переживаете какие-нибудь семейные обстоятельства, в которых вы меньше всех повинны. Если так, мы от всей души просим вас, забудьте об этом. У моего мужа, как всем известно, была горячо любимая сестра, которую

закон не признавал его сестрой, но которая пользовалась всеобщей любовью и уважением...

Мне тотчас же все стало ясно: они взяли меня в дом в память этой умершей женщины, и еще для того, чтобы радоваться своему превосходству надо мной; нянька знала это, и потому так беззастенчиво досаждала мне; дети отворачивались от меня, смутно прослышав, что я не такая, как другие. В тот же вечер я покинула этот дом.

Переменив за короткий срок еще два или три места, о которых не стоит рассказывать подробно, ибо все там складывалось примерно так же, я попала в семью, где была одна только дочь, девушка лет пятнадцати. Родители, пожилые люди, были богаты и занимали видное положение в обществе. Среди прочих гостей в доме часто бывал молодой человек, племянник хозяев, которого они вырастили. Он стал оказывать мне внимание. Я дала ему резкий отпор, так как заранее решила, что не потерплю ни от кого в доме жалости или снисхождения. Но он стал писать мне письма, и дело кончилось тем, что мы обручились.

Он был годом моложе меня, а выглядел еще более молодым. Он приехал в отпуск из Индии, где служил, и вскоре должен был получить повышение по службе. Решено было, что через полгода мы поженимся и уедем в Индию, а до тех пор я останусь жить в доме его родных, и там же состоится свадьба. Этот план ни у кого не встретил возражений.

Не могу отрицать, что я ему очень нравилась; хотела бы, но не могу. Здесь дело не в тщеславии, ибо я больше страдала от этого, чем радовалась. Он открыто восхищался мною, и у меня было такое чувство, будто он купил меня, прельстившись моей красотой, и теперь хочет оправдать покупку перед своими богатыми друзьями. Я видела, что каждый из них мысленно оценивает меня, стараясь определить, чего я на самом деле стою. И я решила, что не дам им удовлетворить свое любопытство. В их присутствии я была особенно замкнутой и молчаливой, и скорей бы, кажется, согласилась умереть, чем хоть шевельнуть пальцем, чтобы заслужить их одобрение.

Он стал говорить, что я несправедлива к себе. Я отвечала: напротив, но именно потому я никогда не унижусь

до того, чтобы искать благосклонности этих людей. Он с удивлением и даже с огорчением выслушал мою просьбу не афишировать перед ними своих чувств ко мне; но сказал, что готов даже подавлять искренние порывы души ради моего спокойствия.

Он не преминул воспользоваться этим предлогом. Часами он не подходил ко мне и разговаривал с кем угодно, только не со мной. Я сидела чуть не целые вечера одна, никем не замечаемая, а он в это время развлекался в обществе своей кузины, моей воспитанницы. И я ясно видела по глазам окружающих, что она им представляется куда более подходящей парой для него, нежели я. Так, читая чужие мысли, я вскоре поняла, что его юношеская наружность делает меня смешной, и возненавидела себя за то, что полюбила его.

А я его в самом деле любила тогда. Хоть он и не заслуживал моей любви, хоть он очень мало задумывался о том, каких она мне стоила мук — казалось бы, за одни эти муки он должен был посвятить мне всю свою жизнь,— я любила его. Я молчала, когда моя воспитанница принималась расхваливать его на все лады, притворяясь, будто хочет мне сделать приятное (хоть она отлично знала, что каждое ее слово жжет меня, как огнем); молчала и терпела ради него. Даже в то время, когда, глядя на него издали, я вспоминала все обиды и унижения и спрашивала себя: а не лучше ли бежать от него без оглядки и никогда не возвращаться,— я любила его.

Его тетка (не забудьте, что она была моей госпожой) с расчетом, намеренно усугубляла мои терзания. Она со вкусом расписывала, как мы будем жить в Индии, какой у нас будет дом, какое общество, когда мой муж получит ожидаемое место. Это недвусмысленное подчеркивание контраста между жизнью, которую сулило мое замужество, и моим нынешним жалким, зависимым положением, жестоко уязвляло мою гордость. Я сдерживала свой гнев, но давала ей понять, что ее замысел от меня не укрылся, и в отместку разыгрывала комедию смирения. Чересчур много чести для меня, говорила я. Боюсь, мне не выдержать столь головокружительной перемены. Ведь только подумать: простая гувернантка, домашняя учительница ее дочери — и вдруг высшие круги общества. Ей становилось неловко,

когда я так отвечала, да и не только ей, а всем в доме. Они понимали, что я ее разгадала.

И вот, в самый разгар моих пыток, когда я готова была возненавидеть своего неблагодарного жениха за то, что он словно не замечал наносимых мне оскорблений, явился ваш любезный друг, мистер Гоуэн. Он был старым знакомым хозяев дома, но последнее время жил за границей. Он с первого взгляда оценил положение и понял меня.

Впервые в жизни я встретила человека, который сумел меня понять. Он и трех раз не побывал в доме, а я уже видела, что ни одно движение моей души не тайна для него. Это было ясно по его развязно-небрежному отношению ко мне, к остальным, ко всему, что происходило вокруг. Это было ясно по тем похвалам, которые он расточал моему будущему супругу, по тому, как он говорил об ожидающем нас счастье и великолепным перспективам, как поздравлял нас с нашим будущим богатством, в то же время вздыхая о своей бедности — все это искусственно приподнятым тоном, не скрывавшим иронии и насмешки. Он обострял мою обиду, выставляя людей и обстоятельства в беспощадном, уничтожающем свете, хотя на словах все хвалил и всем восхищался. Он был словно разряженный скелет на старинных голландских гравюрах: с кем бы ни стоял рядом этот посланец Смерти, на гулянье ли, в пляске или на молитве, все — молодые и старые, красивые и безобразные, все делались похожи на призраков.

Вам нетрудно будет понять, что, поздравляя меня, ваш любезный друг, в сущности, выражал мне соболезнование; пытаясь меня утешить, он растравлял мои раны; называя моего нареченного «влюбленным пастушком» и восхищаясь его сердцем, «доверчивым и нежным, как у ребенка», он убеждал меня в том, что я действительно выгляжу смешной. Вы скажете, что это сомнительные услуги, но я охотно принимала их, находя в его словах отголоски моих собственных мыслей и подтверждение тому, что я и раньше знала. Очень скоро я стала предпочитать общество вашего любезного друга всякому иному.

Когда я заметила, что это вызывает ревность моего жениха, упомянутое общество сделалось для меня еще приятнее. Ведь заставляли же меня страдать от ревности, так

разве все страдания должны доставаться мне одной? Нет! Пусть теперь и он узнает, каково это. Я радовалась тому, что он страдает, радовалась и желала, чтобы ему было как можно больнее. Но не только в этом было дело. Он казался мне пресным в сравнении с мистером Гоуэном, который всегда находил со мной общий язык и так хорошо умел разбирать по косточкам окружавших нас ничтожных людишек.

Так продолжалось, покуда тетка, моя госпожа, не завела однажды со мной разговор. Разумеется, все это совершенные пустяки, она знает, что я ничего такого не думаю; но все-таки она хотела бы заметить мне от себя — только заметить, не сомневаясь, что этого будет достаточно — что, пожалуй, мне лучше поменьше бывать с мистером Гоуэном.

Я спросила, откуда она знает, что я думаю. Во всяком случае, я не могу думать ничего дурного, сказала она; за это она отвечает. Я поблагодарила, но сказала, что предпочитаю сама отвечать за себя перед собой и перед другими. В отличие от прочих ее слуг, мне похвальной аттестации не требуется.

На этом разговор не кончился; я спросила, почему она так уверена, что для меня будет достаточно одного ее замечания? Что дает ей эту уверенность — обстоятельства моего рождения или жалование, которое она мне платит? Я не вещь, которую можно приобрести за деньги. Ей, должно быть, кажется, что ее именитый племянник купил себе жену на невольничьем рынке?

Вероятно, дело все равно кончилось бы этим рано или поздно, но она ускорила конец. С хорошо разыгранным состраданием она заметила, что у меня тяжелый характер. Услышав эти знакомые и ненавистные слова, я потеряла власть над собой и высказала ей все: что я давно поняла ее и разгадала, что я не знаю ни минуты покоя с тех пор, как имела глупость поставить себя в унизительное положение невесты ее племянника. Мистер Гоуэн, прибавила я, был единственным человеком, с которым я могла отдохнуть от оскорблений, которым я подвергалась в их доме; я слишком долго терпела эти оскорбления, но дальше терпеть не намерена; обещаю, что никто из них меня никогда больше не увидит. И я сдержала обещание.

Ваш любезный друг разыскал меня в моем уединении и премило шутил по поводу происшедшего разрыва; хотя ему от души было жаль этих славных людей (поистине превосходнейших в своем роде) — печально, что мне пришлось так круто обойтись с ними. Потом он стал говорить (и с большим основанием, чем мне тогда казалось), что не достоин внимания женщины, столь незаурядной по уму и душевным качествам, но — жизнь есть жизнь...

Ваш любезный друг утешал меня и утешался сам, пока это доставляло ему удовольствие; а затем разъяснил, что мы с ним оба — взрослые люди, оба хорошо знаем человеческую натуру, оба понимаем, что жизнь — это не роман, оба достаточно разумны, чтобы не стоять друг у друга на дороге, и оба можем быть уверены, что, когда бы случай ни свел нас снова, мы встретимся лучшими друзьями. Все это я выслушала, не пытаясь спорить.

В скором времени я узнала, что он ухаживает за своей нынешней женой и что родители увезли ее в надежде прекратить их знакомство. Я сразу возненавидела ее, как ненавижу и теперь, и потому, разумеется, от всего сердца желала ей выйти за него замуж. Но мне не давало покоя стремление увидеть ее — я мечтала об этом, как об одной из немногих еще доступных мне радостей. Я отправилась путешествовать, и в путешествии встретилась, наконец, с нею — и с вами. Вы тогда еще, кажется, не знали вашего любезного друга, и он еще не успел осчастливить вас знаменательными проявлениями своей дружбы.

В ее семье я увидела девушку, чья судьба во многом напоминала мою. Как и я, она не хотела мириться с эгоизмом и снисходительным покровительством, прятавшимися под разными красивыми названиями вроде ласки, заботы, участия и так далее,— и мне любопытно и приятно было наблюдать в ней эту хорошо мне знакомую черту. Как и обо мне, о ней говорили, что у нее «тяжелый характер». Я хорошо знала настоящий смысл этого выражения, и, давно уже испытывая потребность в подруге, которая разделяла бы мои чувства и мысли, я решила, что попытаюсь спасти эту девушку от неволи и гнета несправедливости. Как вы знаете, это мне удалось.

С тех пор мы живем вместе, деля скромные средства, которыми я располагаю.

ГЛАВА XXII

Кто там шагает в поздний час

Бесполезная, как оказалось, поездка в Кале была предпринята Кленнэмом в очень хлопотливую для него пору. Одному варварскому государству, чьи владения занимали весьма значительное место на карте мира, понадобились услуги нескольких инженеров; обстоятельства требовали тут не только изобретательности и энергии, но и практических свойств, таких, как уменье обходиться людьми и средствами, которые окажутся под рукой, и приспособлять их для осуществления своих проектов так же смело и решительно, как эти проекты составлялись. В указанном государстве по недостатку цивилизации не знали, что всякую идею, имеющую большое значение для страны, следует выдерживать в недрах Министерств Волокиты, как крепкое вино выдерживают в лишенном света подвале, пока оно не утратит огня и блеска молодости, а те, кто возделывал виноградники и выжимал сок из гроздьев, не истлеют в земле. Как истинные варвары, местные правители употребляли все усилия, чтобы делать то, что нужно, и в своем невежестве относились без малейшего уважения к великой политической науке, как не делать того, что нужно. Более того, они совершенно варварским способом расправлялись с тайнами упомянутой науки в лице тех из своих подданных, кто эти тайны постиг и пытался применять их на деле.

Не мудрено, что, когда в этом государстве понадобились люди, их стали искать и нашли — образ действий, сам по себе совершенно дикий и неправильный. А найдя, отнеслись к ним с полным доверием и уважением (опять-таки признак глубочайшего политического невежества) и пригласили как можно скорее приехать и заняться порученным им делом. Короче говоря, поступили с ними, как с людьми, которые знают, что нужно делать, и намерены делать то, что нужно.

В числе тех, о ком идет речь, был и Дэниел Дойс. Трудно было предугадать, сколько месяцев, а быть может, и лет придется ему провести за границей. К его отъезду

Кленнэм готовил подробный отчет о делах предприятия за время их совместной деятельности, трудясь над ним с утра до ночи, так как срок в его распоряжении был небольшой. Он воспользовался первым свободным днем, чтобы съездить на континент, и сразу же поспешил вернуться для прощальной беседы с Дойсом.

Подробно и обстоятельно Артур знакомил своего компаньона с прибылями и убытками, предстоящими платежами и ожидаемыми поступлениями. Дэниел вникал во все с обычной своей добросовестностью и остался очень доволен. Он изучал отчет, словно хитроумнейший механизм, куда более сложный, чем все его изобретения, и когда все было кончено, долго еще смотрел на эту кучу бумаг, приподняв над головой шляпу, будто поглощенный созерцанием какой-то удивительной машины.

— Какой у вас великолепный порядок во всем, Кленнэм. И все так ясно! И все так красиво!

— Рад, что заслужил ваше одобрение, Дойс. Теперь относительно управления капиталом во время вашего отсутствия — на случай, если потребуются некоторые дополнительные вложения...

Но компаньон не дал ему договорить.

— Эту сторону дела я по-прежнему целиком предоставляю вам. Продолжайте действовать от нашего общего имени, поскольку уж вы взялись избавить меня от бремени, которое всегда было для меня непосильным.

— Я вам не раз говорил, что вы недооцениваете свои деловые способности,— возразил Кленнэм.

— Может быть,— смеясь, сказал Дойс.— А может быть, и нет. Но так или иначе, у меня есть свое занятие, в котором я сильней, чем в цифрах и расчетах, и к которому у меня и способностей больше. Я вполне доверяю своему компаньону и не сомневаюсь, что он всегда знает как лучше поступить. В денежных делах у меня есть только одно предубеждение,— продолжал Дойс, взяв компаньона за лацкан своими гибкими пальцами мастера,— я против спекуляций. Других как будто не водится. Впрочем, это предубеждение, вероятно, вызвано тем, что я никогда всерьез о таких предметах не задумывался.

— Но почему вы называете это предубеждением? — возразил Кленнэм.— Дорогой мой Дойс, в вас просто говорит здравый смысл.

— Если вы так думаете, тем лучше,— отозвался Дойс, добродушно поблескивая своими серыми глазами.

— Представьте себе,— сказал Кленнэм,— не далее как полчаса назад я то же самое говорил заходившему сюда Панксу. Мы оба сошлись на том, что увлечение спекуляциями — одно из самых опасных и, к сожалению, самых распространенных в наше время безумств, чтобы не сказать пороков.

— Панкс? — повторил Дойс, сдвинув шляпу на затылок и задумчиво качая головой.— Ага, ага! Он человек осмотрительный.

— Очень осмотрительный,— подтвердил Артур.— Можно сказать, образец осмотрительности.

Оба, видимо, были очень довольны осмотрительностью мистера Панкса, хотя из содержания их беседы не явствовало, почему.

— А теперь, уважаемый мой компаньон,— сказал Дэниел, взглянув на часы,— время не ждет, и экипаж уже готов к отъезду, а потому еще одно только слово на прощанье. У меня есть к вам просьба.

— Охотно все исполню, с одной оговоркой,— поспешил добавить Кленнэм, увидя по лицу собеседника, что оговорка вполне своевременна.— Не просите меня оставить хлопоты по делу о вашем изобретении.

— А я именно это и хотел сделать, вы угадали,— сказал Дойс.

— Тогда я вам скажу: нет. Нет, нет и нет. Раз уж я начал, то не отступлюсь до тех пор, пока не получу какого-нибудь вразумительного ответа или хотя бы объяснения в официальном порядке.

— Ничего у вас не выйдет,— возразил Дойс, качая головой.— Попомните мое слово, ничего не выйдет.

— Все равно, нужно пытаться,— сказал Кленнэм.— Попытка не пытка.

— Как сказать,— отозвался Дойс, кладя ему руку на плечо.— Мне эти попытки дорого обошлись, мой друг. Они меня состарили, извели, вымотали, обескуражили. Когда не видишь конца несправедливостям, которые при-

ходится терпеть, характер от этого не улучшается. Мне кажется, кстати, что и на вас уже оказали свое действие чиновничьи увертки и проволочки; у вас утомленный вид.

— К тому есть личные причины,— сказал Кленнэм.— Чиновники тут ни при чем. Они еще не успели уморить меня.

Так вы не хотите исполнить мою просьбу?

— Ни в коем случае,— отвечал Кленнэм.— Стыдно было бы мне так быстро бежать с поля битвы, когда человек старше меня и более кровно заинтересованный мужественно сражался столько лет.

Видя, что его не переубедишь, Дэниел Дойс сердечно пожал ему руку и вместе с ним спустился вниз, бросив прощальный взгляд на станки и машины. Он направлялся в Саутгемптон, где должен был присоединиться к своим попутчикам, и у ворот стояла дорожная карета, полностью оснащенная для этого путешествия. Вокруг толпились рабочие, вышедшие пожелать счастливого пути своему хозяину, которым они явно гордились. «В добрый час, мистер Дойс! — крикнул один из них.— Куда бы вы ни заехали, везде сразу разберут, что за человек им попался: и машину-то знает, и его машина знает, и до дела охоч, и на все руки мастер, и уж если это не настоящий человек, так где его и искать, настоящего-то!» Эта речь, произнесенная хриплым баском из задних рядов, была встречена троекратным «ура», и оратор, за которым прежде не знали подобных талантов, прославился на всю жизнь. Не успело последнее «ура» отгреметь, как Дэниел растроганно воскликнул: «Прощайте, друзья!» И карета исчезла с такой быстротой, словно сотрясение воздуха выдуло ее из Подворья Кровоточащего Сердца.

Мистер Баптист, как лицо, облеченное доверием (за которое этот маленький человечек умел быть благодарным), тоже был среди рабочих и вместе со всеми кричал «ура» в меру своих скромных способностей иностранца. Известно, что нет на земле людей, которые бы так умели кричать «ура», как англичане, когда они всерьез возьмутся за дело; дружный хор многих глоток воодушевляет и сплачивает их, точно голос всех предков, начиная от Альфреда Саксонца *, точно шелест исторических боевых

знамен. Мистер Баптист, подхваченный этим могучим вихрем, долго не мог отдышаться и прийти в себя, даже когда Кленнэм позвал его наверх прибрать книги и бумаги.

Артур стоял за своей конторкой, задумчиво глядя в освещенное солнцем окно, и на душе у него было грустно, как всегда бывает после проводов; эта грусть, это щемящее чувство пустоты, сопровождающее любую разлуку, словно служит предвестием той Великой Разлуки, тень которой нависает над каждым из нас. Вскоре, однако, его праздно блуждавшие мысли вернулись к предмету, который больше всего занимал их последнее время, и он в сотый раз стал перебирать в памяти все подробности того вечера, когда он у матери встретился с Бландуа. Снова этот загадочный человек обгонял его на кривой темной улочке, снова Артур следовал за ним и терял его из виду, неожиданно находил во дворе материнского дома и вместе с ним дожидался у запертых дверей.

Кто там шагает в поздний час?
Кавалер де ла Мажолэн.
Кто там шагает в поздний час?
Нет его веселей.

Не первый раз вспоминался ему этот куплет детской песенки, который тогда напевал незнакомец; но, поглощенный своими думами, он не заметил, что повторил его вслух — и потому вздрогнул от неожиданности, когда чей-то голос пропел следующий куплет:

Придворных рыцарей краса
Кавалер де ла Мажолэн,
Придворных рыцарей краса,
Нет его веселей!

Это Кавалетто, думая, что он остановился, не зная, как дальше, услужливо подсказал ему слова и напев.

— А, вы знаете эту песенку, Кавалетто!

— Per Bacco![1] Еще бы, сэр! Кто же ее не знает во Франции! Я сотню раз слышал, как ребятишки поют ее за игрой. В последний раз, когда ее привелось мне слышать,—

---

[1] Черт подери *(итал.)*.

добавил мистер Баптист, который, вспоминая о родине, всегда начинал строить фразы по образцу родной речи,— ее пел нежный, детский голосок. Такой милый, совсем ангельский голосок. Altro!

— В последний раз, когда мне привелось ее слышать,— сказал Кленнэм,— ее пел голос, в котором ничего ангельского не было. Скорей наоборот.— Он сказал это больше для себя, чем для собеседника, и так же для себя повторил сказанные тогда незнакомцем слова: «Громы и молнии, сэр, нетерпение — мое природное свойство!»

— Ай! — вскричал Кавалетто, ошеломленный, и вся краска сбежала с его лица.

— Что с вами?

— Сэр, знаете ли вы, где я последний раз слышал эту песенку?

С живостью, свойственной ему от природы, он пальцами стянул глаза к переносице, очертил в воздухе большой крючковатый нос, растрепал волосы, надул верхнюю губу, изображая густые усы, и закинул на плечо полу воображаемого плаща. Разыгрывая эту пантомиму с быстротой, недоступной представлению тех, кому не случалось наблюдать итальянских крестьян, он еще ухитрился изобразить на своем лице странную и зловещую улыбку. Но мгновение спустя он уже опять был самим собой и растерянно глядел на своего покровителя.

— Ради всего святого, что это должно означать? — спросил Кленнэм.— Вы знаете человека по фамилии Бландуа?

— Нет! — сказал мистер Баптист, энергично тряся головой.

— Но вы только что изображали кого-то, кто вместе с вами слушал эту песенку, не так ли?

— Да! — сказал мистер Баптист, столь же энергично кивая головой.

— Так разве этого человека звали не Бландуа?

— Нет! — сказал мистер Баптист.— Altro, altro, altro! — К движению головы он присоединил движение указательного пальца, и то еще протест казался ему недостаточно выразительным.

— Погодите! — воскликнул Кленнэм и, достав афишку,

разложил ее на конторке.— Он это или не он? Вы поймете, если я прочитаю вам вслух?

— Пойму, пойму. Все пойму.

— Но вы и глазами следите тоже. Подите сюда и смотрите, что я читаю.

Мистер Баптист стал подле Артура и, быстро водя глазами по строчкам, с нетерпением выслушал все от начала до конца, после чего с силой прихлопнул афишку обеими ладонями, точно хотел раздавить какое-то ядовитое насекомое, и, повернувшись к Артуру, крикнул:

— Он! Он самый!

— Кавалетто! — с большим волнением сказал Кленнэм.— Вы не знаете, как это для меня важно! Скажите, где вы повстречались с этим человеком?

Мистер Баптист, явно смущенный вопросом, медленно снял руки с афишки, попятился на несколько шагов, сделал вид, будто стряхивает с рук пыль, и, наконец, через силу ответил:

— A Marsiglia — в Марселе.

— Что он делал там?

— Сидел в тюрьме. Он — altro! — Мистер Баптист снова приблизился и договорил шепотом: — Он убийца!

Кленнэм отшатнулся, как от удара — слишком страшным было это слово в применении к человеку, с которым имела дела его мать. А Кавалетто между тем упал на одно колено и, отчаянно жестикулируя, умолял, чтобы ему позволили объяснить, каким образом он очутился в такой чудовищной компании.

Он чистосердечно рассказал Кленнэму о том, как он угодил в тюрьму за контрабандные делишки, но, выйдя на волю, твердо решил больше ничем подобным не заниматься. Как однажды в харчевне «Утренняя Заря», в городе Шалоне на Соне, он был среди ночи разбужен человеком, который оказался тем самым убийцей, его сотоварищем по марсельской тюрьме; как этот убийца предложил ему продолжать путь вместе; как ужас и отвращение заставили его тайком убежать из харчевни на рассвете и как с той поры он живет в постоянном страхе, что убийца разыщет его и опять станет навязывать ему свою дружбу. В течение всего рассказа он с особенным выражением упирал на слово «убийца», каждый раз заставляя Кленнэма

содрогаться; а дойдя до конца, вдруг вскочил, вцепился снова в печатный листок с горячностью, которая у любого уроженца северных широт служила бы несомненным признаком умопомешательства, и завопил: «Это он! Это он, убийца!»

В своем неистовстве он чуть было не позабыл, что не так давно видел убийцу в Лондоне. Кленнэм ухватился за это сообщение в надежде, что, может быть, встреча произошла после того вечера, когда Бландуа, или Ланье, или Риго приходил к его матери; но точность, с которой Кавалетто припомнил время и место, не оставляла простора для сомнений: случилось это раньше.

— Послушайте,— с глубочайшей серьезностью сказал Артур.— Здесь написано, что этот человек пропал без вести.

— Тем лучше! — воскликнул Кавалетто, набожно возводя глаза к небу.— Слава пресвятой деве! Проклятый убийца!

— Не так уж это хорошо,— возразил Артур,— потому что я не буду знать покоя, пока не раскроется тайна его исчезновения.

— Тысяча извинений, благодетель мой! Это совсем меняет дело.

— Вот что, Кавалетто,— сказал Кленнэм, взяв его за плечо и слегка повернув к себе, так, чтобы их взгляды встретились.— Я знаю, что вы мне благодарны всем своим добрым сердцем за то немногое, что я мог для вас сделать.

— Клянусь в этом! — вскричал Кавалетто.

— Не нужно. Так вот, если бы вам удалось найти этого человека, или узнать, что с ним сталось, или вообще добыть какие-нибудь сведения о нем, вы бы мне оказали неоценимую услугу, за которую я был бы вам так же благодарен, как вы мне, причем с большим основанием.

— Я не знаю, где его искать,— воскликнул маленький итальянец, с жаром целуя руку Кленнэма.— Не знаю, с чего начинать. Не знаю, кого расспрашивать. Но все это пустяки. Не будем унывать! Сейчас же за дело!

— Только помните, Кавалетто, никому ни слова.

— Altro! — вскричал Кавалетто — и был таков.

ГЛАВА XXIII

Миссис Эффери дает условное обещание касательно своих снов

Нелегкий день выдался для младшего компаньона фирмы Кленнэм и Дойс. Даже оставшись один, он не мог позабыть выразительные жесты и гримасы мистера Баптиста, иначе Джованни-Батиста Кавалетто, и как ни старался сосредоточиться на делах фирмы — мысли его упорно возвращались к тому же мучительному вопросу. Вообразите себе преступника, осужденного вечно качаться в лодке, прикованной на середине реки, над тем местом, где он утопил свою жертву; волны бегут и бегут мимо, а перед ним все время маячит на дне неподвижное тело и лишь слегка изменяет свои жуткие очертания, то растягиваясь, то съеживаясь под рябью воды. Так и Артур в водовороте сменявших друг друга дум и забот все время видел один зловещий, навязчивый образ, и не мог уйти от него, как ни старался.

Он теперь был уверен, что Бландуа (или как там его на самом деле звали) не просто негодяй, а нечто похуже, и эта мысль положительно угнетала его. Если бы даже завтра тайна загадочного исчезновения разъяснилась, это не могло изменить того факта, что его мать поддерживала отношения с таким человеком. Пусть никто, кроме него, не знает об этих отношениях и о том, что мать почему-то слушалась и боялась своего странного гостя; но как ему самому отделить то, что он знал, от своих старых опасений, как поверить, что за этими отношениями не крылось ничего дурного?

Она решительно не желала вступать ни в какие объяснения, и, зная ее непреклонный характер, он мог только сокрушаться о своем бессилии. Это было похоже на ночной кошмар: чувствовать, что над матерью и над памятью отца нависла угроза разоблачения и позора, и словно упираться в глухую стену, которая преграждает ему путь и мешает прийти к ним на помощь. Он вернулся на родину, имея перед собой твердую цель, о которой с тех пор никогда не забывал; и вот сейчас, когда осуществить эту цель было особенно важно, все разбивалось о непоколебимое упорство

его матери. Его воля, энергия, деньги, кредит, все доступные ему средства оказывались бесполезны. Обладай она, подобно сказочному чудовищу, властью обращать в камень каждого, кто осмелится на нее посмотреть, она не могла бы парализовать его больше, чем теперь, когда в полутьме мрачной комнаты устремляла на него свой суровый взгляд — так по крайней мере казалось ему в его душевном смятении.

Но рассказ Кавалетто, пролив новый зловещий свет на все, пробудил его к действию. Убежденный в правоте своей цели, подгоняемый ощущением грозящей опасности, он решил, если мать и дальше будет упорствовать, попытать счастья с Эффери. Может быть, удастся заставить ее разговориться и приподнять завесу тайны, окутавшей дом, и это поможет ему выйти из состояния столбняка, с каждым часом становящегося мучительней. Таков был итог целого дня тяжелых раздумий, и таково было решение, исполнять которое он отправился на исходе этого дня.

Первая неудача ожидала его, как только он подошел к дому: дверь дома оказалась открытой, и на крыльце стоял мистер Флинтвинч, попыхивая трубкой. Если бы судьба благоприятствовала его планам, дверь по обыкновению была бы заперта, и отворить вышла бы миссис Эффери. Но судьба явно не благоприятствовала, и потому дверь против обыкновения оказалась открытой, а на крыльце стоял мистер Флинтвинч, попыхивая трубкой.

— Добрый вечер,— сказал Артур.

— Добрый вечер,— отозвался мистер Флинтвинч.

Дым выходил изо рта мистера Флинтвинча кривой струйкой, словно пропутешествовал по всей его скособоченной фигуре, прежде чем вырваться наружу и смешаться с дымом кривых труб и туманом, клубившимся над кривыми излучинами реки.

— Какие новости? — спросил Артур.

— Никаких новостей,— отвечал Иеремия.

— Я имею в виду иностранца,— пояснил Артур.

— И я имею в виду иностранца,— сказал Иеремия.

Скривленная набок голова и концы галстука, торчавшие под самым ухом, придавали ему такой зловещий вид, что у Кленнэма не в первый раз шевельнулась мысль: уж не Флинтвинч ли покончил с Бландуа, сведя какие-то ста-

рые счеты? Уж не его ли тайна оберегалась здесь, не его ли благополучие было под угрозой? Малорослый и скрюченный, он едва ли обладал большой силой; но при этом был крепок, как старый дуб, и хитер, как сорока. Такому ничего не стоило при желании разделаться с врагом, даже если враг был много моложе и сильнее; он мог, зайдя сзади, нанести роковой удар, и никто в этой глуши, в ночной час не помешал бы ему это сделать.

Покуда все эти мысли проносились у Кленнэма в голове, не затемняя той главной, которая его никогда не покидала, мистер Флинтвинч курил, закрыв один глаз, а другим поглядывая на стену противоположного дома, и при этом у него было такое зверское выражение лица, словно он не наслаждался курением, а силился перегрызть мундштук трубки. Но на самом деле он наслаждался — по-своему.

— Следующий раз вы легко сможете нарисовать мой портрет, Артур,— сухо заметил мистер Флинтвинч, наклоняясь, чтобы выколотить из трубки пепел.

Артур смутился и попросил извинить его, если он чересчур пристально смотрел на мистера Флинтвинча.

— Я до того взволнован всей этой историей,— сказал он,— что просто себя не помню.

— Хм! А собственно говоря,— сказал мистер Флинтвинч невозмутимо,— что вам-то за дело до этого?

— Мне?

— Вам,— ответил мистер Флинтвинч так коротко и отрывисто, словно принадлежал к собачьей породе и цапнул Артура за руку.

— А эти объявления, расклеенные на всех углах? А то, что имя и адрес моей матери связывается со столь подозрительным происшествием — это все для меня ничего не значит, по-вашему!

— Не вижу,— возразил мистер Флинтвинч, принимаясь скрести свою колючую щеку,— не вижу, почему это должно для вас значить особенно много. Но я вижу другое, Артур,— он поднял глаза,— я вижу свет в окнах у вашей матери.

— Что же из этого?

— А то, сэр,— отвечал Иеремия, ввинчиваясь в него,— что при свете думать виднее; вот я и думаю, что если по

пословице не стоит трогать спящую собаку, то и ловить сбежавшую собаку, пожалуй, тоже не стоит. Пусть бегает. Придет время, сама объявится.

С последней сентенцией мистер Флинтвинч повернулся на каблуках и вошел в темные сени. Кленнэм, следуя за ним взглядом, видел, как он прошел в маленькую комнатку направо от двери, долго чиркал там спичками и, наконец, засветил тусклую лампу, висевшую на стене. И все это время Кленнэм рисовал себе — верней, чья-то невидимая рука словно бы рисовала ему — различные способы, которыми мистер Флинтвинч мог совершить свое черное дело и скрыть потом следы под покровом царившего вокруг мрака.

— Ну, сэр,— нетерпеливо сказал Иеремия,— что же вы не подниметесь наверх?

— Матушка одна, я полагаю?

— Нет, не одна,— сказал мистер Флинтвинч.— У нее мистер Кэсби с дочерью. Я тут курил, когда они пришли, и остался, чтобы докурить трубку.

Вторая неудача. Артур отметил это про себя, но вслух ничего не сказал и пошел наверх, в комнату матери, где мистер Кэсби и Флора только что кончили пить чай и кушать горячие гренки с маринованными анчоусами. Следы этого пиршества еще видны были на столе и на раскрасневшейся от огня физиономии Эффери, которая, стоя с длинной вилкой в руке, напоминала собой аллегорическую фигуру, только, в отличие от большинства подобных фигур, смысл аллегории был здесь совершенно понятен.

Шляпка и шаль Флоры, аккуратно разложенные на кровати, свидетельствовали о ее намерении не торопиться с уходом. Мистер Кэсби благодушествовал в кресле у камина, выпуклости его лба блестели, как будто сквозь патриарший череп просачивалось масло гренков, а лицо было кирпичного цвета, словно патриаршие щеки окрасились маринадом. Видя по всему, что визит угрожает затянуться, Артур решил не откладывать разговора с матерью.

Так как миссис Кленнэм никогда не покидала своей комнаты, в доме было заведено, что, если кто-нибудь желал поговорить с нею с глазу на глаз, он подкатывал ее кресло к стоявшему у стены бюро и поворачивал спинкой ко всем остальным, а сам садился рядом на табурет, на-

рочно поставленный здесь для такого случая. Гости миссис Кленнэм привыкли и не удивлялись, если Артур, извинившись перед ними, просил у матери позволения поговорить с ней по делу и, получив утвердительный ответ, занимал только что описанную позицию. Если не считать того, что мать и сын давно уже не беседовали без участия третьего лица, все это было в порядке вещей.

Поэтому, когда Артур, принеся обычные извинения, высказал обычную просьбу и покатил кресло в угол, где стояло бюро, миссис Финчинг только затараторила еще громче и быстрее, деликатно намекая этим, что ничего не слышит; а мистер Кэсби с сонной безмятежностью поглаживал свои белоснежные кудри.

— Матушка, я сегодня узнал кое-что о прошлом человека, которого я здесь видел; вам, я уверен, это неизвестно, и мне хотелось бы рассказать вам.

— Мне ничего не известно о прошлом человека, которого ты здесь видел, Артур.

Она говорила громко, как всегда. Он обратился к ней вполголоса, но она отвергла эту попытку доверительной беседы, как отвергала все прочие его попытки, и говорила своим обычным голосом и обычным, суровым тоном.

— Я узнал это не окольным путем, а из верного источника.

Она спросила, по-прежнему не понижая голоса, для того ли он пришел, чтобы сообщить ей то, что узнал.

— Мне казалось, что вам следует знать обстоятельства, о которых идет речь.

— Что же это за обстоятельства?

— Он сидел в тюрьме во Франции.

Она хладнокровно отозвалась:

— Это меня не удивляет.

— Тюрьма была уголовная, матушка. Он обвинялся в убийстве.

Она вздрогнула, и тень вполне понятного ужаса прошла по ее лицу. Но голос ее звучал все так же ровно, когда она спросила:

— Кто тебе сказал?

— Человек, который был его сотоварищем по заключению.

— А о прошлом этого сотоварища ты знал раньше?

— Нет.

Но его самого ты знал?

— Да.

Так же было у меня и у Флинтвинча с тем человеком, который исчез! Впрочем, не совсем так. Едва ли твой знакомый явился к тебе с рекомендательным письмом от банкира, у которого лежат его деньги. Да или нет?

Артур вынужден был признать, что столь убедительными рекомендациями его знакомый не располагал, да и вообще знакомство состоялось без рекомендаций. В глазах миссис Кленнэм, пристально следивших за ним из-под нахмуренных бровей, появилось выражение угрюмого торжества, и она произнесла с ударением:

— Так не торопись судить других, Артур. Говорю тебе для твоей же пользы, не торопись судить других.

Ее взгляд придал особый пафос этим словам. Она смотрела на него все так же упорно, и если, входя в дом, он хоть немного надеялся поколебать ее непреклонность, этот взгляд выжег всякую надежду в его душе.

— Матушка, неужели я ничем не могу помочь вам?

— Ничем.

— Вы не хотите довериться мне, дать какие-нибудь объяснения, какие-нибудь поручения? Не хотите посоветоваться со мной? Не хотите, чтобы мы стали ближе друг другу?

— От тебя ли я это слышу, Артур? Ты ведь сам отказался от участия в моих делах. Это была твоя воля, не моя. Что же толку теперь задавать такие вопросы? Ты отлично знаешь, что уступил свое место Флинтвинчу.

Кленнэм оглянулся на Иеремию и сразу почувствовал, что он весь, вплоть до гетр, поглощен их разговором, даром что стоит в небрежной позе у стены и, поскребывая подбородок, делает вид, будто слушает неумолчные разглагольствования Флоры, где в полнейшей неразберихе свалены вместе виноторговля, макрель, тетушка мистера Ф. и майские жуки.

— Сидел во французской тюрьме по обвинению в убийстве,— повторила миссис Кленнэм, как бы подводя итог услышанному.— И это все, что его сотоварищ по заключению сообщил тебе?

— По существу все.

— А сам он кто? Тоже убийца? Может быть, даже сообщник? Впрочем, уж наверно себя он изобразил в более выгодном свете, чем своего приятеля; в этом можно не сомневаться. Что ж, теперь хоть есть о чем поговорить с гостями. Кэсби! Послушайте, что Артур...

— Погодите, матушка! Погодите, погодите! — поспешно перебил Артур, никак не ожидавший, что она вздумает повторять во всеуслышание его слова.

— Ну, в чем дело? — с досадой спросила миссис Кленнэм.— Что еще?

— Извините меня, мистер Кэсби — и вы, миссис Финчинг,— я еще на одну минуту отвлеку матушку...

Он придержал ее кресло, иначе она сама повернула бы его, оттолкнувшись ногой. Они остались сидеть лицом к лицу. Она смотрела на него, а он торопливо соображал, не грозит ли огласка сообщения Кавалетто какими-нибудь непредвиденными и нежелательными последствиями, и в конце концов решил, что лучше сохранить это сообщение в тайне — хотя, пожалуй, не смог бы привести никаких разумных доводов, кроме того, что с самого начала был уверен, что мать тоже никому не станет говорить об этом, кроме своего компаньона.

— В чем дело? — нетерпеливо повторила она.— Что тебе нужно?

— Матушка, я это сказал вам не для того, чтобы вы рассказывали всем. Мне кажется, этого делать не следует.

— Ты мне ставишь условие?

— Если угодно — да.

— Так помни же, Артур — тайну создаешь ты,— сказала она, поднимая руку.— Ты, а не я. Ты явился сюда со своими догадками, подозрениями, расспросами, а теперь ты еще заводишь тайны. Какое мне дело до того, где был и кем был этот человек? Какое мне до него вообще дело? Пусть хоть весь мир, если хочет, узнает об его прошлом, мне-то что. А теперь пусти меня.

Он подчинился властному, светившемуся затаенным торжеством взгляду и отвез кресло на прежнее место. По дороге он и на лице Флинтвинча заметил торжествующую усмешку, без сомнения относившуюся не к Флоре. Итак, весь его замысел, все надежды и попытки обернулись про-

тив него же самого, и это окончательно убедило его, что от матери он ничего не добьется. Оставалось одно: обратиться к старому другу — к Эффери.

Однако даже улучить подходящую минуту для такого обращения оказалось почти неразрешимой задачей. Умники держали миссис Эффери в полном порабощении, и к тому же следили за ней в четыре глаза; а так как она до смерти боялась сделать лишний шаг по дому, то поговорить с нею наедине не было никакой надежды. В довершение же всего миссис Эффери (должно быть, с помощью неопровержимых аргументов своего супруга и повелителя) приобрела уверенность в том, что раскрывать рот для нее при любых обстоятельствах небезопасно, а потому предпочитала держаться в уголке, благодаря своему аллегорическому орудию сохраняя неприступность. В тех случаях, когда Флора или сам бутылочно-зеленый патриарх обращались к ней с какими-нибудь словами, она молча отмахивалась вилкой, точно немая.

После нескольких бесплодных попыток привлечь внимание Эффери, пока она убирала со стола и мыла посуду, у Артура возник хитроумный план, осуществить который он решил с помощью Флоры. В соответствии с этим решением он наклонился к ней и шепнул: «Скажите, что вам хочется осмотреть дом».

Бедняжка Флора, всегда волнуемая сладостным ожиданием, что Кленнэм снова безумно влюбится в нее со всем пылом вернувшейся молодости, пришла в полный восторг от этой просьбы, видя в ней первый шаг к интимной беседе, в ходе которой воспоследует изъяснение чувств. Таинственный шепот, которым просьба была высказана, придавал ей дополнительную прелесть, и Флора тотчас взыграла.

— Подумать только, миссис Кленнэм, что эта милая старая комната совсем такая, как была,— сказала она, оглядываясь по сторонам,— разве только еще больше закоптилась с годами, но что ж поделаешь, таков наш общий удел и хочешь не хочешь, а приходится мириться, мирюсь же я, правда, я не закоптилась, а растолстела до невозможности, но это все равно, даже еще хуже, как вспомню то время, когда, бывало, папаша приводил меня сюда, этакую кроху, замерзшую-перезамерзшую, и я сидела на

стуле с ногами на перекладине и во все глаза смотрела на Артура,— ах, простите, мистера Кленнэма — а он и сам был такая же кроха только в курточке с воротничком, а мистер Ф. со своими ухаживаниями еще только мелькал смутной тенью на горизонте, вроде знаменитого привидения в каком-то немецком замке, не помню, где именно, но начинается на Б, вот нравственный урок, который напоминает, что все жизненные пути похожи на те дороги на севере Англии, где копают уголь и делают железо и все кругом засыпано пеплом, так что даже на зубах хрустит.

Вздохнув в знак скорби о бренности человеческого существования, Флора сразу заторопилась дальше.

— Разумеется,— продолжала она,— веселым этот дом никогда не был, этого о нем и злейший враг не скажет, да и при чем тут веселье, но впечатление он всегда производил внушительное, я, например, с нежностью вспоминаю один случай, мы еще тогда были наивные дети, и вот Артур — сила привычки — мистер Кленнэм — повел меня вниз, в бывшую кухню, совсем зеленую от сырости, и предложил, что запрет меня там на всю жизнь, и станет кормить тем, что удастся припрятать от обеда, или сухим хлебом, если будет наказан, что в те лучезарные дни случалось довольно часто, не покажется ли бесцеремонным с моей стороны, если я попрошу позволения пройтись по дому, взглянуть на места, с которыми связано столько трогательных воспоминаний?

Миссис Кленнэм не слишком ценила добрые побуждения, вызвавшие визит Флоры, хотя этот визит (во всяком случае до неожиданного появления Артура) был, несомненно, актом бескорыстной доброты; однако же она отвечала, что дом весь открыт для гостьи.

Флора встала и оглянулась на Артура.— С удовольствием,— поспешил он ответить на это безмолвное приглашение,— а Эффери, я думаю, не откажется посветить нам.

Эффери взмолилась было: «Ой, не надо меня ни о чем просить, Артур!» — но мистер Флинтвинч сразу же прикрикнул: «Это почему же? Эффери, старуха, что ты еще выдумала? Смотри у меня, кляча!» — после какового дружеского увещания она неохотно вышла из угла, отдала свою вилку любезному супругу и в обмен получила от него свечу.

— Ступай вперед, дура! — сказал Иеремия.— Вы сперва наверх или вниз хотите идти, миссис Финчинг?

Флора ответила: «Вниз».

— Стало быть, спускайся вниз, Эффери,— сказал Иеремия.— Да хорошенько делай свое дело, не то я скачусь по перилам прямо на тебя!

Эффери возглавляла исследовательскую партию, а Иеремия замыкал ее. Он явно не намерен был от них отставать. Оглянувшись и увидев, как он спокойно и деловито спускается с лестницы ступеньки на две или на три позади, Кленнэм шепнул Флоре: «Неужели мы так и не избавимся от него?» Флора поспешила его успокоить: «Ничего, Артур, будь это кто-нибудь чужой или просто кто-нибудь помоложе, я бы, конечно, и мысли не допустила, но он другое дело, так что хоть это и не совсем прилично, можете обнять меня, если уж вам так хочется; только не слишком крепко».

Не найдя в себе духу объяснить, что у него вовсе не то было в мыслях, Артур обвил рукой талию Флоры. «Ах, бог мой,— сказала она,— какой вы послушный, и как это деликатно и благородно с вашей стороны, но так уж и быть, если вам очень хочется прижать меня чуть-чуть покрепче, я не рассержусь».

В описанном положении, довольно нелепом и как нельзя менее подходившем к его тревожным мыслям, Кленнэм дошел до подвала, по дороге успев заметить, что вес Флоры странным образом колеблется в зависимости от освещения: где темно, она тяжелее, где светло — легче. Из мрачных и неприглядных кухонных глубин они поднялись в комнату покойного отца Артура, потом прошли в столовую; Эффери со свечой в руке все время шла впереди, точно призрак, который нельзя ни схватить, ни догнать, и сколько раз Артур ни шептал ей: «Эффери, мне нужно поговорить с вами!» — она не оглядывалась и не отвечала.

Когда они были в столовой, Флора вдруг почувствовала сентиментальное желание заглянуть в чулан — драконову пасть, не раз заглатывавшую Артура в дни его детства; должно быть не последнюю роль тут играло соображение, что в темноте чулана вес может удвоиться. Артур, близкий к отчаянию, уже ступил на порог, как вдруг кто-то постучал в наружную дверь.



Миссис Эффери испустила сдавленный крик и накинула передник на голову.

— В чем дело? Захотелось получить порцию? — грозно спросил мистер Флинтвинч.— Не беспокойся, голубушка, получишь, и какую еще! С перцем, с табачком, с присыпкой!

— А пока что не пойдет ли кто-нибудь отворить дверь? — сказал Артур.

— Пока что *я* пойду отворить дверь, сэр,— сказал старик со злостью, ясно доказывавшей, что в случае возможности выбора он предпочел бы этого не делать.— А вы дожидайтесь меня здесь. Эффери, старуха, попробуй только шевельнуться или вымолвить хоть слово по своей дурости, и ты получишь даже не двойную, а тройную порцию!

Как только Иеремия ушел, Артур выпустил миссис Финчинг из своих объятий — что не так-то легко было сделать, ибо любезная вдовушка, по-прежнему заблуждаясь относительно его намерений, напротив, приготовилась уже к объятиям более жарким.

— Эффери, теперь мы с вами можем поговорить.

— Не троньте меня, Артур! — воскликнула старуха, отшатнувшись.— Не подходите ко мне близко. Он увидит. Иеремия увидит. Не подходите.

— Не увидит, если я задую свечу,— возразил Артур, тут же приводя свои слова в исполнение.

— Он услышит!

— Не услышит, если я войду с вами в чулан,— возразил Артур, приводя и это в исполнение.— Вот, а теперь говорите. Почему вы прячете лицо?

— Потому что боюсь что-то увидеть.

— Но в этой темноте вы ничего увидеть не можете.

— Нет, могу. Скорей даже, чем при свете.

— Почему вы так боитесь, Эффери?

— Потому что в этом доме кругом всё тайны да секреты, потому что в нем постоянно шепчутся и сговариваются, потому что он весь полон каких-то шорохов. Не знаю, есть ли другой такой дом, где бы постоянно что-то шелестело и шуршало. Я умру от всего этого, если только Иеремия меня не задушит раньше — что, пожалуй, вернее.

— Я никогда здесь не слышал ничего такого, о чем стоило бы говорить.

— Небось услышали бы, если б жили здесь и должны были расхаживать по всему дому, как я,— сказала Эффери.— Тогда не сказали бы, что об этом не стоит говорить; лопнуть были бы готовы оттого, что вам не позволяют говорить... Иеремия! Теперь он меня убьет из-за вас!

— Милая моя Эффери, даю вам слово, что я вижу в сенях свет, который падает из отворенной двери; откройте лицо и выгляните, и вы сами увидите.

— Не открою,— сказала Эффери.— Ни за что не открою, Артур. Я всегда прячусь под передником, когда Иеремии нет рядом, а иной раз даже и при нем.

— Я увижу, когда он закроет дверь,— сказал Артур.— Со мной вы в полной безопасности, как если бы он находился за пятьдесят миль.

— Вот бы хорошо! — воскликнула Эффери.

— Эффери, я хочу знать, что тут у вас происходит; помогите мне пролить свет на тайны этого дома.

— Я ведь вам уже сказала, Артур,— прервала она.— Шорохи — вот его тайны; шуршание, скрип, беготня внизу, беготня над головой.

— Но это — не все тайны.

— Не знаю, ничего не знаю,— сказала Эффери.— И не задавайте больше вопросов. Ваша бывшая зазноба недалеко, а у нее язык на привязи не бывает.

Его бывшая зазноба, которая и в самом деле была недалеко,— точней сказать, томно прижималась к плечу Артура под углом в сорок пять градусов,— вступила в разговор и весьма горячо, если и не весьма вразумительно, стала заверять Эффери, что будет нема, как могила «хотя бы ради Артура — совершенно недопустимая фамильярность — Дойса и Кленнэма».

— Эффери, вы — одно из немногих добрых воспоминаний моего детства, не отказывайте же мне в моей просьбе, сделайте это ради моей матери, ради вашего мужа, ради меня самого, ради нашего общего блага. Ведь я убежден, что вы могли бы мне сказать, зачем приходил сюда этот исчезнувший иностранец.

— Так вот, если хотите знать,— начала миссис Эффери.— Ой... Иеремия!

— Да нет же, нет. Дверь все еще открыта, и он с кем-то разговаривает на крыльце.

— Если хотите знать,— повторила Эффери, прислушавшись,— этот иностранец, он тоже слышал шорох, когда был тут первый раз. «Это что такое?» — спрашивает он меня. «Не знаю,— говорю я, уцепившись за него со страху,— только я это чуть не каждый день слышу». А он на меня смотрит, да сам так и трясется весь.

— Он часто приходил сюда?

Всего два раза: в тот вечер, и потом еще в последний вечер.

— А в последний вечер, что тут было после моего ухода?

— Они остались втроем, оба умника и он. Только что я заперла за вами дверь, Иеремия подобрался ко мне бочком (он всегда ко мне бочком подбирается, когда хочет прибить) и говорит: «Ну, говорит, Эффери, пойдем-ка, я тебя провожу домой». Схватил меня сзади за шею, сдавил так, что мне ни охнуть, ни вздохнуть, и давай толкать вперед, пока не дотолкал до постели. Это у него и называется — проводить домой. Душегуб, как есть душегуб!

— И больше вы ничего не видели и не слыхали?

— Говорят же вам, что он меня спать отправил! Вот он идет!

— Нет, нет, он еще на крыльце. Послушайте, Эффери, вы сказали, что они все шепчутся и сговариваются — о чем же?

— Откуда мне знать? Не спрашивайте вы меня, Артур! Оставьте меня!

— Но, милая Эффери, я должен проникнуть в эту тайну вопреки моей матери и вашему мужу, иначе быть беде!

— Не спрашивайте меня ни о чем,— повторила Эффери.— Меня совсем замучили сны. Уходите, уходите!

— Я уже слышал это от вас однажды,— сказал Артур.— Этими самыми словами вы в тот вечер ответили на мой вопрос, что у вас тут происходит? Объясните же мне, что это за сны такие?

— Ничего я вам не стану объяснять. Оставьте меня! Будь вы тут один, и то не стала бы; а уж при вашей старой зазнобе и подавно.

Напрасны были все уговоры Артура и заверения Флоры. Эффери ничего не желала слушать и, дрожа всем телом, рвалась из чулана.

— Лучше я Иеремию позову, чем скажу хоть единое слово. Сейчас же позову, если вы еще будете приставать ко мне. А покуда еще не позвала, вот вам мой последний сказ, Артур. Если когда-нибудь вы захотите взять верх над ними, над умниками (давно бы пора, я вам это еще тогда говорила, когда вы только вернулись — ведь вас за эти годы не запугали до смерти, как меня) — сделайте это так, чтобы я видела, и тогда можете сказать мне: «Эффери, расскажи свои сны!» Может быть, тогда я и расскажу!

Стук затворяемой двери не дал Артуру ответить. Все трое поспешили вернуться туда, где Иеремия оставил их; и Кленнэм, выйдя навстречу старику, сказал, что нечаянно загасил свечку. Мистер Флинтвинч посмотрел, как он вновь зажигает ее от лампы в сенях, и ни словом не обмолвился о том, с кем он так долго беседовал на крыльце. Быть может, разговор был неприятный, и он теперь искал, на чем бы сорвать досаду, но так или иначе, зрелище Эффери с передником на голове привело его в неописуемую ярость; подскочив к ней, он ухватил двумя пальцами ее торчавший под передником нос и крутнул с такой силой, словно хотел вовсе открутить.

Продолжая свой обход по настоянию Флоры, которая становилась все тяжелее и тяжелее, они попали в ту комнату под самой крышей, что когда-то служила Артуру спальней. Мысли Артура были заняты совсем другим; и все же многое врезалось ему в память (как он позднее имел случай убедиться): спертый, застоявшийся воздух в комнатах верхнего этажа; отпечатки их ног на полу, покрытом густым слоем пыли; и как одна из дверей долго не открывалась, и миссис Эффери в страхе уверяла, что кто-то держит ее изнутри, да так и осталась при своем убеждении, хотя все поиски «кого-то» ни к чему не привели. Когда, наконец, они вернулись в комнату больной, Патриарх стоял у камина и слушал миссис Кленнэм, которая, заслонясь от огня рукой в митенке, говорила ему что-то вполголоса; он встретил их несколькими простыми словами, но его голубые глаза, отполированный череп и шелковистые кудри

придали этим словам величайшее глубокомыслие и пронизали их пафосом любви к ближнему.

— Так вы, стало быть, осматривали дом, осматривали дом,— дом — осматривали дом!

И эта фраза, ничем не замечательная сама по себе, в его устах становилась истинным перлом мудрости и красноречия, так что хотелось оправить ее в рамку и повесить над своим изголовьем.

ГЛАВА XXIV

Вечер долгого дня

Великий Мердл, краса и гордость нации, продолжал свой триумфальный путь. Уже для всех стало ясно, что человек, облагодетельствовавший общество, выкачав из него столько денег, не может долее оставаться в рядах среднего сословия. Утверждали, что ему сулят баронетство, поговаривали даже о звании пэра. Упорно держался слух, будто он не пожелал украсить свое золотое чело баронетской короной, будто откровенно дал понять лорду Децимусу, что баронета ему мало, будто так прямо и сказал: «Нет; либо пэр, либо просто Мердл». Если верить тому же слуху, последнее обстоятельство заставило лорда Децимуса погрузиться в трясину сомнений чуть не до самого своего аристократического подбородка. Ибо Полипы, образуя в мироздании замкнутую систему, были твердо убеждены, что такая честь подобает только им, и если какой-нибудь полководец, моряк или законоблюститель удостаивался титула, они смотрели на него как на непрошеного гостя, которого скрепя сердце пришлось впустить в семейную резиденцию, но за которым тотчас же снова захлопывалась дверь. Лорд Децимус и сам разделял этот наследственный предрассудок, но его затруднения (твердила неугомонная молва) усугублялись еще тем, что указанной чести давно уже домогалось несколько Полипов, и великий муж являлся для них нежелательным и грозным конкурентом. Словом, слухов, справедливых или ложных, ходило множество; и лорд Децимус, занятый или якобы занятый поисками достойного разрешения задачи, сам давал им пищу, когда у всех на

глазах со слоновьей грацией подхватывал мистера Мердла хоботом и пускался в джунгли трескучих фраз о Колоссальной предприимчивости, Благосостоянии нации, Кредите, Капитале, Процветании и прочее и прочее.

Время тихо размахивало своей древней косой, и вот уже три месяца пролетело с того дня, когда на Иностранном кладбище в Риме опустили в одну могилу двух братьев-англичан. Мистер и миссис Спарклер успели переселиться в собственное гнездышко — небольшой особняк в полипьем духе, весь пропахший конюшней и позавчерашним супом, образец всех возможных неудобств, который, однако же, стоил неслыханных денег по причине своего местонахождения в центре обитаемого мира. Обретя, наконец, это завидное пристанище (для многих и в самом деле служившее предметом зависти), миссис Спарклер собралась было немедленно приступить к сокрушению Бюста, но начало военных действий пришлось отложить в связи с прибытием из Италии курьера, привезшего скорбную весть. Миссис Спарклер, отнюдь не бесчувственная от природы, встретила эту весть бурным приступом горя, продолжавшимся целых двенадцать часов, после чего оправилась и занялась своим трауром, который требовал неукоснительного внимания, чтобы, упаси боже, не оказаться менее элегантным, чем у миссис Мердл. Курьер же, согласно светской хронике повергнув в печаль не одно благородное семейство, уехал обратно в Рим.

Мистер и миссис Спарклер только что отобедали под сенью своей печали, и миссис Спарклер полулежала в гостиной на диване. Был жаркий летний воскресный вечер. Пристанищу в центре обитаемого мира всегда недоставало воздуху, словно оно страдало хроническим насморком, но в этот вечер там просто нечем было дышать. Колокола ближних церквей уже перестали врезываться в нестройный уличный шум, и церковные окна в серой сумеречной мгле из желтых сделались черными; свет в них погас, и жизнь замерла. Миссис Спарклер, лежа на диване, могла смотреть в раскрытое окно, где над ящиками с резедой и другими цветами виднелась стена противоположного дома, но это зрелище надоело ей. Миссис Спарклер могла смотреть в другое окно, за которым был виден ее муж, стоявший на балконе, но и это зрелище надоело ей. Миссис

Спарклер могла созерцать собственную фигуру в изящном траурном наряде, но даже и это зрелище надоело ей — хотя, разумеется, меньше, чем другие два.

Точно в колодце лежишь,— сказала миссис Спарклер, раздраженно меняя позу.— Господи, Эдмунд, скажи хоть что-нибудь, если тебе есть что сказать!

Мистер Спарклер мог бы ответить, не погрешив против истины: «Жизнь моя, мне нечего сказать». Но, не додумавшись до такого ответа, он удовольствовался тем, что вернулся с балкона в комнату и стал перед диваном жены.

Ах, боже мой, Эдмунд! — воскликнула миссис Спарклер, раздражаясь еще сильней.— Ты сейчас втянешь эту резеду в нос. Перестань!

Мистер Спарклер, мысли которого находились далеко — от его головы во всяком случае,— держал в руке веточку резеды и так энергично нюхал ее, что указанная опасность, пожалуй, не была преувеличена. Смущенно улыбнувшись, он сказал: «Виноват, душа моя!» — и выбросил резеду в окно.

— Не стой тут, ради бога, у меня от этого голова болит,— снова начала миссис Спарклер через минуту.— В этой полутьме ты возвышаешься, точно башня какая-то. Сядь, сделай милость.

— Сейчас, душа моя,— сказал мистер Спарклер и покорно придвинул себе стул.

— Если бы я не знала, что самый долгий день в году уже миновал,— сказала Фанни, отчаянно зевая,— я подумала бы, что это именно сегодня. За всю жизнь не запомню такого бесконечного дня.

— Это твой веер, любовь моя? — спросил мистер Спарклер, поднимая с полу упомянутый предмет.

— Эдмунд,— в изнеможении отозвалась его супруга,— умоляю тебя, не задавай глупых вопросов. Чей же здесь еще может быть веер?

— Да я так и думал, что он твой,— сказал мистер Спарклер.

— Зачем же было спрашивать? — возразила Фанни. Минуту спустя она повернулась на диване и воскликнула: — Господи боже мой, неужели этот день никогда не кончится! — Еще минуту спустя она встала, прошлась по комнате и вернулась на прежнее место.

— Душа моя,— сказал мистер Спарклер, осененный неожиданной догадкой,— ты, кажется, немножко не в духе.

Немножко не в духе! — повторила его супруга.— Молчи уж лучше!

— Мое сокровище,— заметил мистер Спарклер,— не понюхать ли тебе туалетного уксусу? Родительница в таких случаях всегда нюхает туалетный уксус, и ей очень помогает. А она, ты сама знаешь, замечательная женщина, без всяких там...

Милосердный боже! — вскричала Фанни, снова срываясь с дивана.— Это свыше моих сил! Нет, решительно такого невыносимого дня еще никогда не бывало!

Мистер Спарклер не без опаски поглядывал, как она мечется по комнате, швыряя что ни подвернется под руку. Выглянув поочередно во все три окна и ничего не увидев на темной уже улице, она вернулась к дивану и бросилась на подушки.

— Поди сюда, Эдмунд! Поближе: я буду ударять тебя веером, чтобы ты лучше усвоил то, что я собираюсь сказать. Так, достаточно. Ближе не нужно. Фу, до чего же ты огромный!

Мистер Спарклер покорно признал это обстоятельство, но отважился заметить, что не виноват, и добавил, что «наши» (кто такие «наши», осталось невыясненным) всегда звали его Квинбус-Флестрин-младший или Человечек-Гора *.

— Ты мне этого раньше не говорил,— пожаловалась Фанни.

— Душа моя,— отвечал мистер Спарклер, не на шутку польщенный,— я бы непременно сказал, если б догадался, что тебе это интересно.

Ну хорошо, хорошо, а теперь замолчи, ради бога,— сказала Фанни.— Говорить буду я, а ты слушай. Эдмунд, мы слишком много времени проводим одни. Так дальше продолжаться не может. Необходимо принять меры, чтобы впредь у меня не повторялись такие приступы тоски, как сегодня.

— Душа моя,— отвечал мистер Спарклер,— всем известно, что ты — замечательная женщина, и без всяких там...

— Милосердный боже!!! — закричала Фанни, вскочив с дивана и тотчас же снова кидаясь на диван.

Мистер Спарклер был так потрясен этим бурным проявлением чувств, что прошло несколько минут, прежде чем он обрел способность пояснить свою мысль.

— Я только хотел сказать, душа моя: всем известно, что ты создана, чтобы блистать в обществе.

Создана, чтобы блистать в обществе! — со злостью подхватила Фанни.— Вот именно! И что же происходит? Только что я собралась вновь начать выезжать после смерти бедного папы и бедного дяди — хотя не стану лукавить, для дяди это был счастливый выход; если уж ты непрезентабелен, так лучше умри...

— Ты это не обо мне, радость моя? — осторожно осведомился мистер Спарклер.

— Эдмунд, Эдмунд, ты святого выведешь из терпения! Разве не ясно, что я говорю о бедном дяде?

— Ты так выразительно поглядела на меня, моя кошечка, что мне стало немного не по себе,— сказал мистер Спарклер.— Мерси, мой ангел.

— Теперь я из-за тебя забыла, что хотела сказать,— заметила Фанни, безнадежно махнув веером.— Пойду лучше спать.

— Нет, нет, не уходи, любовь моя,— взмолился мистер Спарклер.— Ты подумай, может быть, вспомнишь.

Фанни думала довольно долго — откинувшись на спинку дивана, закрыв глаза и подняв брови с таким выражением, будто дела мирские ее более не волнуют. Потом вдруг открыла глаза и как ни в чем не бывало продолжала резким, отрывистым тоном:

Что же происходит, я спрашиваю? Что происходит? В то время, когда я могла бы блистать в обществе, когда мне особенно хотелось бы, в силу некоторых важных причин, блистать в обществе, в это самое время я оказываюсь в положении, которое отнимает у меня возможность бывать в обществе! Право, это уж слишком!

— Душа моя,— сказал мистер Спарклер,— но разве в твоем положении обязательно сидеть дома?

Эдмунд, ты просто нелепое существо! — с негодованием воскликнула Фанни.— Неужели ты думаешь, что

женщина в расцвете лет и не лишенная привлекательности допустит, чтобы в такое время ее фигуру сравнивали с фигурой другой женщины, уступающей ей во всем прочем? Если ты так думаешь, Эдмунд,— твоя глупость поистине безгранична!

Мистер Спарклер заикнулся было, что ее положение «не очень заметно».

— Ах, не очень заметно! — повторила Фанни с неизмеримым презрением.

— Пока,— добавил мистер Спарклер.

Оставив без внимания эту жалкую поправку, миссис Спарклер с горечью объявила, что это, право, уж слишком и что тут поневоле захочешь умереть.

— Впрочем,— сказала она после паузы, несколько приглушив в себе чувство личной обиды,— хоть это и возмутительно и жестоко, а приходится, видно, смириться.

— Тем более что тут нет ничего неожиданного,— вставил мистер Спарклер.

— Эдмунд,— возразила его супруга,— если ты не можешь придумать себе другой забавы, кроме как оскорблять женщину, удостоившую тебя чести быть ее мужем — оскорблять в тяжелую для нее минуту,— пожалуй, лучше *тебе* идти спать.

Мистер Спарклер крайне огорчился брошенным ему упреком и от всей души стал вымаливать прощения. Прощение было дано; но за ним последовал приказ пересесть на другой конец дивана, поближе к окну, и не раскрывать больше рта.

— Так вот, Эдмунд,— миссис Спарклер вытянула руку на всю длину и коснулась супруга веером.— Вот что я собиралась сказать, когда ты по своей привычке перебил меня какими-то дурацкими рассуждениями: мы должны поменьше оставаться вдвоем, и потому, когда обстоятельства запретят мне выезжать в свет, нужно, чтобы у нас постоянно кто-то бывал, так как еще одного такого дня я не выдержу.

Мистер Спарклер коротко, но решительно одобрил этот план: главное, хорошо, что без всяких там фиглей-миглей.

— Кроме того,— добавил он,— ведь скоро приезжает твоя сестра.

— Да, моя дорогая, милая Эми! — воскликнула миссис Спарклер с радостным вздохом.— Бесценная моя сестренка! Но, Эдмунд, это еще не разрешение вопроса.

Мистер Спарклер хотел произнести «Нет?» с вопросительной интонацией. Но вовремя учуял опасность и произнес с утвердительной:

— Нет! Разумеется, это не разрешение вопроса.

— Ни в какой степени, Эдмунд. Прежде всего наша милая девочка такая тихая и скромная, что оценить ее можно только по контрасту; нужно, чтобы вокруг была жизнь, было движение — вот тогда ее несравненные достоинства заиграют во всем блеске. А кроме того, ей ведь тоже не мешает встряхнуться.

— Точно,— подтвердил мистер Спарклер.— Встряхнуться.

— Опять, Эдмунд? Что за отвратительная манера перебивать другого, когда самому решительно нечего сказать! Надо тебя отучить от этого. Да, так я об Эми — бедная девочка до того была привязана к бедному папе, воображаю, как она горевала, как оплакивала эту потерю. Я это знаю по себе. Для меня это был жестокий удар. Но для Эми он, верно, был еще более жестоким — ведь она никогда не расставалась с папой и была при нем до последней минуты, не то что я, бедная.

Тут Фанни остановилась, чтобы немножко всплакнуть, приговаривая: — Милый, дорогой папа! Такой благородный, такой джентльмен! Полная противоположность бедному дяде.

— Конечно же, моей бедной маленькой мышке необходимо встряхнуться после всех этих тяжелых переживаний,— продолжала Фанни.— Ведь ей еще пришлось ухаживать за больным Эдвардом, который и сейчас нездоров, и неизвестно, сколько еще проболеет — что очень некстати, так как из-за его болезни задерживается приведение в порядок дел бедного папы. Счастье еще, что все его бумаги хранятся у его поверенных в том виде, как он их оставил в свой последний приезд в Англию; и все запечатано и заперто, так что можно ждать, когда Эдвард, который сейчас в Сицилии, окончательно выздоровеет и сможет приехать для утверждения в правах наследства, или ввода во владение, или что там еще полагается.

— С такой сиделкой он быстро поправится,— отважился намекнуть мистер Спарклер.

Как ни странно, на этот раз я готова с тобой согласиться,— сказала супруга, искоса скользнув по нем томным взглядом (до сих пор ее речь была как бы обращена к мебели).— Готова даже повторить твои слова: с такой сиделкой он быстро поправится. Человеку с живым складом ума моя дорогая сестренка может подчас показаться скучноватой; но как сиделка она незаменима. Душенька Эми!

Мистер Спарклер, ободренный успехом, заметил, что Эдварда, видно, не на шутку скрутило.

— Если «скрутило» означает, что человек заболел,— возразила миссис Спарклер,— твое замечание справедливо, Эдмунд. Если же нет, могу только выразить свое удивление по поводу жаргона, на котором ты считаешь уместным со мной изъясняться. Что Эдвард простудился, то ли когда день и ночь без передышки мчался в Рим — и все равно не застал бедного папу в живых,— то ли при других неблагоприятных обстоятельствах, это бесспорно, если только ты это имел в виду. Равно как и то, что беспорядочная жизнь, которую он ведет, сделала его особенно восприимчивым к болезни.

Мистер Спарклер вспомнил, к случаю, что вот так же в Вест-Индии кое-кто из наших подцепил Желтого Джека *. Но миссис Спарклер тотчас же закрыла глаза, явно не желая ничего знать о Вест-Индии, о наших и о Желтом Джеке.

— Итак,— продолжала она, снова открыв глаза после небольшой паузы,— Эми необходимо встряхнуться и отдохнуть после многодневных волнений и забот. Кроме того, полезно будет отвлечь ее от одной злосчастной склонности, которую она таит в своем сердце, но которая мне очень хорошо известна. Не допытывайся, что это за склонность, Эдмунд, я тебе все равно не скажу.

— А я и не допытываюсь, душа моя,— сказал мистер Спарклер.

— Словом, я должна буду заняться моей дорогой сестренкой,— продолжала миссис Спарклер.— Скорей бы уж она приезжала, радость моя ненаглядная! А что касается устройства папиных дел, то в этом вопросе у меня вполне

бескорыстный интерес. Бедный папа был так щедр, когда я выходила замуж, что теперь я многого не ожидаю. Только бы не оказалось, что он по завещанию оставил что-то миссис Дженерал, больше мне ничего не нужно. Ах, милый папа, милый папа!

Она было снова расплакалась, но миссис Дженерал действовала на нее лучше успокоительных капель. Звука этого имени оказалось достаточно, чтобы ее слезы высохли сами собой.

— Одно обстоятельство служит мне утешением,— сказала она,— и убеждает меня, что Эдвард не утратил способности разумно мыслить и разумно действовать — во всяком случае до самой кончины дорогого папы. Он немедля учинил расчет миссис Дженерал и выпроводил ее вон. Молодец! Я многое готова ему простить за то, что он с такой распорядительностью поступил именно так, как поступила бы я сама.

Миссис Спарклер еще продолжала радоваться вслух, как вдруг снизу донесся стук дверного молотка — очень странный стук, такой тихий, словно стучавший хотел избежать шума и не привлекать внимания, и такой продолжительный, словно он увлекся своими мыслями и забыл остановиться.

— Это что еще? — сказал мистер Спарклер.— Кто там стучит?

— Не может быть, чтобы это были Эми и Эдвард,— сказала миссис Спарклер.— Без предупреждения, пешком? Выйди на балкон и посмотри.

На улице уже зажглись фонари, и теперь там было светлей, чем в комнате. Голова мистера Спарклера, свесившаяся над перилами балкона, выглядела такой большой и тяжелой, что казалось, вот-вот перетянет, и он свалится вниз, прямо на неизвестного посетителя.

— Какой-то тип, один,— сказал мистер Спарклер.— А кто, не пойму. Хотя — постой, постой!

Сообразив что-то задним числом, он снова перегнулся через перила. Как только дверь внизу хлопнула, он воротился в комнату и сообщил жене, что «вроде бы признал колпак старика». Он не ошибся: минутой позже было доложено о приходе гостя, и на пороге появился мистер Мердл собственной персоной, с упомянутым колпаком в руке.

Свечей! — приказала миссис Спарклер, извинившись, что в гостиной темно.

— Мне это не мешает,— сказал мистер Мердл.

Когда принесли свечи, обнаружилось, что мистер Мердл стоит в углу у двери и задумчиво дергает себя за губу.

— Решил заглянуть к вам мимоходом,— сказал он.— У меня теперь особенно много дел; но я вышел пройтись и решил мимоходом заглянуть к вам.

Так как он был во фраке, Фанни спросила, где он обедал.

— Собственно говоря,— отвечал мистер Мердл,— я нигде не обедал.

— Как, совсем не обедали? — удивилась Фанни.

— Да — кажется, нет,— сказал мистер Мердл.

Прежде чем ответить, он провел рукой по своему желтоватому лбу, словно припоминая. Последовало приглашение закусить.

— Нет, благодарю вас,— сказал мистер Мердл,— мне не хочется есть. Я должен был обедать в гостях вместе с миссис Мердл. Но так как мне совершенно не хотелось есть, я в последнюю минуту передумал, и миссис Мердл уехала одна, а я решил лучше пройтись.

Может быть, чаю или кофе? — Нет, благодарю вас,— сказал мистер Мердл.— Я заходил в клуб и выпил бутылку вина.

Только теперь мистер Мердл уселся на предложенный ему Эдмундом Спарклером стул — до сих пор он тихонечко подталкивал его перед собой, точно неопытный конькобежец, не решающийся остаться на льду без опоры. Цилиндр свой он поставил на другое кресло и, заглянув в него с таким видом, как будто он был по меньшей мере двадцати футов глубиной, повторил еще раз:

— Решил вот мимоходом заглянуть к вам.

— Очень лестно для нас,— отозвалась Фанни.— Тем более что вы, я знаю, не охотник до визитов.

— Н-нет,— сказал мистер Мердл, успевший надеть себе наручники под обшлагами.— Я не охотник до визитов.

— У вас для этого просто времени нет,— сказала Фанни.— Но знаете ли, мистер Мердл, когда человек, так много трудящийся, теряет аппетит, это очень плохо. Вы

должны обратить на это серьезное внимание. Так и заболеть недолго.

— Но я здоров,— возразил мистер Мердл, немного подумав.— Я вполне здоров. Я совершенно здоров. Здоровей и быть нельзя.

И величайший человек нашего времени снова умолк, подтверждая распространенное мнение, что истинно великие люди не любят и не умеют говорить о себе. Миссис Спарклер уже задавалась вопросом, долго ли величайший человек нашего времени намерен у них просидеть.

— Как раз перед вашим приходом, сэр, мы говорили о бедном папе.

— Да? Любопытное совпадение,— сказал мистер Мердл.

Фанни не усмотрела никакого совпадения, но сочла себя обязанной поддержать разговор.

— Я только что сказала Эдмунду, что из-за болезни моего брата пришлось отложить приведение в порядок папиных дел.

— Да,— сказал мистер Мердл,— да. Пришлось отложить.

— Правда, от этого ничего не изменится,— сказала Фанни.

— Нет,— признал мистер Мердл, внимательно изучив ту часть лепного карниза, которая была доступна обозрению,— от этого ничего не изменится.

— Меня беспокоит только одно,— сказала Фанни,— как бы миссис Дженерал не получила что-нибудь.

— Она ничего не получит,— сказал мистер Мердл.

Фанни его слова как маслом по сердцу помазали. Мистер Мердл еще раз пристально вгляделся в глубину своего цилиндра, словно заприметив что-то на самом дне, потом погладил себя по макушке и с натугой вымолвил в подкрепление сказанного:

— Нет, нет. Ни в коем случае. И думать нечего.

Тема явно была исчерпана, и ораторские ресурсы мистера Мердла тоже; поддерживая разговор, Фанни высказала предположение, что он, вероятно, зайдет за миссис Мердл, чтобы вернуться домой в карете вместе с ней.

— Нет,— сказал мистер Мердл,— я выберу самый короткий путь, а миссис Мердл,— он внимательно разгляды-

вал свои ладони, словно собираясь предсказывать собственную судьбу,— миссис Мердл пусть сама думает о себе. Полагаю, что она не растеряется.

— Я тоже так полагаю,— заметила Фанни.

Последовала длительная пауза, во время которой миссис Спарклер снова откинулась на спинку дивана, закрыла глаза и приподняла брови с выражением полной отрешенности от мирской суеты.

— Да,— сказал мистер Мердл.— Ну, не буду больше отнимать время у вас и у себя. Просто я, знаете ли, решил заглянуть мимоходом.

— Очень любезно с вашей стороны,— сказала Фанни.

— Так я пойду,— сказал мистер Мердл, вставая.— Кстати, не одолжите ли вы мне перочинный ножичек?

Забавно, с улыбкой заметила Фанни, что такой деловой человек, как мистер Мердл, обращается с этой просьбой к ней, для которой написать коротенькую записку и то наказание.— В самом деле забавно,— согласился мистер Мердл,— но мне нужен перочинный ножичек, а среди ваших свадебных подарков были, помнится, несколько ящичков со всякими ножницами и тому подобными вещами. Завтра вы получите свой ножик обратно.

— Эдмунд,— сказала миссис Спарклер,— подойди к моему столику (только, ради бога, ничего не разбей, я ведь знаю, какой ты неловкий), открой перламутровую шкатулку и достань для мистера Мердла перламутровый перочинный ножик.

— Весьма признателен,— сказал мистер Мердл,— но не найдется ли у вас с темным черенком, я бы предпочел с темным черенком.

— С черепаховым?

Весьма признателен,— сказал мистер Мердл.— Да, я бы предпочел с черепаховым.

Эдмунд получил распоряжение открыть черепаховую шкатулку и достать для мистера Мердла черепаховый ножик. Когда он это исполнил, его супруга, мило улыбаясь, сказала величайшему человеку нашего времени:

— Если вы его замараете чернилами, я уж вас так и быть прощу.

— Постараюсь не замарать его чернилами,— сказал мистер Мердл.



Знатный гость протянул свой обшлаг, и рука миссис Спарклер на миг исчезла в нем вся, до браслета включительно. Куда девалась при этом его собственная рука, неизвестно; только миссис Спарклер не ощутила ее прикосновения, словно прощалась с каким-нибудь доблестным ветераном из инвалидного дома в Челси или Гринвиче.

Укрепившись в своем мнении, что истекший день был самым долгим и самым нестерпимым в ее жизни и что вряд ли есть на свете еще одна не лишенная привлекательности женщина, которую бы так донимали тупицы и дураки, Фанни после ухода гостя вышла на балкон подышать свежим воздухом. Слезы досады стояли у нее в глазах, и от этого знаменитый мистер Мердл, удаляясь от дома, плясал, извивался и дергался из стороны в сторону, словно в него вселился добрый десяток чертей.

ГЛАВА XXV

Мажордом подает в отставку

Обед, на который не поехал мистер Мердл, давал знаменитый Врач. Цвет Адвокатуры присутствовал на этом обеде и блистал остроумием. Фердинанд Полип присутствовал тоже и пленял всех любезностью. Немного нашлось бы путей в человеческой жизни, сокрытых от Врача, и ему доводилось бывать в таких темных закоулках, куда даже Столп Церкви заглядывал не часто. У него было изрядное число поклонниц среди дам высшего лондонского света (я просто без ума от нашего доктора, душенька, он так мил, так обходителен); но любая из них в ужасе отшатнулась бы от него, если бы знала, что за картины еще недавно представлялись взору этого степенного, сдержанного человека, над чьими изголовьями склонялся он, какие пороги переступал. Но Врач был не любитель трубить о себе и не охотник до того, чтобы о нем трубили другие. Много странного приходилось ему видеть и слышать, велики были нравственные противоречия, среди которых текла его жизнь; но ничто не могло нарушить его сострадания к людям, и для него, как и для Великого Исцелителя всяческих

недугов, все были равны. Подобно дождю, не делал он разницы между праведными и неправедными и по мере сил своих творил добро, не вещая о том с церковных амвонов и не крича на уличных перекрестках.

Как всякий человек с большим жизненным опытом, хотя бы и не выставляемым на вид, Врач не мог не внушать интереса к себе. Даже весьма далекие от его тайн светские щеголи и щеголихи, из тех, что сошли бы с ума от возмущения (если б было с чего сходить), предложи он им хоть раз взглянуть на то, что сам видел изо дня в день,— даже они находили его интересным. От него веяло дыханием истины. А крупицы истины, равно как и некоторых других не менее редких естественных продуктов, достаточно, чтобы придать вкус огромному количеству раствора.

Поэтому, должно быть, на обедах у Врача общество представало в наименее искусственном свете. Люди словно говорили себе, быть может сами того не сознавая: «Вот человек, который знает нас такими, как мы есть; который многих из нас застает чуть ли не ежедневно без парика, без румян и белил; который слышит наши речи и наблюдает за выражением наших лиц, когда мы не в силах управлять ни тем, ни другим; так стоит ли перед ним притворяться, ведь все равно он видит нас насквозь и все наши ухищрения с ним бесполезны». Вот почему за его круглым столом с людьми происходила удивительная перемена: они становились почти самими собой.

Цвет Адвокатуры привык смотреть на огромное собрание присяжных, именуемое человечеством, взглядом острым, как бритва; но бритвой не всегда удобно пользоваться, и простой блестящий скальпель Врача, хотя и не столь острый, во многих случаях оказывался куда более пригодным. Людская глупость и людская подлость были изучены Цветом Адвокатуры до тонкости; но о добрых чувствах людей он, навещая вместе с Врачом его больных, узнал бы за одну неделю больше, чем за семьдесят лет непрерывных заседаний в Вестминстер-Холле и во всех судебных округах вместе взятых. У него у самого являлась такая мысль, пожалуй, он даже черпал в ней утешение (ибо если мир и в самом деле всего лишь большая судебная палата, остается только пожелать, чтобы скорей насту-

пил день Последнего Суда); и потому он любил и уважал Врача не меньше, нежели другие.

Стул мистера Мердла оставался за столом пустым, подобно стулу Банко; * но его присутствие было бы не более заметно для окружающих, чем присутствие Банко, а потому и его отсутствия никто особенно не замечал. Цвет Адвокатуры имел обыкновение подбирать в Вестминстер-Холле обрывки всяких слухов, как, верно, делали бы вороны, если бы проводили столько времени в этом почтенном учреждении; вот и на этот раз он явился с целым ворохом соломинок в клюве и разбрасывал их там и сям, в надежде разузнать, откуда дует ветер на мистера Мердла. Он даже решил попытать счастья с миссис Мердл, для чего и направился к ней, помахивая лорнетом и не забывая о рассчитанном на присяжных поклоне.

— Нам недавно прощебетала некая птичка,— начал Цвет Адвокатуры (судя по выражению его лица, это могла быть только сорока),— будто число титулованных особ в королевстве скоро увеличится.

— Неужели? — отозвалась миссис Мердл.

— Да, представьте себе,— сказал Цвет Адвокатуры.— Но, может быть, эта птичка щебетала не только в наши грубые уши, а и в одно прелестное маленькое ушко тоже? — Он выразительно скосил глаза на ближайшую к нему серьгу миссис Мердл.

— Вы подразумеваете мое? — спросила миссис Мердл.

— Когда я говорю о прелестном, я всегда подразумеваю вас.

— А я всегда знаю, что вы говорите не то, что думаете,— возразила миссис Мердл (однако не без удовольствия).

— О, жестокая несправедливость! — воскликнул он.— Но как же все-таки птичка?

— Я все новости узнаю последней,— сказала миссис Мердл, замыкаясь в своей фортеции.— О ком идет речь?

— Какая великолепная из вас вышла бы свидетельница! — сказал Цвет Адвокатуры.— Никакой состав присяжных (разве что подобранный из одних слепых) не устоял бы против вас, даже если бы вы мялись и путались; но на самом деле вы справились бы блестяще.

— Из чего это следует, чудак вы этакий? — спросила миссис Мердл, смеясь.

Но он в ответ лишь лукаво помахал лорнетом между Бюстом и собою, а затем спросил самым своим умильно вкрадчивым тоном:

— Как я должен буду обращаться к изящнейшей и обворожительнейшей из женщин через несколько недель, а может быть, и дней?

— А ваша птичка вам этого не сказала? — возразила миссис Мердл.— Спросите ее завтра, а при следующей встрече расскажите мне, что она ответила.

Эта шутливая перепалка продолжалась еще несколько минут и закончилась не в пользу Цвета Адвокатуры, которому так и не удалось ничего выведать. Со своей стороны Врач, выйдя проводить миссис Мердл и помогая ей одеться, заговорил о том же, но без всяких уверток, прямо и спокойно, как всегда.

— Могу я спросить, верно ли то, что говорят о Мердле?

— Мой милый доктор, я как раз собиралась задать этот вопрос вам.

— Мне? Почему мне?

— Право же, мистер Мердл оказывает вам больше доверия, чем кому бы то ни было.

— Напротив, я даже как врач никогда не могу от него ничего добиться. До вас, разумеется, дошли эти слухи?

— Разумеется, дошли. Но вы ведь знаете мистера Мердла, знаете, как он неразговорчив и замкнут. Даю вам слово, мне совершенно неизвестно, есть ли у этих слухов какое-нибудь основание. Я бы очень хотела, чтобы они подтвердились, не стану отрицать. Да вы бы мне все равно не поверили.

— Не поверил бы.

— Однако правда ли это, или неправда, или наполовину правда, я сказать не могу. Преглупое положение и пренеприятное; но, зная мистера Мердла, вы не должны удивляться.

Врач и не удивлялся; он усадил миссис Мердл в карету и пожелал ей доброй ночи. Потом с минуту еще постоял в дверях, задумчиво глядя вслед элегантному экипажу. Вскоре и прочие гости разъехались, и он остался один. Взяв книгу (он был большим любителем всякого рода чте-

ния и не стыдился этой слабости), он уселся почитать перед сном.

Стрелки настольных часов уже почти сошлись на двенадцати, когда резкий звонок у парадной двери заставил его невольно взглянуть на циферблат. Скромный в своих привычках, он уже отпустил прислугу на ночь, и ему пришлось самому пойти отворить. На пороге стоял человек без сюртука и без шляпы, с рукавами, засученными до самых плеч. Сперва у врача мелькнула было мысль о драке, тем более что человек был крайне взволнован и тяжело дышал. Но опрятный вид незнакомца и аккуратность его не совсем обычного костюма опровергли эту догадку.

— Сэр, я из ванного заведения, что на соседней улице.

— Что же ванному заведению нужно от меня?

— Сделайте милость, сэр, пойдемте туда со мной. Вот что мы нашли на столе.

Он подал ему бумажку, на которой было нацарапано карандашом имя и адрес Врача — ничего больше. Врач вгляделся в почерк, снова поднял глаза на посетителя, снял шляпу с вешалки, положил ключ от двери в карман и торопливо последовал за своим провожатым.

Весь персонал заведения был на ногах; одни толпились на крыльце, поджидая Врача, другие взволнованно бегали по коридорам.

— Прошу вас удалить всех, в ком нет надобности,— сказал Врач хозяину и, повернувшись к своему провожатому, добавил: — А вы, мой друг, показывайте, куда идти.

Тот быстро зашагал по длинному коридору, в который выходил ряд комнаток-номеров. В конце коридора он остановился, толкнул одну дверь и вошел. Врач вошел вслед за ним.

В углу небольшой комнаты помещалась ванна, из которой совсем недавно спустили воду. В ней, точно в гробу или в саркофаге, наспех прикрытое простыней, лежало тело мужчины массивного сложения, с приплюснутой головой и грубыми, вульгарными чертами лица. Окошко под потолком было открыто, чтобы дать выход наполнявшему комнату пару; но пар все же оседал тяжелыми каплями на стенах и на неподвижной фигуре в ванне. В комнате было жарко, мрамор ванны еще хранил тепло; но лицо и тело

лежавшего в ней были холодными и липкими на ощупь. По белому мраморному дну ванны змеились прожилки зловещего темно-красного цвета. На полочке сбоку лежала пустая склянка из-под сонных капель, а рядом черепаховый перочинный ножик, весь в пятнах — но не чернильных.

«Перерезана яремная вена — почти мгновенная смерть — около получаса назад». Эти слова облетели весь дом, отдались во всех коридорах, во всех номерах, когда врач еще мыл руки, только что отойдя от тела, и такие же темно-красные прожилки, как на мраморе, змеились в воде, не успев еще окрасить ее в ровный алый цвет.

На диване оставалось платье, на столе лежали часы, деньги, бумажник. Врачу бросился в глаза сложенный листок бумаги, высовывавшийся из бумажника. Он наклонился над ним, вытянул до половины, сказал спокойно: «Это адресовано мне», развернул и прочел.

Никаких распоряжений от него не потребовалось. Служащим заведения все порядки были известны. Дали знать куда следует, и явившиеся на место представители власти, завладев покойником и его недавним достоянием, принялись делать свое дело без всякой суеты и беспокойства, как часовщик заводит часы. Врач был рад выйти на свежий ночной воздух — и даже присел отдышаться на ступеньках соседнего дома: несмотря на весь его опыт и привычку, у него кружилась голова и стучало в висках.

Цвет Адвокатуры жил неподалеку, и, проходя мимо, Врач увидел свет в комнате, где его друг имел обыкновение допоздна засиживаться за работой. Свет говорил о том, что он дома и еще не ложился. И в самом деле, неутомимому труженику правосудия нужно было завтра добиться вердикта, противоречащего всем показаниям, и он был занят тем, что готовил силки для господ присяжных.

Стук в дверь в такой поздний час удивил Цвет Адвокатуры; но он тотчас же вообразил, что это пришли тайком предупредить его о чьих-то злых кознях против его кошелька или его особы, а потому поспешил спуститься и отворить. Он только что облил голову холодной водой, желая прояснить свои мысли, чтобы успешней запутать мысли присяжных, и расстегнул воротник, чтобы удобней было душить свидетелей противной стороны. Все это придавало ему какой-то растерянный вид. Но он еще больше расте-

рялся, когда отворил дверь и увидел перед собой Врача — человека, которого меньше всего ожидал увидеть.

— Что случилось? — воскликнул он.

— Помните, вы как-то спрашивали меня, чем болен Мердл.

— Ну, спрашивал. Нашли тоже время для воспоминаний!

— А я вам сказал, что сам не могу понять.

— Ну, сказали. Что же из этого?

— Так вот, теперь я понял.

— Боже мой! — вскричал Цвет Адвокатуры, схватив его за руку.— Я тоже понял. Я увидел это на вашем лице.

Они вошли в соседнюю комнату, и Врач дал ему прочитать записку мистера Мердла. Он прочитал ее несколько раз подряд. В записке было всего несколько строк, но каждая строка стоила самого пристального внимания. Потом Цвет Адвокатуры стал бурно сокрушаться о том, что сам не сумел разгадать тайну. Один намек, наводящее слово — и дело было бы у него в руках,— да какое дело!

Врач взялся сообщить о случившемся на Харли-стрит. Цвет Адвокатуры почувствовал себя не в силах вернуться к опутыванию самых просвещенных и достойных присяжных, когда-либо занимавших эти скамьи; людей, на которых, да будет это известно его ученому другу, не подействует ни дешевая софистика, ни злоупотребление профессиональным искусством и ловкостью (так он предполагал начать свою речь), поэтому он предложил Врачу, что проводит его и дождется на улице, покуда тот исполнит свою невеселую миссию. Друзья отправились пешком, надеясь, что прогулка на свежем воздухе поможет им восстановить свое душевное равновесие; и когда Врач взялся за дверной молоток у подъезда особняка на Харли-стрит, крылья рассвета уже разогнали ночную мглу.

Лакей в ливрее радужных оттенков дожидался хозяина — иначе говоря, крепко спал в кухне, положив голову на газету между двумя свечами и тем наглядно опровергая статистику пожаров, возникающих вследствие неосторожности. Не без труда добудившись этого ревностного служителя, Врач должен был ожидать, покуда он в свою очередь добудится мажордома. Но вот, наконец, последний вошел в столовую в фланелевом халате и туфлях,

однако же при галстуке, и весь до кончиков пальцев исполненный своего мажордомского достоинства. Было уже утро. Врач успел растворить ставни одного из окон и впустить в комнату дневной свет.

— Нужно позвать горничную миссис Мердл и сказать ей, чтобы она разбудила миссис Мердл и как можно осторожнее подготовила ее к встрече со мной. Я должен сообщить ей страшную весть.

Так сказал мажордому Врач. Мажордом, явившийся со свечой, отдал ее слуге и приказал унести. Затем он величественно приблизился к окну, созерцая носителя страшной вести совершенно так же, как не раз созерцал обедающих в этой самой зале.

— Мистер Мердл скончался.

— Я желал бы с будущего месяца получить расчет,— сказал мажордом.

— Мистер Мердл покончил с собой.

— Сэр,— сказал мажордом,— это весьма неприятное для меня обстоятельство, так как оно может отразиться на моей репутации; я желал бы получить расчет сегодня же.

— Послушайте, неужели вы не только не взволнованы, но даже не удивлены? — с жаром воскликнул Врач.

Мажордом с обычной невозмутимостью изрек в ответ следующие достопамятные слова:

— Сэр, мистер Мердл никогда не был джентльменом, и никакой неджентльменский поступок мистера Мердла не может меня удивить. Угодно вам, чтобы я отдал какие-нибудь распоряжения, прежде чем начать свои сборы к отъезду?

Вернувшись к ожидавшему его другу, Врач не стал распространяться о своей беседе с миссис Мердл, а сказал только, что сообщил ей пока не все, но то, что сообщил, она перенесла довольно стойко. Цвет Адвокатуры не прохлаждался на улице зря: он за это время измыслил хитроумнейший капкан для уловления всех присяжных разом. Теперь он мог выкинуть эту заботу из головы и сосредоточиться на происшедшей катастрофе, и по дороге домой друзья обсуждали эту катастрофу со всех сторон. Когда они подошли к дому Врача, в ясное утреннее небо уже тянулись первые редкие дымки и слышны были негромкие голоса первых редких прохожих; и, оглянувшись на еще сонный

огромный город, они сказали себе: о, если бы все те сотни и тысячи людей, что мирно спят, не подозревая о своем разорении, могли сейчас слышать их разговор — какой понесся бы к небу страшный вопль, проклинающий жалкого виновника всех несчастий!

Весть о кончине великого Мердла распространилась с поразительной быстротой. Сперва он умирал поочередно от всех существующих в мире болезней, не считая нескольких новых, мгновенно изобретенных для данного случая. Он с детства страдал тщательно скрываемой водянкой; он унаследовал от деда целую каменоломню в печени; ему в течение восемнадцати лет каждое утро делали операцию; его важнейшие кровеносные сосуды лопались, как фейерверочные ракеты; у него было что-то с легкими; у него было что-то с сердцем; у него было что-то с мозгом. Пятьсот лондонцев, севших в это утро завтракать, понятия не имея ни о чем, встали из-за стола в твердой уверенности, что слышали собственными ушами, как знаменитый врач предупреждал мистера Мердла: «Вы в любую минуту можете угаснуть, как свеча», а мистер Мердл отвечал на это: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать». К одиннадцати часам теория чего-то с мозгом получила решительный перевес над всеми прочими, а к двенадцати выяснилось окончательно, что̀ это было: УДАР.

Удар настолько понравился всем и удовлетворил самые взыскательные вкусы, что эта версия продержалась бы, верно, целый день, если бы в половине десятого Цвет Адвокатуры не рассказал в суде, как в действительности обстояло дело. По городу тотчас же пошла новая молва, и к часу дня на всех перекрестках уже шептались о самоубийстве. Однако Удар вовсе не был побежден; напротив, он приобретал все большую и большую популярность. Каждый извлекал из Удара свою мораль. Те, кто пытался разбогатеть и кому это не удалось, говорили: «Вот до чего доводит погоня за деньгами!» Лентяи и бездельники оборачивали дело по-иному. «Вот что значит переутомлять себя работой»,— говорили они. «Работаешь, работаешь, работаешь — глядь, и доработался до Удара!» Последнее соображение нашло особенно горячий отклик среди клерков и младших компаньонов, которым меньше всего грозила опасность переутомления. Они дружно уверяли, что участь

мистера Мердла послужит им уроком на всю жизнь, и клялись беречь силы, чтобы избежать Удара и как можно дольше продлить свои дни на радость друзьям и знакомым.

Но ко времени открытия биржи об Ударе стали забывать, и с востока, с запада, с севера, с юга поползли зловещие слухи. Сперва их передавали шепотом, и они не шли дальше сомнений, так ли уж велико состояние мистера Мердла, как о том говорили; не отразится ли случившееся на свободном обращении акций; не приостановит ли чудобанк платежи, хотя бы временно, на какой-нибудь месяц. Но, нарастая с каждой минутой, слухи становились все более грозными. Этот человек возник из ничего; никто не мог объяснить, откуда и как он пришел к своей славе; он был, в сущности говоря, грубый невежда; он никому не смотрел прямо в глаза; совершенно непонятно, почему он пользовался доверием стольких людей; своего капитала у него не было никогда, предприятия его представляли собою чистейшие авантюры, а расходы были баснословны. С приближением сумерек слухи крепли, приобретали определенность. Он оставил письмо своему врачу, врач письмо получил, оно будет предъявлено завтра на дознании и как громом поразит многочисленных жертв обмана. Тысячи людей всех званий и профессий будут разорены вследствие его банкротства; старикам, никогда не знавшим нужды, придется оплакивать свое легковерие в работном доме за неимением другого пристанища; будущее множества женщин и детей окажется загубленным безжалостной рукой этого негодяя. Всякий, кто пировал за его роскошным столом, узнает, что помогал обездолить бесчисленные семьи; всякий, кто поклонялся ему, сотворив из денег кумир, поймет, что лучше уж было просто поклоняться дьяволу. Слухи росли и множились, находя подтверждение в каждом новом выпуске вечерних газет, голоса, их подхватывавшие, звучали все громче и к ночи слились в такой оглушительный рев, что казалось, забравшись на галерею, опоясывающую купол собора св. Павла, можно услышать, как воздух звенит от проклятий, сочетаемых с тысячекратно повторенным именем МЕРДЛ.

Ибо к этому времени стало уже известно, что недуг покойного мистера Мердла следовало назвать Мошенничеством и Воровством. Он, предмет всеобщей лести и покло-

нения, желанный гость за столом у первых людей в государстве, украшение великосветских салонов их жен, он, который легко входил в круг самых избранных, обуздывал аристократическую спесь, торговался за титул с главой Министерства Волокиты, он, покровитель покровителей, за десять или пятнадцать лет удостоенный больших почестей, чем за два столетия было оказано в Англии всем мирным радетелям о народном благе и всем светилам Науки и Искусства, со всеми их творениями, он, ослепительное чудо нашего времени, новая звезда, указывавшая путь волхвам с дарами, пока она не закатилась над мраморной ванной, в которой лежала падаль,— был попросту величайшим Мошенником и Вором, когда-либо ухитрившимся избегнуть виселицы.

ГЛАВА XXVI

Пожиная бурю

Торопливые шаги и прерывистый храп возвестили о приближении мистера Панкса, и через минуту последний ворвался в контору Артура Кленнэма. Дознание пришло к концу, письмо стало достоянием гласности, банк лопнул, прочие соломенные постройки запылали и обратились в кучу пепла. Прославленный пиратский корабль взлетел на воздух вместе с целой флотилией различных судов и суденышек, и море было усеяно следами крушения — там и сям догорали остовы кораблей, взрывались пороховые бочки, сами собой стреляли пушки, вдребезги разнося друзей и приспешников, утопающие хватались за обломки снастей, изнемогшие пловцы боролись с волнами, и вокруг всплывших трупов уже шныряли акулы.

От порядка и деловитости, всегда царивших в конторе Кленнэма, не осталось ровно ничего. Повсюду валялись нераспечатанные письма, неразобранные счета и документы, а сам хозяин праздно стоял посреди этих знаков иссякшей энергии и рухнувших надежд, облокотясь на свою конторку и уронив голову на руки.

Мистер Панкс, ворвавшись в комнату, при виде его так и замер. В следующее мгновение локти мистера Панкса

уже были на конторке, а голова мистера Панкса уже была опущена на руки; и несколько минут они оставались так, оба безмолвные и неподвижные, разделенные лишь конторкою.

Мистер Панкс первым поднял голову и заговорил:

— Это я вас втянул, мистер Кленнэм. Я виноват. Кляните меня, как хотите. Я себя еще и не так кляну. Я еще и не того заслуживаю.

— Ах, Панкс, Панкс! — отозвался Кленнэм.— Что говорить понапрасну. А я сам чего заслуживаю?

— Лучшей участи,— сказал Панкс.

— Я,— продолжал Кленнэм, не слушая его,— я, разоривший своего компаньона! Панкс, Панкс, ведь я разорил Дойса! Честного, неутомимого труженика, который всю свою жизнь работал, не зная ни отдыха, ни срока; который испытал столько горьких неудач, и не поддался им, не очерствел, не разочаровался в жизни; которого я так любил, так надеялся быть ему добрым и преданным помощником,— и вот я своими руками разорил его — навлек на него позор и бесчестье — разорил его, разорил!

Страдания, которые ему причиняла эта мысль, были так велики, что Панкс, не будучи в силах глядеть на столь горестное зрелище, вцепился себе в волосы и стал выдирать их.

— Браните же меня! — воскликнул Панкс.— Браните меня, сэр, или я за себя не ручаюсь! Назовите меня дураком, мерзавцем! Скажите: осел! где была твоя голова? Скотина! куда тебя понесло? Не стесняйтесь со мною. Обругайте меня как следует! — Произнося эти слова, мистер Панкс самым жестоким и беспощадным образом рвал на себе волосы.

— Если бы вы не поддались этой злосчастной мании, Панкс,— сказал Кленнэм, больше с состраданием, нежели с сердцем,— было бы гораздо лучше для вас и гораздо лучше для меня.

— Еще, сэр! — вскричал Панкс, скрежеща зубами в запоздалом раскаянии.— Так, так, еще!

— Если бы вы не занялись этими проклятыми расчетами и не подсчитали все с такой устрашающей точностью,— простонал Кленнэм,— было бы гораздо лучше для вас, Панкс, и гораздо лучше для меня.

— Еще, сэр! — воскликнул Панкс, отпустив свою шевелюру.— Еще, еще!

Но Кленнэм, видя, что отчаяние Панкса понемногу ослабевает, решил этим ограничиться и только добавил, крепко пожав ему руку:

— Слепец вел слепца, Панкс! Слепец вел слепца! Но Дойс, Дойс, Дойс, бедный мой компаньон! — И он снова упал головой на конторку.

Панкс, как прежде, последовал его примеру и, как прежде, первым прервал затянувшуюся паузу:

— Я ни на минуту не прилег, сэр, с тех пор как услышал об этом. Весь город избегал в надежде хоть что-нибудь вытащить из огня. Где там! Все пропало! Все пошло прахом!

— Знаю,— отвечал Кленнэм.— Слишком хорошо знаю.

Новая пауза была заполнена стоном мистера Панкса, шедшим, казалось, из самых глубин его существа.

— И ведь как раз вчера, Панкс,— сказал Артур,— как раз вчера, в понедельник, я твердо решился продать всё и развязаться с этим делом.

— О себе я этого сказать не могу, сэр,— отвечал Панкс.— Но удивительно, от скольких людей я уже слышал, что они собирались продать вчера — не сегодня, не завтра, и ни в другой любой из трехсот шестидесяти пяти дней, а именно вчера.

Его сопенье и фырканье, всегда производившие комический эффект, на этот раз звучали трагически, как рыдания, и весь он, грязный, растерзанный, замызганный с головы до ног, мог сойти за живое воплощение Горя, если бы только грязь позволила разглядеть его черты.

— Мистер Кленнэм, вы вложили в эти акции... всё? — Нелегко было ему переступить через это многоточие, и еще трудней — произнести последнее слово.

— Всё.

Мистер Панкс снова вцепился в свою проволочную шевелюру и так рванул, что клочья волос остались у него в руках. Он посмотрел на них с остервенением и сунул в карман.

— Я знаю, как мне быть,— сказал Кленнэм, смахнув две-три слезинки, катившиеся по его лицу,— и начну дей-

ствовать сегодня же. Те ничтожные меры, которые в моих силах принять, должны быть безотлагательно приняты. Я должен спасти доброе имя моего несчастного компаньона. Себе я не оставлю ничего. Я передам нашим кредиторам полномочия, которыми так злоупотребил, и буду работать до конца своих дней, чтобы хотя отчасти возместить ущерб, причиненный моей ошибкой — или моим преступлением.

— Неужели нет никакой возможности выкрутиться, сэр?

— Никакой решительно. Где уж тут выкручиваться, Панкс! Чем скорей дело перейдет в другие руки, тем лучше. На этой неделе настают сроки некоторых платежей, и катастрофа все равно разразится, даже если я оттяну ее до тех пор, скрыв от других то, что известно мне самому. Я обдумывал свое решение всю ночь; теперь остается только исполнить его.

— Но вы не можете все сделать сами,— сказал Панкс, весь взмокший, словно пары, которые он выпускал, тут же сгущались и превращались в влагу.— Посоветуйтесь с юристом.

— В этом вы, пожалуй, правы.

— Посоветуйтесь с Рэггом.

— Ну что ж, дело тут нехитрое. Он справится не хуже любого.

— Хотите, я за ним сбегаю, мистер Кленнэм?

— Если вас не затруднит, буду вам очень признателен.

Мистер Панкс схватил свою шляпу и на всех парах отбыл по направлению к Пентонвиллу. За время его отсутствия Артур ни разу не поднял головы и не переменил позы.

Мистер Панкс воротился в сопровождении своего друга и поверенного, мистера Рэгга. Дорогою мистер Рэгг имел немало случаев убедиться, что мистер Панкс пребывает в сильном душевном смятении, а потому деловой разговор он начал с того, что предложил последнему убраться вон. Мистер Панкс, обмякший, подавленный, безропотно повиновался.

— Он мне напоминает мою дочь, сэр, в ту пору, когда мы с ней начинали дело Рэгг против Боукинса о нарушении обещания жениться,— сказал мистер Рэгг.— Все это

чересчур его волнует, сэр. Он находится в расстроенных чувствах. В нашей профессии, сэр, расстроенные чувства ни к чему.— Стягивая перчатки и кладя их в шляпу, мистер Рэгг мельком глянул на своего клиента, и от него не укрылась происшедшая в последнем перемена.

— С огорчением замечаю, сэр,— сказал он,— что вы также находитесь в расстроенных чувствах. Напрасно, напрасно, этого нельзя допускать. Случившееся весьма прискорбно, сэр, но мы не должны склонять голову под ударами судьбы.

— Если бы речь шла только о моих деньгах, мистер Рэгг,— сказал Кленнэм,— я беспокоился бы гораздо меньше.

— В самом деле, сэр? — сказал мистер Рэгг, возбужденно потирая руки.— Вы меня удивляете. Это очень странно, сэр. По моим многочисленным наблюдениям люди обыкновенно больше всего беспокоятся о своих деньгах. Я знавал нескольких человек, загубивших немало чужих денег, и они, надо сказать, переносили это весьма мужественно — весьма мужественно.

Высказав эти утешительные соображения, мистер Рэгг взгромоздился на высокий табурет и приступил к делу.

— Итак, с вашего позволения, начнем, мистер Кленнэм. Рассмотрим сложившиеся обстоятельства. Вопрос, в сущности говоря, ясный. Простой, немудреный, диктуемый здравым смыслом вопрос: что мы тут можем сделать для себя? Что мы можем сделать для себя?

— Ошибаетесь, мистер Рэгг, вопрос для меня не в этом,— возразил Артур.— Вы с самого начала становитесь на неверный путь. Мой вопрос вот в чем: что я могу сделать для своего компаньона? Как я могу возместить причиненный ему ущерб?

— Знаете, сэр, боюсь, что вы слишком поддаетесь своим расстроенным чувствам,— внушительно заметил мистер Рэгг.— Мне не нравится слово «возместить», сэр, разве только в устах представителя противной стороны. Прошу прощения, но я считаю своим долгом предостеречь вас от этой опасной склонности — поддаваться своим расстроенным чувствам.

— Мистер Рэгг,— сказал Кленнэм, набравшись духа и удивляя своего собеседника неожиданной в столь удручен-

ном состоянии решимостью и упорством,— я вижу, намеченный мною план не встречает у вас одобрения. Если это обстоятельство может помешать вам действовать в желательном для меня духе, я глубоко сожалею, но мне придется искать себе другого помощника. Должен предупредить вас сразу, что всякие споры на эту тему бесполезны.

— Ну что ж, сэр,— ответствовал мистер Рэгг, пожимая плечами.— Ну что ж. Раз чьи-то руки должны быть приложены к данному делу, пусть это будут мои руки. Такого принципа я придерживался в деле Рэгг против Боукинса. Такого принципа я придерживаюсь и в других делах.

После этого Кленнэм изложил мистеру Рэггу сущность принятого им решения. Он объяснил, что его компаньон — человек исключительной честности и душевной чистоты, и эти его свойства следует прежде всего принять во внимание и пощадить. Он упомянул о том, что серьезные дела удерживают сейчас его компаньона за границей, и тем важней довести до всеобщего сведения, что вся ответственность за допущенные опрометчивые действия ложится на одного лишь Кленнэма — чтобы даже тень незаслуженного подозрения не коснулась его компаньона и не помешала успешно довести до конца порученное ему предприятие. Полностью обелить имя Дэниела Дойса, объявить во всеуслышание и без всяких оговорок, что он, Артур Кленнэм, своей единоличной волей и даже вопреки предостережению компаньона, вложил капиталы фирмы в предприятия, которые оказались аферами и потерпели крах,— вот единственное, чем он может хотя отчасти искупить свою вину перед Дойсом, если не перед другими; и вот с чего, следовательно, надлежит начинать. С этой целью он уже составил текст уведомления, которое намерен разослать в печатном виде всем имеющим дела с фирмой Дойс и Кленнэм, а кроме того, поместить в газетах. Кроме этой меры (описание коей мистер Рэгг выслушал, гримасничая самым ужасным образом и ерзая на месте, словно у него были судороги в ногах), он обратится ко всем кредиторам с письмом, в котором торжественно подтвердит непричастность своего компаньона к случившемуся, известит их, что фирма прекращает операции впредь до выяснения всех предъявляемых претензий, и смиренно выразит свою готовность положиться на их волю. Если, приняв в расчет невиновность

его компаньона, кредиторы пойдут на такое соглашение, которое позволит фирме оправиться от удара и на приемлемых началах возобновить свою деятельность, он откажется от своей доли в предприятии в пользу Дойса в виде некоторого денежного возмещения понесенных по его вине убытков (единственного, которое он может сейчас предложить),— и только будет просить, чтобы тот оставил его у себя на положении служащего, получающего самое скромное жалованье.

Мистер Рэгг ясно видел, что Кленнэм от принятого решения не отступится, но гримасы так дергали его лицо, а судороги так сводили ноги, что он все же не мог не высказаться, хотя бы для собственного облегчения.

— Я с вами не спорю, сэр,— сказал он,— и ни против чего не возражаю. Я буду действовать, как вы желаете, сэр, но остаюсь при особом мнении.— И мистер Рэгг пустился в довольно пространную аргументацию своего особого мнения.— Во-первых,— сказал он,— весь город, можно даже сказать, вся страна еще неистовствует после совершившегося разоблачения и готова обрушить свою ярость на пострадавших — те, кто не попался на удочку, будут обливать их презрением за то, что они не оказались столь же предусмотрительными, а те, кто попался, сумеют найти себе извинения и оправдания, отказывая в этом своим товарищам по несчастью; не говоря уже о том, что каждая отдельная жертва станет с возмущением уверять себя, что никогда бы не поддалась на обман, если б ее не увлекли своим примером другие. Во-вторых, подобное заявление, сделанное в подобный момент, вызовет целую бурю негодования против Кленнэма, а при таких обстоятельствах трудно рассчитывать на снисходительность кредиторов, или хотя бы на их единодушие; он только сделает себя единственной мишенью для многих недругов и падет под перекрестным огнем.

Кленнэм отвечал, что при всей справедливости высказанных соображений, ни одно из них не уменьшает и не может уменьшить его решимость снять ответственность со своего компаньона. А потому он просит мистера Рэгга как можно скорей подготовить все, что для этого необходимо. И мистер Рэгг принялся за дело; а Кленнэм тем временем позаботился перевести на счет фирмы весь свой личный не-

большой капитал, оставив себе, кроме книг и платья, лишь немного денег на расходы.

Уведомление вышло в свет, и буря забушевала. Тысячи людей жаждали случая сорвать на ком-нибудь свой гнев — и вот случай представился: нашелся живой человек, сам пригвоздивший себя к позорному столбу. Если даже люди, совершенно непричастные к делу, с ожесточением набросились на виновного, чего ж можно было ожидать от тех, кого его вина ударила по карману? Со всех сторон посыпались письма, полные упреков и угроз, и мистер Рэгг, который каждый день разбирал и прочитывал эти письма, спустя неделю сказал своему клиенту, что опасается, как бы кто-нибудь из кредиторов не добился предписания об аресте.

— Я готов нести любую ответственность за свою вину,— возразил Кленнэм.— Предписание найдет меня здесь.

На следующее утро, когда он направлялся в Подворье, миссис Плорниш, видимо дожидавшаяся его на пороге лавочки, с таинственным видом попросила его заглянуть в Счастливый Уголок. Он вошел и увидел мистера Рэгга.

— Я нарочно перехватил вас по дороге. Не советую вам ходить сегодня в контору, мистер Кленнэм.

— А почему, мистер Рэгг?

— Насколько мне известно, есть целых пять предписаний, сэр.

— Что ж, чем скорей, тем лучше,— сказал Кленнэм.— Пусть сейчас же и забирают, если так.

— Подождите, подождите,— возразил мистер Рэгг, загораживая ему путь к двери.— Выслушайте сперва. Забрать вас все равно заберут, насчет этого можно не сомневаться, но выслушайте сперва, что я вам скажу. В таких делах, как правило, больше всего суетится и забегает вперед всякая мелкота. Вот и сейчас у меня есть основания полагать, что речь идет всего лишь о решении Пэлейс-Корт — какой-то небольшой долг, сущая безделица. Я бы лично не хотел, чтобы меня взяли по таким пустякам.

— А почему?

— Я бы лично предпочел, чтобы меня взяли за что-либо покрупнее. Всегда надо соблюдать приличия. Мне, как вашему поверенному, будет гораздо приятнее, если вас

заберут по предписанию одной из высших судебных инстанций. Это более солидно.

— Мистер Рэгг,— сказал Артур печально,— у меня есть только одно желание: поскорее с этим покончить. Пойду, и будь что будет.

— Еще одно соображение, сэр! — вскричал мистер Рэгг.— Выслушайте еще только одно соображение. Допустим, то было дело вкуса, но это уже дело разума. Имейте в виду, если вас заберут по предписанию Пэлейс-Корт, вы попадете в Маршалси. А что такое Маршалси, вам известно. Дышать нечем. Повернуться негде. Тогда как, скажем, Кингс-Бенч... * — мистер Рэгг широко повел в воздухе правой рукой, изображая неоглядные просторы.

— Из всех тюрем я предпочел бы именно Маршалси,— сказал Кленнэм.

— Серьезно, сэр? Ну что ж, это тоже дело вкуса. В таком случае — пойдемте.

Он как будто слегка обиделся, но ненадолго. Им пришлось пройти все Подворье из конца в конец. Кровоточащие Сердца теперь, после краха, совсем по-другому относились к Артуру; беда сделала его для них своим, дала ему все права гражданства в Подворье. Многие выходили поглядеть на него и обменивались сочувственными замечаниями, вроде: «Эк его подвело, беднягу!» Миссис Плорниш и ее отец смотрели ему вслед со своего крыльца и сокрушенно качали головами.

У дверей конторы не было видно ни души. Но как только они вошли и мистер Рэгг собрался распечатать первое письмо, за стеклянной перегородкой появился почтенных лет иудей, похожий на заспиртованный сморчок,— должно быть, он шел за ними следом.

— А! — сказал мистер Рэгг, подняв голову.— Мое почтение! Заходите. Мистер Кленнэм, это, видимо, и есть джентльмен, о котором я говорил вам.

Джентльмен объяснил, что у него имеется к мистеру Кленнэму «маленькое дельце официального характера» — и показал предписание.

— Желаете, чтобы я проводил вас, мистер Кленнэм? — учтиво спросил мистер Рэгг, потирая руки.

— Благодарю вас, я лучше пойду один. Если вас не затруднит, перешлите мне мое белье и платье.— Мистер

Рэгг заверил, что его это нисколько не затруднит, и они простились. Кленнэм и его провожатый сошли вниз, сели в первый подвернувшийся экипаж и вскоре остановились у хорошо знакомых ворот.

«Да простит мне господь,— подумал Кленнэм,— не чаял я когда-нибудь сюда попасть подобным образом».

Дежурным у ворот был мистер Чивери, и Юный Джон тоже находился в караульне — то ли отец только что сменил его, то ли, напротив, он готовился сменить отца. При виде нового арестанта на лицах обоих отразилось изумление, казалось бы вовсе не доступное для тюремных сторожей. Чивери-старший смущенно пожал ему руку, пробормотав при этом: «Первый раз, сэр, не могу сказать по чистой совести, что я рад вас видеть!» Чивери-младший держался более замкнуто и руки не жал; но его замешательство было столь очевидно, что не укрылось даже от Кленнэма, как ни угнетен он был собственными невзгодами. Минуту спустя Джон выскользнул из караульни и скрылся на тюремном дворе.

Кленнэм, хорошо знакомый с местными порядками, знал, что ему придется прождать в караульне некоторое время, поэтому он уселся в углу и, достав из кармана пачку писем, притворился углубившимся в чтение. Однако это не помешало ему с глубокой признательностью заметить, как Чивери-старший старательно ограждает караульню от лишних посетителей — кому сделает ключом знак не входить, кого попросту вытолкает локтем — словом, всячески щадит его, Кленнэма, чувства.

Артур сидел, потупя взгляд, и картины прошлого чередовались у него в мозгу с мыслями о настоящем, вытесняя друг друга. Вдруг он почувствовал прикосновение к своему плечу и, подняв голову, увидел Юного Джона.

— Теперь можно идти,— сказал Юный Джон.

Кленнэм встал и последовал за ним. Пройдя несколько шагов по тюремному двору, Юный Джон, обернувшись, заметил Кленнэму:

— Вам нужна комната. Я вам подыскал комнату.

— Сердечно благодарю.

Они свернули в сторону, вошли в знакомый дом, поднялись по знакомой лестнице и очутились в знакомой комнате. Артур протянул Юному Джону руку. Юный Джон

поглядел на руку, поглядел на Артура — насупился, поперхнулся и сказал:

— Не знаю, смогу ли я. Нет, я не могу. Но все равно, я думал, вам будет приятно в этой комнате, так вот, пожалуйста.

Кленнэм был удивлен столь загадочным поведением, но, оставшись один (Юный Джон не стал задерживаться), он тотчас же забыл об этом под наплывом чувств, которые пробудила в его израненной душе эта пустая комната, где все напоминало ему тихую, кроткую девушку, некогда освящавшую ее своим присутствием. И оттого, что теперь, в грозный час его жизни, он не мог обрести в ней поддержку и утешение, таким мрачным показалось ему все вокруг и таким безысходным — его одиночество, что он отвернулся к стене и дал выход своему горю в слезах, повторяя про себя: «О моя Крошка Доррит!»

ГЛАВА XXVII

Уроки Маршалси

День выдался солнечный, и в тюрьме, под горячим полуденным небом, стояла непривычная тишина. Артур сел в одинокое кресло, такое же убогое и облезлое, как сиживавшие в нем должники, и погрузился в свои мысли.

Он сейчас испытывал то своеобразное чувство облегчения, которое часто наступает в первый день тюремной жизни, когда пройдена и осталась позади тяжелая передряга ареста (как много людей, поддавшись этому обманчивому чувству, незаметно для себя опускались и теряли свое человеческое достоинство!) — и картины его прошлой жизни виделись ему так, будто он перенесся на другую планету и теперь наблюдал их оттуда. Если принять во внимание, где он теперь находился и что привлекало его сюда в те дни, когда от его желания зависело приходить или не приходить, и чей нежный образ всегда связывался в его памяти и с тюремной решеткой и со всеми впечатлениями вольной жизни, которых не заточить за решетку, не покажется удивительным, что любое раздумье приводило

его к мысли о Крошке Доррит. И все же он сам удивлялся — не тому, что вспоминает о ней, но открытию, сделанному им в этих воспоминаниях: как много был он обязан ее благотворному влиянию в лучших своих решениях и поступках.

Мы никогда в полной мере не сознаем значения подобных влияний, пока внезапная остановка жизненной карусели не заставит нас ясно увидеть то, что прежде только мелькало в вихре. Так бывает в болезни, так бывает в горе, так бывает в час тяжелого испытания или утраты; в этом полезная сторона многих несчастий. Так случилось и с Кленнэмом: его несчастье открыло ему глаза и наполнило его сердце нежным чувством. «Когда я всерьез задумался о своей жизни,— размышлял он,— и перед моим утомленным взглядом забрезжила какая-то цель, кто без устали трудился у меня на глазах, не слыша ни благодарности, ни похвал, преодолевая такие препятствия, против которых не устояла бы целая армия героинь и героев? Слабая маленькая девушка! Когда я боролся со своей несчастной любовью и хотел быть великодушным с тем, кто оказался счастливее меня (хотя он никогда не узнал бы о моем великодушии и не ответил бы на него ни одним сердечным словом), у кого я учился терпению, бескорыстию, самоотверженности, уменью забывать о себе, благородству и величию души? У той же бедной девушки! Если бы я, мужчина, с моими силами, возможностями, средствами, не пожелал прислушаться к голосу сердца, твердившему, что, если отец мой совершил ошибку, мой долг, не позоря его памяти, исправить ее,— чья хрупкая фигурка, едва защищенная худым платьишком от холода и ветра, шагающая почти босиком по каменным плитам тротуара или согнувшаяся над работой, встала бы передо мною живым укором? Все ее же, Крошки Доррит!»

Так, сидя в этом облезлом кресле, он думал о ней и снова о ней — о Крошке Доррит. И мало-помалу все случившееся стало казаться ему справедливым возмездием за то, что он отдалился от нее в своих мыслях и позволил разным житейским обстоятельствам стать между ним и его памятью о ней.

Дверь приотворилась, и в образовавшуюся щель вдвинулась часть головы Чивери-старшего.

— Мистер Кленнэм, я сменился с дежурства и ухожу. Не нужно ли вам чего-нибудь?

— Нет, благодарю вас. Мне ничего не нужно.

— Вы простите, что я отворил дверь, но вы не отвечали на стук.

— А вы стучали?

— Раз пять.

Только теперь Кленнэм заметил, что тюрьма пробудилась от своей полуденной спячки, обитатели ее бродят по двору, уже прикрытому тенью, и время близится к сумеркам. Он просидел в раздумье несколько часов.

— Ваши вещи прибыли,— сказал мистер Чивери.— Мой сын сейчас несет их сюда. Я бы их раньше прислал, да ему непременно хотелось принести самому. Прямо-таки приспичило принести самому, а то бы я их прислал раньше. Мистер Кленнэм, вы позволите сказать вам одно словечко?

— Прошу вас, войдите,— сказал Кленнэм, так как бо́льшая часть головы мистера Чивери все еще оставалась за дверью и вместо глаз на Артура смотрело одно ухо. Такова была деликатность мистера Чивери, человека истинно вежливого от природы, даром что в наружности его не было решительно ничего, что позволило бы принять этого тюремного сторожа за джентльмена.

— Благодарю вас, сэр,— сказал мистер Чивери, не трогаясь с места,— оно, пожалуй, и ни к чему. Мистер Кленнэм, вы уж сделайте милость, не обращайте внимания на моего сына, если он вдруг отмочит вам чего-нибудь. У моего сына есть сердце, мистер Кленнэм, и оно там, где ему положено быть. Мы с матерью знаем, где у него сердце, и никаких у нас на этот счет сомнений нет.

Окончив эту загадочную тираду, мистер Чивери убрал свое ухо и затворил дверь. Не прошло и десяти минут, как на смену явился его сын.

— Вот ваш чемодан,— сказал он Артуру, осторожно опуская на пол свою ношу.

— Вы очень любезны. Мне, право, совестно вас затруднять.

Последние слова уже не застали Юного Джона в комнате; но вскоре он воротился с новой ношей, которую точно так же опустил на пол, точно так же сказав при этом:

— Вот ваш черный баул.

— Я крайне признателен за вашу заботу. Теперь, надеюсь, мы можем пожать друг другу руку, мистер Джон?

Но Юный Джон попятился от него, заключив запястье правой руки в тиски, образованные большим и средним пальцами левой, и сказал, как давеча:

— Не знаю, смогу ли я. Нет, я не могу! — И устремил на узника суровый взор, хотя в уголках его глаз дрожало нечто, весьма похожее на жалость.

— Почему вы на меня сердитесь,— спросил Кленнэм,— и в то же время проявляете столько заботы? Тут, верно, кроется какое-то недоразумение. Может быть, я нечаянно обидел вас? От души сожалею, если так.

— Никакого недоразумения, сэр,— возразил Джон, поворачивая правую руку в тисках, очевидно слишком крепко ее зажимавших.— Никакого недоразумения, сэр, насчет чувств, с которыми я на вас смотрю в настоящую минуту! Если б мы с вами были в одном весе, мистер Кленнэм (а это не так), и если бы вы не были подавлены обстоятельствами (а это так), и если бы тюремные правила разрешали подобные вещи (а это не так), я бы тут же, на месте, схватился с вами в рукопашную, сэр, и это как нельзя лучше отвечало бы моим чувствам.

Артур посмотрел на него с удивлением и отчасти даже с досадой.

— Конечно, недоразумение,— пробормотал он.— Ничего другого и быть не может.— И, отвернувшись с тяжелым вздохом, он снова опустился в облезлое кресло.

Юный Джон, не спускавший с него глаз, с минуту помялся, потом воскликнул:

— Простите меня, сэр!

— От всей души прощаю,— сказал Артур, махнув рукой и не поднимая головы.— Не стоит больше и говорить об этом.

— Эта мебель,— сказал Юный Джон кротким пояснительным тоном,— принадлежит мне. Я ее даю в пользование тем, кто поселяется в этой комнате, если у них нет своей. Не бог весть что за мебель, но она к вашим услугам. Без всякой платы, разумеется. Я бы никогда не предложил ее вам на других условиях. Пользуйтесь, и все тут.

Артур, подняв голову, поблагодарил его и сказал, что не может принять такого одолжения. Джон снова повернул руку в тисках, как видно разрываясь между какими-то противоречивыми чувствами.

— Что же все-таки мешает нам быть друзьями? — спросил Артур.

— Я отказываюсь отвечать на этот вопрос, сэр,— с неожиданной резкостью возразил Юный Джон, повышая голос.— Ничто не мешает.

Некоторое время Артур смотрел на него, теряясь в догадках. Потом снова опустил голову. И тотчас же Юный Джон заговорил опять, тихо и мягко:

— Круглый столик, что стоит возле вас, сэр, принадлежал — вы знаете кому — можно не называть — он умер важным господином. Я купил этот столик у человека, который жил тут после него и которому он его подарил, уезжая. Но этому человеку далеко было до него. Да и мало есть людей, которых можно бы поставить на одну с ним доску.

Артур пододвинул столик поближе и оперся на него рукой.

— Вы, может быть, не знаете, сэр,— продолжал Юный Джон,— что я имел дерзость явиться к нему с визитом, когда он последний раз приезжал в Лондон. Собственно, это он счел мой визит дерзостью, но тем не менее был так добр, что предложил мне сесть и спросил, как поживает отец и все старые друзья — то есть не друзья, а давнишние скромные знакомые. Мне показалось, что он очень изменился, я так и сказал тут всем, воротившись от него. Я спросил, здорова ли мисс Эми...

— А она была здорова?

— Не вам бы и не меня спрашивать об этом,— сказал Юный Джон с таким выражением лица, словно он только что проглотил гигантскую невидимую пилюлю.— Но раз уж вы спросили, сожалею, что не могу вам ответить. По правде сказать, мой вопрос показался ему чересчур навязчивым, и он сказал, что мне дела нет до здоровья мисс Эми. Я и раньше подозревал, что с моей стороны было дерзостью явиться к нему, а тут окончательно в этом убедился. Но потом он был со мной очень любезен — очень любезен.

Последовала пауза, длившаяся несколько минут, и только однажды прерванная бормотаньем Юного Джона: «Очень любезен, и на словах и на деле».

И опять-таки Юный Джон положил паузе конец, заметив Кленнэму:

— Если это не покажется дерзостью, сэр, позвольте спросить, долго ли вы намерены обходиться без еды и питья?

— Мне что-то ни есть, ни пить не хочется,— сказал Кленнэм.— У меня нет никакого аппетита.

— Тем важней для вас подкрепить свои силы, сэр,— настаивал Юный Джон.— Нельзя же из-за отсутствия аппетита целый день просидеть в кресле, не проглотив ни кусочка. Напротив, если аппетита нет, значит нужно есть без аппетита. Я сейчас иду домой пить чай. Если это не покажется дерзостью, позвольте предложить вам выпить со мною чашечку. А не хотите идти ко мне, могу сюда принести.

Видя, что отказ не поможет, так как в этом случае Юный Джон приведет в исполнение свои последние слова, и, с другой стороны, стремясь показать, что просьба Чивери-отца и извинения Чивери-сына не остались без внимания, Артур встал и выразил готовность идти к мистеру Джону пить чай. Юный Джон пропустил его вперед, запер дверь, весьма ловко сунул ключ к нему в карман и повел его в свою резиденцию.

Это была небольшая комнатка под самой крышей крайнего от ворот дома. Это была та самая комнатка, где Артур в день отъезда внезапно разбогатевшего семейства из Маршалси нашел на полу бесчувственную Крошку Доррит. Он сразу догадался об этом, как только они стали подниматься по лестнице. Комната, заново выкрашенная, оклеенная обоями и прилично обставленная, выглядела теперь по-другому; но он помнил ее такой, какой она мелькнула перед ним в тот миг, когда он подхватил хрупкую фигурку на руки, чтобы снести в карету.

Юный Джон, кусая пальцы, смотрел на него испытующе.

— Вы, я вижу, узнали эту комнату, мистер Кленнэм?

— Еще бы не узнать, храни господь ту, что жила здесь!

Позабыв про чай, Юный Джон кусал пальцы и не сводил с гостя глаз, покуда тот обводил глазами комнату.

Потом, спохватившись, подскочил к чайнику, высыпал в него с маху полбанки чаю и помчался на общую кухню за кипятком.

Так много чувств всколыхнула эта комната в Кленнэме, сейчас, когда изменившиеся обстоятельства вновь привели его под унылый тюремный кров, так живо напомнила об его утраченном маленьком друге, что нелегко было бы ему бороться с этими чувствами, даже зная, что он не один. Но он был один, и потому не боролся. Он дотронулся до холодной стены с такой нежностью, словно это была сама Крошка Доррит, и вполголоса произнес ее имя. Он подошел к окошку, взглянул поверх тюремной стены, увенчанной железными остриями, и мысленно послал благословение в подернутую дымкой даль — там где-то, богатая и счастливая, жила теперь его Крошка Доррит.

Юный Джон вернулся не сразу; он, должно быть, выходил из тюрьмы, судя по тому, что в руках у него было завернутое в капустный лист масло, несколько ломтиков ветчины в такой же упаковке и корзиночка с кресс-салатом. Все это он заботливо расположил на столе, после чего они сели пить чай.

Кленнэм попытался оказать честь гостеприимству хозяина, но безуспешно. От ветчины его мутило, хлеб не разжевывался. Он с трудом заставил себя проглотить чашку чаю.

— Немножко зелени,— сказал Юный Джон, протягивая ему корзиночку.

Кленнэм взял стебелек кресс-салата и сделал еще попытку; но хлеб и вовсе камнем застрял во рту, а от ветчины (хоть и очень недурной) пошел, казалось ему, ветчинный дух по всей тюрьме.

— Еще немножко зелени,— сказал Юный Джон и снова протянул корзиночку.

Легко было догадаться, что он нарочно принес эту зелень, как глоток свежего воздуха узнику, запертому среди раскаленного кирпича и камня — так птице, тоскующей в неволе, просовывают меж прутьев клетки веточку или травинку; и Кленнэм, поняв это, с улыбкой сказал:

— Вы очень добры, что хотите подбодрить птицу в клетке, но сегодня мне даже не до зелени.

Болезнь оказалась прилипчивой: вскоре и Юный Джон отодвинул свою тарелку и стал вертеть в руках капустный

лист, в который прежде была завернута ветчина. Сложив его в несколько раз, так что получился комочек, умещавшийся на руке, он принялся сплющивать его между ладонями, все время следя глазами за Кленнэмом.

— Знаете что,— выговорил он наконец, сдавив зеленый комочек изо всех сил,— если уж вы не хотите беречь себя ради себя, поберегли бы хоть ради кого-то другого.

— А мне, право, не для кого себя беречь,— отвечал Артур, вздохнув и печально улыбаясь.

— Мистер Кленнэм,— горячо возразил Юный Джон,— меня удивляет, что джентльмен, способный быть честным и прямым, как, я знаю, способны вы, способен на такие неискренние слова, какие я сейчас от вас услышал. Мистер Кленнэм, меня удивляет, что джентльмен, способный чувствовать сам, способен так бессердечно относиться к чужим чувствам. Я этого не ожидал, сэр! Клянусь честью, я этого не ожидал!

Юный Джон даже встал, чтобы придать своим последним словам больше выразительности, но тут же сел снова и принялся катать капустный комочек на правом колене, с упреком и негодованием глядя на Кленнэма.

— Я себя превозмог, сэр,— сказал Джон.— Я сумел подавить в себе то, что следовало подавить, и я дал себе слово больше не думать об этом. И надеюсь, я бы сдержал свое слово, если бы в недобрый для меня час вас сюда в тюрьму не привезли бы сегодня. (В своем волнении Юный Джон заимствовал от матери ее своеобразный строй речи.) Когда вы сегодня передо мной в караульне явились, сэр, не как простой арестант, но, скорей, как ядовитый анчар, лишенный свободы, такая буря чувств поднялась во мне, всё сокрушая, что меня словно подхватил водоворот. Но я выбрался из него. Я боролся и выбрался. Из последних сил борясь, выбрался я, что под страхом смерти подтвердить готов. Я сказал себе: если я был груб, я должен просить прощения, и прощения я просил, не боясь унизить себя. А теперь, когда я хотел дать вам понять, что есть нечто, почти священное для меня, перед чем должно отступить все другое, когда я деликатно и осторожно намекнул вам на это — вы вдруг изворачиваетесь и наносите мне предательский удар в спину! Не вздумайте отпираться, сэр,— сказал Юный Джон,— имейте мужество признать, что вы действи-



тельно извернулись и действительно нанесли мне удар в спину.

Вконец растерявшийся Артур остолбенело уставился на него и повторил: «Что с вами, Джон? О чем это вы говорите?» Но Джон был в таком состоянии, в котором для людей известного склада нет ничего трудней, чем прямо ответить на вопрос, и, не слушая, твердил свое.

— Никогда,— говорил Джон,— нет, никогда я не питал и не посмел бы питать хоть малейшую надежду. Ни разу, нет, ни разу,— зачем бы мне говорить «ни разу», если б это было хоть раз,— я не помыслил о возможности такого счастья, зная после нашего разговора, что оно невозможно, даже если бы не возникла между нами непреодолимая преграда! Но значит ли это, что у меня не должно быть воспоминаний, не должно быть мыслей, не должно быть заветных уголков в душе и ничего вообще?

— Ради бога, о чем это вы? — вскричал Артур.

— Да, вы можете сколько угодно топтать мои чувства,— несся Юный Джон вскачь, закусив удила,— если у вас хватит духу на подобную низость. Можете топтать их, но они есть и будут. Если бы их не было, разве вы могли бы топтать их? И все-таки нечестно, неблагородно, недостойно джентльмена наносить человеку удар в спину, когда он так стойко боролся и выбрался, наконец, из самого себя, точно бабочка из куколки! Пусть свет потешается над тюремным сторожем, но тюремный сторож тоже мужчина — если только он не женщина, как в специальной женской тюрьме.

Как ни нелепа была эта сбивчивая речь, в ней звучала искренность, свойственная бесхитростной, мягкой натуре Юного Джона, а его горящее лицо и срывающийся от волнения голос говорили о такой глубокой обиде, что трудно было остаться к ней равнодушным. Артур перебрал в уме весь их разговор, пытаясь доискаться до причин этой обиды; а тем временем Юный Джон, скатав свой капустный комок в тугой валик, аккуратно разрезал его на три части, и положил на тарелку, словно какой-то особый деликатес.

— Не может ли быть,— сказал Артур, дойдя в уме до корзинки с кресс-салатом и вернувшись обратно,— что ваши речи имели какое-то отношение к мисс Доррит?

— Может быть, сэр,— отвечал Юный Джон.

— Тогда я и вовсе ничего не понимаю. Надеюсь, вы не усмотрите в моих словах нового оскорбления, ибо меньше всего я хочу или когда-нибудь хотел оскорбить вас, но, право же, я ничего не понимаю.

— Сэр,— сказал Юный Джон,— неужто у вас достанет коварства утверждать, будто вам неизвестны мои чувства к мисс Доррит, которые я не осмелюсь назвать любовью, ибо правильней будет сказать, что я боготворю ее и преклоняюсь перед нею.

— Право, Джон, мне вообще несвойственно коварство, и я ума не приложу, отчего вам вздумалось обвинять меня в этом. Рассказывала вам ваша матушка, миссис Чивери, о том, что я однажды приходил к ней?

— Нет, сэр,— сухо ответил Джон.— Первый раз слышу.

— А я приходил. Не догадываетесь, зачем?

— Нет, сэр,— сухо ответил Джон.— Не догадываюсь.

— Так я вам скажу. Моей заботой было устроить счастье мисс Доррит; и если б я мог предположить, что она разделяет ваши чувства...

Бедняга Джон покраснел до самых кончиков ушей.

— Мисс Доррит никогда их не разделяла, сэр. Я маленький человек, но я дорожу своей совестью и честью и презирал бы себя, если бы хоть на миг покривил душой на этот счет. Она никогда не разделяла моих чувств и не поощряла их, да никто в здравом уме и не вообразил бы, что это возможно. Она всегда и во всем была во много раз выше меня. Как и все ее благородное семейство,— добавил Юный Джон.

Это рыцарское отношение не только к ней, но и к ее близким, настолько возвышало его, несмотря на малый рост, тоненькие ножки, редкие волосы и чувствительную натуру, что никакой Голиаф на его месте не заслужил бы у Артура большего уважения.

— Джон,— сказал он в порыве искреннего чувства,— вы говорите как мужчина!

— В таком случае, сэр,— возразил Джон, проведя рукой по глазам,— не мешало бы вам взять с меня пример.

Неожиданная запальчивость этого ответа заставила Артура снова удивленно уставиться на своего собеседника.

— Ладно,— сказал Джон, протягивая ему руку через

чайный поднос,— если мои слова слишком резки, беру их назад! Но в самом деле, мистер Кленнэм, отчего вы не хотите говорить со мной как мужчина с мужчиной, пусть хоть и с тюремным сторожем? Зачем вы притворяетесь, будто не понимаете, когда я советую вам поберечь себя ради кого-то другого? Как вы думаете, почему я устроил вас в комнате, где, на мой взгляд, вам должно быть приятнее и лучше? Почему я сам нес ваши вещи? (Не в тяжести дело, об этом я бы и говорить не стал!) Почему я весь день хлопочу для вас? Из-за ваших достоинств? Нет. Ваши достоинства велики, нет сомнения; но не из-за них я старался. Я делал это ради другого лица, чьи достоинства значат для меня не в пример больше. Так отчего же не говорить откровенно?

— Честное слово, Джон,— сказал Кленнэм,— вы славный малый, и я вас от души уважаю, а потому, если я не сообразил сам, что обязан вашим вниманием и заботам тем дружеским чувствам, которые когда-то ко мне питала мисс Доррит,— каюсь и прошу у вас прощения.

— Но отчего же, отчего,— воскликнул Джон с прежним укором,— отчего не говорить откровенно?

— Вы все не верите, что я не понимаю вас,— сказал Артур.— Но взгляните на меня. Подумайте о том, что со мной случилось. Стану ли я отягощать свою и без того истерзанную совесть неблагодарностью и предательством по отношению к вам? Я просто не понимаю вас!

Недоверие, написанное на лице Юного Джона, понемногу уступило место сомнению. Он встал, отошел к низкому чердачному окну, сделал Артуру знак подойти и внимательно всмотрелся в него.

— Мистер Кленнэм, неужели вы в самом деле не знаете?

— Чего, Джон?

— Боже милосердный! — воскликнул Джон, взывая к железным остриям на стене.— Он спрашивает, чего!

Кленнэм посмотрел на острия, потом на Джона; потом снова на острия и снова на Джона.

— Он спрашивает, чего! И что еще удивительнее,— произнес Юный Джон, не спуская с него горестно-недоуменного взгляда,— он, кажется, в самом деле не знает! Вы видите это окошко, сэр?

— Разумеется, вижу.

— И комнату видите?

— Разумеется, вижу и комнату.

— И стену напротив и двор внизу? Так вот, сэр, все они были свидетелями того — изо дня в день, из ночи в ночь, неделя за неделей, месяц за месяцем. Мне ли не знать, если я и сам столько раз видел мисс Доррит здесь, у окошка, когда она не подозревала, что я на нее смотрю.

— Свидетелями чего? — спросил Кленнэм.

— Любви мисс Доррит.

— Так она любила — но кого же?

— Вас! — сказал Джон, коснувшись пальцами его груди; потом отступил, бледный, на прежнее место, сел и уронил руки на подлокотники кресла, глядя на Кленнэма и качая головой.

Если бы вместо этого легкого прикосновения он нанес Кленнэму тяжелый удар кулаком, эффект не мог быть сильнее. Кленнэм словно окаменел от изумления; глаза, устремленные на Джона, были широко раскрыты; губы беззвучно шевелились, будто силясь сложиться в слово «меня?»; руки повисли вдоль тела; он был похож на человека, которого вдруг разбудили среди ночи и сообщили ему известие, не умещающееся у него в мозгу.

— Меня! — выговорил он наконец.

— Ах! — простонал Юный Джон.— Вас!

Артур, сделав над собой усилие, попытался улыбнуться и сказал:

— Вы заблуждаетесь. Это только ваше воображение.

— Я заблуждаюсь, сэр? — воскликнул Юный Джон.— Я заблуждаюсь? *Я?* Нет, нет, мистер Кленнэм, не говорите так! Насчет чего-либо другого я бы мог заблуждаться — я хорошо знаю свои недостатки и не претендую на особую проницательность. Но *мне* заблуждаться насчет того, что ожгло мое сердце более острой болью, чем если бы в него вонзилась целая туча дикарских стрел! *Мне* заблуждаться насчет того, что едва не свело меня в могилу — чему я был бы только рад, если бы от этого не пострадала табачная торговля и чувства моих родителей! *Мне* заблуждаться насчет того, что даже сейчас вынуждает меня достать платок из кармана, ибо я вот-вот расплачусь, как девушка,— не знаю, впрочем, почему сравнение с девушкой должно быть

обидно, ведь всякий нормальный мужчина любит девушек. Не говорите же так, мистер Кленнэм, не говорите так!

И Юный Джон, как всегда благородный в душе, хотя и нелепый с виду, вынул свой носовой платок с той простодушной непосредственностью, с которой только очень хороший человек умеет вытирать слезы, не пряча их, но и не выставляя напоказ. Осушив глаза, он позволил себе невинную роскошь раз всхлипнуть и раз высморкаться, после чего снова убрал платок в карман.

Все еще оглушенный прикосновением, подействовавшим как удар, Артур с большим трудом подобрал слова для заключения разговора. Он заверил Джона Чивери, как только тот спрятал свой платок, что высоко ценит его бескорыстие и его неиссякаемую преданность мисс Доррит. Что же до той догадки, которой он только что поделился с ним, с Кленнэмом (тут Юный Джон успел вставить: «Не догадка! Уверенность!») — то об этом можно будет еще поговорить, но в другой раз. Он устал, и у него тяжело на душе; с позволения Джона, он хотел бы вернуться к себе и больше уже не выходить сегодня. Джон кивнул, и под сенью тюремной стены Артур Кленнэм пробрался в свое новое обиталище.

Ощущение полученного удара не проходило, и после ухода неряшливой старухи, дожидавшейся, сидя на лестнице у дверей, чтобы приготовить ему постель на ночь — по распоряжению мистера Чивери, «не старика, а молоденького», как она объяснила, исполняя эту нехитрую обязанность,— он опустился в облезлое кресло и обеими руками стиснул голову, точно от боли. Крошка Доррит любит его! Эта мысль повергла его в большее смятение, чем недавний поворот судьбы — куда большее!

Не может быть. Он звал ее «дитя мое», «милое дитя мое», располагал ее к доверию, постоянно указывая на разницу их лет, говорил о себе чуть ли не как о старике. Но ей он, быть может, не казался старым? Ведь он и себе таким не казался до того вечера, когда розы уплыли по реке вдаль.

Среди прочих бумаг у него были два ее письма. Он достал их и перечел. Читая, он как будто слышал ее милый голос; и в звуке этого голоса ему чудились нежные нотки, которые теперь казалось возможным истолковать по-иному.

А ее «Нет, нет, нет!» с таким тихим отчаянием прозвучавшее в этой самой комнате, в тот вечер, когда Панкс впервые намекнул ему на возможность перемены в судьбе семьи, и когда сказано было немало слов, которые ему суждено было припомнить теперь, в унижении и неволе!

Не может быть.

Но странно, чем больше он думал об этом, тем менее убедительными казались ему его сомнения. Зато возникал другой вопрос, требовавший ответа, уже не о ней, а о нем самом. В том, как он противился мысли, что она любит кого-то, в желании это проверить, в смутном представлении о благородстве, какое он выкажет, помогая ее любви — не было ли во всем этом отзвуков чувства, подавленного прежде, чем оно успело окрепнуть? Не говорил ли он себе, что не должен думать о ее любви, не должен злоупотреблять ее благодарностью, не должен забывать печальный урок, однажды уже преподанный ему жизнью; что пора надежд миновала для него с безвозвратностью смерти и что не ему, обремененному печалями и годами, думать о радостях любви.

Он поцеловал ее, держа, бесчувственную, на руках, в тот день, когда о ней так естественно и так знаменательно забыли. Был ли это такой же поцелуй, как если б она была в сознании? Совсем такой же?

Вечер застал его за этими мыслями. Вечер также застал у его дверей мистера и миссис Плорниш, нагруженных отборнейшими припасами из числа тех, что так быстро находили сбыт и так медленно давали прибыль. Миссис Плорниш то и дело утирала слезы. Мистер Плорниш со свойственной ему философичностью, более глубокой, нежели вразумительной, дружелюбно бубнил, что на свете вообще всякое бывает, сегодня ты на горке, а завтра, глядишь, под горкой, а почему на горке, почему под горкой, об этом и гадать не стоит; так уж оно ведется, и все тут. Слыхал он, между прочим, будто раз земля вертится — а что она вертится, так это точно,— стало быть, всякий, даже самый достойный джентльмен когда-то окажется на ней вниз головой, так что волосы у него будут трепаться в так называемом пространстве. Что ж, тем лучше. Другого тут ничего не скажешь; тем лучше. Земля-то ведь и дальше будет вертеться, так? А стало быть, и джентльмен

со временем повернется как следует, и волосы его лягут опять один к одному, любо-дорого взглянуть — вот и выходит, что тем лучше.

Как уже было упомянуто, миссис Плорниш, не будучи склонна к философии, плакала. Кроме того, миссис Плорниш, не будучи склонна к философии, изъяснялась вполне отчетливо. Потому ли, что она пребывала в большом расстройстве, или по безошибочному чутью, свойственному ее полу, или по женской последовательности в мыслях, или по женской непоследовательности в мыслях, но вышло так, что в дальнейшем миссис Плорниш вполне отчетливо навела разговор на предмет, занимавший мысли Артура.

— Если бы вы знали, мистер Кленнэм, как сокрушается о вас отец,— сказала миссис Плорниш.— Просто места себе не находит. У него даже голос пропал от огорчения. Вы ведь знаете, как чудесно он поет; а нынче вечером, после чаю, верите ли, ни одной нотки не мог взять, сколько дети ни просили.

Разговаривая, миссис Плорниш качала головой, утирала слезы и задумчиво оглядывала комнату.

— А уж с мистером Баптистом что будет, когда он узнает,— продолжала миссис Плорниш,— этого я даже и вообразить не могу. Он давно бы уже прибежал сюда, можете не сомневаться, да его нет с утра, все хлопочет насчет того дела, которое вы ему поручили. До того он ретиво взялся за это дело, ни отдыха, ни срока не знает — я даже говорю ему: ваша клопот дивила падрона,— закончила миссис Плорниш по-итальянски.

При всей своей скромности миссис Плорниш явно была удовлетворена изяществом этого тосканского оборота. Мистеру Плорнишу лингвистические познания жены внушали гордость, которую он не пытался скрыть.

— И все-таки скажу вам, мистер Кленнэм,— добавила эта добрая женщина,— во всяком несчастье есть свое счастье. Я думаю, вы согласитесь со мной. Помня, где мы с вами находимся, нетрудно догадаться, о чем я говорю. Счастье, что мисс Доррит далеко и ничего не знает.

Артуру показалось, что она как-то по-особенному взглянула на него.

— Большое счастье,— повторила миссис Плорниш,— что мисс Доррит далеко. Будем надеяться, что дурные ве-

сти до нее не дойдут. Если бы она была здесь и видела вас в беде, сэр,— эти слова миссис Плорниш повторила дважды,— видела вас в беде, сэр, ее нежное сердечко этого бы не вынесло. Ничто на свете не могло бы причинить мисс Доррит большего горя!

Да, да, без всякого сомнения, в многозначительном взгляде миссис Плорниш было не только дружеское участие, но и еще что-то.

— И вот вам доказательство, как отец верно судит обо всем, несмотря на свои годы,— продолжала миссис Плорниш.— Нынче после обеда он мне говорит («Счастливый Уголок» свидетель, что я ничего не прибавляю и ничего не выдумываю): «Мэри,— говорит он мне,— как хорошо, что мисс Доррит этого всего не видит». Так и сказал, этими самыми словами. «Хорошо,— говорит,— Мэри, что мисс Доррит этого всего не видит». А я ему ответила: «Ваша правда, отец». Вот,— заключила миссис Плорниш с торжественностью свидетеля, дающего показания в суде,— вот что говорил он и что говорила я. Другого ничего ни он, ни я не говорили.

Мистер Плорниш, не столь многословный от природы, воспользовался случаем заметить, что мистер Кленнэм, верно, не прочь бы остаться один. «Ты уж мне поверь, старушка,— сказал он с важностью,— я-то знаю, как оно бывает». Последнее замечание он повторил несколько раз, словно в нем был заключен какой-то глубокий нравоучительный смысл, и, наконец, достойная чета рука об руку удалилась.

Крошка Доррит, Крошка Доррит. О чем бы ни думалось, что бы ни вспоминалось. Всюду она, Крошка Доррит!

К счастью, если даже поверить в услышанное, то сейчас это уже давно миновало, и слава богу. Допустим, она любила его, и он бы об этом знал и решился бы ответить на ее любовь — куда же привел бы ее тот путь, на который он мог увлечь ее с собою? Назад, в эту мрачную тюрьму! Радоваться нужно, что она избегла подобной участи; что она вышла или вскоре выходит замуж (неясные слухи о каких-то планах ее отца на этот счет дошли до Подворья Кровоточащего Сердца вместе с известием о замужестве старшей сестры) и что неосуществившиеся возможности прошлого остались по эту сторону тюремных стен.

Милая Крошка Доррит!

Оглядываясь назад, он видел одну точку, в которой сходились все линии его невеселой жизни, и этой точкой была она. Ее невинный образ господствовал над всею перспективой. Он проехал тысячи миль, чтобы достигнуть этой точки; с ее приближением улеглись его былые тревожные сомнения и надежды; в ней сосредоточились все интересы его жизни, к ней тянулось все, что в этой жизни было светлого и радостного, и за нею не оставалось ничего, кроме пустоты и мрака.

Томимый своими мыслями, он провел бессонную ночь, такую же беспокойную, как в тот раз, когда впервые заночевал в этих унылых стенах. А Юный Джон в это время спал мирным сном, предварительно сочинив и начертав (мысленно) на своей подушке следующую надгробную надпись:

Прохожий!
Остановись у могилы

ДЖОНА ЧИВЕРИ-МЛАДШЕГО,

скончавшегося в преклонном возрасте,
называть который нет надобности.
Он встретил соперника, впавшего в несчастье,
и был готов вступить с ним в рукопашный поединок,
но ради той, которую любил,
преодолел свою сердечную обиду и выказал
истинное великодушие.

ГЛАВА XXVIII
Гости в Маршалси

Время шло, но мир, лежавший за стенами Маршалси, по-прежнему оставался враждебным Кленнэму, а в мире, замкнутом внутри этих стен, он себе друзей не завел. Слишком подавленный всем случившимся, чтобы вместе с другими слоняться по двору, заглушая свои горести праздной болтовней, слишком углубленный в себя и свои стра-

дания, чтобы принимать участие в убогих развлечениях Клуба, он по целым дням сидел один у себя в комнате, чем заслужил всеобщую неприязнь. Одни называли его гордецом; другие сочли нелюдимым и скучным; третьи презрительно клеймили его за малодушие, за то, что он позволил себе пасть духом из-за долгов. Словом, у каждого нашелся повод осудить его, причем последнее обвинение было наиболее серьезным, так как подразумевало своего рода внутреннюю измену. Такое отношение окружающих еще усилило его тягу к одиночеству; дошло до того, что он даже на прогулку стал выходить, только когда все отправлялись в Клуб скоротать вечер песнями, выпивкой и душевной беседой и по двору бродили только женщины и дети.

Тюремная жизнь не замедлила сказаться на Кленнэме. Он чувствовал, что его затягивает хандра и безделье. Вспоминая тот пример растлевающего действия тюремной атмосферы, который ему пришлось наблюдать в этой самой комнате, он стал бояться самого себя. Сторонясь других людей, избегая заглядывать в собственную душу, он заметно переменился. Тень тюремной стены уже лежала на всем его существе.

Однажды, на третий или четвертый месяц своего заключения, он сидел и читал, понапрасну стараясь оградить от этой зловещей тени вымышленных сочинителем людей,— как вдруг чьи-то шаги послышались на лестнице и чья-то рука постучала к нему в дверь. Он встал отворить и услышал чей-то приятный голос, говоривший: «Здравствуйте, мистер Кленнэм. Надеюсь, я вам не помешал?»

Это был жизнерадостный молодой Полип, Фердинанд. Веселый, добродушный, он казался воплощением свободы и бодрости на фоне хмурого убожества тюрьмы.

— Вы не ожидали меня увидеть, мистер Кленнэм? — спросил он, садясь в предложенное ему кресло.

— Да, признаюсь, это для меня неожиданность.

— Но не слишком неприятная?

— Что вы, напротив.

— Благодарю за любезность,— сказал привлекательный молодой Полип.— Я был чрезвычайно огорчен, узнав, что вам пришлось временно удалиться от света. Надеюсь, кстати (только это сугубо конфиденциально), мы тут ни при чем?

— Вы хотите сказать — ваше министерство?

— Ну да, Министерство Волокиты.

— У меня нет оснований приписывать свои невзгоды этому замечательному учреждению.

— Честное слово,— воскликнул бойкий молодой Полип,— я весьма рад это слышать. Ваши слова сняли у меня тяжесть с души. Мне было бы в высшей степени неприятно, если бы мы оказались причастны к вашим затруднениям.

Кленнэм снова заверил его, что в данном случае не имеет никаких претензий к Министерству Волокиты.

— Тем лучше,— сказал Фердинанд.— Вы меня очень утешили. А то, между нами говоря, я опасался, что это именно мы упекли вас за решетку. К сожалению, нам иногда приходится прибегать к таким мерам. Мы совсем к этому не стремимся — но если люди сами напрашиваются, что ж тут поделаешь?

— Не могу сказать, что я полностью разделяю ваш взгляд,— сумрачно заметил Артур,— но, во всяком случае, весьма признателен вам за участие.

— Нет, в самом деле! — продолжал общительный молодой Полип.— Мы же, в сущности говоря, безобиднейшее заведение на свете. Вы скажете, что мы занимаемся шарлатанством. Не спорю. Но шарлатанство тоже нужно, согласитесь, что без него не обойдешься.

— Не соглашусь,— отвечал Кленнэм.

— Это оттого, что у вас неверная точка зрения. Все зависит от того, с какой точки зрения смотреть. Взгляните на нас с точки зрения наших интересов, которые заключаются в том, чтобы нам не докучали,— и вы сразу увидите, что лучшего учреждения не найти.

— Что же, вы на то и существуете, чтобы вам не докучали?

— Совершенно верно,— сказал Фердинанд.— На то и существуем, чтобы нам не докучали и чтобы все оставалось как оно есть. В этом наше назначение. Разумеется, принято считать, будто наша цель совсем в другом, но это для проформы. Господи боже мой, да у нас все только для проформы. Возьмите хоть себя: через что только вас не заставили пройти для проформы! А далеко ли вы продвинулись в своем деле?

— Ни на шаг,— сказал Кленнэм.

— А взгляните с правильной точки зрения, и вы увидите официальных лиц, добросовестно исполняющих свои официальные обязанности. Это вроде игры в крикет на ограниченной площадке. Игроки посылают мячи государству, а мы их перехватываем на лету.

Кленнэм спросил, чем же кончают игроки? Легкомысленный молодой Полип отвечал, что по-разному: кто устанет, кому наскучит, кто сломает ноги или спину, кого унесут замертво, кто просто выйдет из игры, а кто займется другим видом спорта.

— Вот отчего, повторяю, я искренне рад,— продолжал он,— что не нам вы обязаны своим временным удалением от света. Могло ведь быть и так, очень легко могло быть; нельзя отрицать, что мы подчас довольно круто обходимся с теми, кто нам докучает. Я ведь с вами начистоту говорю, мистер Кленнэм. Я уверен, что с вами можно так говорить. Я был откровенен с вами с самого начала, как только почувствовал в вас пагубное намерение докучать нам долго и упорно — потому что я сразу увидел, что вы человек неопытный и горячий, а к тому же немного — вы не обидитесь, если я вас так назову? — простодушный.

— Называйте, не стесняйтесь.

— Немного простодушный. И мне стало вас жаль, вот почему я и постарался предостеречь вас (неофициально, разумеется, но я никогда не держусь за строгую официальность), намекнув, что на вашем месте я бы отказался от всяких попыток. Но вы отказаться не захотели, и с тех пор много раз возобновляли свои попытки. Так вот, советую вам больше их не возобновлять.

— Едва ли у меня теперь будет возможность возобновить их,— заметил Кленнэм.

— О, на этот счет не беспокойтесь! Вы выйдете отсюда. Отсюда все выходят. Есть тысячи способов выйти отсюда. Но не являйтесь больше к нам. Право же,— продолжал Фердинанд доверительно-ласково,— я буду просто вне себя, если увижу, что весь прошлый опыт не научил вас держаться от нас подальше.

— А как же изобретение? — спросил Кленнэм.

— Голубчик мой,— сказал Фердинанд,— простите за фамильярность, но почему вы не хотите понять, что ни-

кому это изобретение не интересно и всем на него наплевать в высокой степени.

— У вас в министерстве?

— И не только у нас в министерстве. Любое новое изобретение у всех вызывает только досаду и насмешку. Вы не представляете себе, как много людей жаждет лишь одного: чтобы им не докучали. Вы не представляете себе, насколько это свойственно духу нации (не обращайте внимания на парламентский стиль) — желать, чтобы тебе не докучали. Поверьте, мистер Кленнэм,— заключил жизнерадостный молодой Полип самым своим любезным тоном,— наше заведение не злой великан, на которого нужно мчаться с копьем наперевес, но всего только ветряная мельница, перемалывающая огромные кучи мякины, показывая, куда в государстве дует ветер.

— Если бы я мог этому поверить,— сказал Кленнэм,— я бы сказал, что нас всех ожидает мрачная перспектива.

— Что вы, помилуйте,— возразил Фердинанд.— Напротив, все к лучшему. Нам необходимо шарлатанство, мы любим шарлатанство, мы жить не можем без шарлатанства. Немножко шарлатанства и накатанная колея — и все будет идти как нельзя лучше, не нужно только никому докучать.

Высказав эти утешительные мысли — символ веры нового поколения Полипов, исповедуемый под прикрытием самых разнообразных лозунгов, к которым никто из них не относится серьезно,— Фердинанд встал, чтобы откланяться. Трудно было даже вообразить себе более открытую и приятную манеру обхождения, большее уменье с истинно джентльменской чуткостью приноровиться к необычным обстоятельствам визита.

— Не будет ли нескромно с моей стороны спросить,— сказал он, когда Кленнэм пожимал ему руку, искренне благодарный за его доброту и чистосердечие,— верно ли, что в приключившейся с вами неприятности повинен наш дорогой и незабвенный Мердл?

— Верно. Я один из тех, кого он разорил.

— Да, умен был покойник, ничего не скажешь,— заметил Фердинанд Полип.

Артур, не расположенный петь посмертные дифирамбы мистеру Мердлу, промолчал.

— Прохвост первостатейный, разумеется,— продолжал Фердинанд,— но какая голова! Нельзя не отдать ему должное. Вот уж, верно, был мастер по части шарлатанства! А как знал людей — как умел обойти их и добиться своего!

В его голосе слышалось неподдельное восхищение.

— Надеюсь,— сказал Артур,— что печальная участь тех, кто дал себя обойти, многим послужит предостережением на будущее.

— Милейший мистер Кленнэм,— со смехом возразил Фердинанд,— откуда столь радужные надежды? Да первый же не менее талантливый плут добьется того же — была бы охота. Простите меня, но вы, видно, не знаете, что люди, как пчелы на мед, готовы лететь на любой шум, ну хоть если начать бить в ржавую жестянку. На этом основано искусство управления людьми. Нужно только убедить их, что жестянка — не жестянка, а чистое золото; вот в чем секрет могущества таких, как наш дорогой и незабвенный. Бывают, конечно, исключительные случаи,— любезно оговорился Фердинанд,— когда люди поддаются на обман, поверив в благородство обманщика (за примером недалеко ходить); но эти исключения лишь подтверждают правило. До свидания, мистер Кленнэм! Надеюсь, когда я буду иметь удовольствие снова увидеться с вами, тучи уже рассеются и засияет солнышко. Пожалуйста, не провожайте меня. Я отлично знаю дорогу. До свидания!

С этими словами добрейший и умнейший из Полипов спустился вниз, дошел, мурлыча модную арию, до наружного дворика, где была привязана его лошадь, вскочил в седло и поехал натаскивать своего высокопоставленного родича к предстоящему заседанию в парламенте — чтобы он был во всеоружии для отпора тем, кто осмелится вылезть с запросами по поводу государственной деятельности Полипов.

Он, должно быть, едва не столкнулся с мистером Рэггом, ибо не прошло и минуты, как упомянутый джентльмен, наподобие пожилого Феба *, озарил комнату Кленнэма сиянием своей желтой головы.

— Ну, как вы себя нынче чувствуете, сэр? — спросил мистер Рэгг.— Не могу ли я нынче быть вам чем-нибудь полезен, сэр?

— Нет, благодарю вас.

Мистер Рэгг радовался затруднительному положению клиента, как хозяйка радуется обилию овощей, приготовленных для сушки и соления, прачка — куче грязного белья, мусорщик — виду ведра, из которого через край сыплется мусор; словом, как всякий мастер радуется случаю приложить свое уменье к делу.

— Я время от времени захожу сюда, сэр,— весело сказал мистер Рэгг,— узнать, не предъявлены ли еще новые предписания о содержании под арестом. От предписаний отбою нет, сэр,— как и следовало ожидать.

Он говорил так, словно сообщал какую-то весьма приятную новость, радостно потирая руки и покачивая головой.

— Да, как и следовало ожидать,— повторил мистер Рэгг.— Просто валом валят со всех сторон. Я уж к вам не захожу, бывая здесь, знаю, что вы не любите, когда вас беспокоят, а если будет надобность, всегда можете передать через сторожа, чтобы я зашел. Но я наведываюсь чуть не каждый день, сэр. Могу ли высказать вам одно соображение, сэр,— вкрадчиво осведомился мистер Рэгг,— или сейчас это не ко времени?

— Сейчас или в другой раз, не все ли равно для меня?

— Кхм!.. Общественное мнение, сэр,— сказал мистер Рэгг,— продолжает интересоваться вами.

— Не сомневаюсь.

— Не кажется ли вам, сэр,— продолжал мистер Рэгг, еще более вкрадчиво, чем прежде,— не кажется ли вам, что стоило бы уже, наконец, сделать крохотную уступочку общественному мнению. Всем нам приходится идти на такие уступки, сэр. Без этого никак нельзя.

— Мне все равно не оправдаться перед общественным мнением, мистер Рэгг, и я даже не вправе на это рассчитывать когда-нибудь.

— Не скажите, сэр, не скажите. Перевод в тюрьму Кингс-Бенч обойдется в сущие пустяки, и если все считают, что там для вас более подходящее место — почему бы в самом деле...

— Я ведь уже говорил вам, мистер Рэгг, что предпочитаю остаться здесь,— сказал Артур,— и вы как будто сами признали, что это дело вкуса.

— Допустим, сэр, допустим! Но хорош ли ваш вкус, хорош ли ваш вкус? Вот в чем вопрос.— Голос мистера Рэгга зазвучал почти патетически.— Я бы даже спросил, хорошо ли вы поступаете. У вас серьезное дело, сэр, и вам не к лицу сидеть здесь, куда может попасть всякий прощелыга, задолжавший один-два фунта. Совсем не к лицу. Должен вам заметить, сэр, что об этом говорят повсюду. Не далее, как вчера, я слышал такой разговор в одном заведении, где собираются джентльмены юридической профессии — я бы даже сказал, сливки этой профессии, если бы я сам иной раз не заглядывал туда. И должен вам заметить, мне было неприятно слушать этот разговор. Обидно было за вас. А сегодня за завтраком моя дочь (всего лишь женщина, как вы вправе заметить, но обладающая чутьем и даже некоторым личным опытом — я имею в виду дело Рэгг против Боукинса) — так вот моя дочь выразила свое крайнее изумление по этому поводу. Перед лицом таких фактов, не говоря уже о невозможности совершенно пренебрегать общественным мнением, стоило бы, мне кажется, пойти на крохотную уступочку, хотя бы — ладно, сэр, чтобы не вдаваться в рассуждения, скажу так: хотя бы из любезности.

Но мысли Артура уже снова вернулись к Крошке Доррит, и мистер Рэгг так и не дождался ответа.

— Если же говорить обо мне,— снова начал мистер Рэгг, ободренный молчанием Артура, которое он приписал нерешительности, вызванной его, мистера Рэгга, красноречием,— то у меня принцип: никогда не считаться с собой, когда дело касается интересов клиента. Но, зная вас как человека любезного и обязательного, замечу все же, что мне было бы гораздо приятнее видеть вас в тюрьме Кингс-Бенч. Ваше разорение произвело шум; я очень рад, что имею честь состоять вашим поверенным. Но мой авторитет среди коллег и клиентов значительно возрос бы, если бы вы согласились переменить место заключения. Впрочем, прошу вас с этим не считаться, сэр. Я лишь констатирую факт.

Тюремное одиночество уже сделало Кленнэма настолько рассеянным, он уже так привык обращаться в этих унылых стенах к одной лишь безмолвной собеседнице, что ему потребовалось некоторое усилие, чтобы прийти в себя,

вспомнить, о чем идет речь, и ответить: «Нет, нет, мое решение остается прежним. И прошу вас, не будем больше говорить об этом!»

Мистер Рэгг отвечал, не скрывая недовольства и обиды:

— Как вам угодно, сэр. Я понимаю, что вышел из рамок своих профессиональных обязанностей, заведя этот разговор. Но мне слишком часто и от слишком уважаемых людей приходится слышать, что, дескать, добро бы какой-нибудь иностранец, а уж истинный англичанин не должен унижать дух нации, оставаясь в Маршалси, когда вольности, завоеванные его славными предками, позволяют ему беспрепятственно перейти в Кингс-Бенч,— вот я и позволил себе отступить от правил, чтобы обратить ваше внимание на это обстоятельство. Личного мнения,— добавил мистер Рэгг,— у меня по данному вопросу нет.

— Тем лучше,— сказал Артур.

— Решительно никакого, сэр,— продолжал мистер Рэгг.— Если бы у меня было личное мнение, я бы весьма огорчился, увидев, что джентльмен из высшего круга, верхом на лошади, приезжает к моему клиенту в подобное место. Но это не мое дело. Если бы у меня было личное мнение, я был бы рад возможности сообщить другому джентльмену, судя по обличию, военному, дожидающемуся сейчас в караульне, что мой клиент находится здесь лишь временно и уже избрал себе другое пристанище. Но так как я всего лишь машина для дачи деловых советов, меня это, ясно, не касается. Угодно вам принять упомянутого джентльмена, сэр?

— Вы, кажется, сказали, что он дожидается в караульне?

— Я действительно позволил себе такую смелость, сэр. Услышав, что я ваш поверенный, он не захотел мешать исполнению моих более чем скромных обязанностей. К счастью,— добавил мистер Рэгг саркастическим тоном,— я не настолько вышел из рамок, чтобы спрашивать этого джентльмена об его имени.

— Пожалуй, придется принять его,— устало вздохнул Кленнэм.

— Стало быть, вам угодно, сэр? — подхватил Рэгг.— Прикажете передать ему об этом, когда я буду проходить



через караульню? Да? Благодарю за честь. Мое почтение, сэр.

И он вышел из комнаты с глубоко оскорбленным видом.

Сообщение о джентльмене с обличием военного едва задело сознание Артура, всегда теперь словно окутанное какой-то темной пеленой, и он уже успел почти позабыть о нем, как вдруг чьи-то шаги по лестнице вернули его к действительности. Шаги были не слишком торопливы, но в них чувствовалось нахальное стремление произвести как можно больше шума и грохота. Когда эти шаги на мгновение задержались у двери, Кленнэму вдруг смутно почудилось в них что-то знакомое, но что именно, он не мог сообразить. Впрочем, соображать было некогда. Дверь тотчас же распахнулась от удара ногой — и он увидел перед собой пропавшего Бландуа, причину стольких волнений.

— Salve [1], приятель арестант! — сказал неожиданный посетитель.— Вот и я! Говорят, вы желали меня видеть.

Прежде чем Артур успел дать волю своему изумлению и негодованию, в дверях показался Кавалетто, а за ним — Панкс. Ни тот, ни другой ни разу еще не навещали Кленнэма в его заключении. Мистер Панкс, отдуваясь, пробрался к окошку, поставил свою шляпу на пол и тотчас же запустил все десять пальцев в волосы; после чего сложил руки на груди, как человек, собравшийся, наконец, отдохнуть после тяжких дневных трудов. Мистер Баптист, не спуская глаз с бывшего товарища по заключению, внушавшего ему такой страх, уселся на полу, прислонясь спиной к двери и обхватив щиколотки руками, в той самой позе (только сейчас она была более настороженной), в какой он сидел перед этим самым человеком однажды жарким летним утром в еще более мрачной марсельской тюрьме.

— По словам этих двух полоумных,— сказал мсье Бландуа, он же Ланье, он же Риго,— я вам зачем-то понадобился. К вашим услугам, братец-арестант!

Презрительно глянув на кровать, откинутую на день к стене, он небрежно привалился к ней, не сняв даже шляпы и вызывающе засунув руки в карманы.

— Исчадие ада! — воскликнул Артур.— Вы намеренно навлекли страшные подозрения на дом моей матери. Зачем

---

[1] Привет *(лат.)*.

вы это сделали? Что привело вас к этой чудовищной мысли?

Мсье Риго сдвинул было брови, но тотчас же рассмеялся.

— Послушайте-ка этого благородного джентльмена! Эту воплощенную добродетель! А не слишком ли вы распетушились, милейший? Смотрите, не пришлось бы потом пожалеть об этом. Вот именно, черт побери! Не пришлось бы пожалеть!

— Синьор! — вмешался Кавалетто, также обращаясь к Артуру.— Выслушайте сперва меня. Ведь вы поручили мне разыскать его, Риго — правда?

— Правда, правда.

— Ну вот, следова́тельно (миссис Плорниш была бы, очень озадачена, если бы удалось убедить ее, что за исключением отдельных неправильных ударений, речь мистера Баптиста почти не отличалась теперь от речи англичанина),— следова́тельно, я сперва отправляюсь к своим соотечественникам. Стараюсь разузнать что можно об иностранцах, появившихся за последнее время в Лондра. Потом иду к французам. Потом к немцам. Каждый мне говорит, что знает. Мы ведь почти все знакомы между собой, и каждый говорит мне, что знает. Но! — никто ничего не может сказать мне о нем, о Риго. Раз пятнадцать,— Кавалетто выбросил вперед левую руку, растопырив на ней пальцы, и трижды повторил этот жест с быстротой, от которой мелькало в глазах,— я спрашиваю о нем в местах, где бывают иностранцы, и раз пятнадцать (та же игра) не получаю никакого ответа. Но!

С этим «но!», за которым последовала характерная для итальянца неожиданная пауза, он отвел назад указательный палец правой руки и чуть-чуть помахал им.

— Но! Когда я уже совсем думал, что не найду его в Лондра, мне вдруг говорят про какого-то военного с седой головой — ага! не с такой, как у него сейчас, а с седой,— который живет уединенно, в маленьком домике. Но! — снова пауза.— Иногда выходит после обеда покурить и поразмяться. Главное — иметь терпение, как говорят итальянцы (они, бедняги, это по себе знают). Я имею терпение. Я спрашиваю, где этот маленький домик. Одни говорят — там, другие говорят — здесь. Иду туда, иду

сюда — нет. Но я имею терпение. И наконец — нахожу. Тогда я прячусь, и жду, жду, жду, пока он не выходит покурить и поразмяться. И я вижу, это в самом деле военный с седыми волосами, но! — пауза, на этот раз более длительная, и энергичное движение указательного пальца,— вместе с тем это вот этот самый человек.

Любопытно, что, указав на Риго пальцем, Кавалетто в то же время невольно поклонился ему — так велика была сила подчинения, в котором когда-то держал его этот человек.

— Так вот, видите ли, синьор,— заключил он свою речь, снова обратясь к Артуру.— Я стал дожидаться удобного случая. Я написал синьору Панко,— Панкс приосанился, услышав этот необычный вариант своей фамилии,— и просил его помочь мне. Я ему показал Риго в окне, и синьор Панко стал караулить его днем. А я по ночам спал у дверей его домика. Наконец, сегодня мы решили войти к нему — и вот он здесь! Он не пожелал подниматься к вам вместе с illustro avocado [1],— этим почетным званием мистер Баптист наградил мистера Рэгга,— и потому мы остались ждать внизу, а синьор Панко сторожил у выхода.

Дослушав до конца, Артур перевел взгляд на злое и наглое лицо того, о ком шла речь. И тотчас же усы на этом лице вздернулись кверху, а нос загнулся книзу. Затем, когда усы и нос приняли свое прежнее положение, мсье Риго несколько раз громко прищелкнул пальцами, слегка подавшись вперед, так что каждый щелчок был точно маленький снаряд, который он посылал в лицо Артуру.

— Ну, философ! — сказал Риго.— Чего вам от меня нужно?

— Мне нужно знать,— не скрывая своего омерзения, отвечал Артур,— как вы посмели навлечь на дом моей матери подозрение в убийстве.

— Посмел! — вскричал Риго.— Хо-хо! Это мне нравится! Как я посмел, говорите вы? Черт побери, мой мальчик, вы неосторожны в выборе выражений!

— Мне нужно рассеять это гнусное подозрение,— продолжал Артур.— Вас отведут туда, чтобы все могли вас видеть. Кроме того, мне нужно знать, зачем вы вообще

---

[1] Знаменитый адвокат *(итал.)*.

приходили в тот вечер, когда я с таким трудом подавил в себе желание спустить вас с лестницы. Не делайте мне страшные глаза. Я знаю, что вы наглец и трус. Я еще не настолько отупел от пребывания в этих стенах, чтобы постесняться высказать вслух эту несложную истину, в которой, впрочем, нет для вас ничего нового.

Риго, весь белый, пробормотал, поглаживая усы:

— Черт побери, мой мальчик, вы ставите в неловкое положение вашу уважаемую матушку.— Он, видимо, колебался, не зная, как поступить. Но колебание его было недолгим. Минуту спустя он уселся и с издевательской заносчивостью произнес: — Пусть мне дадут бутылку вина. Здесь ведь торгуют вином. Пошлите одного из ваших полоумных за бутылкой вина. Без вина я не скажу ни слова. Ну? Идет или нет?

— Принесите ему, Кавалетто,— брезгливо сказал Артур, вынимая деньги.

— Да только смотри, контрабандная шкура,— прикрикнул Риго,— не вздумай принести какую-нибудь дрянь. Я пью только портвейн.

Но контрабандная шкура, с помощью все того же красноречивого пальца, довела до сведения присутствующих, что решительно отказывается покидать свой пост у дверей, и исполнить поручение взялся синьор Панко. Он вскоре воротился с бутылкой вина, уже откупоренной по тюремному обычаю, заведенному ввиду того, что у большинства пансионеров не было штопоров (как, впрочем, и многого другого).

— Полоумный! Стакан побольше! — скомандовал Риго.

Синьор Панко поставил перед ним стакан, явно с трудом преодолевая желание запустить ему этим стаканом в голову.

— Ха-ха! — хвастливо засмеялся Риго.— Джентльмен всегда остается джентльменом. Кто родился джентльменом, тот джентльменом и умрет. Какого черта, в самом деле! Надеюсь, джентльмен имеет право на услуги окружающих? Рассчитывать на услуги окружающих — мое природное свойство.

Говоря это, он налил себе полстакана вина и с последним словом выпил его.

— Ха! — воскликнул он, причмокнув губами.— Ну, *этот* узник недолго томился в заключении. Глядя на вас, мой храбрый друг, можно с уверенностью сказать, что ваша кровь скорей скиснет в тюрьме, чем это доброе винцо. Вы уже заметно спали с лица и утратили свой цветущий вид. За ваше здоровье!

Он налил и выпил еще полстакана, стараясь держать руку так, чтобы ее белизна и изящество бросались в глаза.

— Ну, теперь к делу! — объявил он.— Поговорим по существу. Тем более, что, как я мог заметить, ваши речи гораздо свободнее, чем вы сами.

— Не нужно особенной свободы в речах, чтобы назвать вас так, как вы того заслуживаете. Все мы знаем, и вы сами в том числе, что я еще был довольно умерен.

— Можете называть меня как угодно, но не забывайте прибавить: «и джентльмен». Это единственное, чем один человек отличается от другого. Вот вы, например, как бы вы ни старались, не будете джентльменом, а я, как бы я ни старался, не перестану им быть. В этом вся разница. Но продолжим наш разговор. Слова, сэр, никогда ничего не меняют, ни в картах, ни в костях. Вы с этим согласны? Да? Ну вот, я тоже веду игру, и никакие слова не повлияют на ее исход.

Теперь, зная, что Кавалетто разоблачил его, он сбросил и ту легкую маску, которую носил до сих пор, и не пытался больше скрыть свою истинную физиономию — физиономию подлеца и негодяя.

— Да, сынок,— снова прищелкнув пальцами, продолжал он,— я доведу свою игру до конца, какие бы тут слова ни говорились, и — громы и молнии, тысяча громов и тысяча молний! — я ее выиграю! Вам угодно знать, зачем я подстроил эту невинную шутку, которой вы помешали? Извольте. У меня был и есть — понятно? есть — кой-какой любопытный товарец для продажи вашей уважаемой матушке. Я ей рассказал, что это за товарец, и назначил цену. Но когда дошло до заключения сделки, ваша несравненная матушка оказалась чересчур хладнокровной, бесстрастной, непоколебимой, настоящая мраморная статуя. Короче говоря, ваша несравненная матушка раздосадовала меня. Желая отвлечься и позабавиться — черт побери, это право джентльмена, забавляться на чей-нибудь

счет! — я напал на удачную мысль: исчезнуть. Кстати, ваша своенравная матушка и мой друг Флинтвинч были бы весьма рады помочь мне в этом. Ба-ба-ба, не нужно смотреть на меня с таким уничтожающим презрением. Я сказал и повторяю: были бы весьма рады, были бы счастливы, не желали бы ничего лучшего. Могу еще подбавить, если мало.

Он выплеснул на пол остатки вина из стакана и едва не обрызгал Кавалетто. Это словно напомнило ему о существовании последнего. Он поставил стакан и объявил:

— Не желаю наливать сам. Черт побери, я рожден, чтобы мне прислуживали. Сюда, Кавалетто! Налей мне вина.

Маленький итальянец оглянулся на Кленнэма, по-прежнему не спускавшего глаз с Риго, и, не услышав возражений, встал и налил вина в стакан. Отголоски былой покорности, разбавленной легкой насмешкой, боролись в нем с приглушенной яростью, которая в любую минуту могла прорваться (чего, видимо, и опасался прирожденный джентльмен, судя по его настороженному взгляду); и все это, в сочетании с природным добродушием и беспечностью, тянувшими его вновь спокойно усесться на полу, являло довольно пеструю и противоречивую смесь побуждений.

— Шутка, о которой мы говорили, мой храбрый друг,— продолжал Риго, выпив снова,— была удачной во многих отношениях. Она позабавила меня, причинила неприятности вашей драгоценной маменьке и милейшему Флинтвинчу, заставила поволноваться вас (считайте это платой за урок вежливости, полученный от джентльмена) и наглядно доказала всем заинтересованным лицам, что ваш покорный слуга — человек, которого нужно бояться. Да, черт побери, бояться! А кроме всего прочего, она, возможно, вправила бы мозги госпоже вашей матушке и побудила бы ее, чтобы избавиться от пустякового подозрения, которое вы со свойственной вам мудростью правильно оценили, через газеты уведомить известное лицо (не называя имен), что в случае его появления известная сделка может состояться на известных условиях. Возможно, побудила бы — хотя не наверно. Но вы своим вмешательством все испортили. А теперь — говорите вы. Чего вам нужно?

Ни разу еще Кленнэм так остро не чувствовал себя узником, как сейчас, когда он видел перед собой этого человека и знал, что не может вместе с ним отправиться в материнский дом. Тайна, смутно тревожившая и пугавшая его, вот-вот могла раскрыться, а он был связан по рукам и по ногам.

— Быть может, мой друг, философ, столп добродетели, глупец или что угодно,— сказал Риго, отняв стакан от губ, чтобы улыбнуться своей зловещей улыбкой,— быть может, лучше было вам не тревожить меня в моем уединении.

— Нет, нет! — воскликнул Кленнэм.— По крайней мере теперь известно, что вы живы и невредимы. По крайней мере есть два свидетеля, от которых вам не уйти и которые могут передать вас властям или открыть ваши плутни сотням людей.

— Но не передадут и не откроют,— отозвался Риго, снова прищелкнув пальцами с торжеством и угрозой.— К чертям ваших свидетелей! К чертям ваши сотни людей! К чертям вас самих! Ха-ха! Разве я не знаю то, что я знаю? Разве нет у меня товарца для продажи? Вы, несчастный банкрот! Вы помешали моей маленькой шутке! Пусть так. Ну, а что же теперь? Дальше что? Для вас — ничего; для меня — всё. Открыть мои плутни! Вот вам чего нужно! Так я их открою сам, и скорей, чем вам бы хотелось! Эй, контрабандист! Перо, чернил, бумаги!

Кавалетто все так же нехотя встал и все так же нехотя подал требуемое. После короткого раздумья, сопровождаемого отвратительной улыбкой, Риго написал, а затем прочел вслух следующее:

«Миссис Кленнэм

(дождаться ответа)

Тюрьма Маршалси
комната Вашего сына

Милостивая государыня! — Я был вне себя, узнав от нашего узника (который взял на себя труд выследить меня с помощью шпионов, поскольку сам он, по политическим причинам, лишен свободы передвижения), что вы беспокоитесь о моей безопасности.

Спешу успокоить Вас: я жив, здоров и благополучен.

Я поспешил бы к Вам, ни минуты не медля, но меня удерживает мысль, что Вы, быть может, еще не пришли к окончательному решению по поводу того небольшого дельца, которое я имел честь Вам предложить. А потому уведомляю, что ровно через неделю от сего числа я явлюсь к Вам в последний раз и надеюсь услышать от Вас, принимаете или не принимаете Вы мои условия, со всеми вытекающими последствиями.

Подавляю свое горячее желание поскорей заключить Вас в объятия и покончить это небезынтересное дело, единственно для того, чтобы дать Вам время обдумать и решить его к нашему полному и обоюдному удовлетворению.

В ожидании назначенного срока я вынужден переехать в гостиницу (поскольку наш узник расстроил мое налаженное хозяйство) и полагаю, что справедливо будет отнести все расходы по моему содержанию на Ваш счет.

Примите, милостивая государыня, мои уверения в совершеннейшем и глубочайшем почтении.

Риго Бландуа.

Тысяча поклонов дражайшему Флинтвинчу.

Целую ручки миссис Флинтвинч».

Дочитав свое послание до конца, Риго сложил его и театральным жестом швырнул к ногам Кленнэма.

— Эй! Кто там собирался передавать меня куда-то? Пускай пока передадут вот это по назначению и доставят сюда ответ!

— Кавалетто,— сказал Артур,— прошу вас, снесите это письмо.

Но выразительный палец Кавалетто снова объяснил, что его дело — караулить Риго, которого он с таким трудом разыскал; а потому он так и будет сидеть на полу у двери, обхватив руками щиколотки, и никуда отсюда не тронется. Пришлось опять обращаться к помощи синьора Панко. Кавалетто чуть-чуть отодвинулся, так чтобы синьор Панко мог выбраться из комнаты, а затем снова прижал дверь спиной.

— Не вздумайте только тронуть меня, или как-нибудь непочтительно обозвать, или помешать мне допить эту

бутылку вина в свое удовольствие,— сказал Риго,— не то я сейчас же отправлюсь вдогонку за письмом и отменю данный мною недельный срок. Вы искали меня? Вы меня нашли? Вот и наслаждайтесь моим обществом!

— Когда я стал вас искать, я не сидел в тюрьме, вам это хорошо известно,— сказал Кленнэм с горьким сознанием своего бессилия.

— Черт с вами и с вашей тюрьмой! — отвечал Риго, неторопливо доставая из кармана табак и бумагу и принимаясь свертывать папиросы своими ловкими пальцами.— Мне дела нет ни до того, ни до другого. Контрабандист! Огня!

Опять, как и прежде, Кавалетто поднялся и выполнил его приказание. Было что-то жуткое в бесшумном проворстве холодных белых рук Риго с длинными гибкими пальцами, сплетающимися и расплетающимися по-змеиному. Кленнэма невольно пробрала дрожь, словно он и в самом деле увидел клубок змей.

— Эй ты, скотина! — крикнул Риго резко и повелительно, как будто перед ним был не итальянец, а итальянская лошадь или мул.— Я нахожу, что марсельский каменный мешок куда пристойнее этого заведения. В его решетках и стенах есть какое-то величие. Это тюрьма для людей. А здесь что? Тьфу! Приют для умалишенных!

Он продолжал курить, но отталкивающая улыбка не сходила с его лица, и казалось, будто он втягивает дым не ртом, а своим крючковатым носом, словно фантастическое чудовище на картинке. Взяв новую папиросу и прикурив от окурка первой, он заметил Кленнэму:

— Надо как-нибудь убить время, пока тот полоумный не вернулся с ответом. Попытаемся скоротать его беседой. Я потребовал бы еще вина, но нельзя же джентльмену пить с утра до вечера. А она хороша, сэр. Не совсем в моем вкусе, но хороша, клянусь тысячей дьяволов! Одобряю ваш выбор.

— Не знаю, о ком вы говорите, да и знать не хочу,— сказал Кленнэм.

— Della bella Gowana, как ее называют в Италии, сэр. О миссис Гоуэн, о прекрасной миссис Гоуэн.

— Да ведь вы, кажется, бывший приспешник супруга этой дамы.

— Приспешник! Сэр! Это дерзость! Я его друг!

— А вы всегда продаете ваших друзей?

Риго вынул папиросу изо рта, и в глазах у него промелькнуло удивление. Но он тотчас же снова прихватил папиросу губами и хладнокровно ответил:

— Я продаю все, за что можно получить деньги. А как живут ваши адвокаты, ваши политики, ваши спекуляторы, ваши биржевые дельцы? Как живете вы сами? Как вы попали сюда? Не продали ли вы друга? Черт побери, ведь похоже на то.

Кленнэм отвернулся к окошку и вперил взгляд в тюремную стену.

— Так уж заведено, сэр,— сказал Риго.— Общество продается само и продало меня, а я продаю общество. Но я вижу, у нас с вами есть еще одна общая знакомая. Тоже красивая женщина. И с характером. Позвольте, как бишь ее фамилия? Ах, да. Уэйд.

Ответа не последовало, но было ясно, что Риго попал в точку.

— Да,— продолжал он.— Красавица с характером заговаривает со мной на улице, и я не был бы джентльменом, если бы не внял ей. Красавица с характером говорит мне, почтив меня доверием: «Я любознательна, и у меня есть кой-какие особые побуждения. Скажите, вы не более порядочны, чем большинство людей?» На это я отвечаю: «Сударыня, я родился джентльменом и джентльменом умру, но что касается порядочности, то тут я не претендую на какое-либо превосходство. Это была бы непростительная глупость с моей стороны».— «Вся разница между вами и другими,— любезно замечает она,— в том, что вы об этом говорите вслух». Она, нужно отдать ей справедливость, знает общество. Я принимаю полученный комплимент галантно и вежливо. Галантность и вежливость — мои природные свойства. Тогда она делает мне предложение, суть которого в следующем: она часто видела нас вместе; она знает, что на сегодня я — друг семьи, свой человек в доме; из любознательности и из особых побуждений она интересуется их жизнью, их домашним укладом, хотела бы знать, любят ли bella Gowana, лелеют ли bella Gowana, и все такое прочее. Она небогата, но может мне предложить некоторое скромное вознаграждение за некоторые

скромные услуги в этом духе. Я выслушиваю и великодушно соглашаюсь — великодушие тоже одно из моих природных свойств. Что поделаешь? Такова жизнь! На том стоит свет!

Все это время Кленнэм сидел спиной к нему, но Риго, следивший за ним своими блестящими, слишком близко посаженными глазами, должно быть, угадывал по самой его позе, что во всех этих хвастливых признаниях не было для него ничего нового.

— Ффуу! Прекрасная Гована! — сказал Риго, затягиваясь и выпуская дым с таким видом, точно стоит ему дунуть, и та, о ком он говорил, развеется в воздухе, как эта струйка дыма.— Очаровательна, но неосторожна! Не следовало ей секретничать в монастырской келье насчет того, как припрятывать письма старых поклонников подальше от мужа. Да, да, не следовало бы. Ффуу! Прекрасная Гована допустила ошибку.

— Хоть бы поскорее вернулся Панкс! — воскликнул Артур.— Этот человек отравляет воздух в комнате своим присутствием!

— Ба! Зато он хозяин положения, здесь, как и везде! — сказал Риго, сверкнув глазами и прищелкнув пальцами.— Так всегда было; так всегда будет.— Сдвинув вместе все три стула, находившиеся в комнате (кроме них, было еще только кресло, в котором сидел Кленнэм), он разлегся на них и запел, ударяя себя в грудь, точно это к нему относились слова песни:

Кто там шагает в поздний час?
Кавалер де ла Мажолэн.
Кто там шагает в поздний час?
Нет его веселей.

Подпевай, скотина! Ты отлично подпевал мне в марсельской тюрьме. Подпевай же! Не то я сочту себя обиженным и рассержусь, а тогда, во имя всех святых, забитых насмерть камнями, кое-кому придется пожалеть, что и его не забили заодно!

Придворных рыцарей краса,
Кавалер де ла Мажолэн,
Придворных рыцарей краса,
Нет его веселей.

Отчасти по старой привычке к подчинению, отчасти из боязни повредить своему покровителю, отчасти потому, что ему все равно было, петь или молчать, Кавалетто подхватил припев. Риго захохотал и снова стал курить, прикрыв глаза.

Прошло не больше четверти часа до того, как шаги мистера Панкса послышались на лестнице, но Кленнэму эти четверть часа казались вечностью. Судя по звуку шагов мистер Панкс шел не один; и в самом деле, когда Кавалетто отворил дверь, он вошел в сопровождении мистера Флинтвинча. Не успел последний переступить порог, как Риго вскочил и с криком восторга бросился ему на шею.

— Мое почтение, сэр,— сказал мистер Флинтвинч, довольно бесцеремонно высвобождаясь из его объятий.— Нет, нет, увольте; с меня достаточно.— Это относилось к угрозе нового порыва со стороны вновь найденного друга.— Ну, Артур? Помните, что я вам говорил насчет спящей собаки и сбежавшей собаки? Как видите, я был прав.

Невозмутимый, как всегда, он огляделся по сторонам и покачал головой с назидательным видом.

— Так это и есть долговая тюрьма Маршалси,— сказал мистер Флинтвинч.— Кхм! Неважный рынок вы, как говорится, выбрали для продажи своих поросят, Артур.

Артур терпеливо ждал, но Риго не отличался таким терпением. Он почти свирепо ухватил Флинтвинча за лацканы сюртука и закричал:

— К черту рынок, к черту продажу, к черту поросят! Ответ! Где ответ на мое письмо?

— Если вы найдете возможным на минуту отпустить меня, сэр,— заметил мистер Флинтвинч,— я сперва передам мистеру Артуру записку, предназначенную ему.

Сказано — сделано. В руках у Артура очутился листок бумаги, на котором дрожащей рукой его матери было нацарапано: «Надеюсь, довольно того, что ты разорился сам. Не вмешивайся еще и в чужие дела. Иеремия Флинтвинч говорит и действует от моего имени. Твоя М. К.».

Кленнэм дважды перечитал записку и, не говоря ни слова, разорвал ее на клочки. Риго между тем завладел креслом и уселся на его спинку, поставив на сиденье ноги.

— Ну, Флинтвинч, красавец мой,— сказал он, следя глазами за разлетавшимися обрывками записки,— ответ на письмо!

— Миссис Кленнэм трудно писать, мистер Бландуа, пальцы у нее сведены болезнью, и она надеется, что вы удовлетворитесь устным ответом.— Мистер Флинтвинч весьма неохотно и со скрипом вывинтил из себя упомянутый ответ.— Она шлет вам поклон и передает, что, в общем, находит ваши условия приемлемыми и готова на них согласиться. Но окончательно вопрос будет решен через неделю, в назначенный вами день.

Мсье Риго расхохотался и, спрыгнув со своего трона, сказал:

— Ладно! Пойду искать гостиницу.— Тут ему на глаза попался Кавалетто, сидевший в прежней позе у двери.— Вставай, скотина! — крикнул он.— Ты со мной ходил против моей воли, теперь пойдешь против своей. Я вам уже сказал, мелюзга, я создан, чтобы мне прислуживали. Вот мое требование: пусть этот контрабандист находится при мне всю неделю в качестве слуги!

В ответ на вопросительный взгляд Кавалетто Кленнэм кивнул, а затем прибавил вслух:

— Если не боитесь.

Кавалетто энергично затряс в знак протеста пальцем.

— Нет, господин, теперь, когда мне уже не нужно скрывать, что он когда-то был моим товарищем по заключению, я его не боюсь.

Риго не удостоил вниманием этот краткий диалог, покуда не закурил на дорогу последнюю папиросу.

— «Если не боитесь»,— повторил он, переводя взгляд с одного на другого.— Ффуу! Нет, мои детки, мои младенчики, мои куколки, вы все его боитесь! Здесь вы угощаете его вином, там готовы платить за его стол и квартиру; вы не смеете тронуть его пальцем, задеть словом. Он торжествовал над вами и будет торжествовать. Таково его природное свойство. Ффуу!

Придворных рыцарей краса,
Он всех и всегда веселей!

С этим припевом, явно подразумевая им собственную персону, он вышел из комнаты в сопровождении Кавалетто,

которого, может быть, потому и потребовал себе в слуги, что не предвидел возможности от него отвязаться. Мистер Флинтвинч поскреб подбородок, еще раз неодобрительно оглядел рынок, выбранный для продажи поросят, кивнул Артуру и тоже вышел. Мистер Панкс, которого раскаяние совсем замучило, внимательно выслушал прощальные распоряжения Артура, отданные вполголоса, так же вполголоса заверил его, что все будет сделано в лучшем виде, и последовал за остальными. И узник, чувствуя себя еще более униженным, опозоренным, подавленным, бессильным и несчастным, остался один.

ГЛАВА XXIX

Встреча в Маршалси

Тревога в душе и угрызения совести — плохие товарищи для узника. Дни горького раздумья и ночи без сна не закаляют в несчастье. Наутро Кленнэм почувствовал, что здоровье его подточено, как еще раньше подточен был дух, и гнет, под которым он жил это время, вот-вот сокрушит его совсем.

Ночь за ночью вставал он в час или в два со своего скорбного ложа и подолгу просиживал у окошка, пытаясь за тусклым мерцанием тюремных фонарей разглядеть в небе первый проблеск зари, вестницы далекого еще утра. Но на следующий вечер после посещения Бландуа он не мог заставить себя раздеться, прежде чем лечь в постель. Какое-то жгучее беспокойство нарастало в нем, какой-то безотчетный страх, мучительная уверенность, что сердце его не выдержит и он умрет здесь, в тюрьме. Ужас и омерзение сдавливали горло, мешая дышать. Временами ему казалось, что он задыхается, и он кидался к окну, хватаясь за грудь и судорожно ловя ртом воздух. И в то же время его томило такое неистовое желание вырваться из этих глухих мрачных стен, вдохнуть полной грудью другой, чистый воздух, что он боялся сойти с ума.

Страдания, подобные этим, не могут длиться без конца с одинаковой силой, они рано или поздно избывают себя. Так было со многими до Кленнэма, так случилось и с ним.

Две ночи и день его состояние было очень тяжелым, потом наступил перелом. Еще случались отдельные приступы, но они повторялись все реже и с каждым разом становились слабее. На смену пришел упадок всех сил, телесных и душевных; и к середине недели болезнь приняла форму изнурительной вялой лихорадки.

В отсутствие Кавалетто и Панкса единственными посетителями, которых мог опасаться Кленнэм, был мистер и миссис Плорниш. Он чувствовал необходимость оградить себя от визита этой достойной четы, ибо в напряженном состоянии его нервов ему никого не хотелось видеть, и не хотелось, чтобы кто-нибудь видел его таким разбитым и бессильным. Он написал миссис Плорниш, что обстоятельства заставляют его целиком посвятить себя делам и не позволяют оторваться даже на короткое время, чтобы порадовать себя беседой с друзьями. Юный Джон каждый день заходил после дежурства узнать, не нужно ли ему чего-нибудь, но Кленнэм отделывался от него тем, что благодарил бодрым тоном и притворялся погруженным в писание каких-то бумаг. К предмету своего единственного долгого разговора они больше не возвращались ни разу. Однако Кленнэм даже в самые тяжелые дни свято хранил этот разговор в своей памяти.

На шестой день недели, назначенной Риго, с утра было сыро, туманно и душно. Казалось, нищета, грязь и убожество тюрьмы всходят, как на дрожжах, в этой гнилостной атмосфере. С головной болью, с тоской на сердце, Кленнэм всю ночь метался без сна, слушая, как дождь барабанит по каменным плитам, и стараясь вообразить себе его шелест в древесной листве. Расплывчатое мутно-желтое пятно поднялось в небе вместо солнца, и его бледный отсвет, дрожавший на стене, казался заплатой на тюремных лохмотьях. Слышно было, как отворились ворота, зашлепали по двору стоптанные башмаки тех, кто дожидался на улице; заскрипел насос, зашуршала метла — начиналось тюремное утро со всеми его привычными звуками. Больной, ослабевший — он даже умылся с трудом и несколько раз должен был отдыхать во время этой процедуры — Кленнэм, наконец, добрался до своего кресла перед раскрытым окошком. Здесь он сидел и дремал, пока уже знакомая нам старуха прибирала в комнате.

У него кружилась голова от бессонницы и недоедания (он совсем лишился аппетита и перестал ощущать вкус пищи), и ночью он несколько раз начинал бредить. В тишине душной комнаты ему слышались какие-то звуки, обрывки мелодий, но в то же время он знал, что ничего этого нет. Сейчас, когда усталость сморила его, в ушах у него снова зазвучали призрачные голоса; они пели, они спрашивали его о чем-то, и он отвечал им и, вздрагивая, приходил в себя.

В этом сонном забытьи, отнявшем у него ощущение времени, так что минута могла показаться часом, и час минутой, одна смутная греза постепенно овладела им, оттеснив все другое: ему чудилось, что он в саду, полном благоухающих цветов. Он хотел поднять голову, посмотреть, что это за сад, но сделать необходимое усилие было нестерпимо трудно, и он успел свыкнуться с благоуханием, перестал даже замечать его к тому времени, когда, наконец, заставил себя раскрыть глаза.

На столе, рядом с чайной чашкой, лежал букет — целая охапка чудесных, свежих цветов.

Никогда еще он не видел ничего прекраснее. Он зарылся в цветы лицом и вдыхал их аромат, он прижимал их к своему пылающему лбу, он снова клал их на стол и протягивал к ним свои сухие ладони, как в зимнюю стужу протягивают руки к огню. Прошло немало времени, прежде чем он задал себе вопрос, как сюда попали эти цветы, и выглянул за дверь, чтобы спросить старуху, кто принес их. Но старухи не было, и, должно быть, она ушла уже давно, потому что чай, приготовленный ею, совсем остыл. Он хотел было выпить его, но запах чая показался ему невыносимым, и он снова уселся в кресло у окна, положив цветы на круглый столик.

Когда утихло сердцебиение, вызванное тем, что он вставал и ходил по комнате, он снова впал в сонное полузабытье. Снова ветерок донес обрывок мелодии, звучавшей ему ночью; потом ему почудилось, будто дверь тихо отворилась, и на пороге возникла хрупкая фигурка, закутанная в черный плащ. Она сделала движение, от которого плащ распахнулся и упал на пол, и ему почудилось, будто это его Крошка Доррит в своем старом, поношенном платьишке.

И будто она вздрогнула, прижала руки к груди, улыбнулась и залилась слезами.

Он очнулся и вскрикнул. И тогда милое лицо, полное любви, жалости, сострадания, как зеркало, показало ему происшедшую с ним перемену. Она бросилась к нему, протянула руки, чтобы помешать ему встать, опустилась перед ним на колени; ее губы коснулись его щеки поцелуем, ее слезы оросили его, как дождь небесный орошает цветы, и он услышал — не во сне, наяву — ее голос, голос Крошки Доррит, звавший его по имени.

— Мистер Кленнэм, мой дорогой, мой лучший друг! Нет, нет, не плачьте, я не могу видеть ваши слезы. Разве если это слезы радости оттого, что ваше бедное дитя опять с вами. Мне хочется думать, что это так!

Все такая же нежная, такая же преданная, ничуть не испорченная милостями Судьбы! В звуке ее голоса, в сиянии глаз, в прикосновении рук столько ангельской кротости и утешения!

Он обнял ее, и она сказала: «Я не знала, что вы больны!» — потом обвила рукой его шею, привлекла его голову к себе на грудь и, склонившись к нему лицом, ласкала его так же нежно и, видит бог, так же невинно, как когда-то ласкала в этой комнате своего отца, сама будучи ребенком, еще нуждавшимся в ласке и заботе.

Когда, наконец, к нему вернулся дар речи, он спросил:

— Неужели это в самом деле вы? И в этом платье?

— Я думала, вам приятно будет увидеть меня именно в этом платье. Я его сохранила на память — хоть я и так ничего бы не забыла. Но я пришла не одна. Со мной еще один старый друг.

Он оглянулся и увидел Мэгги, в огромном старом чепце, который она давно уже не носила, с корзиночкой на руке, совсем как в прежние времена. Она улыбалась ему, кудахтая от восторга.

— Я только вчера приехала в Лондон вместе с братом и тотчас же послала к миссис Плорниш, чтобы справиться о вас, и дать вам знать о моем приезде. Она-то и сообщила мне, что вы здесь. Вы не вспоминали меня этой ночью? Наверно, вспоминали, не могло быть иначе. Я всю ночь думала о вас, и мне казалось, эта ночь никогда не пройдет.

— Я думал о вас...— он запнулся, не зная, как назвать ее. Она мгновенно поняла.

— Вы еще ни разу не назвали меня моим настоящим именем. Для вас у меня имя только одно, вы знаете, какое.

— Я думал о вас, Крошка Доррит, каждый час, каждую минуту, с тех пор как я здесь.

— Правда? Правда?

Такая радость озарила ее зардевшееся личико, что ему стало стыдно. Он, больной, опозоренный, нищий, за тюремной решеткой!

— Я пришла еще до того, как отворили ворота, но не решилась сразу подняться к вам. В ту минуту я бы больше огорчила вас, чем обрадовала. Все здесь показалось мне таким знакомым и в то же время таким странным, все так живо напомнило о моем бедном отце и о вас, что я не могла справиться со своим волнением. Но мистер Чивери провел нас в комнату Джона — ту самую, где я жила когда-то,— и мы сперва немножко посидели там. Я уже была раз у вашей двери, когда приносила цветы, но вы не слышали.

Она казалась слегка повзрослевшей, и знойное солнце Италии чуть тронуло ее лицо смуглотой. Но в остальном она не изменилась. Та же скромность, та же глубина и непосредственность чувств, когда-то так трогавшая его сердце. И если сейчас это сердце сжималось совсем подругому, то не от оттого, что она стала иной, а оттого, что он смотрел на нее иными глазами.

Она сняла старую шляпку, повесила ее на старое место и вместе с Мэгги без шума стала хлопотать в комнате, стараясь придать ей как можно более опрятный и приветливый вид. Побрызгав кругом душистой водой, она раскрыла корзинку Мэгги, в которой оказались виноград и другие фрукты. Когда все это было вынуто и прибрано до времени, последовали краткие переговоры шепотом с Мэгги; в результате корзина куда-то исчезла, а потом появилась опять, наполненная новым содержимым, среди которого было прохладительное питье и желе для немедленного употребления, а также жареные цыплята и вино с водой про запас. Покончив со всеми хлопотами, Крошка Доррит достала свой старый рабочий ящичек и принялась за шитье занавески для окна. Мир и покой воцарился в убогом жилище узника, и когда он сидел в своем кресле, глядя на

Крошку Доррит, склоненную над работой, ему казалось, что этот мир и покой разливаются отсюда по всей тюрьме.

Видеть рядом эту гладко причесанную головку, эти проворные пальчики, занятые привычным делом — которое не мешало ей часто поднимать на него взгляд, полный сострадания и всякий раз затуманивавшийся слезами; чувствовать себя предметом такой нежности и заботы, знать, что все помыслы этой самоотверженной души устремлены на него, все неистощимые богатства ее предложены ему в утешение,— все это не могло вернуть Кленнэму здоровье и силы, не могло придать вновь твердость его руке и звуку его голоса. Но оно вдохнуло в него новое мужество, которое росло вместе с его любовью. А эта любовь была так велика, что не нашлось бы слов, способных ее выразить!

Они сидели рядом в тени тюремной стены, и эта тень теперь казалась пронизанной светом. Он мало говорил — она не позволяла ему,— только смотрел на нее, полулежа в кресле. Время от времени она вставала, давала ему пить, или поправляла подушку у него под головой. Потом тихонько садилась снова и склонялась над шитьем.

Тень двигалась по мере того, как двигалось солнце; но Крошка Доррит покидала свое место лишь для оказания какой-нибудь услуги Артуру. Солнце зашло, а она все не уходила. Она уже кончила работу, и ее рука, только что укрывшая его пледом, задержалась на подлокотнике кресла. Он сжал эту руку в своей, и в ее ответном пожатии ему почудилась робкая мольба.

— Дорогой мистер Кленнэм, мне нужно сказать вам кое-что, прежде чем я уйду. Я откладываю с часу на час, но я должна сказать это.

— И я тоже, милая Крошка Доррит. Я тоже хочу кое-что сказать вам и все откладываю.

Она испуганно подняла руку, точно желая закрыть ему рот; но тотчас же снова уронила ее.

— Я больше не уеду за границу. Эдвард уедет, а я останусь здесь. Эдвард всегда был привязан ко мне, а теперь особенно, после того как я ухаживала за ним во время болезни — хотя никакой заслуги тут нет; и в благодарность он предоставляет мне жить где я хочу и как я хочу. Он думает только о том, чтобы я была счастлива.

Одна лишь звезда ярко горела в небе. Она все время

смотрела на эту звезду, словно видела в ее лучах свое заветное желание.

— Вы, верно, догадываетесь, что мой брат приехал в Англию затем, чтобы уладить все дела по наследству и вступить во владение им. Он говорит, что мой дорогой отец, наверно, позаботился сделать меня богатой; если же отец не оставил завещания, то об этом позаботится он сам.

Артур хотел что-то сказать, но она предостерегающе подняла руку, и он промолчал.

— Мне не нужны деньги; на что они мне? Они не имели бы для меня никакой цены, если бы не вы. Разве может богатство дать мне покой, если я знаю, что вы в тюрьме? Разве мысль о вашем несчастье для меня не хуже самой горькой нищеты? Позвольте же мне помочь вам! Позвольте отдать вам все, что я имею! Позвольте доказать, что я не забыла и никогда не забуду, как вы были добры ко мне в то время, когда я не знала другого дома, кроме этой тюрьмы. Дорогой мистер Кленнэм, сделайте меня самым счастливым человеком на свете, ответьте «да»! Или хотя бы не отвечайте ничего сегодня, дайте мне уйти с надеждой, что вы подумаете и согласитесь — не ради себя, ради меня, только ради меня! Ведь для меня не может быть большего счастья на земле, чем сознание, что я сделала что-то для вас, что я заплатила хотя бы частицу своего огромного долга любви и признательности. Простите меня, мне трудно говорить. Трудно сохранять ободряющее спокойствие, видя вас в этих стенах, где я провела так много лет, где столько насмотрелась горя и нужды. Слезы душат меня. Я не могу удержать их. Прошу же вас, умоляю вас, теперь, когда вы в беде, не отворачивайтесь от вашей Крошки Доррит. Всем своим изболевшимся сердцем умоляю вас, дорогой мой, любимый мой друг! Возьмите мое богатство, и пусть оно обернется для меня величайшим благом!

Она уронила голову на руку Кленнэма, сплетенную с ее рукой, и звезда больше не озаряла ее лица.

Уже почти стемнело, когда Артур ласковым движением приподнял ее голову и тихо ответил:

— Нет, моя дорогая Крошка Доррит. Нет, дитя мое. Я не могу принять подобную жертву. Свобода и надежды, купленные такой дорогой ценой, будут мне вечным укором,

непосильной тяжестью. Но видит бог, какой благодарностью и любовью переполнена моя душа.

— И все же вы не хотите, чтобы в тяжелую минуту я доказала свою преданность вам.

— Скажем лучше так, дорогая моя Крошка Доррит: и все же я хочу доказать *свою* преданность *вам*. Если бы в те отдаленные дни, когда вашим домом была тюрьма, а единственным вашим нарядом это платье, я бы лучше себя понимал и точней читал в собственном сердце; если бы моя замкнутость и неверие в себя не помешали бы мне разглядеть свет, который я так ясно вижу теперь издалека, когда мне уже не догнать его на своих слабых ногах; если бы я тогда понял и сказал вам, что люблю вас и почитаю не как свое бедное дитя, но как женщину, чья рука поистине могла бы возвысить меня и сделать счастливее и лучше; если бы я воспользовался тогда этой возможностью, теперь уже упущенной навсегда — ах, зачем, зачем я упустил ее! — и если бы что-нибудь разлучило нас в то время, когда у меня был кое-какой достаток, а вы жили в бедности, я иначе ответил бы на ваше великодушное предложение, милая моя, дорогая моя девочка, хоть и тогда стеснялся бы принять его. Теперь же об этом не может быть и речи — не может быть и речи.

Ее руки, сложенные в немой мольбе, говорили больше любых слов.

— Я уже довольно опозорен, Крошка Доррит. Я не хочу пасть еще ниже и увлечь в своем падении вас, такую хорошую, благородную, добрую. Господь благословит и наградит вас за вашу доброту. Что прошло, то не вернется.

Он обнял ее с нежностью отца, обнимающего дочь.

— Я теперь еще старше, еще угрюмее, еще менее достоин вас, чем прежде, но не стоит вспоминать о том, каким я был, вы должны видеть меня таким, каков я есть. Позвольте мне поцеловать вас на прощанье, дитя мое. Вы могли стать мне ближе, но дороже стать не могли, моя Крошка Доррит, далекая и навеки для меня утраченная — ведь я разбитый старый человек, чей путь уже почти окончен, тогда как ваш только начинается. У меня недостает духу просить, чтобы вы забыли обо мне и моих невзгодах, но я прошу вас помнить меня таким, каков я есть.



Зазвонил колокол, предупреждающий посетителей, что пора уходить. Кленнэм снял со стены плащ и с нежной заботливостью укутал ее.

— Еще два слова, Крошка Доррит. Нелегко мне говорить их, но это необходимо. Прошло то время, когда вас что-то связывало с тюрьмой Маршалси. Вы понимаете меня?

— Нет, нет, вы этого не скажете! — воскликнула она, заломив руки, и слезы отчаяния хлынули из ее глаз.— Вы не запретите мне приходить к вам, не откажетесь от меня совсем!

— Я сделал бы это, если б мог; но я не в силах лишить себя радости видеть это милое лицо. Только не приходите часто, приходите лишь изредка. Здесь в воздухе разлита зараза, и я чувствую, что она уже коснулась меня. Ваше место в более светлом и прекрасном мире. Не возвращайтесь вспять, Крошка Доррит. Идите другим путем, который приведет вас к счастью. Господь благословит вас! Господь вознаградит вас за все!

Тут Мэгги, которая все это слушала пригорюнившись, вдруг закричала:

— Ах, маменька, отправьте его в больницу, отправьте его в больницу! Если вы не отправите его в больницу, он не выздоровеет. А крошечная женщина, та, что всегда сидела за прялкой, она может пойти к принцессе и сказать: «Вы зачем держите курятину в шкафу, давайте ее сюда!» И принцесса даст ей курятины вволю, и она накормит его, и все будет хорошо.

Это вмешательство пришлось как нельзя более кстати, потому что колокол уже перестал звонить. Артур снова заботливо укутал Крошку Доррит плащом и, подав ей руку, проводил вниз (хотя до ее прихода едва держался на ногах от слабости). Она была последней посетительницей, покидавшей тюрьму, и ворота захлопнулись за ней с тяжелым, сумрачным лязгом.

Погребальным звоном отозвался этот звук в душе Артура, и силы снова изменили ему. С большим трудом он одолел подъем по лестнице, и когда вошел к себе в комнату, мрак и одиночество надвинулись на него, отнимая всякую надежду.

Уже около полуночи, когда в тюрьме давным-давно все

утихло, заскрипели ступени под чьими-то осторожными шагами, а затем кто-то осторожно постучал в дверь. Это был Юный Джон, в одних чулках. Он проскользнул в комнату, затворил за собой дверь и сказал шепотом:

— Это против правил, но все равно. Я решил так или иначе пробраться и повидать вас.

— А что случилось?

— Ничего не случилось, сэр. Я дожидался мисс Доррит за воротами. Мне думалось, вам приятно будет узнать, что она благополучно вернулась домой.

— Благодарю вас, Джон, благодарю вас. Вы, стало быть, проводили ее?

— До самой гостиницы, сэр. Это та же гостиница, где останавливался мистер Доррит. Мы шли пешком всю дорогу, и мисс Доррит так ласково говорила со мной, что все во мне перевернулось. Как вы думаете, почему она предпочла идти пешком?

— Не знаю, Джон.

— Чтобы поговорить о вас. Она мне сказала: «Джон, я знаю, что вы достойны доверия, и если вы обещаете заботиться о нем и помогать ему, когда меня нет, я буду спокойна». Я обещал. И теперь,— заключил Джон,— я ваш друг навсегда.

Кленнэм, глубоко растроганный, протянул руку честному малому.

— Погодите,— сказал Джон, разглядывая эту руку издали.— Сперва угадайте, что мисс Доррит просила меня передать вам.

Кленнэм с недоумением покачал головой.

— «Скажите ему,— произнес Джон дрожащим, но внятным голосом,— скажите ему, что его Крошка Доррит любит его и будет любить вечно». Вот что она просила передать. Оправдал я ее доверие, сэр?

— Да, да, Джон, вполне.

— Вы скажете ей, что я оправдал доверие?

— Скажу непременно.

— Вот моя рука, сэр,— сказал Джон,— и помните, что я ваш друг навсегда.

Обменявшись с Кленнэмом сердечным рукопожатием, он так же осторожно спустился с лестницы, прошел в одних чулках по тюремному двору и выбрался за ворота, где

оставил свои башмаки. И будь этот путь вымощен не каменными плитами, а раскаленным железом, Джон, надо полагать, так же беззаветно и преданно исполнил бы свой долг.

ГЛАВА XXX

Близится час

Последний день срока, назначенного Риго, занялся над тюрьмой Маршалси. Железные брусья ворот, угрюмо черневшие с тех пор, как ворота захлопнулись за Крошкой Доррит, стали золотыми в сиянии восходящего солнца. На город, на беспорядочное нагромождение крыш легли длинные косые лучи, чередуясь с тенями церковных колоколен — тюремная решетка поднебесного мира.

Никто за весь день не потревожил покоя ветхого старого обиталища в Сити. Лишь на закате солнца к дому подошли трое, вошли во двор и направились к крыльцу.

Впереди, с папиросой во рту, шел Риго-Бландуа. За ним трусил мистер Баптист, не отставая ни на шаг и не спуская с него бдительного взгляда. Арьергард составлял мистер Панкс, со шляпой под мышкой: день выдался жаркий, и он решил дать свободу своим непокорным волосам. У крыльца все трое остановились.

— Эй, полоумные! — сказал Риго, оглянувшись.— Вы пока не уходите!

— А мы и не собираемся,— сказал мистер Панкс.

Сверкнув на него глазами, Риго взялся за молоток и постучал. Он изрядно хватил спиртного для воодушевления, и ему не терпелось поскорей начать игру. Не успел затихнуть грохот первых ударов, как он уже снова заколотил молотком. Но тут Иеремия Флинтвинч отворил дверь и тем положил конец забаве. Все трое вошли, стуча ногами по каменным плитам пола. Риго, оттолкнув мистера Флинтвинча, сразу же устремился наверх. За ним последовали оба его спутника, за которыми в свою очередь последовал мистер Флинтвинч, и через минуту вся компания ввалилась в тихую комнату больной. Все в комнате было как

обычно, только одно окно на этот раз оказалось раскрытым, и у этого окна сидела миссис Эффери и штопала чулок. Все те же предметы размещались на маленьком столике, все тот же полог свешивался над кроватью, все так же едва тлел в камине огонь; а сама хозяйка сидела на своем черном катафалкоподобном диване, прислоняясь спиной к твердому черному валику, удивительно напоминавшему плаху.

И все же какая-то неуловимая перемена чувствовалась в комнате, какой-то несвойственный ей дух настороженного ожидания. Секрет этой перемены трудно было понять — ведь каждая вещь стояла на своем месте, определенном с незапамятных времен; и только внимательный взгляд на хозяйку мог открыть этот секрет постороннему наблюдателю, да и то лишь такому, который хорошо знал ее раньше. Хотя в ее неизменном черном платье не сместилась ни одна складка, хотя ее поза была так же неизменна, как и платье — чуть более суровый взгляд, чуть энергичней сдвинутые брови сообщали что-то новое не только выражению ее лица, но и всему, что ее окружало.

— А это что за люди? — спросила она с удивлением при виде спутников мсье Риго.— Что им здесь нужно?

— Что это за люди, хотите вы знать, сударыня? — подхватил Риго.— Клянусь богом, это друзья вашего сынка-арестанта. Что им здесь нужно, хотите вы знать? Клянусь дьяволом, сударыня, мне это неизвестно. Спросите лучше их самих.

— Да вы ведь только что просили нас не уходить,— сказал ему мистер Панкс.

— А вы ведь отвечали, что и не собираетесь,— возразил Риго.— Короче говоря, сударыня, позвольте представить вам двух ищеек — двоих полоумных, которых ваш сынок-арестант натравил на меня. Если вы желаете, чтобы они присутствовали при нашей беседе — сделайте одолжение. Мне они не мешают.

— С какой стати мне желать этого,— сказала миссис Кленнэм.— Что у меня общего с ними?

— В таком случае, сударыня,— сказал Риго, так грузно плюхнувшись в кресло, что даже пол затрясся,— можете их прогнать. Меня это не касается. Это не мои друзья и не мои ищейки.

— Слушайте вы, Панкс,— сказала миссис Кленнэм, грозно нахмурив лоб.— Вы служите у мистера Кэсби. Вот и занимайтесь делами своего хозяина. Ступайте! И этого человека тоже уведите отсюда.

— Покорно благодарю, сударыня,— отвечал Панкс.— Рад заметить, что ничего против этого не имею. Мы сделали для мистера Кленнэма все, что обещали сделать. Мистер Кленнэм очень беспокоился (особенно после того как угодил в тюрьму), насчет того, чтобы разыскать этого симпатичного джентльмена и доставить его туда, откуда он так таинственно исчез. Ну вот, он перед вами. Но мое мнение, которое я могу высказать этому красавчику в лицо,— добавил мистер Панкс,— что мир бы не много потерял, если б он и вовсе не нашелся.

— Вашего мнения никто не спрашивает,— сказала миссис Кленнэм.— Ступайте.

— Сожалею, что должен оставить вас в таком дурном обществе, сударыня,— сказал Панкс,— сожалею также, что мистер Кленнэм лишен возможности присутствовать здесь. Тем более по моей вине.

— Вы хотите сказать, по своей вине,— поправила миссис Кленнэм.

— Нет, сударыня, я хочу сказать то, что сказал,— возразил Панкс,— ибо это я имел несчастье склонить его к столь неудачному помещению капитала (мистер Панкс упорно держался за свой термин и никогда не употреблял слова «спекуляция»). Я, впрочем, берусь доказать с цифрами в руках,— добавил он озабоченно,— что по всем данным это было очень удачное помещение капитала. Я до сих пор каждый день проверяю свои расчеты и каждый день убеждаюсь в их правильности. Не время и не место вдаваться в это сейчас,— продолжал мистер Панкс, с вожделением поглядывая на свою шляпу, в которой лежала записная книжка с расчетами,— но цифры остаются цифрами, и они неопровержимы. Мистер Кленнэм должен был теперь разъезжать в собственной карете, а мне должно было очиститься от трех до пяти тысяч фунтов.

И мистер Панкс запустил пятерню в волосы с не менее победоносным видом, чем если бы упомянутая сумма лежала наличными у него в кармане. Со времени краха, унесшего его деньги, он весь свой досуг посвящал этим не-

опровержимым расчетам — занятие, которым ему суждено было тешиться до конца своих дней.

— Да что там говорить,— сказал мистер Панкс.— Альтро, приятель, вы видели цифры и знаете, насколько они точны.

Мистер Баптист, который по недостатку арифметических познаний не мог прийти к тому же утешительному выводу, кивнул головой и показал все свои белые зубы.

Но тут заговорил мистер Флинтвинч, до сих пор молча вглядывавшийся в него:

— А, так это вы! Мне ваше лицо с самого начала показалось знакомым, но я не был уверен, пока не увидал ваши зубы. Как же, как же! Это тот самый назойливый иностранец,— пояснил Иеремия миссис Кленнэм,— который приходил сюда в вечер, когда Трещотке вздумалось осматривать с Артуром дом, и устраивал мне целый допрос относительно мистера Бландуа.

— Я самый,— весело подтвердил мистер Баптист.— Что ж, padrona, видите, как хорошо. Я неукоснительно искал его и нашел.

— Было бы еще лучше,— заметил мистер Флинтвинч,— если бы вы неукоснительно сломали себе шею.

— А теперь,— сказал Панкс, который уже не раз скашивал глаза на окно и на штопавшийся у этого окна чулок,— я хотел бы сказать в заключение еще два слова. Будь мистер Кленнэм здесь — к несчастью, он болен и в тюрьме, да, болен и в тюрьме, бедняга, что, впрочем, не помешало ему одержать верх над этим милейшим джентльменом и доставить его сюда вопреки его воле,— так вот, будь мистер Кленнэм здесь,— повторил мистер Панкс, шагнув к окну и кладя на чулок свою правую руку,— он бы сказал: «Эффери, расскажите свои сны!»

Мистер Панкс предостерегающим жестом поднял между своим носом и чулком указательный палец, развел пары и отчалил, таща на буксире мистера Баптиста. Уже хлопнула за ними парадная дверь, уже затихли их шаги на мощеном дворе, а в комнате все еще никто не произнес ни слова. Миссис Кленнэм и мистер Флинтвинч поглядели друг на друга; потом оба, как по команде, перевели взгляд на миссис Эффери, которая прилежно штопала чулок.

— Что ж,— сказал, наконец, Иеремия и, сделав два или три оборота винта по направлению к окну, вытер ладони о фалды сюртука, словно ему предстояла какая-то работа.— Раз уж мы сошлись тут для делового разговора, не будем терять времени и приступим. Эффери, старуха, марш отсюда!

В одно мгновение Эффери отбросила чулок, вскочила, поставила правое колено на подоконник, ухватилась правой рукой за косяк, а левой приготовилась отбивать возможное нападение.

— Нет, я не уйду, Иеремия,— не уйду, не уйду, не уйду! Я останусь здесь! Хоть умру, а останусь! Я узнаю, наконец, то, чего не знаю, и расскажу то, что знаю! Я буду слушать ваш разговор! Буду, буду, буду!

Мистер Флинтвинч остолбенел было от изумления и ярости; потом послюнил два пальца правой руки, начертил ими кружок на ладони левой и, злобно оскалив зубы, стал по кривой подбираться к своей супружнице, издавая какое-то сдавленное шипение, в котором можно было расслышать слова: «Закачу порцию...»

— Не подходи ко мне, Иеремия! — взвизгнула Эффери, размахивая рукой в воздухе.— Не смей подходить, или я подниму на ноги всю округу! Выброшусь из окна! Закричу пожар, убивают! Так закричу, что мертвые проснутся. Стой, если не хочешь, чтобы я перебудила всех мертвецов на кладбище!

— Стойте! — раздался повелительный голос миссис Кленнэм. Но Иеремия и так уже остановился.

— Близится час, Флинтвинч. Оставьте ее. Эффери, неужели после стольких лет вы пойдете против меня?

— Если узнать то, чего я не знаю, и рассказать то, что знаю, значит пойти против вас — пойду! Меня теперь уж не удержишь. Я решила и добьюсь своего. Добьюсь, добьюсь, добьюсь! Да, я пойду против вас, коли так, против обоих вас пойду! Когда Артур только приехал, я говорила ему, чтобы он не поддавался вам, умникам. Я говорила: пусть, мол, меня запугали до смерти, но ему-то нет причин бояться. А с тех пор здесь много чего произошло, и я больше не хочу, чтобы Иеремия донимал меня своими угрозами, не хочу, чтобы меня морочили и запугивали или втягивали в какие-то темные дела. Не хочу, не хочу, не хочу!

А если теперь Артур болен, и в тюрьме, и не может за себя постоять, так я постою за него. Постою, постою, постою!

— С чего вы взяли, бессмысленное вы существо, что подобные ваши поступки будут на пользу Артуру? —строго спросила миссис Кленнэм.

— Не знаю, не знаю, ничего не знаю,— сказала Эффери.— Вы вот меня назвали сейчас бессмысленным существом, так это святая правда, я и есть бессмысленное существо — по вашей милости. Вы меня выдали замуж, не спросив, хочу я или нет, и с тех пор я только и знаю, что дрожу от страха, то наяву, то во сне — как тут не стать бессмысленным существом? Вы, двое умников, нарочно старались меня довести до этого, вот и довели. Но больше я вам подчиняться не буду — не буду, не буду, не буду! — Она все еще размахивала рукой, отбиваясь от несостоявшегося нападения.

Миссис Кленнэм минуту или две смотрела на нее молча, затем обратилась к Риго:

— Я полагаю, вы сами видите, что эта женщина не в своем уме. Помешает вам ее присутствие?

— Мне, сударыня? — переспросил он.— При чем здесь я? Может быть, *вам* оно помешает?

— Нет,— сумрачно произнесла миссис Кленнэм.— Мне теперь уже все равно, Флинтвинч,— близится час.

Мистер Флинтвинч вместо ответа метнул убийственный взгляд на свою благоверную, затем, словно желая помешать себе броситься на нее, скрестил руки на груди, ввинтил их в проймы жилета, так что почти уперся подбородком в локоть, и застыл в этой странной позе, наблюдая за Риго. Последний встал с кресла и уселся на край стола, болтая ногами. Расположившись столь непринужденно напротив миссис Кленнэм, он взглянул ей в лицо, и усы его вздернулись кверху, а нос загнулся книзу.

— Сударыня, перед вами джентльмен...

— Который,— твердым голосом прервала она,— как мне говорили, сидел во французской тюрьме по обвинению в убийстве.

Он с преувеличенной галантностью послал ей воздушный поцелуй.

— Абсолютно точно! Причем в убийстве дамы! Нелепость, не правда ли? Кто бы этому поверил? Впрочем, все

кончилось тогда весьма успешно для меня. Надеюсь, так же будет и сегодня. Целую ваши ручки, сударыня. Итак, продолжаю свою мысль: перед вами джентльмен, и если этот джентльмен сказал: «Я покончу с таким-то делом в такой-то день», значит, так оно и будет. А потому предупреждаю вас: сегодня наша последняя встреча. Надеюсь, меня слышат и понимают?

Ее взгляд, устремленный на него, оставался неподвижным, но брови слегка дрогнули.

— Да.

— Далее: перед вами джентльмен, который не унижается до обыкновенных коммерческих сделок, но ценит деньги, как средство жить в свое удовольствие. Надеюсь, меня слышат и понимают?

— Вопрос, мне кажется, излишний. Да.

— Далее: перед вами джентльмен самого кроткого и покладистого нрава, который, однако же, если его задеть, может превратиться в разъяренного льва. Это свойство всякой аристократической натуры. У меня натура аристократическая. А когда лев — то есть я — разъярен, я жажду мщения не меньше, чем денег. Надеюсь, меня по-прежнему слышат и понимают?

— Да,— прозвучал ответ, чуть громче, чем раньше.

— Умоляю вас, сударыня, не теряйте спокойствия. Итак, я сказал, что сегодня наша последняя встреча. Позвольте напомнить вам две предыдущие.

— В этом нет надобности.

— Черт побери, сударыня! — нетерпеливо вскричал Риго.— Считайте, что таков мой каприз! К тому же это устранит всякую неясность! Первая встреча носила предварительный характер. Я имел честь представиться вам и вручить рекомендательное письмо (хоть с вашего позволения, сударыня, я — Рыцарь Удачи, но мои изящные манеры помогли мне в качестве учителя языков преуспеть у ваших соотечественников, которые друг с другом туги и неподатливы, как их крахмальные воротники, но перед иностранцем с изящными манерами всегда готовы размякнуть), а заодно я углядел в вашем почтенном доме,— он с улыбкой обвел глазами комнату,— кое-какие предметы, рассеявшие мои последние сомнения и убедившие меня, что дама, с которой я имел честь познакомиться,— именно та,

кого я искал. На первый раз мне этого было довольно. Я дал моему другу Флинтвинчу слово побывать еще и деликатно удалился.

На лице миссис Кленнэм нельзя было прочитать ни возмущения, ни покорности. Говорил ли Риго, молчал ли, она смотрела на него из-под сдвинутых бровей все так же внимательно и так же напряженно, словно в ожидании чего-то неминуемого.

— Я употребил выражение «деликатно», ибо это и в самом деле было деликатно с моей стороны,— удалиться, ничем не встревожив даму. Деликатность чувств наряду с изяществом манер — природное свойство Риго-Бландуа. Но, кроме того, это было и политично — не назначить дня следующего визита и заставить ожидать себя с некоторым смутным опасением. Ваш смиренный раб не чужд политики! О да, сударыня, он не чужд политики! Но мы отвлеклись в сторону. Итак, в один прекрасный день я имею удовольствие вновь посетить ваш дом. Я даю понять, что в моем распоряжении имеется нечто, и я готов это нечто продать; если же оно не будет куплено, то может серьезно скомпрометировать глубоко уважаемую мной даму. В подробности я не вхожу. Я называю свою цену — если не ошибаюсь, тысяча фунтов. Благоволите поправить меня, если я ошибся.

Вынужденная таким образом к ответу, она нехотя произнесла:

— Да, вы хотели получить тысячу фунтов.

— Теперь я хочу получить две. Оттяжки в таких делах всегда невыгодны. Но — я снова отвлекся. Нам не удается достигнуть согласия на этот счет; мы расстаемся, не сговорившись. Я шутник; таково одно из моих приятнейших свойств. Шутки ради я прячусь и даю повод к подозрениям в убийстве. Казалось бы, уже за одно то, чтобы избавиться от подобных подозрений, стоит заплатить половину назначенной суммы! Но вмешательство случая и ищеек вашего сынка портят мне игру как раз тогда, когда плод уже созрел (о чем, впрочем, знаете лишь вы и Флинтвинч). И вот, сударыня, я снова здесь, теперь уже в последний раз. Слышите? В последний раз!

Он постучал о боковую доску стола каблуками и, наглым взглядом ответив на движение бровей миссис Клен-

нэм, продолжал, уже без прежней издевательской вежливости:

— Постойте-ка! Начнем по порядку! Вот счет из гостиницы, по которому вы обязались уплатить. Через пять минут мы можем оказаться на ножах. Я не хочу откладывать, а то как бы вы меня потом не надули. Платите! Деньги на бочку!

— Флинтвинч, возьмите у него счет и уплатите,— сказала миссис Кленнэм.

Мистер Флинтвинч хотел было подойти, но Риго швырнул счет ему в лицо и заорал, протягивая руку:

— Платите! Раскошеливайтесь! Деньги на бочку!

Иеремия подхватил счет, взглянул на сумму налившимися кровью глазами, достал из кармана небольшой холщовый мешочек и отсчитал в протянутую руку деньги.

Риго побренчал монетами, взвесил их на ладони, подкинул в воздух, поймал, побренчал еще.

— Эта музыка для храброго Риго-Бландуа — что запах свежатины для тигра. Ну, сударыня? Ваша цена?

Он круто повернулся к ней, сжав в кулак руку с деньгами, как будто для удара.

— Я вам уже сказала, и могу повторить еще раз: мы не так богаты, как вам кажется, а сумма, которую вы требуете, непомерно велика. В данное время я не имею возможности выплатить такую сумму, даже если бы очень желала.

— Если бы! — вскричал Риго.— Мне нравится это «если бы»! Уж не скажете ли вы, что не желаете?

— Я скажу то, что найду нужным, а не то, что вздумается вам.

— Так говорите же. Ну, живо! Желаете вы платить или нет? Говорите, а я уж буду знать, что мне делать.

Ответ был дан тем же ровным, размеренным голосом:

— Очевидно, к вам в руки попала какая-то бумага, которую мне, по всей вероятности, желательно вернуть.

Риго с громким хохотом забарабанил каблуками о стол и забренчал монетами.

— Еще бы! Я в этом не сомневаюсь!

— Возможно, эта бумага стоит того, чтобы заплатить за нее некоторую сумму. Но какую именно, я пока сказать не могу.

— Тысяча дьяволов! — прорычал Риго.— Я ведь дал вам неделю на размышление!

— Верно. Но я не намерена при моих скудных средствах — ибо мы, повторяю, скорей бедны, чем богаты,— не намерена назначать цену на то, чего я не видела и не знаю. Уже в третий раз я слышу от вас какие-то неопределенные намеки и угрозы. Говорите прямо, в чем дело, а нет — ступайте куда хотите и делайте что хотите. Лучше сразу быть растерзанной на части, чем оказаться мышью, с которой играет такая кошка.

Он так впился в нее своими слишком близко посаженными глазами, что казалось, два зловещих луча, пересекаясь, режут горбинку его носа. Наконец он сказал со своей адской улыбкой:

— Вы смелая женщина.

— Я решительная женщина.

— И вы всегда были такой. А? Верно, Флинтвинчик, она всегда была такой?

— Не отвечайте ему, Флинтвинч. Пусть скажет сейчас все, что может сказать, или же пусть идет и делает все, что может сделать. Ведь так мы с вами решили. Теперь его очередь решать.

Она не дрогнула под злобным взглядом Риго и не отвела своих глаз. Он смотрел на нее в упор, но ее лицо сохраняло выражение, застывшее на нем с первой минуты. Тогда он соскочил со стола, приставил к дивану стул, сел и, облокотясь на диван, коснулся ее руки. Ее глаза из-под сдвинувшихся бровей все так же настороженно смотрели в одну точку.

— Вам, стало быть, угодно, сударыня, чтобы я в этом тесном семейном кружке рассказал одну небольшую семейную историю,— сказал Риго, словно в предостережение поиграв своими гибкими пальцами по рукаву миссис Кленнэм.— Кстати, я несколько сведущ в медицине. Позвольте-ка ваш пульс.

Она не противилась. Он взял ее за руку и продолжал:

— Речь пойдет об одном странном браке, о не менее странном материнстве, о мести и об утаенной бумаге. Ай-ай-ай! Удивительно неровный пульс! Вдруг забился чуть не вдвое быстрее! Это связано с вашей болезнью, сударыня?

Она судорожным движением вырвала руку, но лицо ее оставалось спокойным. Риго улыбался своей обычной улыбкой.

— У меня жизнь всегда полна приключений. Люблю приключения, это мое природное свойство. Знавал я многих искателей приключений — любопытный народ, приятнейшее общество! Одному из них я обязан сведениями и доказательствами — слышите, дражайшая миссис Кленнэм, доказательствами! — касающимися забавной семейной истории, которую я собираюсь рассказать. Она вам очень понравится. Ба, да что же это я! У всякого рассказа должно быть название. Назовем его так: история одного дома. Нет, погодите. Домов много. Лучше так: история этого дома.

Откачнув стул назад и скрестив ноги в воздухе, он для равновесия опирался левой рукой на подлокотник дивана, а правой то поправлял волосы, то подкручивал усы, то поглаживал нос, но в каждом его движении было что-то зловещее; и, сохраняя эту развязную позу, время от времени похлопывая миссис Кленнэм по руке, чтобы подчеркнуть те или иные слова, наглый, бесцеремонный, хищный, жестокий, уверенный в собственной силе, он неторопливо повел свой рассказ.

— Итак, стало быть,— история этого дома. Начинаю. Жили здесь, предположим, дядя и племянник. Дядя — суровый старый джентльмен весьма крутого нрава; племянник — тихий, робкий и в полном повиновении у дяди.

Тут миссис Эффери, которая внимательно слушала со своего места у окна, кусая уголок передника и дрожа всем телом, вдруг закричала.

— Не вздумай только подойти, Иеремия! Это он говорит про Артурова отца и его дядю. Я про них слыхала во сне. Меня в то время еще не было здесь, но во сне я слыхала, что Артуров отец именно такой и был, слабый, боязливый, с самого своего сиротского детства запуганный до полусмерти; даже и жену ему дядя выбрал, не спросившись его. Вот она сидит, его жена! Я во сне слыхала, как ты сам и говорил ей это.

Мистер Флинтвинч замахнулся на нее кулаком, миссис Кленнэм устремила на нее свой тяжелый взгляд, а Риго послал ей воздушный поцелуй.

— Все в точности так, милейшая миссис Флинтвинч. Вы великая сновидица.

— Я в ваших похвалах не нуждаюсь,— отрезала Эффери.— И не с вами вовсе я разговариваю. Иеремия всегда уверял, что мне все только снится, вот я и рассказываю про это, как про сон.— И она снова засунула угол передника в рот, словно это был не ее рот, а чужой, который ей очень хотелось заткнуть — например, ее любезного супруга, от ярости стучавшего зубами, как от стужи.

— Наша драгоценная миссис Флинтвинч,— сказал Риго,— неожиданно обнаружила редкий дар прозрения и чтения чужих мыслей. Да. Именно так и развертываются события в моем рассказе. В один прекрасный день дядя приказывает племяннику жениться. Он ему говорит примерно такие слова: «Племянничек, вот тебе жена — дама не менее крутого нрава, чем я сам, суровая, решительная, с железной волей, способная стереть в порошок того, кто слабей ее, не знающая ни любви, ни жалости, непримиримая, мстительная, холодная как камень, но неукротимая как огонь». Ах, что за сила духа! Что за великолепный проницательный ум! Что за гордая и благородная натура вырисовывается в этих предполагаемых словах! Ха-ха-ха! Громы и молнии, можно ли не влюбиться в столь прелестную особу!

На этот раз в лице миссис Кленнэм произошла некоторая перемена. Оно вдруг заметно потемнело, и на нахмуренном лбу резче обозначились складки.

— Сударыня, сударыня,— сказал Риго, похлопывая ее по руке, словно ударяя своими цепкими пальцами по клавишам какого-то музыкального инструмента.— Я вижу, мой рассказ начинает интересовать вас. Я вижу, он, наконец, затронул ваши чувства. Что ж, продолжим.

Но ему пришлось на минуту прикрыть своей белой рукой лицо, чтобы спрятать гримасу торжества, уже вздергивавшую кверху его усы и пригибавшую книзу нос. Он неудержимо наслаждался произведенным впечатлением.

— Племянник, как мы уже слышали из вещих уст миссис Флинтвинч, с самого своего сиротского детства был запуган и заморен голодом до полусмерти, а потому он покорно опускает голову и шепчет: «Воля ваша, дядюшка. Как скажете, так и будет». И дядюшка поступает согласно

своей воле. Он, кстати, никогда и не поступал иначе. Счастливый союз освящен, молодые прибывают в этот прелестный домик, где новобрачную встречает, предположим, Флинтвинч. А, старый каверзник?

Но Иеремия смотрел на свою госпожу и не отвечал. Риго поглядел на него, потом на нее, дернул себя за кончик носа и щелкнул языком.

— Вскоре новобрачная делает неожиданное и ошеломляющее открытие. И тогда, в пылу гнева, ревности, желания отомстить, у нее является план — слышите, сударыня! — хитроумный план возмездия, по которому безвольный муженек не только должен быть сокрушен сам, но и стать орудием уничтожения ее соперницы. Что за блистательный ум!

— Не вздумай подойти, Иеремия! — с волнением вскричала Эффери, вынув передник изо рта.— Но я и это видела во сне: будто вы с ней ссорились однажды зимним вечером — она сидела там, где сейчас, а ты стоял перед ней и упрекал ее, зачем она допустила, чтобы Артур, вернувшись из Китая, подозревал отца в чем-то; сила, мол, всегда была на ее стороне, и она должна была вступиться за покойника перед сыном. И в этом же самом сне ты еще сказал, что она не... — а что не, я так и не узнала, потому что она сразу взвилась и не дала тебе договорить. Ты отлично знаешь, когда это было. В тот вечер, когда ты пришел со свечкой в кухню и сдернул у меня с головы передник. И ты тогда сказал, что все это мне приснилось. И не хотел верить, что я слышу какой-то шум в доме.— После этой бурной тирады Эффери снова заткнула себе передником рот и умолкла, не снимая колена с подоконника и не отнимая руки от косяка, готовая закричать караул или выпрыгнуть из окна при первой попытке ее господина и повелителя приблизиться.

Риго с жадностью ловил каждое ее слово.

— Ага! — вскричал он, подняв брови, скрестив руки на груди и откинувшись на спинку стула.— Право же, миссис Флинтвинч — настоящая пифия! Но как нам — мне, вам и этому старому каверзнику — истолковать ее речь? Он сказал, что вы не...— а вы взвились и не дали ему договорить. Итак, вы не... что? Что? Говорите, сударыня?

Его издевательские наскоки оставались без ответа, но видно было, что ей приходится нелегко. Она тяжело дышала, губы ее приоткрылись и дрожали, как она ни старалась унять эту дрожь.

— Я жду, сударыня! Говорите! Старый каверзник сказал, что вы не... А вы помешали ему договорить. Он собирался сказать, что вы не... что? Я-то знаю, но мне хотелось бы, чтобы вы меня почтили доверием. Ну? Вы не... что?

Ее отчаянная попытка сдержать себя не удалась, и она исступленно вскрикнула:

— Не мать Артуру!

— То-то же! — сказал Риго.— С вами все-таки можно иметь дело.

Страсть, прорвавшаяся наружу, исказила всегда неподвижные черты, и огонь, так долго тлевший под спудом, забушевал вовсю.

— Я сама расскажу! Я не желаю слушать это из ваших уст, в вашем гнусном истолковании! Если уж это дело должно раскрыться, так пусть оно раскроется в том свете, в каком я его вижу. Ни слова больше. *Я* буду говорить.

— Не старайтесь быть еще более упорной и своевольной, чем вы есть,— вмешался мистер Флинтвинч.— Пусть этот мистер Риго, мистер Бландуа, мистер Вельзевул рассказывает по-своему. Какая разница, если он все равно все знает?

— Он не все знает.

— Он знает то, что ему нужно,— сердито настаивал мистер Флинтвинч.

— Он не знает *меня.*

— А зачем ему вас знать, гордячка вы несчастная?

— Я сказала, что буду говорить, Флинтвинч, и я буду говорить. Если уж дошло до того, так я сама расскажу всю правду, и это будет *моя* правда, от начала и до конца. Как! Столько лет томиться в этой комнате, безвыходно, как в тюрьме, и под конец пасть до того, чтобы увидеть себя в *таком* зеркале! Разве вы не разглядели этого человека, Флинтвинч? Разве вы не слышали его? Да будь ваша жена еще во сто раз более неблагодарной, и будь у меня в тысячу раз меньше надежды заставить ее молчать, после того как будет куплено *его* молчание — и то я предпочла бы

сама все рассказать, но не обрекать себя на муку выслушать это от него!

Риго отодвинул свой стул и уселся к ней лицом, вытянув ноги и не разнимая рук, скрещенных на груди.

— Вы не знаете,— продолжала она, обращаясь теперь уже к нему,— что значит быть воспитанным в строгих правилах. Так была воспитана я. Мои годы прошли без легкомысленных и грешных утех, свойственных юности. Я знала лишь назидательную суровость, наказания и страх. Наши помыслы греховны, наши поступки нечестивы, проклятие тяготеет над нами, зло подстерегает нас со всех сторон — с детства я только об этом и слышала. Под влиянием таких разговоров складывался мой характер, они же научили меня презирать и ненавидеть грешников. Когда старый мистер Гилберт Кленнэм предложил моему отцу выдать меня замуж за его племянника-сироту, отец уверил меня, что этот молодой человек получил такое же строгое и примерное воспитание, как и я сама. Что он к тому же вырос в суровом доме, куда не было доступа веселью, и дни его протекали в вынужденном посте, трудах и нелегких испытаниях. Что хоть по годам он уже взрослый мужчина, дядя лишь недавно перестал считать его ребенком; и что от школьных дней и поныне жизнь под благочестивым дядиным кровом надежно ограждала его от пагубных примеров безбожия и распущенности. И когда спустя год после нашей свадьбы я узнала, что в то самое время, когда произносились эти слова, мой будущий муж нарушил закон господа бога и оскорбил меня, поставив на место, принадлежавшее мне по праву, другую женщину, такое же грешное создание, как и он сам,— могла ли я сомневаться, что само провидение открыло мне эту преступную тайну и избрало меня своим орудием, чтобы покарать грешницу? Могла ли я забыть хоть на миг — не свою обиду, нет, ибо что я такое? — но то отвращение к греху и готовность бороться с ним, которые во мне растили с малых лет?

Дрожащей от гнева рукой она накрыла часы, лежавшие на столе.

— Да! «Не забывай!» Тогда, как и теперь, здесь, под крышкой, можно было увидеть начальные буквы этих слов. Провидению угодно было, чтобы я нашла часы в потайном ящике его стола вместе со старым письмом, которое объ-

яснило мне, что означают эти буквы, и чьей рукой они были вышиты, и при каких обстоятельствах. Если бы не воля провидения, я бы никогда не узнала об этом. «Не забывай». Точно голос разгневанных небес звучали мне эти два слова. Не забывай, что сотворен грех, не забывай, что ты была избрана, чтобы узнать о нем и наказать виновных. Я не забыла. Но разве это свою обиду я помнила? О нет! Я лишь слуга господня, творящая его волю. Разве я была бы властна над ними обоими, если бы господь бог не отдал мне их, скованными по рукам и по ногам цепями греха?

Сорок с лишним лет пронеслось с тех пор над седой головой этой непреклонной женщины. Сорок с лишним лет мучительных и упорных стараний заглушить внутренний голос, шептавший, что, как бы она ни называла свой гнев и свою оскорбленную гордость, ничто и никогда не изменит истинной природы ее чувств. Но и теперь, через сорок лет, когда уже глянула ей в лицо Немезида, она оставалась верна себе, по-прежнему кощунственно извращая порядок Творения и стремясь вдунуть собственное дыхание в созданный ею образ Творца. Диковинны и страшны языческие идолы, встречающиеся путешественникам в далеких варварских странах; но самые чудовищные из них не сравнятся с теми грубыми и отталкивающими изображениями божества, которые мы, исчадия праха земного, творим по образу и подобию своему из низменных своих страстей.

Когда я заставила его назвать мне ее имя и сказать, где она живет,— продолжала миссис Кленнэм свою страстную исповедь,— когда, изобличенная мною, она упала, пряча лицо, к моим ногам, разве за себя я винила ее, разве от своего имени осыпала ее упреками? Те, кому в древности было назначено идти к злым царям и обличать их, разве не были они посланцами и слугами божьими? Так ведь и я, недостойная, должна была изобличить грех! Когда она, моля о пощаде, говорила о своей молодости, о его тяжелой, безрадостной жизни (так называла она высокие нравственные правила, внушенные ему с детства), о жалкой профанации брачного обряда, которою тайно был скреплен их нечестивый союз, о страхе нищеты и позора, охватившем их, когда я была избрана орудием божьей

кары, о любви (она осмелилась произнести это слово, валяясь у меня в ногах), ради которой она решила отступиться от него и отдать его мне — разве это *мою* оскорбительницу уничтожила я презрением, разве *мой* гнев подсказывал мне слова, заставлявшие ее содрогаться и корчиться? Нет, тут совершался иной, высший суд; иная, высшая сила требовала искупления.

Уже много лет миссис Кленнэм с трудом шевелила даже пальцами; но во время этой речи она несколько раз стукнула кулаком по столу, а при последних словах простерла руку вверх свободным и словно бы привычным движением.

— Чем же должна была искупить свою вину эта закоснелая в грехе и распутстве женщина? Я мстительна и непримирима, я? Да, в глазах таких, как вы, не ведающих иной справедливости и иных велений, кроме тех, что исходят от сатаны! Смейтесь, но я-то знаю, какова я, и Флинтвинч знает, и такою я хочу предстать перед другими, хотя бы перед вами и перед этой выжившей из ума старухой.

— Добавьте: и перед самой собой,— вставил Риго.— Сдается мне, вы весьма не прочь оправдаться в собственных глазах, сударыня.

— Ложь! Неправда! Мне не в чем оправдываться! — гневно воскликнула она.

— Ой ли? — возразил Риго.

— Какова же, повторяю, была искупительная жертва, потребованная от нее? «У вас есть ребенок; у меня нет. Вы любите вашего ребенка. Отдайте его мне. Он будет считать себя моим сыном, и все будут считать его моим сыном. Чтобы спасти вас от позора, его отец даст клятву никогда больше не видеть вас и не писать к вам; а чтобы дядя не лишил его наследства и ваш ребенок не остался нищим, вы дадите клятву никогда не искать встречи ни с отцом, ни с сыном. Вы также откажетесь от той денежной помощи, которую вам сейчас оказывает мой муж. На этих условиях я возьму на себя заботу о вас. Вы можете переехать куда-либо, но так, чтобы никто, кроме меня, не знал, куда именно, и там, на новом месте, пользоваться репутацией порядочной женщины; я обещаю вам не разоблачать эту ложь». Вот и все. Ей только пришлось пожертвовать своими грешными и позорными привязанностями, ничего

больше. А затем она вольна была нести втайне бремя своей вины и втайне горевать о свершившемся; и этими временными страданиями (не столь уж тяжкими для нее, я полагаю!) заслужить спасение от вечных мук. Стало быть, наказывая ее в этой жизни, я открывала ей путь в жизнь иную и лучшую. Если она чувствовала себя опаленной неукротимым пламенем ненависти и мести, я ли разожгла это пламя? Если я постоянно держала ее под угрозой заслуженной ею кары, в моей ли власти было карать ее?

Она перевернула часы крышкой вверх, открыла их и с тем же суровым выражением взглянула на вышитые буквы.

— Они не забыли. Грешникам не дано забывать о своих грехах. Присутствие Артура постоянно бередило совесть его отца, отсутствие Артура постоянно терзало сердце его матери — так судил Иегова. Я ли виновата, если муки запоздалого раскаяния помутили ее разум, а провидению угодно было, чтобы она жила еще долгие годы после того? Я посвятила себя спасению ребенка, с колыбели обреченного на погибель: дала ему незапятнанное имя, воспитала его в страхе и трепете, как и надлежит тому, кто всю жизнь должен искупать проклятье греха, тяготевшее над ним еще до его появления на этот погрязший в пороках свет. Разве это — жестокость? Разве мне самой не пришлось страдать за грех, в котором я была не повинна? Когда половина земного шара легла между мной и отцом Артура, мы не стали дальше друг от друга, чем были, живя под одной крышей. Умирая, он послал мне эти часы с девизом «Не забывай». Я не забыла и никогда не забуду, хотя вижу в этих словах не то, что видел он. Я вижу в них свое предназначение, данное мне свыше. Таков для меня смысл букв Н. З., сейчас, когда они у меня перед глазами, таков был он и тогда, когда тысячи миль отделяли их от меня.

Она взяла часы со стола, словно и не замечая того удивительного обстоятельства, что к ней вдруг вернулась способность владеть руками, и устремила на них пристальный, вызывающий взгляд. Но Риго, презрительно щелкнув пальцами, воскликнул:

— Довольно, сударыня! Время не терпит! Довольно благочестивых разговоров! Все это мне известно и без вас. Рассказывайте об украденных деньгах, не то я расскажу

сам. Громы и молнии, мне надоело слушать всякую чепуху. Украденные деньги — вот о чем я хочу услышать!

— Негодяй! — воскликнула она, схватившись за голову.— Я не могу понять, какая ошибка, какое роковое упущение Иеремии (ведь он один был моим помощником и доверенным в этом деле) отдало в ваши руки сожженную и, должно быть, чудом восстановленную бумагу. Я не могу понять, как это произошло...

— Неважно, как,— возразил Риго.— Важно, что по счастливой случайности эта бумага находится у меня и припрятана в надежном месте. Мы с вами оба знаем, что это за бумага: приписка к завещанию мистера Гилберта Кленнэма, сделанная рукой присутствующей здесь дамы и засвидетельствованная подписями той же дамы и некоего старого каверзника! А, старый каверзник, марионетка со свернутой шеей! Но будем продолжать, сударыня. Время идет! Кто доскажет остальное, вы или я?

— Я! — воскликнула она еще решительней.— Я, потому что я не желаю видеть себя и не желаю, чтобы другие меня видели в кривом зеркале вашего рассказа! Ведь вы, растленный питомец тюрьмы и каторги, представите дело так, будто я сделала это ради денег. А я о деньгах и не думала!

— Ба, ба, ба! Придется мне отступить от своей привычки к галантности и сказать вам: ложь, ложь, ложь! Вы отлично знаете, что утаили бумагу и прибрали деньги к рукам.

— Не в деньгах было дело, негодяй! — Она вся напряглась, словно порываясь встать на свои немощные ноги, и такова была сила ее исступления, что казалось, еще немного, и это ей удастся.— Если Гилберт Кленнэм, впав в детство перед смертью, вообразил себя обязанным загладить обиду, будто бы причиненную девушке, которою был увлечен когда-то его племянник и которая зачахла от тоски и одиночества после того, как этому преступному увлечению был положен конец; и если он в своем старческом слабоумии продиктовал мне — мне, чья жизнь была отравлена ее грехом, в котором по воле провидения она сама мне призналась,— приписку к завещанию, имевшую целью вознаградить ее за якобы незаслуженные страдания, что же, по-вашему, нет никакой разницы между исправлением этой

заведомой несправедливости и обыкновенной кражей, какими занимаетесь вы и ваши тюремные дружки?

— Время идет, сударыня! Берегитесь!

— Даже если пожар охватит этот дом с крыши до фундамента,— возразила она,— я погибну в пламени, но не допущу, чтобы мои благочестивые побуждения смешивали с жадностью и корыстью убийц!

Риго издевательски щелкнул пальцами прямо ей в лицо.

— Тысяча гиней злополучной красотке, которую вы, не торопясь, свели в могилу. Тысяча гиней младшей дочери покровителя этой красотки, если до пятидесяти лет у него родится дочь, а если не родится, то младшей дочери его брата по достижении ею совершеннолетия — «в память бескорыстного покровительства, оказанного им некогда одинокой сироте». Две тысячи гиней! А? Дойдете вы, наконец, до них или нет?

— Этот покровитель...— исступленно начала было она, но он перебил ее.

— Называйте имена! Говорите прямо: мистер Фредерик Доррит! Без обиняков!

— Этот Фредерик Доррит был всему причиной. Не занимайся он музыкой и не будь его дом, в дни его молодости и достатка, постоянным прибежищем певцов, музыкантов и других подобных им детей Тьмы, привыкших отворачиваться от Света, эта девушка осталась бы тем, чем была, и не стремилась бы подняться на высоту, с которой все равно сорвалась. Так нет же. Тот самый бес, по наущению которого Фредерик Доррит возомнил себя человеком невинных и благих побуждений, уверил его, что он сделает доброе дело, если поможет бедной девушке, которую природа наделила хорошим голосом. Он стал давать ей уроки. И тут ее встретил отец Артура, который, идя суровой стезей добродетели, давно уже втайне тянулся к дьявольской приманке, именуемой искусством. Вот как случилось, что по вине Фредерика Доррита безвестная сирота, будущая певичка, одержала надо мной победу, и я была обманута и унижена! — то есть, нет, не я,— спохватилась она, и краска бросилась ей в лицо,— а тот, кто много выше меня! Не обо мне, грешной, речь!

Иеремия Флинтвинч, который незаметно подвинчивался все ближе к ней и теперь стоял совсем рядом, скорчил при

этих словах особенно противную гримасу и поочередно поджал обе ноги, как будто от услышанного у него под гетрами забегали мурашки.

— Наконец,— продолжала миссис Кленнэм,— ибо я подхожу к концу и больше ничего ни говорить, ни слушать об этом не намерена (осталось только оговорить условия сохранения тайны между нами четверыми),— наконец, когда я утаила эту приписку, что было сделано с ведома отца Артура...

— Но не с его согласия, как вам известно,— вставил мистер Флинтвинч.

— А разве я сказала, что с его согласия? — Она вздрогнула, неожиданно увидев Флинтвинча так близко, и, слегка отстранившись, смерила его подозрительным взглядом.— Вы столько раз были свидетелем наших споров, когда отец Артура требовал, чтобы я предъявила приписку, а я не соглашалась, что, скажи я так, вам бы ничего не стоило уличить меня во лжи. Но, утаив бумагу, я ее не уничтожила, а много лет хранила здесь, у себя. Поскольку все состояние Гилберта перешло к отцу Артура, я в любую минуту могла сделать вид, будто только что нашла ее, и передать эти две тысячи по назначению. Но, во-первых, это значило бы пойти на прямую ложь (и тем обременить свою совесть), а во-вторых, за все время, что я томлюсь здесь, мысли мои не изменились, и я не видела причин для такого поступка. Это была награда за то, что заслуживало кары,— ошибка старческого слабоумия. Я лишь исполнила долг, предписанный мне свыше, и с тех пор несу ниспосланный мне свыше крест. В конце концов бумага была уничтожена у меня на глазах (так по крайней мере я думала), но в то время мать Артура давно уже лежала в могиле, а ее покровитель, Фредерик Доррит, по воле провидения стал нищим и полубезумным стариком. Дочери у него не было. Я разыскала его племянницу, и то, что я сделала для нее, лучше денег, которые все равно не пошли бы ей впрок.— Помедлив с минуту, она добавила, как бы обращаясь к часам: — Эта девушка ни в чем не виновата, и, может быть, я не забыла бы принять меры, чтобы после моей смерти деньги достались ей.— Затем она умолкла, не сводя с часов задумчивого взгляда.

— Позвольте напомнить вам одну маленькую подроб-

ность, дражайшая миссис Кленнэм,— сказал Риго.— В тот вечер, когда наш милый арестант — мой друг и собрат — вернулся из чужих краев, эта интересная бумажка еще находилась в вашем доме. Позвольте напомнить и еще кое-что. Певчая птичка, которой вы подрезали крылья, долгое время сидела в клетке под присмотром выбранного вами стража, личности, хорошо известной этому старому каверзнику. Не попросим ли мы, чтобы старый каверзник рассказал, когда он в последний раз видел упомянутую личность.

— Об этом я вам скажу! — воскликнула Эффери, откупорив свой рот.— Я и это видела во сне, в самом первом моем сне. Иеремия, если ты сделаешь хоть шаг, я так закричу, что у собора святого Павла услышат! Личность, о которой говорит этот человек,— родной брат Иеремии, его близнец; он приходил сюда после приезда Артура, глубокой ночью, и Иеремия своими руками отдал ему эту бумагу, вместе с другими, в железной шкатулке, которую он унес с собой... На помощь! Убивают! Спаси-и-те!

Мистер Флинтвинч бросился было на нее, но Риго перехватил его по дороге. После короткой борьбы Флинтвинч сдался и мрачно заложил руки в карманы.

— Как! — с издевкой в голосе воскликнул Риго, локтями оттесняя его назад.— Нападать на даму, наделенную подобным даром сновидицы! Ха-ха-ха! Да вы на ней состояние можете нажить, показывая ее за деньги! Все ее сны немедленно сбываются. Ха-ха-ха! А вы и в самом деле похожи на своего братца, Флинтвинчик! Я словно вижу перед собой этого достойного джентльмена, каким я его встретил в антверпенском кабачке «Трех бильярдов», в переулке близ гавани, где все дома такие высокие и узкие,— я еще помог ему тогда столковаться с хозяином, не знавшим по-английски. Ну и мастер же был пить! Ну и курильщик же! Ну и квартирка же у него была — этакий меблированный холостяцкий приют в пятом этаже, над торговцем дровами и углем, швеей, столяром и жестянщиком. Там он и наслаждался жизнью среди винных паров и табачного дыма, деля свой досуг между пьянством и сном, пока в один прекрасный день не напился так крепко, что прямехонько отправился на небеса. Ха-ха-ха! Не все ли равно, как попали ко мне бумаги, хранившиеся в

железной шкатулке? Может быть, он сам отдал их мне для передачи вам; может быть, вид запертой шкатулки возбудил мое любопытство, и я взломал замок. Ха-ха-ха! Не все ли равно? Важно, что они у меня в руках. Мы ведь никакими средствами не брезгуем, а, Флинтвинч? Никакими средствами не брезгуем, верно я говорю, сударыня?

Пятясь перед ним и злобно отталкивая локтями его локти, мистер Флинтвинч дошел до угла за диваном, куда и забился, по-прежнему держа руки в карманах и сумрачно переводя дух под испытующим взглядом миссис Кленнэм.

— Ха-ха-ха! Это что же такое? — вскричал Риго.— Вы как будто не знакомы? Позвольте мне представить вас друг другу: миссис Кленнэм, укрывательница завещаний — мистер Флинтвинч, похититель таковых.

Мистер Флинтвинч вынул одну руку из кармана, чтобы поскрести подбородок, шагнул вперед и, глядя прямо в глаза миссис Кленнэм, обратился к ней с такой речью:

— Да, да, я знаю, что означает ваш пронзительный взгляд; но напрасно стараетесь, меня этим не запугаешь. Уж сколько лет я твержу вам, что вы самая упрямая и своевольная женщина на свете. Вот что вы такое. Называете себя смиренной грешницей, а на самом деле вы — воплощенное высокомерие. Вот что вы такое. При каждой нашей стычке я вам говорил: вы хотите, чтобы всё и вся подчинялось вам, ну а я не подчинюсь — вы готовы проглотить живьем каждого, с кем имеете дело, ну а я не дамся. Почему вы не уничтожили бумагу, как только она очутилась у вас в руках? Я вам советовал сжечь ее — но где там! Разве вы слушаетесь чьих-либо советов? Вам, видите ли, предпочтительней было сберечь ее. Вы, видите ли, еще, может, надумали бы дать ей силу. Как бы не так! Будто я не знаю, что вы никогда не рискнули бы сделать то, что могло навлечь на вас оскорбительное для вашей гордости подозрение. Но вы любите обманывать себя подобными выдумками. Ведь и сейчас вы стараетесь себя обмануть, представляя все так, будто вы сделали это не потому, что вы мстительная, жестокосердая женщина, страшная в гневе, не знающая ни пощады, ни жалости, но потому, что господь бог избрал вас своим орудием наказания виновных. Да кто вы такая, чтобы господь бог избирал

вас своим орудием? Может, на ваш взгляд, это религия, а на мой — одно притворство. И давайте уж говорить начистоту,— сказал мистер Флинтвинч, скрестив на груди руки и превратясь в олицетворение запальчивого упорства.— Сорок лет вы допекали меня (хоть я видел вас насквозь) этой игрой в возвышенные чувства, весь смысл которой был в том, чтобы дать мне почувствовать свое превосходство надо мной. Я вам отдаю должное — вы женщина недюжинного ума и недюжинных способностей; но ни при каком уме и ни при каких способностях нельзя сорок лет безнаказанно допекать человека. Так что ваши пронзительные взгляды меня не запугают. А теперь перехожу к истории с завещанием и советую слушать меня внимательно. Вы спрятали бумагу в укромное место, о котором знали только вы сами. Тогда вы еще были здоровы и в случае надобности легко могли достать ее из тайника. Что же происходит дальше? В один прекрасный день вас разбивает паралич, и вы уже не можете достать бумагу в случае надобности. Долгие годы она лежит, спрятанная в этом, только вам известном, тайнике. Но вот наступает срок возвращения Артура, со дня на день он может появиться в доме, и кто знает, в какие углы и закоулки ему вздумается заглянуть. Я говорю вам сто раз, тысячу раз: не можете достать бумагу сами, скажите мне, я достану, и мы бросим ее в огонь. Так нет же — одной владеть секретом, это дает приятное ощущение могущества, а уж по этой части вы настоящий Люцифер в женском роде, какой бы смиренницей ни прикидывались на словах. Наконец в один воскресный вечер приезжает Артур. Не успев и десяти минут пробыть в вашей комнате, он заводит разговор об отцовских часах. Вы прекрасно знаете, что в ту пору, когда его отец посылал вам эти часы, вся история уже давным-давно отошла в прошлое и «Не забывай» могло означать только одно: не забывай о своем преступлении. Отдай деньги тому, кому они принадлежат! Встревоженная настойчивостью Артура, вы решаете, что бумагу и в самом деле пора уничтожить. И вот, перед тем как лечь в постель с помощью этой бесноватой, этой Иезавели,— мистер Флинтвинч ощерился на свою благоверную,— вы, наконец, признаетесь мне, что спрятали бумагу в подвале, среди старых книг и счетов — признание, надо сказать, весьма

своевременное, ибо на следующее же утро Артур отправился в этот самый подвал. Но нельзя жечь бумагу в воскресенье! Нет, ваша набожность вам этого не позволяет; нужно ждать до полуночи, когда наступит понедельник. Это ли не называется допекать человека! Ну что ж, я не так набожен, как вы, а потому, будучи несколько раздосадован, не стал дожидаться понедельника и, взглянув на бумагу, чтобы напомнить себе ее вид, отыскал другой такой же пожелтелый от старости листок — в подвале их много валяется,— сложил его по образцу вашего, и после двенадцатого удара часов, подойдя к камину, сделал при свете лампы маленький фокус-покус и сжег не ту бумагу, а другую. Мой брат Эфраим с вашей легкой руки избрал своим промыслом надзор за сумасшедшими (жаль, он не догадался на самого себя надеть смирительную рубашку!), но ему не везло. Умерла его жена (это, впрочем, еще невелика беда; я бы на его месте только радовался); нажиться на сумасшедших не удавалось; а тут еще вышла неприятность из-за одного пациента, которого он чуть было не изжарил заживо, стараясь прояснить его разум; и в довершение всего он запутался в долгах. В конце концов он решил бежать из Англии с теми деньгами, которые ему удалось наскрести, и небольшим пособием, полученным от меня. В ту ночь на понедельник он был здесь — дожидался погоды, чтобы ехать пакетботом в Антверпен (вы, верно, возмутитесь, если я скажу: жаль, что не к черту!) — в Антверпен, где ему суждено было повстречаться с этим джентльменом. Он проделал длинный путь пешком, и я думал, что его клонит ко сну от усталости; теперь я понимаю, что он был пьян. В то время, когда мать Артура жила под присмотром его и его жены, она без конца писала письма, огромное количество писем, большей частью адресованных вам и содержавших в себе признания и мольбы о пощаде. Мой брат время от времени передавал мне целые пачки этих писем. Я рассудил, что отдавать их вам все равно что сразу бросать в огонь, так уж лучше я буду складывать их в шкатулку и перечитывать на досуге. А после возвращения Артура, решив, что пресловутый документ теперь держать в доме опасно, я спрятал его вместе с письмами, запер шкатулку на два замка и отдал брату, с тем что он будет хранить ее у себя,

пока я не напишу ему, как быть дальше. Я писал, и не раз, но все мои письма оставались без ответа, и я не знал, что предположить, пока нас не удостоил своим посещением этот джентльмен. Разумеется, я сразу же заподозрил истину, а теперь мне и без его объяснений нетрудно представить себе, как мой братец (лучше бы ему проглотить собственный язык!) выболтал ему кое-что между рюмкой и трубкой, а из бумаг, лежавших в шкатулке, он узнал остальное. Напоследок хочу сказать вам одно, меднолобая вы женщина: я так и не знаю, пустил бы я эту приписку в ход против вас или нет. Скорей всего, нет; мне довольно было бы сознания, что я одержал над вами верх и что вы в моей власти. Но обстоятельства изменились, и больше я вам сейчас ничего не скажу; остальное узнаете завтра вечером. А свои грозные взгляды приберегите для кого-нибудь другого,— добавил мистер Флинтвинч, завершая эту длинную речь крутым оборотом винта,— меня, я вам уже сказал, этим не проймешь.

Она медленно отвела глаза и уронила голову на руку. Но другая ее рука с силой уперлась в стол, и все тело снова как-то странно напряглось, будто она хотела встать.

— Нигде вы не извлечете из вашего секрета большей выгоды, чем здесь. Никто не даст вам за эту шкатулку больше меня. Но я не могу сейчас заплатить вам сполна всю сумму. У нас затишье в делах. Скажите, сколько вы хотите получить на первый раз и чем гарантируете мне свое молчание.

— Ангел мой,— возразил Риго.— Я уже говорил вам, сколько я хочу получить, а время не терпит. Перед тем как прийти сюда, я оставил копии самых важных документов в надежных руках. Если вы дотянете до того часа, когда в тюрьме Маршалси запирают ворота на ночь, будет поздно торговаться. Арестант все прочтет.

Она схватилась опять руками за голову, громко вскрикнула и встала. Сперва она шаталась — вот-вот упадет; но прошла минута, и она прочно утвердилась на ногах.

— Объясните свои слова — объясните свои слова, негодяй!

Так страшен был вид этой фигуры, застывшей в непривычной для нее прямоте, что даже Риго невольно

попятился и сбавил тон. Все трое чувствовали себя так, будто у них на глазах поднялся из могилы мертвец.

— Мисс Доррит,— сказал Риго,— племянница Фредерика Доррита, с которой я познакомился за границей, принимает в арестанте большое участие. Сейчас арестант лежит больной, и мисс Доррит, племянница Фредерика Доррита, дежурит у его постели. Направляясь сюда, я через тюремного сторожа передал ей пакет и письмо с просьбой «в интересах Артура Кленнэма» (в его интересах она сделает все) вернуть пакет нераспечатанным, если за ним придут до закрытия тюрьмы. Если же никто за ним не придет, то как только отзвонит колокол, она должна вручить его арестанту. В пакете две копии: одна для него, другая для нее самой. А? Не слишком доверяя вам, я позаботился, чтобы в случае чего мой секрет меня пережил. Что же до того, будто я нигде не извлеку из него большей выгоды, чем здесь, так не вы, сударыня, будете устанавливать цену, которую племянница Фредерика Доррита заплатит мне — в интересах Артура Кленнэма,— чтобы это дело не вышло наружу. Если пакет не будет истребован до закрытия тюрьмы, вам его уже не купить. Он останется за племянницей.

Снова напряженное усилие всего ее тела, и она рванулась к шкафу, стоявшему у стены, распахнула дверцы, схватила с полки шаль и накинула ее на голову. Но тут Эффери, в безмолвном ужасе следившая за своей госпожой, бросилась перед ней на колени, цепляясь за ее платье.

— Нет, нет, нет, нет! Что вы делаете? Куда вы идете? Вы страшная женщина, но я вам зла не желаю! Я теперь вижу, что не могу помочь бедному Артуру, и вам нечего бояться меня. Но не ходите никуда; вы упадете мертвой на улице. Только дайте мне слово, что, если ее, бедняжку, прячут где-то здесь, в доме, вы мне позволите ухаживать за ней, быть ее нянькой, сиделкой. Дайте слово, и вам нечего будет меня бояться.

Миссис Кленнэм, как лихорадочно она ни спешила, на миг остановилась, ошеломленная этой просьбой.

— Ее сиделкой! Да ее уже два десятка лет нет в живых. Спросите Флинтвинча, спросите *этого!* Они вам подтвердят, что она умерла, когда Артур уехал в Китай.

— Тем хуже,— сказала Эффери, вся задрожав,—

значит, это ее дух скитается здесь, не находя покоя. Кто же еще бродит по всему дому, подавая знаки живым — то зашуршит чем-то в углу, то осыплет пыль с потолка. Кто по ночам исчерчивает стены длинными кривыми линиями? Кто мешает отворять двери, придерживая их изнутри? Не выходите, госпожа, не выходите! Вы умрете на улице!

Но миссис Кленнэм оторвала от себя ее цепляющиеся руки и, бросив Риго: «Ждите меня здесь!» — выбежала вон. Было видно в окно, как она пробежала через двор и скрылась за оградой.

Несколько мгновений никто не шевелился. Эффери опомнилась первой и, ломая руки, пустилась вслед за своей госпожой. Потом Иеремия Флинтвинч — одна рука в кармане, другая у подбородка — стал потихоньку пятиться к двери и, наконец, извернувшись, без единого слова выскользнул из комнаты. Риго, оставшись один, развалился на подоконнике открытого окна, в излюбленной со времен марсельской тюрьмы позе, и закурил, положив рядом папиросы и спички.

— Ффуу! Ну и дом — та же тюрьма, нисколько не веселее! Только что не так холодно, а в остальном не лучше. Ждите меня здесь! Разумеется, я буду ждать; но куда она побежала и надолго ли? А впрочем, не все ли равно! Риго-Ланье-Бландуа, ты получишь свои денежки, приятель! Ты будешь богат. Джентльменом ты жил, джентльменом и умрешь. Победа за тобой, любезный друг,— как всегда; таково уж твое природное свойство. Ффуу!

Усы его вздернулись кверху, а нос загнулся книзу в самодовольной усмешке, и, торжествуя свою победу, он глянул вверх, на огромную потолочную балку, нависавшую над его головой.

ГЛАВА XXXI

Час настал

Солнце село, и сизый сумрак окутал улицы, по которым поспешно пробиралась та, что давно уже отвыкла от мостовых и тротуаров. Вблизи старого дома прохожие попадались редко, и некому было обращать на нее внимание; но когда сеть кривых переулков вывела ее на широкую

улицу, тянущуюся к Лондонскому мосту, она сразу же сделалась предметом общего любопытства.

Высокая, худая, с горящими глазами на мертвенно-бледном лице, в старомодной черной одежде и кое-как накинутой шали, она спешила вперед торопливым, но в то же время нетвердым шагом, как лунатик ничего не видя кругом. Эта странная фигура была заметней среди окружающей толпы, чем если бы она высилась на пьедестале, и потому невольно привлекала все взгляды. Зеваки пялили на нее глаза; деловые люди, проходя мимо, замедляли шаг и оглядывались; гуляющие сторонились, чтобы пропустить ее, и перешептывались, приглашая друг друга взглянуть на это живое привидение; и, казалось, вокруг нее образуется в толпе водоворот, втягивающий всех бездельников и ротозеев.

Растерявшись от этого шумного многолюдья, ворвавшегося вдруг в долголетнюю монотонность ее затворнического существования, от непривычного ощущения простора и еще более непривычного ощущения ходьбы, от неожиданных перемен в смутно помнившихся предметах, от несоответствия между картинами, которые ей подчас рисовало воображение, и кипучим разнообразием живой жизни, она продолжала свой путь, занятая сумятицей собственных мыслей и равнодушная к настойчивому любопытству толпы. Но, перейдя мост и пройдя еще немного вперед, она вспомнила, что не знает дороги, и тут только, оглянувшись в поисках, кого бы спросить, заметила устремленные на нее со всех сторон жадные взоры.

— Зачем вы окружили меня? — спросила она, задрожав.

Передние ряды молчали, но сзади кто-то визгливо крикнул:

— Затем, что вы сумасшедшая!

— Я не более сумасшедшая, чем вы все. Мне нужна тюрьма Маршалси, и я не знаю, как к ней пройти.

Тот же визгливый голос отозвался:

— А еще говорит, не сумасшедшая! Вот же она, тюрьма Маршалси, прямо перед вами!

В толпе поднялся гогот, но тут сквозь ряды протолкался небольшого роста молодой человек, с кротким, приветливым лицом, и сказал:

— Вам нужно в Маршалси? Я туда иду на дежурство. Пойдемте со мною.

Он подал ей руку и повел ее через улицу; толпа, раздосадованная тем, что ее лишают развлечения, напирала сзади, спереди, со всех сторон; слышались насмешки, советы отправляться лучше в Бедлам. После минутной кутерьмы в наружном дворике дверь тюрьмы отворилась и тотчас же снова захлопнулась за вошедшими. В караульне, казавшейся тихим и мирным пристанищем после уличной сутолоки, горела уже лампа, и ее желтый свет боролся с тюремными тенями.

— Ну, Джон,— сказал впустивший их сторож.— Что там случилось?

— Ничего не случилось, отец. Просто эта дама не знала дороги, а мальчишки приставали к ней. Вы кого хотите повидать, сударыня?

— Мисс Доррит. Она сейчас здесь?

Молодой человек заметно оживился.

— Да, она здесь. А как прикажете передать, кто ее спрашивает?

— Миссис Кленнэм.

— Мать мистера Кленнэма?

Она закусила губы, медля с ответом.

— Да. Скажите, что пришла его мать.

— Видите ли, сударыня,— сказал молодой человек,— семейство смотрителя тюрьмы гостит в деревне, и смотритель предоставил в распоряжение мисс Доррит одну из своих комнат. Не угодно ли вам пройти туда, а я схожу за мисс Доррит.

Она молча кивнула головой, и он по боковой лестнице провел ее в квартиру, расположенную в верхнем этаже. Там он распахнул перед нею дверь комнаты, в которой было уже почти темно, и удалился. Комната выходила на тюремный двор, где обитатели Маршалси коротали на разные лады этот летний вечер: одни слонялись по двору, другие выглядывали из окон, третьи, наконец, отыскав укромный уголок, прощались с уходившими посетителями. В тюрьме было душно, жарко; от спертого воздуха кружилась голова; из-за стен смутно доносился шум вольной жизни, напоминая те бессвязные звуки, которые иногда слышишь в кошмаре или в бреду. Стоя у окна, она со стра-

хом и изумлением глядела на тюрьму, словно узница другой тюрьмы, непохожей на эту,— как вдруг тихое восклицание заставило ее вздрогнуть и оглянуться. Перед ней стояла Крошка Доррит.

— Миссис Кленнэм, какое счастье! Ваше здоровье настолько поправилось, что...

Крошка Доррит умолкла, так как лицо, обращенное к ней, отнюдь не говорило о здоровье или о счастье.

— Здоровье тут ни при чем; я сама не знаю, какая сила позволила мне прийти сюда.— Нетерпеливым движением она отмахнулась от этой темы.— У вас находится пакет, который вы должны были передать Артуру, если за ним не придут до закрытия тюрьмы.

— Да.

— Я пришла за ним.

Крошка Доррит вынула из-за корсажа пакет и подала ей, но она, взяв пакет, не убрала руки.

— Вы знаете, что в этом пакете?

Испуганная ее присутствием здесь, ее вновь обретенной способностью двигаться, которую она сама не умела объяснить и в которой было что-то неестественное, почти фантастическое, как будто вдруг ожила статуя или картина, Крошка Доррит отвечала.

— Нет.

— Вскройте и прочтите.

Крошка Доррит приняла пакет из протянутой руки и сломала печать. Внутри было еще два пакета, на одном из них стояло ее имя; другой миссис Кленнэм взяла себе. Тюремные стены и тюремные здания даже в полдень загораживали здесь солнечный свет, а в этот час в комнате было так темно, что читать можно было только у самого окна. К этому окну, за которым алела полоска закатного неба, и приблизилась Крошка Доррит, чтобы прочесть то, что лежало в адресованном ей пакете. Первые же строки вызвали у нее возглас удивления и ужаса, но потом она молча дочитала до конца. Когда, окончив чтение, она обернулась, ее бывшая госпожа низко склонила перед ней голову.

— Теперь вы знаете, что я сделала.

— Да — кажется; хотя душа у меня так полна смятения, страха, жалости, что, может быть, я и не все поняла,— дрожащим голосом отвечала Крошка Доррит.

— Я возвращу вам все, что утаила от вас. Простите меня. Можете вы меня простить?

— Видит бог, я прощаю вас от всего сердца! Нет, нет, не целуйте мое платье, не становитесь на колени; вы слишком стары, чтобы стоять на коленях передо мной. Я и так уже вас простила.

— Я хочу просить вас еще об одном.

— Только не на коленях,— сказала Крошка Доррит.— Нельзя, чтобы ваша седая голова склонялась передо мной, которая моложе вас. Умоляю вас, встаньте; позвольте мне помочь вам.— С этими словами она подняла миссис Кленнэм на ноги и, чуть-чуть отстранясь, посмотрела на нее с печалью и сожалением.

— Вот моя великая (хотя и не единственная) просьба к вам, великая мольба, которая, я надеюсь, найдет отклик в вашем добром и отзывчивом сердце: пока я жива, не рассказывайте Артуру о том, что вы сейчас узнали. Обдумайте все хорошенько, и если вы придете к мысли, что для его блага лучше рассказать ему, не откладывая,— расскажите. Но я знаю, вы не придете к такой мысли; обещайте же, что пощадите меня, пока я жива.

— Мне так тяжело и у меня такой беспорядок в мыслях,— возразила Крошка Доррит,— что я не могу сейчас твердо ничего сказать. Если я буду уверена, что мистеру Кленнэму не послужит на благо узнать об этом...

— Мне известна ваша привязанность к нему, и я понимаю, что вы прежде всего думаете об его интересах. Так и должно быть. Я сама этого хочу. Но если бы, взвесив все, вы убедились, что не в ущерб ему можете избавить меня от этого последнего испытания,— обещаете ли вы поступить так?

— Обещаю.

— Да благословит вас бог!

Она стояла в тени, и Крошка Доррит видела лишь безликую темную фигуру; но в голосе, произнесшем эти четыре слова, дрогнуло что-то, похожее на слезы, хотя казалось, глаза ее так же отвыкли от слез, как ее недужные ноги от ходьбы.

— Вам может показаться странным,— продолжала она более твердым голосом,— что мне легче признаться во всем этом вам, перед которой я виновата, чем сыну той, кото-

рая виновата передо мною. Ибо она виновата — да, виновата! Она не только грешна перед господом богом, но и виновата передо мной! Из-за нее отец Артура отвернулся от меня. Из-за нее он боялся и ненавидел меня со дня нашей свадьбы. Я превратила их жизни в пытку — и это тоже из-за нее. Вы любите Артура (я вижу румянец на вашем лице; пусть это будет заря счастья для вас обоих!), и вас, верно, удивляет, отчего я не хочу довериться ему, в чьем сердце не меньше доброты и сострадания, чем в вашем. Не задавали вы себе этот вопрос?

— Я твердо знаю,— сказала Крошка Доррит,— что мистеру Кленнэму можно довериться во всем, потому что его доброта, благородство и великодушие не имеют границ.

— Я тоже знаю это. И все-таки Артур — единственный человек на свете, от которого мне хотелось бы скрыть правду, пока я не покину этот свет. Я твердой и непреклонной рукой направляла его первые жизненные шаги. Я была строга с ним, зная, что дети должны нести кару за грехи родителей, а он с рождения отмечен печатью греха. Я стояла между ним и его отцом, следя, чтобы отец по своей слабости не изнежил его и не помешал бы ему страданиями и покорностью спасти свою душу. Я узнавала в нем материнские черты, когда он со страхом глядел на меня из-за своих книжек, и материнскую повадку, когда он пытался умилостивить меня и тем лишь заставлял быть к нему еще суровее.

Невольное движение ее слушательницы заставило ее на миг прервать этот поток слов, произносимых глухим, словно доносящимся из прошлого голосом.

— Ради его же блага. Не для того, чтобы выместить на нем свою обиду. Ибо что значила я и мои личные чувства по сравнению с проклятьем небес? И мальчик рос — пусть не праведником божьим (наследие греха мешало ему), но, во всяком случае, честным, прямым и неизменно послушным моей воле. Он никогда меня не любил, хотя было время, когда я почти мечтала об этом — человек слаб, и наши земные страсти порой вступают в борьбу с заветами, данными свыше,— но он всегда был почтителен и верен тому, что считал своим сыновним долгом. Да он и сейчас такой же. Чувствуя пустоту в сердце, которую он не мог себе объяснить, он решил расстаться со мной и идти

своей дорогой; но даже и тут он поступил бережно и с полным уважением. Таковы мои отношения с Артуром. С вами дело обстоит совсем иначе. Наши отношения не были ни столь длительными, ни столь глубокими. Сидя за работой в моей комнате, вы меня побаивались, но думали, что я делаю вам добро. Теперь вы из этого заблуждения выведены и знаете, что я причинила вам зло. Но если вы не поймете или ложно истолкуете те чувства и побуждения, которые заставили меня это сделать,— пусть; только бы не он! Для меня невыносима мысль, что я могу в одно мгновение пасть с той высоты, на которой всегда стояла в его глазах, и обратиться в разоблаченную и опозоренную преступницу, заслуживающую лишь презрения. Я не хочу, чтобы это случилось, пока я еще могу это почувствовать! Я не хочу знать, что я заживо умерла для него, перестала существовать так же безвозвратно, как если бы меня сожгла молния или поглотила разверзшаяся земля!

Вся ее гордость, вся сила давно приглушенных чувств бушевала в ней в эту минуту, пронзая ее невыразимой болью. И та же боль прозвучала в ее голосе, когда она добавила:

— Вот и вы сейчас содрогаетесь, слушая меня, словно видите в моих действиях одну жестокость.

Крошке Доррит нечего было возразить. Она старалась, но не могла скрыть свой ужас перед неукротимостью этих страстей, пылавших так яростно и так долго. Они предстали вдруг перед ней во всей своей наготе, не прикрытые никакою софистикой.

— Я лишь свершила то, что мне назначено было свершить,— сказала миссис Кленнэм.— Я ополчилась против зла, не против добра. Я была орудием божьей кары. Я не первая грешница, которую господь бог избрал своим орудием, чтобы покарать грех. Так было во все времена!

— Во все времена? — повторила Крошка Доррит.

— Даже если моя личная обида была сильна во мне, и желание отомстить за себя водило моей рукой, разве мне нет оправдания? А как было в те далекие дни, когда невинные гибли вместе с виновными, по тысяче на одного? Когда даже кровь не могла утолить гнев гонителей зла, и все-таки с ними была милость господня?

— О миссис Кленнэм, миссис Кленнэм,— сказала Крошка Доррит,— чужая злоба и непримиримость — не утешение и не пример для нас. Я выросла в этой унылой тюрьме и училась лишь от случая к случаю; но позвольте мне привести вам на память более поздние и более светлые дни. Пусть вам примером служит тот, кто исцелял больных, воскрешал мертвых, был другом всем заблудшим и страждущим, терпеливый учитель, скорбевший о наших немощах. Будем помнить о нем, забыв все остальное, и мы никогда не совершим ошибок. Я уверена, в его жизни не было места ненависти и мщению. Следуя по его стопам, мы не собьемся с пути.

Минуя взглядом стены, в которых прошла ее невеселая юность, она подняла глаза к небу, и ее легкая фигурка, озаренная мягкими отсветами заката, составляла резкий контраст с черной фигурой, полускрытой в тени; но не более резкий, чем контраст между ее жизнью и учением, в ней претворенной,— и историей этой черной фигуры.

Миссис Кленнэм склонила голову еще ниже и не говорила ни слова. Зазвонил колокол, предупреждающий посетителей о закрытии ворот.

— Пора! — воскликнула миссис Кленнэм, вся задрожав.— Я вам говорила, что у меня есть еще одна просьба. И такая, что не терпит промедления. Человек, который принес вам этот пакет и у которого в руках все доказательства, сидит сейчас в моем доме и ждет денег. Если не купить у него эти доказательства, Артур узнает все. Но он требует огромную сумму, которую я не могу собрать за один день; а на отсрочку он не соглашается, угрожая, если сделка не состоится, пойти к вам. Помогите мне. Пойдемте со мной и скажите ему, что вам уже все известно. Пойдемте со мной и постарайтесь уговорить его. Я не смею просить вас об этом ради Артура, но я прошу именем Артура!

Крошка Доррит тотчас же согласилась. Она вышла ненадолго в тюрьму и, вернувшись, сказала, что готова. Они спустились по другой лестнице, в обход караульни, прошли через наружный двор, теперь пустынный и тихий, и очутились на улице.

Был один из тех летних вечеров, когда долгие сумерки так и не сменяются ночной тьмой. Силуэт моста четко

рисовался в конце улицы на фоне ясного, чистого неба. У всех дверей стояли и сидели люди, вышедшие подышать воздухом; иные играли с детьми или прогуливались, наслаждаясь вечерней прохладой; дневная суета утихла, и, кроме миссис Кленнэм и ее спутницы, никто никуда не торопился. Когда они шли через мост, казалось, будто шпили окрестных церквей вынырнули из мглы, постоянно окутывавшей их, и подступили ближе. Дым, поднимавшийся к небу, утратил свой грязный цвет и розовел в последних солнечных лучах. Длинные светлые облака, тянувшиеся над горизонтом, не портили мирной красоты заката. Оттуда, из яркого центра, среди первых звезд, расходились вширь и вдаль по безмятежному небосводу широкие полосы света, знаменуя радостный союз мира и надежды, превративший терновый венец в лучезарный нимб.

Сейчас, под покровом вечернего сумрака, миссис Кленнэм меньше привлекала внимание, тем более что была не одна, и никто не задевал ее на пути. Скоро они свернули с оживленной улицы и углубились в дебри безлюдных, тихих переулков. Они подходили к воротам дома, когда вдруг послышался какой-то грохот, похожий на раскат грома.

— Что это? Идем скорей! — воскликнула миссис Кленнэм.

Они уже были в воротах. С криком ужаса Крошка Доррит схватила свою спутницу за руку и удержала ее на месте.

На один короткий миг они увидели перед собой старый дом, окна верхнего этажа, человека, курившего на подоконнике; потом снова раздался грохот,— и дом содрогнулся, вздыбился, треснул сразу в пятидесяти местах, зашатался и рухнул. Оглушенные грохотом, ослепшие от пыли, кашляя, задыхаясь, они стояли как вкопанные и только прикрывали руками лицо. Туча пыли, заволокшая все кругом, в одном месте прорвалась, и мелькнул лоскут звездного неба. Придя в себя, они стали звать на помощь, но тут большая дымовая труба, которая одна еще высилась, словно башня среди бури, дрогнула, покачнулась и упала, рассыпавшись на сотни обломков, словно для того, чтобы еще крепче придавить погребенного под развалинами негодяя.

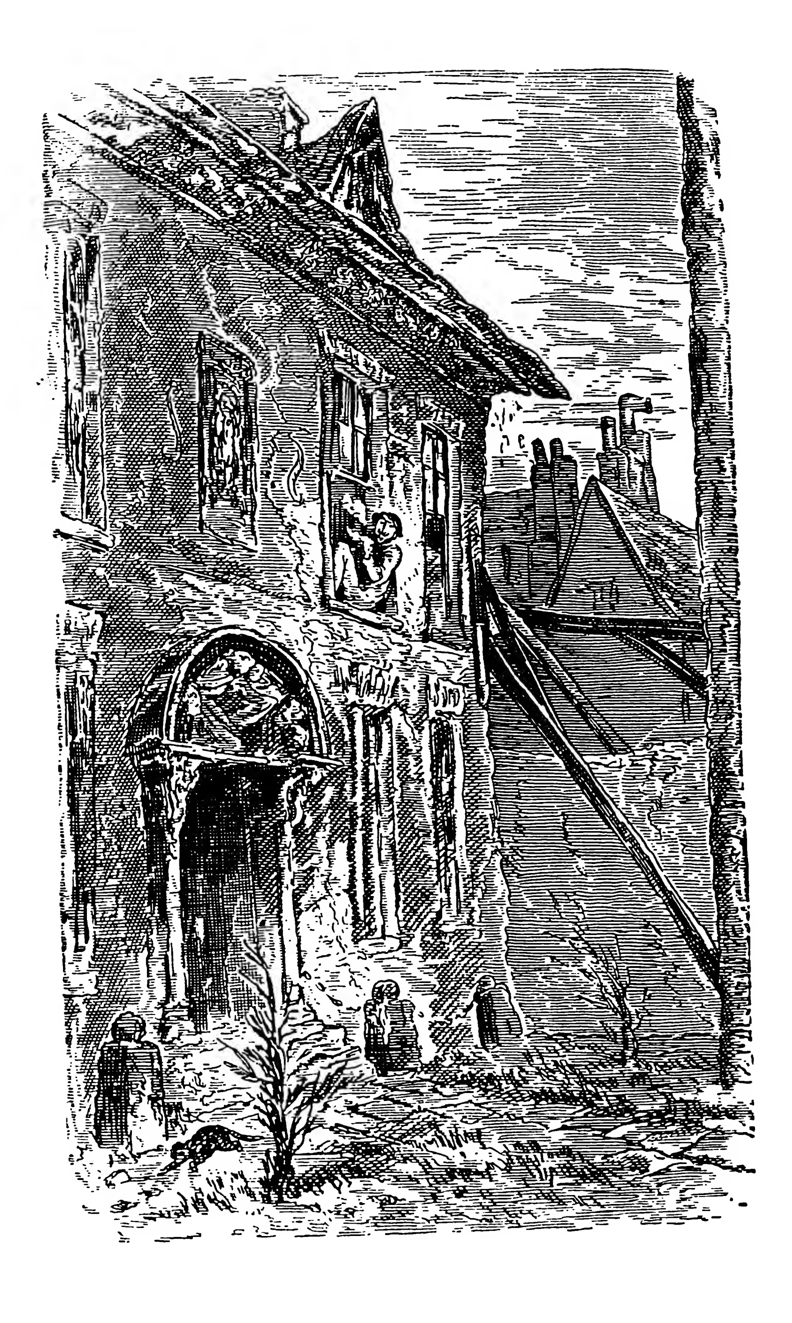
Черные до неузнаваемости от пыли и сажи, они с криком и плачем бросились на улицу. Там миссис Кленнэм упала на каменные плиты, и больше уже до конца своих дней не пошевелила пальцем, не произнесла ни единого слова. Три с лишним года прожила она еще, прикованная к креслу на колесах, и выражение ее глаз, внимательно следивших за окружающими, показывало, что она все слышит и понимает; но суровое молчание, на которое она так долго себя обрекала, стало теперь навсегда ее уделом, и только подвижность взгляда и слабые покачивания головы, означавшие «да» или «нет», выдавали в ней живое существо.

Эффери, не застав их в тюрьме, пустилась в обратный путь, и еще на мосту заприметила издали две знакомые фигуры. Она подоспела как раз вовремя, чтобы подхватить свою госпожу на руки, помогла перенести ее в соседний дом и заняла при ней место сиделки, которого не покидала уже до самого конца. Тайна шорохов в доме разъяснилась: Эффери, подобно многим великим умам, правильно устанавливала факты, но делала из них ложные выводы.

Когда рассеялась пыльная туча и тихая летняя ночь вступила в свои права, толпы любопытных запрудили все подходы к месту происшествия. Сформировались отряды добровольцев, чтобы, сменяя друг друга, вести раскопки. Согласно молве, в доме в час катастрофы было сто человек — пятьдесят человек — пятнадцать — двое. Остановились на том, что было двое: иностранец и мистер Флинтвинч.

Раскопки шли всю короткую ночь при свете газовых рожков, и когда первые утренние лучи позолотили развалины, и когда солнце стояло в вышине прямо над ними, и когда на закате протянулись от них длинные тени, и когда снова окутал их ночной сумрак. Рыли, копали, упорно, без остановки, день и ночь напролет, увозили кирпичи и обломки в тачках, в тележках, на подводах; но лишь на вторую ночь натолкнулись на грязную кучу тряпья — все, что осталось от иностранца, когда придавившая его балка вдребезги разнесла ему череп.

Но Флинтвинча пока не нашли и потому продолжали рыть и копать, упорно, без остановки, еще день и еще ночь.



Распространился слух, что в доме были обширные погреба (это соответствовало истине) и что в минуту обвала Флинтвинч находился в одном из них — а может быть, успел туда схорониться, и теперь сидит живехонький под его крепкими сводами. Кто-то даже будто бы слышал, как из-под земли донесся слабый, сдавленный крик: «Я здесь!» На другом конце города было даже известно, что с ним удалось установить сообщение по трубе и ему перекачали таким способом суп и бренди, а он поблагодарил и с завидным присутствием духа прибавил: «Все в порядке, друзья, я цел, только ключица сломана!» Но так или иначе, раскопки продолжались до тех пор, пока не разрыли всю груду развалин и не разобрали все до последнего кирпича: откопали и погреба, но никаких следов Флинтвинча, живого или мертвого, целого или в кусках, не обнаружили.

И тогда мало-помалу выяснилось, что в момент катастрофы Флинтвинча в доме не было, да и быть не могло, так как в это время он бегал по городу, спешно реализуя все ценности, какие только можно было за столь короткий срок обратить в звонкую монету, и употребляя свои полномочия представителя фирмы исключительно в собственных интересах. Эффери, припомнив слова, которыми Флинтвинч заключил свою речь, сообразила, что именно это и предстояло на следующий вечер узнать миссис Кленнэм: что ее компаньон захватил большую часть капиталов фирмы и был таков. Но она сохранила свои соображения при себе, радуясь тому, что, наконец, от него избавилась. Поскольку естественно было предположить, что кто не был погребен под развалинами, того из-под них и не выгребешь, работу решили прекратить и в недрах земли Флинтвинча не разыскивать.

Многие, правда, отнеслись к этому решению весьма неодобрительно, будучи твердо убеждены, что Флинтвинч покоится где-то в глубинных пластах лондонской почвы. Этого убеждения не могли поколебать даже дошедшие впоследствии слухи о каком-то старике в сбитом на сторону галстуке, которого часто можно встретить на берегах гаагских каналов и в амстердамских питейных заведениях и о котором известно, что он англичанин, хоть голландцы и зовут его мингер ван Флингевинге.

ГЛАВА XXXII
Дело идет к концу

Артур по-прежнему лежал больной в Маршалси, а мистер Рэгг по-прежнему не усматривал среди туч правосудия ни малейшего проблеска надежды на его освобождение, и Панкса совсем замучила совесть. Если бы не цифры, неопровержимо доказывавшие, что Артур должен был сейчас не томиться в тюрьме, а разъезжать в собственном пароконном экипаже, сам же мистер Панкс — не прозябать на нищенском жалованье приказчика, а иметь от трех до пяти тысяч фунтов капиталу, незадачливый вычислитель неминуемо слег бы в постель и пополнил собою число безыменных жертв, принесенных на алтарь величия покойного мистера Мердла. Черпая силу духа лишь в непогрешимости этих цифр, мистер Панкс осложнял свое невеселое существование тем, что всегда таскал с собой в шляпе свои расчеты, и не только сам проверял их при каждом удобном случае, но и всех кругом упрашивал проверить и убедиться, насколько верное было дело. В Подворье Кровоточащего Сердца не осталось ни одного сколько-нибудь солидного жильца, которого мистер Панкс не приобщил бы к этому занятию; а так как цифры прилипчивы, то в Подворье началось нечто вроде поветрия арифметической кори, вредно отражавшегося на умственной деятельности заболевших.

Чем сильней одолевало мистера Панкса беспокойство, тем больше ему действовал на нервы Патриарх. При разговоре с последним в его фырканье стали слышаться раздраженные нотки, не сулившие Патриарху ничего хорошего. И частенько мистер Панкс заглядывался на патриаршую лысину с таким интересом, словно был живописцем, занятым поисками модели, или цирюльником, нуждающимся в болване для париков.

Тем не менее он исправно вплывал в свой маленький док в глубине патриаршего дома и выплывал из него по первому требованию хозяина, и все шло, как было заведено. В положенные сроки мистер Панкс распахивал почву в Подворье Кровоточащего Сердца, в положенные сроки мистер Кэсби собирал там урожай. На долю мистера

Панкса приходилась вся черная работа; на долю мистера Кэсби — прибыль, фимиам и сияние добродетели. Словом, как сам благостный старец говаривал по субботам, подсчитавши недельный доход и умиротворенно вертя своими пухлыми пальцами, все обстояло «к общему удовлетворению — к общему удовлетворению,— да, к общему удовлетворению, сэр».

Док, где помещался буксир Панкса, был крыт свинцом, который чуть не плавился на солнце, и, должно быть, жара, стоявшая под этой свинцовой крышей, раскалила суденышко. Так или иначе, в один знойный субботний вечер, услышав сигнал неповоротливой бутылочно-зеленой баржи, буксир тотчас же прибыл из дока в весьма накаленном состоянии.

— Мистер Панкс,— заметил ему Патриарх,— вы становитесь нерадивы, становитесь нерадивы!

— А в чем дело? — коротко огрызнулся Панкс.

Настроение Патриарха, всегда благодушное и спокойное, в этот вечер было положительно нестерпимо своей безмятежностью. Обыкновенные смертные страдали от жары, а Патриарха словно овевал свежий ветерок. У обыкновенных смертных пересыхало во рту, а Патриарх неторопливо потягивал прохладительное питье. Лимонный аромат исходил от его особы, и стакан с золотистым хересом светился в его руке, словно он пил сияние заката. Это раздражало, но не это было хуже всего. Хуже всего было то, что его голубые глаза, его полированная блестящая лысина, его белоснежные кудри, его вытянутые бутылочно-зеленые ноги с мирно скрещенными ступнями в бархатных туфлях — все это придавало ему такой умилительно-благостный вид, словно прохладительное питье было приготовлено им в доброте души лишь для того, чтобы утолить жажду собратьев по человечеству, самому же ему ничего не нужно, кроме молока сердечных чувств *.

Вот отчего мистер Панкс сказал: «А в чем дело?», и обеими руками взъерошил волосы с выражением, которое не предвещало добра.

— Дело в том, мистер Панкс, что надо быть построже с жильцами — построже с жильцами — да, построже с жильцами, сэр. Вы на них не нажимаете. Да, не нажи-

маете. Деньги идут туго. Надо нажимать, сэр, иначе наши отношения перестанут складываться к общему удовлетворению — к общему удовлетворению.

— Разве я не нажимаю? — возразил Панкс.— А для чего еще я существую?

— Ни для чего больше, мистер Панкс. Вы существуете для того, чтобы исполнять свои обязанности, но вы не исполняете своих обязанностей. Вам платят, чтобы вы нажимали, и вы должны нажимать, чтобы вам платили.

Этот блестящий каламбур в духе доктора Джонсона, совершенно непредвиденный и непреднамеренный, так поразил самого Патриарха, что он громко рассмеялся, быстрей завертел большими пальцами и повторил с нескрываемым удовольствием, кивая херувимчику на портрете: «Вам платят, чтобы вы нажимали, и вы должны нажимать, чтобы вам платили, сэр».

— Угу! — сказал Панкс.— Это все?

— Нет, сэр, не все. Еще кое-что. Потрудитесь в понедельник с утра отправиться снова в Подворье и нажать покрепче.

— Угу! — сказал Панкс.— А не слишком ли скоро? Я сегодня выжал там все досуха.

— Пустое, сэр! Деньги идут туго, идут туго.

— Угу! — сказал Панкс, глядя, как он благодушно попивает херес с лимоном.— Это все?

— Нет, сэр, не все. Еще кое-что. Я весьма недоволен своей дочерью, мистер Панкс, весьма недоволен. Мало того, что она чересчур часто навещает миссис Кленнэм,— хотя миссис Кленнэм сейчас в таких обстоятельствах, которые — которые отнюдь нельзя считать сложившимися к общему удовлетворению; но если я не ошибаюсь, она еще вздумала навещать мистера Кленнэма в тюрьме. В тюрьме, сэр.

— Вы же знаете, что он болен,— сказал Панкс.— Может, она это от доброты.

— Та-та-та, мистер Панкс. Ей до него нет никакого дела, никакого дела. Я этого не могу позволить. Пусть уплатит долги и выйдет на волю, выйдет на волю. Уплатит и выйдет.

Хотя волосы у мистера Панкса и так уже стояли дыбом, он еще подгреб их кверху обеими пятер-

ями и изобразил на своем лице чудовищное подобие улыбки.

— Потрудитесь объяснить моей дочери, мистер Панкс, что я этого не могу позволить, не могу позволить,— кротко сказал Патриарх.

— Угу! — сказал Панкс.— А что ж вы ей сами не объясните?

— Не хочу, сэр. Вам платят, чтобы вы объясняли,— старый фигляр не мог удержаться от соблазна повторить игру,— и вы должны объяснять, чтобы вам платили, чтобы вам платили.

— Угу! — сказал Панкс.— Это все?

— Нет, сэр, не все. Сдается мне, мистер Панкс, вас и самого слишком часто тянет в ту сторону, в ту сторону. Мой вам совет, мистер Панкс, поменьше думать о собственных потерях и о чужих потерях и побольше — о своих прямых обязанностях, прямых обязанностях.

Мистер Панкс встретил этот совет таким громким, отрывистым и грозным «Угу!», что даже медлительный Патриарх вскинул на него глаза с непривычной живостью. Мистер Панкс подкрепил свой ответ столь же красноречивым фырканьем, и добавил:

— Это все?

— Пока все, сэр; пока все. Я сейчас собираюсь немножко пройтись, немножко пройтись. Пожалуй, я еще застану вас по возвращении. Если же нет, сэр, долг прежде всего, долг прежде всего: в понедельник идите и нажимайте, идите и нажимайте!

Мистер Панкс снова распушил свои проволочные вихры, и не то нерешительно, не то сердито поглядел, как Патриарх надевает широкополую круглую шляпу. Судя по тому, как мистер Панкс пыхтел и отдувался, ему, видно, было еще жарче, чем прежде. Но он молча дождался, когда Патриарх выйдет из дома, и только потом осторожно глянул поверх зеленой занавески, доходившей до половины окна.

— Так и есть,— пробормотал он.— Я сразу догадался, куда тебя понесло. Ну хорошо же!

Спешно разведя пары, он вернулся в свой док, аккуратно прибрал там все, снял с вешалки шляпу, огляделся по сторонам, сказал: «Счастливо оставаться!» — и, пыхтя,

выплыл на улицу. Он сразу взял курс на Подворье Кровоточащего Сердца и вскоре уже стоял на верхней ступеньке у лавочки миссис Плорниш, окончательно распарившись от жары.

Там, на верхней ступеньке, решительно отказываясь от приглашений миссис Плорниш зайти посидеть с отцом в «Счастливом Уголке» (к счастью, не столь настойчивых, как обычно, ибо по случаю субботнего вечера в лавке толпилась вся постоянная клиентура, дружески поддерживавшая коммерцию миссис Плорниш всем, кроме денег),— там, на верхней ступеньке, мистер Панкс стоял до тех пор, пока не завидел в дальнем конце Подворья мистера Кэсби, который всегда входил именно с той стороны: сияя благостью, Патриарх медленно шествовал по тротуару, окруженный почитателями. Тогда мистер Панкс спустился со ступенек и полным ходом поспешил ему навстречу.

Патриарх, приближавшийся с кроткой улыбкой, удивился при виде мистера Панкса, однако же предположил, что тот в приливе усердия решил не откладывать до понедельника, а сегодня же приняться за дело. Жители Подворья, наблюдавшие их встречу, были удивлены еще больше, ибо даже старейшие из них не могли припомнить такого случая, когда бы эти две великие силы появились в Подворье одновременно. Но им и вовсе пришлось остолбенеть от изумления, когда мистер Панкс, подойдя вплотную к почтенному старцу, остановился прямо напротив бутылочно-зеленого жилета, сложил большой палец с указательным наподобие ружейной собачки, поднес их к полям круглой шляпы и метким щелчком сбил последнюю с головы, словно камешек в детской игре.

Допустив эту небольшую вольность в обращении с патриаршей особой, мистер Панкс, к полному ужасу Кровоточащих Сердец, сказал зычным голосом:

— А ну-ка, засахаренный плут, поговорим начистоту!

Мгновенно мистер Панкс и Патриарх оказались внутри плотного кольца глаз и ушей; все окна распахнулись, на всех ступеньках теснились любопытные.

— Не довольно ли ломать комедию? — сказал мистер Панкс.— Что вы такое разыгрываете из себя? Кем при-

кидываетесь? Этакою доброй душой, благодетелем рода людского! Это вы-то — добрая душа?

Тут мистер Панкс, по-видимому не питая смертоубийственных замыслов, а лишь для того, чтобы облегчить душу и дать выход накопившемуся избытку сил, замахнулся кулаком на сияющую лысину, и сияющая лысина поспешно вильнула вбок, увертываясь от удара. Эта своеобразная пантомима повторялась в дальнейшем, ко все возраставшему восторгу зрителей, после каждого периода ораторских упражнений мистера Панкса.

— Я у вас больше не служу,— сказал Панкс,— и могу теперь объявить во всеуслышание, что вы такое есть. Вы из той породы мошенников, которая хуже всех существующих на земле пород. Если выбирать между вашей подлостью и подлостью Мердла, так еще не знаю, что бы я предпочел, хоть мне на собственном горбу пришлось испытать и то и другое. Вы бессердечный истукан с физиономией святоши, живоглот, кровопийца, душегуб, хватающий людей за горло чужими руками. Вы гнусный лицемер. Вы волк в овечьей шкуре!

(На этот раз пантомима была встречена взрывом хохота.)

— Спросите у этих добрых людей, кто их главный мучитель. Небось все ответят: «Панкс!»

Послышались возгласы: «А то кто же!» и «Слушайте, слушайте!»

— А я вам скажу, добрые люди: не Панкс, а Кэсби. Вот эта глыба добродетели, эта олицетворенная кротость, этот бутылочно-зеленый смиренник с медоточивой улыбкой, он и есть ваш мучитель. Хотите знать, кто из вас тянет все соки — вот, можете полюбоваться. Не я за свои тридцать шиллингов в неделю измываюсь над вами, а он, Кэсби, наживающий не знаю сколько в год.

— Правильно! — закричало несколько голосов.— Слушайте мистера Панкса.

— Слушайте мистера Панкса! — подхватил упомянутый джентльмен, вновь повторив заслужившую успех пантомиму.— Еще бы! Давно пора вам послушать мистера Панкса. Мистер Панкс для того и явился сейчас сюда, чтобы вы его послушали. Панкс только машина, а мастер — вот кто!

Слушатели — мужчины, женщины, дети — давно бы все, как один, перешли на сторону мистера Панкса, если бы не длинные белоснежные шелковые кудри и не круглая шляпа.

— Вот ручка, которой заводится шарманка,— сказал Панкс.— А музыка всегда одна и та же: давай, давай, давай! Вот это хозяин, а это хозяйская мотыга. Да, добрые люди, вот он сейчас вьется тут среди вас, жужжа потихоньку, словно большой, тяжелый кубарь, а вы ему жалуетесь на мотыгу, и вам невдомек, что за птица сам хозяин. А если вам сказать, что он для того сегодня и маслит вас своими улыбками, чтобы в понедельник все упреки посыпались на меня? Если вам сказать, что час тому назад он меня распек за то, что я недостаточно вас прижимаю? Если вам сказать, что мне дано строгое приказание выжать из вас в понедельник все, что только можно? Что вы на это ответите?

Толпа загудела: «Позор!», «Совести нет!»

— Совести? — фыркнув, подхватил Панкс.— Уж какая тут совесть! Эта порода мошенников самая бессовестная. Нанимают себе за гроши батрака и требуют, чтобы он делал то, что самим делать стыдно и боязно и в чем неохота признаться — да как еще требуют, с ножом к горлу пристают! А вам отводят глаза, и вы уверены, что во всем виновата мотыга, батрак, а хозяин сущий ангел, только что без крылышек. Да самый распоследний лондонский жулик, который обманом вытягивает у вас из кармана шиллинг, куда честней этого соломенного чучела под вывеской «Голова Кэсби»!

Крики: «Верно!», «Куда честнее!»

— И это еще не все,— продолжал Панкс.— Это не единственный обман, которым занимаются эти ловкачи, эти расписные кубари — ведь они так плавно вьются, что ни настоящего узора не разглядишь, ни дырочки не заметишь, через которую видно, что внутри-то пусто! Давайте поговорим обо мне. Человек я не из приятных, сам знаю.

Тут мнения слушателей разделились: более склонные к откровенности закричали: «Что верно, то верно!», а те, что поделикатнее, пытались возражать: «Нет, отчего же!»

— Черствый, несговорчивый, угрюмый батрак, который только и знает, что долбить да мотыжить,— продолжал мистер Панкс.— Вот что такое ваш покорный слуга. Вот его портрет в натуральную величину, им самим нарисованный с ручательством за сходство! Да откуда ему и быть другим, при таком хозяине? Чего еще можно от него ожидать? Видал кто-нибудь из вас, чтобы в кокосовом орехе выросло баранье жиго с подливкой из каперсов?

Судя по тому, как был встречен этот вопрос, никому из Кровоточащих Сердец не приходилось наблюдать подобный феномен.

— Ну, вот,— сказал мистер Панкс,— так и не ищите приятных свойств у батрака при таком хозяине. Я батрак и привык батрачить с самого детства. Что я знал в жизни? Давай, давай, не отставай, жми, жми, наяривай! Я и сам-то в себе ничего приятного не вижу, что уж тут говорить о других. Если бы я хоть раз за десять лет не добрал с кого-нибудь из вас одного шиллинга, старый плут вычел бы этот шиллинг из моего жалованья; а случись ему подходящий человек на мое место, который взял бы на шесть пенсов дешевле, он прогнал бы меня, чтобы платить на шесть пенсов меньше. Купить подешевле, продать подороже, черт побери! Священный принцип торговли. Хороша вывеска — «Голова Кэсби», ничего не скажешь,— добавил мистер Панкс, рассматривая названный предмет с чувством, не слишком похожим на восторг,— да только тут больше подошла бы другая: «Фальшивая монета». А девиз заведения — «Спуску не давай!» Есть тут кто-нибудь,— прервал себя мистер Панкс, оглядываясь по сторонам,— кто хорошо знаком с грамматикой?

Никто из Кровоточащих Сердец не решился претендовать на такое знакомство.

— Ну все равно,— сказал мистер Панкс.— Я только хотел сказать, что хозяин всегда задавал мне один и тот же урок; спрягать без передышки глагол «не давать спуску», преимущественно в повелительном наклонении. Не дам спуску, не давай спуску, пусть он, она, оно не дает спуску, не дадим спуску, не давайте спуску, пусть они не дают спуску. Это золотое правило вашего Патриарха, вашего благодетеля Кэсби. Вон он какой, посмотреть, так

душа радуется, а на меня смотреть — с души воротит. Он слаще меду, а я кислей уксусу. Он доставляет уголь, а я гоню деготь и весь перепачкан дегтем с ног до головы. Ну, ладно,— сказал Панкс, подходя к Патриарху (он было посторонился, чтобы не заслонять его толпе).— Я не оратор, и речь моя и так уже затянулась, а потому позвольте заключить ее советом: проваливайте отсюда подобру-поздорову.

Последний из патриархов, захваченный врасплох этим внезапным наскоком и не привыкший быстро соображать и быстро действовать, не нашел ни слова в ответ. Должно быть, он размышлял, как по-патриаршьи выбраться из этого щекотливого положения, но тут мистер Панкс снова пустил в ход свой ружейный механизм, и круглая шляпа с прежней стремительностью полетела на землю. Но только в прошлый раз двое или трое из присутствующих бросились поднимать ее, и она была почтительно возвращена владельцу; теперь же все находились под столь сильным впечатлением речи мистера Панкса, что Патриарху пришлось нагнуться самому.

И тогда мистер Панкс, заранее опустивший правую руку в карман, с быстротой молнии выхватил из кармана ножницы и, прыгнув на Патриарха сзади, обкорнал священные кудри, рассыпавшиеся по плечам. Не успокоившись на этом, он вырвал из рук оторопевшего Патриарха шляпу, откромсал поля, превратив ее в жалкое подобие кастрюли, и в таком виде нахлобучил на патриаршую голову.

Чудовищный результат этого святотатственного деяния заставил самого мистера Панкса содрогнуться. Перед ним, точно вынырнув из-под земли, стояла какая-то нелепая, бесформенная фигура с большим голым черепом, лишенная и тени внушительного благообразия,— стояла и смотрела на него выпученными глазами, точно спрашивая, куда же девался Кэсби. Минуту или две мистер Панкс в безмолвном ужасе созерцал этого оборотня; затем отшвырнул ножницы и бросился бежать без оглядки, спеша укрыться где-нибудь от последствий своего преступления. Он бежал, точно боясь погони, хотя вслед ему неслись только взрывы хохота, от которых звенело в воздухе над Подворьем Кровоточащего Сердца.

ГЛАВА XXXIII

Дело идет к концу

Перемены в состоянии тяжелого больного медленны и подчас неопределенны; перемены в нашем мире, который тоже тяжело болен, скоропалительны и бесповоротны.

Крошке Доррит приходилось думать и о тех и о других. Большую часть дня она теперь снова проводила в стенах Маршалси, которые ее приняли под свою сень, как родную; там она ухаживала за Кленнэмом, хлопотала вокруг него, сторожила его сон, и даже уходя ненадолго мыслями и сердцем оставалась с ним. Но жизнь вне тюремных стен предъявляла к ней свои требования, и ее неутомимого терпения хватало на все. Там, вне тюремных стен, была Фанни с ее тщеславием, с ее капризами, с ее причудами, с ее негодованием по поводу досадного обстоятельства, которое теперь еще больше мешало ее светским развлечениям, чем в ту пору, когда был одолжен ножичек с черепаховым черенком,— глубоко уверенная, что она несчастна, глубоко обиженная, что ее не утешают, глубоко возмущенная, что ее смеют считать несчастной и утешать. Там был ее брат, вечно пьяный, тщеславный, расслабленный, с трясущимися руками и ногами, молодой старичок, так туго ворочавший языком, как будто рот у него был набит теми самыми деньгами, что придавали ему самоуверенность, неспособный шагу ступить самостоятельно, покровительственно обращавшийся с сестрой, которой он милостиво позволял служить ему опорой и которую по-своему, эгоистически любил (этой сомнительной заслуги нельзя было отнять у злополучного Типа). Там была миссис Мердл в элегантнейшем трауре (его спешно пришлось выписать из Парижа на смену более скромным вдовьим одеждам, должно быть изодранным в приступе горя), с утра до вечера ведшая упорную войну с Фанни, сверкая перед ней ослепительным вместилищем своего неутешного сердца. Там был бедный мистер Спарклер, который в тщетном чаянии восстановить мир между ними, пытался робко намекать, что обе они замечательные женщины и без всяких там фиглей-миглей,— и тем действительно достигал некоторых результатов, так как обе

с редким единодушием свирепо набрасывались на него. Была там и миссис Дженерал, недавно воротившаяся в родные края и через день славшая им по почте сдобренные Плющом и Пудингом просьбы о рекомендациях, которые требовались ей для поступления на очередное место. Заметим, кстати, напоследок, что, судя по обилию рекомендаций, составленных в самых красноречивых выражениях, эта почтенная дама обладала таким количеством общепризнанных добродетелей, что могла украсить любое место — но по несчастному стечению обстоятельств никто из ее горячих и высокопоставленных поклонников не нуждался в данное время в ее неоценимых заслугах.

Когда грянула катастрофа, вызванная смертью достославного мистера Мердла, многие в высшем свете поначалу не знали, на что решиться — утешать ли его вдову, или отказать ей от дома. Но в конце концов они пришли к заключению, что для них выгоднее считать ее жертвой злостного обмана, и в качестве таковой миссис Мердл была милостиво оставлена в их кругу. Иначе говоря, было решено, что Общество, в интересах самого Общества, должно встать на защиту миссис Мердл, женщины тонкого воспитания и обращения, попавшейся в сети грубого дикаря (легенда о личных достоинствах мистера Мердла развеялась в ту же минуту, как была разоблачена легенда о его богатстве). А миссис Мердл в благодарность за такое великодушие больше всех усердствовала в изъявлениях гнева и ненависти, тревоживших преступную тень покойного, и, подобно сказочной колдунье выйдя невредимой из огня, жила припеваючи.

Высокий пост мистера Спарклера был, по счастью, одним из тех надежных пристанищ, где джентльмен спокойно может отдыхать всю свою жизнь — разве только кому-нибудь из Полипов заблагорассудится втащить его еще выше. А потому сей доблестный слуга отечества оставался верен своему флагу (по серебряному фону золотом число выплаты жалованья), с нельсоновской неустрашимостью * поднятому им на государственном корабле. Ценой его стойкости и мужества был прелестный маленький храм неудобств с неизбежным, как смерть, запахом конюшни и позавчерашнего супа, и там, замкнувшись на разных этажах, миссис Спарклер и миссис Мердл, две

заклятые соперницы, готовили свои доспехи для решительной схватки на арене Общества. А Крошка Доррит, наблюдая течение жизни в этой фешенебельной резиденции, с невольной тревогой спрашивала себя, где тут найдется уголок для будущих детей Фанни и кто станет заботиться об этих пока еще не рожденных жертвах.

Артур, больной и слабый, больше всего нуждался для своего выздоровления в покое, и с ним нельзя было говорить ни о каких предметах, способных взволновать его или встревожить; а потому единственной поддержкой Крошки Доррит в это трудное время был мистер Миглз. Он все еще находился за границей, но она написала к нему, через его дочь, сразу после того, как первый раз побывала у Артура в тюрьме; писала и потом, поверяя ему все свои тревоги, среди которых одна была особенно неотступной. Из-за этой тревоги Крошки Доррит мистер Миглз и затягивал свое пребывание за границей, хотя он был бы таким желанным гостем в Маршалси.

Не касаясь содержания похищенных бумаг, Крошка Доррит в общих чертах рассказала мистеру Миглзу о том, как они попали в руки Риго-Бландуа, и сообщила про трагическую гибель последнего. Деловые навыки эпохи лопатки и весов помогли мистеру Миглзу сразу сообразить, насколько важно найти подлинные документы; поэтому он написал Крошке Доррит, что ее беспокойство вполне основательно и что он не вернется в Англию, не попытавшись прежде «напасть на их след».

За это время мистер Генри Гоуэн успел убедиться, что тесные сношения с семейством Миглз не доставляют ему удовольствия. Из деликатности он не стал предъявлять никаких требований жене; но мистеру Миглзу намекнул довольно прозрачно, что люди они, видимо, очень разные — хотя и превосходные, каждый в своем роде,— а потому лучше им разойтись по-хорошему, без каких-либо ссор или обид, и в дальнейшем держаться друг от друга подальше. Бедный мистер Миглз, давно уже чувствовавший, что, раздражая своим присутствием зятя, он отнюдь не способствует семейному счастью дочери, сказал на это: «Что ж, Генри! Вы муж Минни, по законам природы вы ей теперь ближе, чем я; как вы хотите, так и будет!» Эта перемена несла с собой дополнительное пре-

имущество, которого Генри Гоуэн, может быть, и не предусмотрел: теперь, когда мистер и миссис Миглз имели дело только со своей дочерью и ее ребенком, они сделались не в пример щедрее, и мистер Гоуэн мог свободно тратить деньги, не унижая свой гордый дух раздумьем о том, откуда они берутся.

Естественно, что при таком положении вещей мистер Миглз рад был ухватиться за любое занятие. От дочери он узнал, в каких городах побывал Риго за последние месяцы и в каких гостиницах останавливался. План его состоял в том, чтобы, не откладывая, без излишнего шума объехать все указанные места, и если где-нибудь обнаружится, что джентльмен-космополит не уплатил по счету и оставил в залог шкатулку или сверток — заплатить деньги и выручить залог.

С Мамочкой в качестве единственной спутницы, мистер Миглз начал свое странствие, уснащенное немалым числом приключений. Миссия его несколько затруднялась тем обстоятельством, что люди, к которым он обращался с расспросами, не понимали, чего он от них хочет, а он в свою очередь не понимал, что они ему отвечают. Но. пребывая в несокрушимой уверенности, что английский язык — родной язык для всего человечества и только дураки этого не знают, мистер Миглз держал длинные речи перед содержателями гостиниц, пускался в многословные и путаные объяснения и отвергал любые попытки отвечать ему на каком-либо ином языке, кроме английского, заявляя, что «не намерен слушать всякую чушь». Иногда на сцену являлись переводчики, но мистер Миглз обрушивал на них такую лавину чисто национального красноречия, что они только растерянно хлопали глазами, и дело не подвигалось ни на шаг. Впрочем, от этого он, пожалуй, был не в убытке: Риго, правда, не оставлял нигде шкатулки с документами, но зато везде оставил долги и такую дурную память о себе, что один звук его имени — единственное, что оказывалось понятным в речах мистера Миглза,— неизменно вызывал бурю гнева и нареканий. В четырех случаях мистера Миглза пытались даже передать в руки полиции, называя его аферистом, мошенником и вором; каковые обидные наименования он принимал с любезнейшей улыбкой, не догадываясь о том, что они значат; и, шествуя

под руку с Мамочкой к дилижансу или пакетботу, неумолчно болтал с веселой непринужденностью истинного британца.

Но если оставить в стороне недоразумения, возникавшие из-за незнания языков, мистер Миглз вел свои поиски как человек умный, проницательный и настойчивый. Хотя он добрался до самого Парижа, так и не обнаружив никаких следов Бландуа, бодрость духа его не покидала.

— Ничего, мамочка,— говорил он миссис Миглз.— Пусть я пока и не нашел ничего, но зато чем ближе к Англии, тем ближе к бумагам, я в этом уверен. Здравый смысл подсказывает, что он их держал где-то, где их не могли достать те, кто в них заинтересован, но где сам он, в случае надобности, мог достать их без промедления.

В Париже мистера Миглза ожидало письмо от Крошки Доррит, в котором говорилось, что ей удалось навести мистера Кленнэма на разговор об этом человеке, которого уже нет в живых; и, узнав, что мистер Миглз желал бы получить о нем некоторые сведения, мистер Кленнэм просил ее сообщить мистеру Миглзу, что его знала мисс Уэйд, ныне проживающая в Кале, по такому-то адресу.

— Ого! — воскликнул мистер Миглз.

И скоро (насколько можно было говорить о скорости в век дилижансов) мистер Миглз позвонил в надтреснутый колокольчик у трухлявой калитки, и калитка со скрипом отворилась, и крестьянка в белом чепце вышла навстречу и спросила: «Эй, сэр! Мистер! Вам кого?» Услышав английскую речь, мистер Миглз пробормотал себе под нос, что, слава богу, в Кале проживают здравомыслящие люди, и дружелюбно ответил: «Мисс Уэйд, голубушка!» — после чего был незамедлительно проведен к мисс Уэйд.

— Давно мы с вами не виделись,— начал мистер Миглз, старательно откашлявшись.— Надеюсь, вы в добром здравии, мисс Уэйд?

Мисс Уэйд не выразила подобной же надежды относительно мистера Миглза или кого-нибудь из близких к нему лиц и прямо спросила, чему она обязана честью снова видеть его у себя. Мистер Миглз тем временем огляделся по сторонам, но никакой шкатулки не приметил.

— Скажу вам всю правду, мисс Уэйд,— отвечал мистер Миглз мягким, вкрадчивым, чтобы не сказать заиски-

вающим, тоном.— Вы как будто можете пролить свет на одно пока неясное для меня обстоятельство. Надеюсь, наши маленькие разногласия давно забыты. Что было, то прошло. Помните мою дочку? Как время летит! Она уже мать!

В своем неведении мистер Миглз избрал самый неудачный из всех возможных предметов разговора. Он помолчал, ожидая изъявлений интереса, но так и не дождался.

— Это и есть обстоятельство, о котором вы желали со мною беседовать? — холодно спросила она после некоторого молчания.

— Нет, нет,— возразил мистер Миглз.— Нет. Просто я думал, что по вашей природной доброте...

— Вы, кажется, уже знаете,— перебила она с усмешкой,— что на мою природную доброту рассчитывать не стоит.

— Не говорите так,— сказал мистер Миглз.— Вы несправедливы к себе. Но перейдем к делу.— Мистер Миглз чувствовал уже, что его окольный подход ничуть ему не помог.— Я слыхал от моего друга мистера Кленнэма, который, к моему прискорбию — и, верно, вашему тоже,— серьезно болен...

Он снова помолчал, но снова ничего не услышал в ответ.

— ...что вам был знаком некто Бландуа, недавно погибший вследствие несчастного случая в Лондоне. Нет, нет, поймите меня правильно! Я знаю, что это было всего лишь случайное знакомство,— добавил мистер Миглз, искусно предупреждая возглас негодования, который явно готов был сорваться с уст мисс Уэйд.— Я все очень хорошо знаю! Всего лишь случайное знакомство. Но вот о чем я хотел бы спросить вас.— В голосе мистера Миглза снова зазвучали вкрадчивые нотки.— Когда он последний раз возвращался в Англию, не дал ли он вам на сохранение шкатулку или сверток с бумагами — или, может быть, просто пачку бумаг — с тем, что в скором времени вернется за ними? Ответьте, прошу вас, это очень важно.

— Очень важно? — повторила она.— А для кого важно?

— Для меня,— сказал мистер Миглз.— И не только для меня, но и для мистера Кленнэма, и для некоторых

других. Я совершенно уверен,— продолжал мистер Миглз, в мыслях которого первое место неизменно принадлежало Бэби,— что вы не можете дурно относиться к моей дочери; никто не может. Так вот, это и для нее важно, поскольку дело касается особы, с которой она связана тесной дружбой. Вот почему я позволил себе обеспокоить вас, и снова повторяю свой вопрос: давал этот человек вам что-либо на сохранение?

— Честное слово,— сказала мисс Уэйд,— все как будто сговорились засыпать меня вопросами относительно человека, которого я однажды наняла для особого поручения, заплатила ему за труды и больше его в глаза не видела.

— Помилуйте, сударыня,— возразил мистер Миглз.— Помилуйте, что ж тут такого, ведь это самый простой вопрос, и вам решительно не из-за чего сердиться. Бумаги, о которых идет речь, не принадлежали этому человеку, были им мошеннически присвоены и могут навлечь незаслуженные неприятности на того, у кого они находятся, так как законные владельцы, естественно, ищут их. Он проезжал через Кале, направляясь в Лондон, а у него были веские причины не брать документы с собой, но оставить их там, где ему легко будет получить их в случае надобности; доверить же их человеку своей породы он бы не решился. Скажите же, не у вас ли эти бумаги? Даю вам слово, я меньше всего на свете хотел бы вас обидеть. Мой вопрос обращен лично к вам, но не потому, что вы — это вы. Я мог бы обратиться с ним к кому угодно, да и обращался уже не раз. Не у вас ли эти бумаги? Не оставил ли он их вам на сохранение?

— Нет.

— И вы о них ничего не знаете, мисс Уэйд?

— Ничего решительно. Вот вам ответ на ваш странный вопрос. Никаких бумаг этот человек мне не оставлял, и я ничего о них не знаю.

— Ясно,— сказал мистер Миглз, поднимаясь.— Очень жаль, но что ж поделаешь. Прошу извинить за беспокойство. Как Тэттикорэм, мисс Уэйд? Здорова ли она?

— Гарриэт? Да, она здорова.

— Опять меня привычка подвела,— сказал мистер Миглз, принимая поправку к сведению.— Никак я, видно,

от нее не отделаюсь. Может, если рассудить хорошенько, не надо было, в самом деле, давать девочке такое звонкое имя. Но когда от всего сердца хочешь кому-либо добра, так ведь не всегда рассуждаешь при этом. Передайте ей привет от старого друга, мисс Уэйд,— если у вас нет возражений.

Она ничего не сказала в ответ, и мистер Миглз, выйдя из этой унылой комнаты, которую его доброе лицо озаряло, точно солнце, поспешил вернуться в гостиницу, к ожидавшей его миссис Миглз. «Плохо дело, мамочка,— сказал он ей,— опять неудача». В тот же вечер лицо мистера Миглза сияло уже на пакетботе, плывшем в Лондон, а назавтра оно озарило тюрьму Маршалси.

Когда с наступлением сумерек папа и мама Миглз подошли к воротам тюрьмы, дежурным сторожем оказался верный Джон. Он им сказал, что мисс Доррит сейчас нет в тюрьме; но она была утром и вечером придет опять, она каждый вечер приходит. Здоровье мистера Кленнэма поправляется медленно; Мэгги, миссис Плорниш и мистер Баптист по очереди ухаживают за ним. Мисс Доррит непременно придет до закрытия ворот. Если угодно, они могут подождать ее наверху, в квартире смотрителя, где ей отведена комната на это время. Опасаясь взволновать больного своим неожиданным появлением, мистер Миглз решил дождаться Крошки Доррит, и супруги поднялись в указанную им комнату, окно которой выходило на тюремный двор.

Мрачная теснота тюрьмы так подействовала на обоих, что у миссис Миглз подступили к горлу слезы, а мистер Миглз почувствовал, что ему не хватает воздуху. Он принялся расхаживать из угла в угол, отдуваясь и усиленно обмахиваясь носовым платком — от чего только задыхался еще больше. Вдруг скрип отворяемой двери заставил его оглянуться.

— Господи твоя воля! — воскликнул мистер Миглз.— Это не мисс Доррит. Мамочка, да ты взгляни! Тэттикорэм!

Она самая. А в руках она держала железную шкатулку примерно в два квадратных фута величиной. Точно такую шкатулку видела Эффери Флинтвинч в первом из своих снов — ей тогда приснилось, будто Двойник взял эту шкатулку под мышку и унес из старого дома. И Тэттикорэм

поставила ее на пол у ног своего прежнего господина; и Тэттикорэм сама бросилась на колени рядом с нею и, плача, не то от горя, не то от радости, твердила:

— Простите, добрый мой господин; примите меня опять к себе, добрая моя госпожа; вот то, что вы искали!

— Тэтти! — воскликнул мистер Миглз.

— То, что вы искали! — повторила Тэттикорэм.— Вот оно, у вас! Меня заперли в соседней комнате, чтобы я вас не видела. Но я слышала, как вы спрашивали про эту шкатулку и как мисс Уэйд отвечала, что ничего не знает; а он при мне передавал ее мисс Уэйд на сохранение; и вот я дождалась, когда она ляжет спать, взяла шкатулку и унесла. И теперь она у вас!

— Дитя мое, дитя мое! — вскричал мистер Миглз, едва вовсе не задохнувшись.— Но как же ты очутилась в Лондоне?

— Я ехала на том же пакетботе, что и вы. Я сидела в стороне, закутавшись шалью. А когда вы на пристани взяли экипаж, я взяла другой и поехала следом за вами. Мисс Уэйд ни за что не отдала бы вам шкатулку, раз вы сказали, что она нужна кому-то; скорей бросила бы ее в море или сожгла. Но теперь она у вас!

Ах, какая радость, какое ликование слышалось в этих словах: «Она у вас!»

— Мисс Уэйд не хотела брать ее — что правда, то правда. Но он оставил ее и ушел. И я твердо знаю — раз уж вы спросили и она сказала, что шкатулки у нее нет, она бы ни за что вам ее не отдала. Но теперь она у вас! Добрый мой господин, добрая моя госпожа, примите меня опять к себе! Пусть эта шкатулка будет за меня порукой. Ведь она теперь у вас!

Папа и мама Миглз не были бы папой и мамой Миглз, если бы не раскрыли свои объятия смирившейся строптивице.

— Ах, если б вы знали, как я была несчастна! — воскликнула Тэттикорэм, чьи слезы хлынули после этого с удвоенной силой.— Как я горевала и как раскаивалась! Мисс Уэйд с первой нашей встречи внушала мне страх. Она сразу почувствовала самое дурное, что во мне есть, это и дало ей власть надо мной. На меня порой находили приступы бешенства, и она умела вызывать эти приступы

по своей воле. А в такие минуты мне представлялось, что все презирают меня за обстоятельства моего рождения, и чем больше мне выказывали доброты, тем горше казалась обида. Во всем я усматривала лишь желание унизить меня, разбудить во мне зависть; а ведь я прекрасно знаю — да и тогда в глубине души знала,— что никому это и в голову не приходило. И подумать только, что моя милая барышня живет не так счастливо, как того заслуживает, а я ее бросила, ушла от нее! Каким неблагодарным животным я должна ей казаться! Но вы замолвите за меня словечко, уговорите ее простить мне, как сами простили. Я, право, теперь лучше, чем была,— взывала Тэттикорэм.— То есть, я далеко не хороша, но все же лучше, чем была. Меня многому научил пример мисс Уэйд: я словно видела, какой сама стану с годами, если, так же, как она, буду все выворачивать наизнанку и в добрых побуждениях искать только злые. Меня многому научил ее пример, ее старания сделать из меня такое же несчастное существо, как она сама — беспокойное, подозрительное, терзающее себя и других. Впрочем, это было нетрудно,— воскликнула Тэттикорэм в последней бурной вспышке отчаяния.— По натуре я немногим уступала ей. Но я хочу сказать, что все эти испытания не прошли для меня бесследно; надеюсь, я уже кой в чем исправилась и постепенно исправлюсь совсем. Я буду стараться изо всех сил, сэр! Буду считать не то что до двадцати пяти, а до двухсот пятидесяти, до двух с половиной тысяч!

Дверь снова отворилась, и Тэттикорэм умолкла. На этот раз вошла Крошка Доррит; мистер Миглз, сияя торжеством, протянул ей шкатулку, и свет радости разлился по ее нежному лицу. Теперь можно было не опасаться разоблачений! Та часть тайны, которая относится к ней, навсегда останется тайной для Артура, он никогда не узнает об ее личной потере; придет время, и она откроет ему то, что касается его самого, но о себе никогда не упомянет ни словом. Все это ушло в прошлое, прощено и забыто.

— А теперь, дорогая мисс Доррит,— сказал мистер Миглз,— я, как человек деловой — по крайней мере в прошлом — хотел бы незамедлительно заняться делами. Могу я сегодня же повидать Артура?

— Сегодня, мне кажется, не стоит. Я сейчас схожу к нему и узнаю, как он себя чувствует. Но мне кажется, лучше повременить день-другой.

— Я и сам так думаю, дитя мое,—сказал мистер Миглз.— Оттого-то я и сидел в этой противной комнате, вместо того чтобы сразу поспешить к нему. Только уж тогда нашу встречу придется отложить не на день-другой, а несколько больше. Но я не хочу задерживать вас — объясню, когда вы вернетесь.

Крошка Доррит вышла из комнаты. В забранное решеткой окно мистеру Миглзу было видно, как она проходила по тюремному двору. Не оглядываясь, он тихонько позвал:

— Тэттикорэм, поди-ка сюда, дружок.

Тэттикорэм подошла к окну.

— Видишь ты эту молодую женщину, которая только что вышла отсюда? Вон она идет по двору — такая маленькая, хрупкая, тихая. Смотри. Люди отходят в сторону, уступая ей дорогу. Мужчины (до чего же они жалки и обтрепаны, бедняги!) почтительно снимают перед ней шляпу. Вот она вошла в дом. Ты ее разглядела, Тэтти?

— Да, сэр.

— Слыхал я, Тэтти, что когда-то ее называли Дитя Маршалси. Она родилась в этой тюрьме и жила в ней долгие годы. А мне вот нечем дышать здесь. Печальная судьба — родиться и вырасти в таком месте, а, Тэттикорэм?

— Да, очень, сэр.

— Если бы она всегда только думала о себе, только ловила обращенные на нее взгляды, отыскивая в них презрение и насмешку — какое это было бы мучительное да, пожалуй, и бесполезное существование! А между тем говорят, вся ее еще недолгая жизнь была образцом бескорыстия, доброты, самоотверженной любви и служения. Сказать ли тебе, Тэттикорэм, что, по-моему, так светится в этих прекрасных глазах, которые ты только что видела?

— Скажите, сэр, сделайте милость.

— Долг, Тэттикорэм. Помни свой долг, исполняй его с малых лет — и никакие обстоятельства твоего прошлого или настоящего не принизят тебя перед всевышним и перед самим собою.

Мама Миглз присоединилась к ним, и все втроем они стояли у окна, с состраданием глядя на слонявшихся по двору арестантов, пока не увидели Крошку Доррит. Минутой спустя последняя вошла в комнату и сказала, что Артуру лучше, но все же не стоит его сегодня беспокоить.

— Будь по-вашему,— весело согласился мистер Миглз.— Вам видней, я в этом уверен. Позвольте же просить вас, милая сиделка, передать мой дружеский привет вашему больному; я знаю, что могу на вас в этом положиться. Я завтра утром снова уезжаю.

Крошка Доррит, удивленная, спросила, куда.

— Дорогая моя,— сказал мистер Миглз,— нельзя жить не дыша. А я потерял эту способность, как только переступил порог тюрьмы, и больше не вздохну свободно, пока Артур отсюда не выйдет.

— Но я не понимаю, какая связь...

— Сейчас поймете,— сказал мистер Миглз.— Сегодня мы все трое переночуем в гостинице. А завтра утром мамочка с Тэттикорэм отправятся в Туикнем, где миссис Тикит, коротающая у окна свой досуг в обществе доктора Бухана, решит, что перед нею два привидения; я же покачу за границу — за Дойсом. Нужно, чтобы Дэн приехал сюда. Поверьте мне, моя милочка, писать письма, и ожидать ответов, и судить да рядить издалека, как и что — из этого никакого толку не будет. Нужно, чтобы Дэн приехал сюда. Потому я и решил завтра же на рассвете пуститься в путь. А уж разыскать Дэна за границей для меня проще простого. Я бывалый путешественник, и мне что один иностранный язык, что другой, безразлично: я ни на одном ни полслова не понимаю. Так что этот вопрос меня не смущает. Вот и выходит, что медлить нечего — не могу же я, в самом деле, жить, не дыша свободно, а дышать свободно мне не придется, пока Артур не выйдет из Маршалси. Я и то уже почти задохся — только и могу, что кое-как докончить свою речь и снести эту драгоценную шкатулку в вашу карету.

Они вышли на улицу в ту самую минуту, когда зазвонил колокол. Мистер Миглз, несший шкатулку, несколько удивился, не обнаружив никакой кареты. Он остановил проезжавший мимо наемный экипаж, помог Крошке Доррит сесть и поставил шкатулку на сиденье рядом.

В порыве счастья и признательности она поцеловала ему руку.

— Ну уж нет, дитя мое! — воскликнул мистер Миглз.— Не годится *мне* принимать подобный знак уважения от *вас*, и где — у ворот Маршалси!

Она наклонилась и поцеловала его в щеку.

— Вы мне напомнили, как бывало...— сказал мистер Миглз, и голос его неожиданно дрогнул.— Но ведь она любит его, пытается скрыть его недостатки, думая, что никто их не замечает; а потом он все-таки из очень хорошей семьи, с такими связями!

Это было единственное, чем он мог вознаградить себя за потерю дочери; и если он старался найти в этом утешение, кто его осудит?

ГЛАВА XXXIV

Конец

Погожим осенним днем знакомый нам узник, еще слабый, но уже почти оправившийся от болезни, сидел в кресле у окна и слушал голос, читавший ему вслух,— погожим осенним днем, одним из тех дней ранней осени, когда сжаты уже золотые нивы и снят летний урожай плодов в садах, когда зеленые плети хмеля оголены усердными сборщиками, когда яблоки румянятся на деревьях, а в желтеющей листве рощ вспыхивают алые гроздья рябины. Уже в лесных чащах открылись неожиданные просветы, и даль, еще недавно подернутая маревом зноя, точно спелая слива под фиолетовым налетом, теперь четко и ясно рисовалась взгляду — первое предвестие близящейся зимы. И океан уже не дремал под солнцем недвижной гладью, но, раскрыв мириады искрящихся глаз, весело колыхался во всю свою ширь, от песчаной береговой кромки до самого горизонта, где мелькали маленькие белые паруса, будто листья, подхваченные осенним ветром.

Только тюрьма не ведала никаких перемен, одинаково угрюмая во все времена года, и ничто не скрашивало ее глухого фасада, безрадостного, как сама нищета. Деревья вокруг цвели и отцветали; кирпичные стены и железные

решетки не знали цветения жизни. Но милый голос, читавший Кленнэму вслух, словно рассказывал ему о великих делах труженицы Природы, словно пел ту песнь утешения, которой она баюкает человека. Природа с детских лет была ему единственной матерью; она одна вдохновляла его надеждой, навевала светлые мечты, лелеяла семена детского воображения, сулившие обильную жатву нежности и любви; под ее благодетельным воздействием росли и крепли в его душе молодые побеги, чтобы превратиться в могучий дуб, способный выстоять в житейскую бурю. И голос, читавший ему вслух, пробуждал в нем давно забытые воспоминания, как будто в звуках этого голоса оживали все слова ласки и участия, слышанные им за его долгую жизнь.

Когда голос умолк, Кленнэм прикрыл глаза рукой, пробормотав что-то насчет чересчур резкого света.

Крошка Доррит поспешно отложила книгу и встала, чтобы задернуть занавеску. Мэгги сидела на своем привычном месте за шитьем. Вернувшись от окна, Крошка Доррит придвинула свой стул поближе к узнику.

— Скоро вашим невзгодам конец, дорогой мистер Кленнэм. Мистер Дойс не только пишет дружеские и ободряющие письма вам; он пишет и мистеру Рэггу, который говорил мне, что получил от него много дельных советов; а кроме того, сейчас, когда страсти поулеглись, все относятся к вам с большим сочувствием и расположением, так что я уверена, скоро всему конец.

— Милая вы девушка! Золотое сердце! Добрый мой ангел!

— Вы меня хвалите не по заслугам. Но мне так радостно слышать от вас эти ласковые слова, и — и чувствовать, что это не только слова,— шепнула Крошка Доррит, поднимая на него взгляд,— что я не в силах сказать вам «не надо»!

Он поднес к губам ее руку.

— Вы много, много раз приходили сюда незаметно для меня, Крошка Доррит?

— Да, я иногда приходила и не показывалась вам.

— Часто?

— Довольно часто,— тихо сказала Крошка Доррит.

— Каждый день?

— Пожалуй,— отвечала Крошка Доррит после некоторого колебания,— я бывала здесь по два раза в день.

Быть может, он и выпустил бы маленькую, легкую ручку, с жаром поцеловав ее еще раз, но она на миг замерла в его руке, словно прося, чтобы ее не отпускали. Он накрыл ее другой рукой и прижал к груди.

— Дорогая Крошка Доррит, дело не только в том, чтобы окончилось мое заключение. Пора положить конец жертвам, которые вы приносите ради меня. Мы должны расстаться и свыкнуться с мыслью, что у каждого из нас свой путь, очень далекий от другого. Вы не забыли, о чем мы говорили с вами в первый вечер после вашего возвращения?

— О нет, как я могла забыть! Но с тех пор кое-что... Вы себя совсем хорошо чувствуете сегодня?

— Совсем хорошо.

Рука, которую он держал, слегка потянулась вверх, к его лицу.

— Настолько хорошо, что я могу сказать вам, какое большое богатство мне досталось?

— Буду очень рад узнать. Никакое богатство не может быть чрезмерным для Крошки Доррит.

— Мне давно уже не терпится рассказать вам об этом. Я вся истомилась желанием рассказать вам. Но вы попрежнему не хотите, чтобы я отдала вам то, что имею?

— Нет, нет и нет!

— Ну хоть половину?

— Нет, дорогая Крошка Доррит!

Она как-то странно взглянула на него — ему показалось, что ее глаза полны слез, но в то же время они сияли гордостью и счастьем.

— Я должна сообщить вам печальное известие о Фанни. Бедняжка потеряла все свое состояние. У нее теперь ничего нет, кроме жалованья мужа. Деньги, которые папа дал ей в приданое, пропали так же, как и ваши. Они находились в тех же руках, и их постигла та же участь.

Артур принял эту новость сочувственно, но без удивления.— Я не думал, что потери так велики,— заметил он,— но, зная о родстве ее мужа с Мердлом, предполагал, что они неизбежны.

— Да, она потеряла все. Бедняжка Фанни, мне так жаль ее, так жаль, так жаль! И моего бедного брата тоже!

— А разве и его состояние было в тех же руках?

— Да! И он тоже все потерял. Вот теперь я могу сказать вам, как велико мое богатство.

В ответ на его вопросительный и тревожный взгляд она отняла руку и положила голову к нему на грудь.

— У меня ничего нет. Я так же бедна, как тогда, когда жила в этой комнате. В последний приезд в Англию папа все свое состояние отдал в те же руки, и оно все пошло прахом. О мой дорогой, мой добрый друг, вы все еще отказываетесь разделить со мною мое богатство?

Он обнял ее, прижал к своему сердцу, и скупые мужские слезы упали на ее лицо. Не поднимая головы, она обвила руками его шею.

— Больше мы не расстанемся, Артур, дорогой мой,— больше мы не расстанемся до самой смерти! Я никогда не знала богатства, никогда не знала гордости, никогда не знала счастья. Теперь я богата, потому что я нужна вам, я горда, потому что вы отвергли меня раньше, я счастлива, потому что мы здесь вместе, и будь на то воля божья, я осталась бы с вами в этой тюрьме и была бы так же счастлива, утешая вас и поддерживая своей верностью и любовью! Я ваша всюду и везде! Я так люблю вас! Если бы мне предложили на выбор: провести всю жизнь с вами в тюрьме, зарабатывая на хлеб поденным трудом, или быть самой богатой и знатной дамой на свете — я не задумываясь предпочла бы первое. Ах, знал бы мой бедный папа, какого счастья я наконец дождалась — в той самой комнате, где он томился так долго!

Мэгги, разумеется, давно уже смотрела на них во все глаза, и разумеется, давно уже проливала обильные слезы. Но теперь она пришла в такой восторг, что едва не задушила свою маменьку в объятиях, после чего опрометью кинулась вниз, спеша поделиться с кем-нибудь своей радостью. И кто же первым попался Мэгги навстречу, как не Флора с тетушкой мистера Ф.? И кого же, как не их, застала Крошка Доррит дожидающимися у ворот, когда два или три часа спустя сама вышла на улицу?

У Флоры немного покраснели глаза, и видно было, что она чем-то расстроена. Тетушка мистера Ф. совершенно окостенела; казалось, чтобы согнуть или разогнуть ее, потребуется механизм по меньшей мере в двадцать лоша-

диных сил. Ее шляпка была лихо сдвинута на затылок, а ридикюль словно скрывал в своих недрах голову Горгоны и от этого превратился в каменный. Восседая на ступеньках казенной смотрительской квартиры во всеоружии упомянутых атрибутов, тетушка мистера Ф. все эти два или три часа услаждала своим видом младшее поколение окрестных жителей, чьему остроумию вынуждена была давать время от времени отпор с помощью зонтика.

— Увы, я понимаю, мисс Доррит,— заговорила Флора,— приглашать куда-нибудь особу, привыкшую пользоваться всеми благами богатства и вращаться среди сливок общества, дерзость с моей стороны, тем более в простую паштетную, что́ совершенно не соответствует вашему нынешнему положению, да еще за лавкой, хотя хозяин очень любезный человек, но ради Артура — никак не отвыкну, а теперь и вовсе неуместно — ради бывшего Дойса и Кленнэма, зная ваше доброе сердце, надеюсь, вы не взыщете за столь скромную обстановку и согласитесь выслушать еще одно только слово, одно последнее объяснение под предлогом трех паштетов из почек.

Сумев разобраться в этой довольно запутанной речи, Крошка Доррит выразила готовность беседовать с Флорой где угодно, и та повела ее в упомянутую паштетную, помещавшуюся напротив тюрьмы. Тетушка мистера Ф. шествовала позади, с упорством, достойным лучшего применения, норовя угодить под колеса встречных экипажей.

Когда любезный хозяин принес на оловянных тарелках три паштета, которые должны были служить предлогом для беседы, и налил в ямку, сделанную в каждом, горячей подливки из соусника с носиком, точно заправлял три светильника маслом, Флора вынула из кармана носовой платок.

— Если когда-нибудь, убаюканная мечтами,— начала она,— я воображала, что Артур — никак не отвыкну, извините — что мистер Кленнэм, выйдя на волю, не оттолкнет дружескую руку, хотя бы эта рука протянула ему вот такой тощий паштет, похожий больше на размельченный мускатный орех, мечты эти давно развеялись и обратились в дым, но услыхав об узах, которым предстоит скрепить союз двух сердец, покорнейше прошу принять мои лучшие пожелания, не омраченные ни малейшим чувством обиды,

хоть, может быть, печально сознавать, что, когда рука времени еще не коснулась меня, и я была куда стройней, и не краснела так от всякого пустякового усилия, особенно после еды, у меня тогда лицо идет пятнами вроде сыпи, все могло быть иначе, но вмешались родители и я замкнулась в себе, и пребывала бы в замкнутом состоянии до сих пор, если бы мистер Ф. не подобрал ко мне волшебного ключа, но я не хочу упрекнуть никого из вас, и от души желаю счастья обоим.

Крошка Доррит протянула ей руку и поблагодарила за ее доброе отношение в прошлом.

— Стоит ли говорить о таких пустяках,— возразила Флора, нежно целуя ее в ответ,— да и можно ли было относиться иначе к такой милой, такой славной крошке, простите за фамильярность, к тому же это была чистейшая экономия, поскольку вы — воплощенная совесть, должно быть, это нелегко, мне, например, моя совесть доставляет много беспокойства, хотя не думаю, чтобы ее обременяло больше грехов, чем у других, но я отвлекаюсь, а суть дела в том, что у меня есть одно желание, которое я хотела бы выразить прежде чем дойдет до апофеоза, и надеюсь, оно будет исполнено в память старой дружбы и добрых чувств прошлого, пусть Артур знает, что я не покинула его в беде, но постоянно приходила сюда узнать, не могу ли быть чем-нибудь полезна, и часами просиживала в этой паштетной, подкрепляясь горячительным, которое мне любезно приносили из соседнего трактира, чтобы издали скрасить его одиночество, хоть он и не догадывался об этом.

На глазах у Флоры были теперь настоящие слезы, от которых она очень похорошела.

— Но это еще не все,— продолжала Флора,— самое важное, что я попрошу вас передать Артуру, и в чем, я знаю, такая славная крошка, еще раз простите за фамильярность, мне не откажет, это что я в конце концов начала сомневаться, не было ли пустым ребячеством то, что нас связывало когда-то, хотя в свое время оно служило источником больших радостей, но впрочем и неприятностей тоже, но, разумеется, после мистера Ф. возврата к прежнему уже не было, чары разрушились, и чего ж можно было ожидать, если не начать все сначала, а тому препят-

ствовали многие обстоятельства, из которых самое существенное, что это все равно ни к чему бы не привело, то есть, я не хочу сказать, что если бы это было приятно Артуру и вышло бы само собой сразу же после его приезда, я не была бы рада, ведь каково мне при моей живости нрава вечно сидеть дома в обществе папаши, который без сомнения самый скучный мужчина на свете, и не стал веселей от того, что этот головорез Панкс превратил его в какое-то страхолюдное чудище, но ревновать и завидовать не в моем характере, что-что, а уж это нет.

Уследить за ходом мысли миссис Финчинг в этом лабиринте было почти невозможно, но главное Крошка Доррит поняла и от всего сердца пообещала исполнить.

— Увядший венок рассыпался в прах, дорогая моя,— произнесла Флора, невыразимо наслаждаясь,— колонна рухнула, пирамида опрокинулась кверху этим, как его, пусть это слабость, пусть это каприз, пусть это безумство, но я должна теперь удалиться в уединение, чтобы не ворошить больше пепел минувших утех, взяв на себя лишь смелость уплатить за эти паштеты, послужившие скромным поводом к нашей беседе, а затем сказать вам прощайте навеки.

Тут тетушка мистера Ф., которая до сих пор в торжественном молчании кушала паштет, обдумывая смертоубийственный план, зревший в ее мозгу с той минуты, как она заняла свой пост на смотрительских ступеньках, воспользовалась случаем, чтобы грозно воззвать к вдове покойного родича:

— Давай его сюда, я его вышвырну в окно!

Напрасно Флора пыталась умиротворить достойную матрону напоминанием, что им пора домой, обедать. Тетушка мистера Ф. твердила свое: «Давай его сюда, я его вышвырну в окно!» Повторив это требование несчетное число раз и кинув исподлобья гневный взгляд на Крошку Доррит, тетушка мистера Ф. прочно уселась в углу, скрестив на груди руки, и решительно отказалась двинуться с места, пока ей не подадут «его», для того, чтобы она могла совершить задуманную экзекуцию.

По этому случаю Флора заметила Крошке Доррит, что давно уже не видела тетушку мистера Ф. столь бодрой и оживленной; что, быть может, придется побыть здесь «ча-

сик-другой», покуда она уговорит симпатичную старушку сменить гнев на милость; и что, пожалуй, с глазу на глаз этого легче будет добиться. А потому они сердечнейшим образом распрощались, и Крошка Доррит ушла.

Тетушка мистера Ф. была неприступна, как древняя твердыня, и Флора вскоре почувствовала необходимость подкрепить свои силы, ввиду чего пришлось снарядить гонца в трактир за заветным стаканчиком, а там и за другим. Содержимое стаканчиков, газета и лучшие произведения хозяина паштетной помогли Флоре тихо и мирно скоротать остаток дня. Досадной помехой послужило лишь то обстоятельство, что среди легковерной окрестной детворы распространился праздный слух, будто одна старая дама продала себя на паштеты, а теперь передумала и сидит в задней комнате заведения, не желая исполнять условия сделки. Толпы молодежи обоего пола осаждали паштетную, изрядно затрудняя торговлю, и с приближением вечера хозяин решительно потребовал, чтобы тетушка мистера Ф. была удалена из-под его крова. Послали за экипажем, и дружными усилиями хозяина и Флоры удалось втолкнуть туда темпераментную старушку, которая, однако, тут же высунула голову из окошечка, настаивая на своем желании заполучить «его» для осуществления уже известного замысла. Хищные взгляды, которые она при этом бросала в сторону Маршалси, позволяли предположить, что объектом ее упорных покушений был Артур Кленнэм. Впрочем, это всего лишь догадка; и кто был тот «он», которого тетушка мистера Ф. жаждала подвергнуть, хотя и не подвергла, столь жестокой участи,— навсегда осталось тайной для человечества.

Дни шли за днями, и теперь уже Крошка Доррит никогда не покидала тюрьму, не повидавши Кленнэма. Нет, нет, никогда!

Однажды утром, в то время как Артур ждал, когда послышатся легкие шаги, что всегда в этот час взлетали по убогой лестнице, отдаваясь радостью в его сердце, и озаряли светом новой любви ту самую комнату, где старая любовь прошла через столько суровых испытаний,— однажды утром его привычное ухо уловило не только эти шаги, но и чьи-то еще.

— Дорогой Артур,— раздался из-за двери ее приветливый голосок.— Я привела гостя. Можно ему войти?

По звуку шагов ему казалось, что поднимаются трое. Он отвечал «да», и вошла она, а за нею мистер Миглз. Папа Миглз, загорелый, сияющий, отечески заключил Артура в свои объятия.

— Ну вот и хорошо,— сказал мистер Миглз по прошествии нескольких минут.— Ну вот и расчудесно. Артур, мой мальчик, сознайтесь, что вы меня ожидали раньше.

— Пожалуй,— отозвался Артур.— Но Эми сказала мне...

— Крошка Доррит. Не надо другого имени. (Это шепнула она сама.)

— ...но моя милая Крошка Доррит сказала мне, что вы явитесь тогда, когда можно будет, и запретила спрашивать объяснений.

— Вот я и явился, друг мой,— сказал мистер Миглз, крепко пожимая ему руку,— и готов дать вам любые объяснения. Собственно говоря, я уже был здесь — как только приехал от этих аллон-маршон, так сразу же поспешил к вам; иначе разве я мог бы глядеть вам в глаза сегодня? Но вам тогда было не до гостей, а я торопился опять за границу, ловить Дойса.

— Бедный Дойс! — вздохнул Артур.

— Не употребляйте выражений, которые вовсе не идут к случаю,— возразил мистер Миглз.— Ничуть он не бедный; напротив, процветает, как никогда. Дойс стал большим человеком. Мчит в гору, да так, что только пыль столбом, можете мне поверить. Суть в том, что он там пришелся ко двору, наш Дэн. Там, где есть дело, но где не хотят, чтобы это дело делалось, такие, как он, не нужны; но там, где есть дело, и хотят, чтобы оно делалось, таким почет и место. Вам больше нет надобности обивать пороги Министерства Волокиты. Могу сообщить вам, что Дэн и без него обошелся.

— Какую тяжесть вы сняли с моей души! — воскликнул Артур.— Как я рад слышать это!

— Рады? — возразил мистер Миглз.— Нет, погодите, вот когда увидите Дэна, тогда порадуетесь по-настоящему. Он там ворочает такими делами, что дух захватывает. Это уже не тот государственный преступник, которого вы

знали раньше. Он весь в медалях, и лентах, и звездах, и крестах, и всякой чертовщине, словно прирожденный вельможа. Но только лучше помалкивать об этом здесь.

— Отчего же?

— А вот оттого! — сказал мистер Миглз, покачивая головой с серьезным видом.— Все эти украшения ему придется запереть в чемодан, когда он приедет сюда. Здесь они ни к чему. Англия в этом вопросе как собака на сене: сама не жалует своих верных сынов орденами и не позволяет им красоваться теми, что пожалованы в чужих краях. Нет, нет, Дэн! — сказал мистер Миглз, снова покачав головой.— Здесь это ни к чему.

— Если бы вы привезли мне вдвое больше денег, чем я потерял,— вскричал Артур,— вы не осчастливили бы меня больше, чем этими известиями о Дойсе.

— Еще бы, еще бы,— подхватил мистер Миглз.— Я в этом не сомневался, мой друг, оттого и поторопился выложить вам все. Но вернусь к рассказу о том, как я ловил Дойса. Я сумел-таки его изловить. Разыскал его среди каких-то черномазых, выряженных в женские чепцы размером на великаншу — не то арабы, не то еще что-то такое же несусветное. Ну, вы знаете! Он как раз собирался ехать ко мне, а тут я приехал к нему, и в общем мы вернулись вместе.

— Так Дойс в Англии? — воскликнул Артур.

— Ну вот! — сказал мистер Миглз, беспомощно разводя руками.— Не гожусь я на эти дела, честное слово! Не знаю, что бы из меня получилось, вздумай я пойти по дипломатической части — но только не дипломат! Короче говоря, Артур, мы оба вот уже две недели как вернулись в Англию. А если вы меня спросите, где сейчас Дойс, так я вам отвечу без обиняков — он здесь! Ну, наконец-то я могу вздохнуть свободно!

Дойс выскочил из-за двери, горячо пожал Артуру обе руки, и сам договорил остальное.

— Мне нужно сказать вам только три вещи, любезный Кленнэм,— начал он, своим гибким пальцем по очереди рисуя на ладони три цифры,— и это не займет много времени. Во-первых — ни слова более о том, что произошло. В ваши расчеты вкралась ошибка. Я хорошо знаю, как это бывает. Разлаживается весь механизм, и в

результате — авария. Теперь вы умудрены опытом и больше такой ошибки не совершите. Со мной это сколько раз случалось в моей работе. На ошибках человек учится, если он склонен учиться; а вы слишком умны, чтобы не извлечь пользу из полученного урока. Итак, это во-первых. А во-вторых, мне очень жаль, что вы приняли случившееся так близко к сердцу и замучили себя упреками. Я уже спешил домой, чтобы уладить все эти дела с помощью нашего друга, но тут мы с ним встретились, о чем вы уже слышали от него. В-третьих, мы оба сошлись на том, что после всего перенесенного вами, после болезни, после долгого упадка душевных сил, будет лучше, если мы уладим все дела без вашего ведома, а потом придем и объявим: все в порядке, доброе имя фирмы восстановлено, она в вас нуждается больше, чем когда бы то ни было, а для нашего общего дела открываются новые, заманчивые перспективы. Вот и все, что я хотел сказать. Но вам известно, что в технике всегда делается допуск на трение; вот и я оставил себе возможность добавить напоследок несколько слов. Дорогой мой Кленнэм, я доверяю вам, как доверял всегда; от вас зависит быть настолько же полезным мне, насколько я был или мог быть полезным вам; ваша старая конторка ждет вас, и чем скорей вы к ней вернетесь, тем лучше. Здесь вас больше ничто не задерживает.

Наступила пауза, в течение которой Артур молча стоял у окна, спиной к остальным; его будущая жена подошла к нему и стала рядом.

— Я только что высказал предположение, которое, пожалуй, было неверным,— сказал, наконец, Дэниел Дойс, прерывая затянувшееся молчание.— Я сказал, что ничто больше не задерживает вас здесь. Но сдается мне, вы предпочли бы выйти отсюда не раньше завтрашнего утра. Не обладая особой проницательностью, я, кажется, догадался, куда бы вы хотели направиться прямо из стен тюрьмы.

— Догадались,— отвечал Артур.— Это наше заветное желание.

— Превосходно,— сказал Дойс.— В таком случае, я просил бы у этой молодой леди позволения на одни сутки заменить ей отца, и если она окажет мне такую честь,

проехаться со мной к собору святого Павла, где у нас найдется одно маленькое дельце.

И спустя несколько минут Дойс с Крошкой Доррит ушли вдвоем, оставив мистера Миглза, пожелавшего сказать еще кое-что своему другу.

— Пожалуй, Артур, вы тут обойдетесь завтра без нас с мамочкой, так что нам можно не приходить. Все это непременно напомнило бы мамочке Бэби, а вы ведь знаете, какая она у меня чувствительная. Пусть уж лучше сидит дома, в Туикнеме, а чтобы ей не было скучно, посижу и я вместе с ней.

На этом они распрощались. И день прошел, а потом прошла и ночь, и настало утро, и с первыми лучами солнца в тюрьму явилась Крошка Доррит в обычном своем простеньком платье, и с одной лишь Мэгги в качестве спутницы. Убогая тюремная обитель стала в этот день обителью счастья. Пожалуй, нигде в мире не нашлось бы комнаты, где бы все так дышало тихой радостью.

— Любимая моя,— сказал Артур.— Зачем это Мэгги разводит огонь в камине? Ведь мы сейчас уходим отсюда.

— Это я просила ее. Мне пришла в голову смешная фантазия. Я хочу, чтобы ты сжег одну вещь, которую я тебе дам.

— Какую вещь?

— Вот эту сложенную бумагу. Если ты своей рукой бросишь ее в огонь, мое желание исполнится.

— Так ты, оказывается, суеверна, милая Крошка Доррит! Это что, примета такая?

— Называй как хочешь, дорогой,— ответила она, со смехом приподнимаясь на цыпочки, чтобы поцеловать его,— только сделай то, о чем я прошу, когда огонь разгорится.

В ожидании они стояли вдвоем перед камином — Кленнэм обнимал за талию свою нареченную, и пламя, разгораясь, отражалось в ее глазах, как бывало не раз в этой самой комнате.

— Ну как, уже достаточно ярко горит? — спросил Артур.

— Достаточно,— отвечала Крошка Доррит.

— А заклинания никакого не нужно произносить при этом? — спросил Артур, держа бумагу над самым огнем.

— Если хочешь, можешь сказать: я люблю тебя,— отвечала Крошка Доррит.

Так он и сделал, и бумага полетела в огонь и сгорела.

Они прошли через пустынный еще двор, никем не потревоженные, хотя из многих окон украдкой глядели на них тюремные обитатели. В караульне был только один дежурный сторож — старый знакомый. После того как они тепло и дружески простились с ним, Крошка Доррит еще раз обернулась с порога и протянула ему руку со словами:

— Прощайте, добрый мой Джон. Желаю вам много-много счастья, голубчик.

Они дошли до церкви св. Георгия, стоявшей невдалеке, поднялись по ступенькам и подошли к алтарю, у которого уже дожидался посаженый отец — Дэниел Дойс. Старый друг Крошки Доррит, пономарь, давший ей когда-то книгу погребений, чтобы подложить под голову, тоже был здесь и от души радовался, что она сюда же пришла совершить свадебный обряд.

И обряд был совершен в лучах утреннего солнца, озарявшего их сквозь цветные стекла витража с изображением Спасителя. И они поставили свои подписи в книге бракосочетаний, хранившейся в том самом помещении, где когда-то Крошка Доррит нашла приют после своего ночного бала. И свидетелем этого радостного события был мистер Панкс (в недалеком будущем старший клерк, а потом и компаньон фирмы Дойс и Кленнэм); превратившись из Головореза в доброго друга, он галантно поддерживал под руки Флору с одной стороны и Мэгги с другой, а за ним теснились в дверях Чивери-младший и Чивери-старший, а также и другие тюремщики, на время покинувшие Маршалси, чтобы посмотреть, как Дитя Маршалси выходит замуж. Что до Флоры, то, вопреки выраженному ею недавно намерению, она отнюдь не походила на отшельницу, удалившуюся от мира, а напротив, была разряжена в пух и в прах, и видимо наслаждалась всем происходящим, хотя и не без некоторого волнения.

Когда Крошка Доррит расписывалась в книге, ее друг пономарь держал чернильницу, а все свидетели затаили дыхание, и даже служка, помогавший священнику разоблачаться, замешкался на миг.



— Оно и понятно, — сказал друг пономарь.— Ведь эта молодая леди — одна из наших достопримечательностей, и она, можно сказать, добралась теперь до третьего тома нашей приходской летописи. Книгу, где записано ее рождение, я называю первым томом; та, на которой лежала ее хорошенькая головка, когда ей однажды пришлось заночевать под этими самыми сводами,— том второй; а в третьем она сейчас выводит свое имя в качестве новобрачной.

Как только с подписями было покончено, все расступились, и Крошка Доррит с мужем вышли из церкви вдвоем. С минуту они помедлили на паперти, любуясь далью, залитой светом ясного осеннего дня; потом пошли своей дорогой.

Пошли туда, где ждала их скромная и полезная жизнь, полная радости и труда на благо ближнему. Туда, где им предстояло вместе с собственными детьми растить и воспитывать заброшенных детей Фанни, чтобы эта светская дама могла целиком посвятить себя Обществу. Туда, где Тип снисходительно принимал заботу и попечение сестры, которая терпеливо исполняла все, чего он ни требовал от нее взамен богатства, чуть было ей не подаренного, и спустя несколько лет любовно закрыла глаза этому бедняге, так и не изжившему в себе тлетворного влияния Маршалси. Спокойно шли они вперед, счастливые и неразлучные среди уличного шума, на солнце и в тени, а люди вокруг них, крикливые, жадные, упрямые, наглые, тщеславные, сталкивались, расходились и теснили друг друга в вечной толчее.

КОММЕНТАРИИ

Стр. 7. *Большой Сен-Бернарский перевал* — перевал в Альпах (высота 2472 м). Почти на гребне перевала в X веке был построен для паломников и путешественников монастырь св. Бернара с гостиницей.

Шале — домик в альпийском селении.

Стр. 13. *Мартиньи* — городок в Швейцарии; расположен между Женевским озером и Симплонским перевалом.

Стр. 28. *Феникс (древневост. миф.)* — волшебная птица изумительной красоты, возрождающаяся из пепла после самосожжения.

Стр. 46. *Симплон* — перевал в Альпах на границе Швейцарии и Италии, высотою свыше 2000 м с круглогодичным снежным покровом.

Стр. 52. *Ковент-Гарден* — район Лондона, находящийся на территории бывшего монастырского сада. Здесь расположены одноименные театр и рынок.

Стр. 57. *Юстес* Джон Четвуд (1762 (?) — 1815) — филолог-античник и теолог, автор популярного английского путеводителя по Италии (1813).

Стр. 58. *...сравнивает Риальто с Вестминстерским и Блекфрайерским мостами...* — Риальто — мост на Большом канале, оживленнейшее место Венеции. Вестминстерский и Блекфрайерский — мосты в Лондоне.

Стр. 66 *...не можешь отделить жену от мужа, разве что по парламентскому акту.* — Развод в эпоху Диккенса мог быть совершен в Англии только по специальному постановлению парламента.

Стр. 88. *Брайтон* — аристократический приморский курорт на южном побережье Англии.

Стр. 89. *Сын Венеры (античн. миф.)* — бог любви Амур. Венера — по мифу — родилась, выйдя из пены морской.

Стр. 91. *Тритон (древнегреч. миф.)* — морское божество, сын бога морей Посейдона.

Стр. 103. *Корсо* — одна из центральных улиц Рима, где расположены аристократические особняки и роскошные магазины.

Собор св. Петра — крупнейший памятник итальянской архитектуры эпохи Возрождения; расположен в Риме рядом с Ватиканом — на правом берегу реки Тибр.

Вечный Город — одно из названий, присвоенных столице Римской империи — городу Риму; название впервые упоминается у римских поэтов Овидия и Тибулла (I в. до н. э.).

Стр. 109. *Бедлам* — дом для умалишенных в Лондоне, название которого (искаженное Bethlehem Hospital) стало нарицательным для обозначения сумасшедшего дома.

Стр. 125. *Адельфи* — лондонский квартал, построенный в 1769—1771 годах. В настоящее время — квартал мелких контор.

Стр. 131. *«Спасенная Венеция,* или Раскрытый заговор» — историческая трагедия английского драматурга Томаса Отвея (1652—1685).

Стр. 156. *Василиск* — мифологическое чудовище с телом петуха и хвостом змеи, убивающее взглядом.

Стр. 157. *Виттингтон* — купец, трижды избиравшийся в XV веке лорд-мэром Лондона; популярная легенда рассказывает, что он чудесным образом был призван в Лондон звоном колоколов и затем неожиданно разбогател.

Стр. 159. *Капитан Мэкхит* — один из героев музыкальной комедии английского поэта и драматурга Джона Гэя (1685—1732) «Опера нищих» (1728), предводитель воровской шайки.

Стр. 160. *Закон искоренять порок готов...* — песенка из «Оперы нищих»; Тайберн — место казней на Бейз-Уотер-роуд в Лондоне.

Вестминстер-Холл — зал Вестминстерского дворца, где помещался английский парламент и проходили заседания Канцлерского суда.

Стр. 163. *Итон* — аристократическое закрытое учебное заведение, основанное в 1440 году. Находится близ Лондона, рядом с Виндзором.

Стр. 173. *...обручались со столиком «буль».*— Стиль мебели «буль» назван по имени знаменитого французского мастера Андре-Шарля Буля (1642—1732). Мебель стиля «буль» богато инкрустирована бронзой, перламутром, черепахой.

Немезида (древнегреч. миф.) — богиня возмездия.

Стр. 178. *Вест-Энд* — аристократический район Лондона.

Стр. 213. *...здесь, на Семи Холмах...*— Рим построен на семи холмах.

Стр. 218. *Велизарий* (505 (?) — 565) — полководец Византии в период правления императора Юстиниана; попав в опалу и обеднев, просил милостыню.

Банк Торлониа — один из самых больших частных итальянских банков, основанный в 1814 году.

Стр. 219. *Волчица Капитолия могла завыть от зависти, глядя... дикари-островитяне.*— По древнеримской легенде, братьев Ромула и Рема — основателей Рима — вскормила волчица. Ее статуя находится на Капитолии. Дикарями-островитянами Диккенс называет своих соотечественников, предков которых, как и всех неримлян, римляне считали дикарями.

Веста (древнеримск. миф.) — богиня огня и домашнего очага.

Трясина Уныния — местность, куда попадает герой «Пути паломника» английского писателя Джона Бэньяна (1628—1688).

Стр. 229. *...золотой улице Ломбардцев.*— Название Ломбердстрит — лондонской улицы, на которой находится несколько крупных банков,— восходит к XIV—XV векам, когда ее заселяли выходцы из Ломбардии — итальянские менялы и ювелиры.

Стр. 232. *Блекхит* — лондонский пригород; место, известное состязаниями в гольф.

Стр. 237. *Тэмпл-Бар* — старинные ворота (построены в XVII в.), оставшиеся от стены, отделявшей торговую часть Лондона — Сити — от Вестминстера. Были увенчаны железными пиками, на которых в прошлом выставляли головы казненных. Снесены в 1878 году.

Стр. 251. *Лебрен* Шарль (1619—1690) — известный французский художник.

Стр. 253. *Корниш* — дорога, продолжающая римскую магистраль Виа Аурелия, идущая по берегу реки Поненте, сливаясь затем с трассой Ментона — Ницца.

Чивита-Веккиа — город-порт в Италии на побережье Тирренского моря, аванпорт Рима.

Стр. 298. *...голос всех предков, начиная от Альфреда Саксонца...*— то есть короля англосаксов Альфреда Уэссекского (Великого), правившего в 871—900 годах.

Стр. 321. *Квинбус-Флестрин-младший или Человечек-Гора.*— Квинбусом-Флестрином или Человеком-Горой называли лилипуты Гулливера в романе английского сатирика Джонатана Свифта (1667—1745) «Путешествие Гулливера».

Стр. 325. *...в Вест-Индии кое-кто из наших подцепил Желтого Джека...*— то есть заразился желтой лихорадкой.

Стр. 333. *...подобно стулу Банко...*— Имеется в виду сцена пира у Макбета в одноименной трагедии Шекспира: стул убитого Макбетом Банко стоит пустым, Макбет видит на нем призрак Банко.

Стр. 349. *Кингс-Бенч* — или тюрьма Королевской Скамьи. Существовала с 1755 по 1860 год; функционировала дольше всех остальных долговых тюрем в Лондоне.

Стр. 373. *Феб (древнеримск. миф.)* — бог Солнца.

Стр. 442. *...молока сердечных чувств.*— Образ, взятый из Шекспира: «Пропитан молоком сердечных чувств» («Макбет», акт I, сц. 5-я).

Стр. 451. *...с нельсоновской неустрашимостью.*— Нельсон Горацио (1758—1805) — выдающийся английский флотоводец.

Д. Шестаков

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ВТОРАЯ
Богатство

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

Собр. соч., т. 21

Редактор Н. Банников. Художник Н. Семпер
Художеств. редактор Л. Калитовская
Технический редактор Г. Каунина
Корректор В. Седова

Сдано в набор 21/VII 1960 г. Подписано к печати 23/VIII 1960 г.
Бумага 84 X 108 1/32 — 15.12 печ. л.
24,80 усл. печ. л. 24,35 уч.-изд. л.
Тираж 495 000 (300 001—495 000) экз. Заказ № 2067.
Цена 9 руб. С 1/I 1961 г. цена 90 коп.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата
Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.